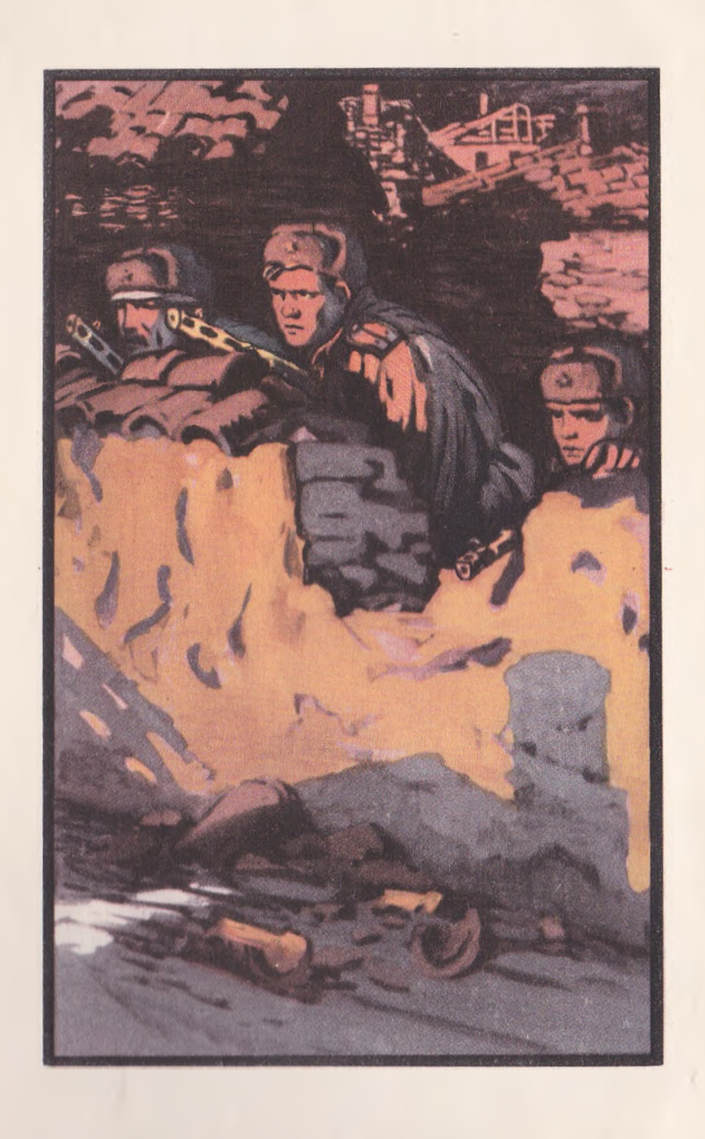
Ю. СТРЕХНИН

ПУШКИ ЕЩЕ НЕ СМОЛКЛИ



Ю. СТРЕХНИН

ПУШКИ ЕЩЕ НЕ СМОЛКЛИ

ПОВЕСТЬ

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
МОСКВА — 1959

ОБ АВТОРЕ

Юрий Федорович Стрехнин родился в 1912 году в городе Томске. Работал учителем в сельской и городской школах. Закончил литературный факультет Томского педагогического института, после чего работал преподавателем в Выборге, а затем, после начала Великой Отечественной войны, в Ленинграде, в артиллерийской школе. После прорыва блокады Ленинграда, весной 1942 года, был эвакуирован в Сибирь и там призван в армию.

Офицером пехоты Ю. Стрехнин принял участие в боях на многих фронтах. Служил командиром стрелкового взвода, переводчиком, помощником начальника штаба полка. Был ранен. Награжден тремя боевыми орденами и медалями. На фронте принят в ряды КПСС. После войны был отозван на работу в военную печать, работал в армейских и флотских газетах, редактором в Военно-Морском издательстве.

В 1951 году выпустил свою первую повесть — «На поле Корсуньском». В 1953 году демобилизовался и полностью перешел на творческую работу.

Главный герой произведений Ю. Стрехнина — рядовой воин, главная тема — Великая Отечественная война. Эта тема отражена и в его второй повести «Здравствуй, товарищ!», в книгах очерков «Через шесть границ», «Бронекатера уходят в бой», а также в очерках и рассказах, опубликованных в газетах и журналах.

В повести «Пушки еще не смолкли», оконченной в 1958 году, читатель встретит многих героев предыдущих произведений Ю. Стрехнина — солдат и офицеров нашей армии. В новой книге их судьбы раскрываются в тяжелых боях у венгерского озера Балатон, в дни штурма Вены. Это книга о дружбе и любви, о мужестве и верности, книга о боевых товарищах, проходящих последние испытания огнем. Автор показывает и дружбу наших воинов с трудящимися освобождаемых стран. Одновременно в образах тех, кто составлял гитлеровскую армию, показан ее распад.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



БЛИЗ ОЗЕРА БАЛАТОН



Глава 1

ПОЗАДИ — ДУНАЙ

Не первый весенний гром прокатился краем степи: канонада.

Туда, откуда временами доносится она, идет полк. Вторые сутки идет без сна и отдыха по непросохшим мадьярским дорогам.

Уже сошел снег. Земля гола, словно только что рожденная. Солнце прикасается к ней лучами нежно, как мать к ребенку, поданному ей впервые. Еще не слышно птиц. В низинах стоит талая вода. Под мертвой травой кое-где таится заледеневший снег. Но уже пахнет отогретой землей, и этот запах не может не сжать солдатского сердца болью.

Шагает вместе с другими рядовой Григорий Снегирев, года рождения восемьсот девяносто пятого, шагает привычно незнакомым путем. А думами сейчас — за тысячи верст, в родной сибирской стороне.

Не скоро еще начнут там посевную страду. Но старый Василич, хитроумный кузнец, уже наладил огромный крыластый сцеп сеялок. Стоят наготове еще по зимней дороге пригнанные из МТС «ХТЗ» и «челябинцы». Старики и трактористы то и дело поглядывают на взлобки, где уже, наверное, сходит снег, загадывают: «Когда же начнем?»

...Эх, лучше не думать о том, не растравлять души! Пока не отвоевались — не пахарь ты, солдат. Да и степь вокруг, приглядись, не похожа на твою родимую — не черна добротной осенней вспашкой, не зелена озимью. Только прошлогоднее жнивье да сухой бурьян... И где тот хлебороб, которого ждет здешняя пашня? Не он ли, одетый в желтую мадьярскую шинель, сидит с винтовкой в окопе, далеко от своего поля? И, может быть, сваленный его пулей, не вернешься ты в родимую сторонку... Без хозяев земля. Пока что тут — только война пашет: видишь, близ дороги желтеет вывороченной глиной незаконченная траншея? Немцы, наверное, рыли да бросили — еще зимой, когда отступали.

А далеко ли сейчас до них?

Полк, после боев за Будапешт отведенный на отдых, прошлой ночью был поднят по тревоге. Сегодня перед рассветом, когда шли по длинному понтонному мосту на западный берег Дуная, справа, с северо-запада, слышались глухие голоса пушек. Изредка погромыхивает и сейчас...

Полчаса назад рота Снегирева, в общей колонне вступив в большое селение и перейдя по дощатому мосту неширокий канал, разделяющий селение на южную и северную части, вместе с другими ротами свернула на давно не езженный, тянущийся на север проселок.

И вот долгожданное:

— Привал!

Бойцы садились, закуривали, разглядывали: куда пришли? Неподалеку — мелкие, наспех вырытые траншеи, в них мелькают красными макушками шапки-кубанки.

Толковали:

— Казаки — второй эшелон, что ли?

— Спросить бы у них: где немец?

Кто-то уверяет, будто знает точно:

— Тыщу танков Гитлер пустил! По пятьдесят километров в сутки жмут, к Дунаю.

— Ишь и кавалерия в землю зарылась...

Лежат на прогретой солнцем, уже слегка подсохшей земле, перебрасываются словами вперемежку с затяжкой:

— Видать, придется и нам за лопатку браться.

— Не привыкать... земли за войну перерыли — до облаков горы подымутся, ежели собрать...

— Прикинуть, сколько наше отделение перекопало — и то... — неторопливо говорит, щуря от утреннего солнца глаза, лежащий рядом со Снегиревым Прохоров, командир отделения, сержант лет тридцати пяти.

— А если по людям считать? — откликается Снегирев. — В отделении по штату — десяток, а на моей памяти — без малого полсотни перебыло.

— Только ты да я с первой мобилизации.

— Меня на девятый день взяли...

— А меня — на второй, — вспоминает Прохоров. — Был в отпуске, в Ленинграде, у брата. Он в ополчение — и я. Мог бы вместо того домой. Броню бы дали, раз я с Челябинского тракторного. Да ведь надо кому-то воевать?

Слушая Прохорова, оглядывает Снегирев товарищей: действительно, только он да Прохоров еще из-под Старой Руссы. А остальные? Плоскин после Курской дуги прислан — полвойны в запасной части просапожничал, да еще сколько в полковой мастерской с шилом в руках провоевал. Ишь, уже храпит, шапка свалилась, на солнце медью отливает рыжая голова... Опанасенко — с позапрошлой осени, когда его Полтавщину освободили. Ездовым старик служил, а потом из полковых тылов пополнялись — вместе с Плоскиным и его прислали. А другие — и того позже...

Снегирев разыскал в кармане шинели проволочку, потихоньку начал прочищать мундштук.

— Дывитесь, дывитесь, кто до нас иде!

Все повернулись в ту сторону, куда показывал Опанасенко. Лицо его сияло всеми многочисленными морщинами, седые усы раздвигались в широкой улыбке:

— Хведьков!

От проселка развалистой легкой походкой шел бравого вида боец: из-под ушанки желтеет чуб, воротник ватника расстегнут, сапоги — не обычные кирзовые, а хромовые, шитые по ноге, за плечо небрежно заброшен автомат, у пояса — трофейный кинжал на блестящей цепочке.

Так и есть — Федьков, из взвода разведки! Кто в полку не знает его?

— Здорово, пехота! — подошел Федьков и выпятил грудь, словно ожидая услышать в ответ громогласное «Здравия желаем!».

— Здоров, здоров... кавалерия! — ответил за всех Опанасенко, давний знакомый Федькова. — Что, в гости до нас? Сидай!

— Обожди, Трофим Сидорыч! Сначала официальная часть, — Федьков повернулся к Прохорову: — Товарищ сержант! Прибыл для прохождения дальнейшей службы под вашим авторитетным руководством!

— Да неужто? — не поверил Прохоров.— Как же тебя из разведки отпустили?

— Временно откомандирован для укрепления низов.

— Врешь, поди?

— Что я, Геббельс? Читай!

Федьков протянул измятую бумажку. Прохоров, ожидая какой-нибудь федьковской шутки, развернул. Нет, бумага настоящая, из штаба полка. Федьков откомандировывается в первый стрелковый батальон.

— А лычки твои где? — Прохоров остановил взгляд на погонах Федькова. — Ты ж младший сержант?

— Временно рядовым

— Как это понимать?

— Очень просто. Зачем в одном отделении два сержанта?

— Ишь, скромница! А все ж — почему тебя к нам благословили?

— Эх! — Федьков сбил шапку совсем на затылок и, ловко скрестив ноги, сел. — Откровенно заявляю — через фрица пострадал!

— Неужто? — переспросил Прохоров. Солдаты, любопытствуя, сдвинулись поближе. Только Плоскин продолжал похрапывать в стороне.

— Через фрица, как есть! — скорбно вздохнул Федьков. — Еще в Будапеште влип. Не слыхали разве? Взяли мы двух язычков, ведем их, я старший — все чин чинарем. И вдруг встречаем левого соседа разведчиков. У них такая же задача, только не обломилось им, насчет языков-то... Увидали наших фрицев, просят: «Дайте одного!» А мне что, жалко? Я им в порядке взаимной выручки уступил — того, что на вид попроще. А они за то — две фляги спирту, нам в самый раз! Намерзлись, ночь по снегу елозили. Сдали мы своего язычка в штаб. Порядок. А через день требуют: Федькова к командиру полка, лично. Ну, думаю, насчет награды! Являюсь в полном порядке к подполковнику Бересову. А он — никакой ла-

сковости. Спрашивает: «Почем языки?» Я — вроде не понимаю. Тут начал он меня шлифовать: «Ты, говорит, соседям стоящего пленного за спирт продал, а своему полку самого никчемного фрица оставил, который ни бе ни ме. Над нами, говорит, теперь вся дивизия смеется!» Ну и пошел меня нарезать! Все мои чепэ припомнил.

— А много их у тебя? — полюбопытствовал Прохоров.

— Имеются!.. Продраил меня со щелочью, потом говорит: на пользу делу откомандировываю тебя в батальон. Спасибо писарю, — Федьков подмигнул лукаво,— сюда направление выписал. Мы же с вашим комроты, старшим лейтенантом Белых, вместе в разведке служили.

— Чего ж ты только сейчас заявился?

— Да я уж думал — обойдется, забудет Бересов про меня. А сегодня на марше на глаза ему попался, он меня — мигом сюда. Памятливый! Так что зачисляй, товарищ сержант.

— А ты что, будто в гости, налегке пришел? — Прохоров окинул Федькова взыскательным взглядом. — Где вещевой мешок? Гранаты, лопата? И цепка эта... — Прохоров покосился на кинжал.

— Не беспокойся, товарищ сержант. Что надо — Федьков себе достанет.

— Смотри. Оруженосцев тебе не будет. Подъедет обоз — получишь у старшины что положено.

— Слушаюсь! — с неожиданным смирением ответил Федьков.

С первого же часа ссориться с новым своим командиром он не хотел. Но в душе смотрел на Прохорова хотя и дружески, но свысока: подумаешь, строгости! Все равно скоро лычки вернут и — в разведку: разве она без Федькова обойдется?

Вытащил трофейный портсигар с замысловатым вензелем на крышке.

— Кому голландский? Раскуривай! В наступлении новым разживемся.

— Ты вже знаешь, наступать будемо? — спросил Опанасенко.

— Разведке все известно!

Все, завернув на пробу федьковского, дружно задымили.

— А як, разведка, ты разумиешь? — снова спросил Опанасенко. — Чи кончим мы войну в цим роци, чи ни?

— Кончим! Гарантию даю. Я уже своим корешам на завод написал: вернусь — женюсь!

— А невеста?

— Найдем! Мне от двенадцати дев Федосеич письма возит, не считая старых знакомых. Выберу из них любую. А может, и не из них. Невест хватит!

— Погодь! — прервал Опанасенко. — Вот шо в том парламенте, в газетке я бачил, к терпению зовут? Вроде ще сколько годов воевать.

Федьков выпустил изо рта замысловатое кольцо дыма:

— Те парламентщики рассуждают так: войну выиграть — надобны люди, средства, терпение. Пусть людей и средства другие дают, а терпение, так уж и быть, ихнее.

— Ты что, с ними беседу имел? — спросил Снегирев.

— Премьер ихний мне звонил.

— А маршал Конев тебе не звонил?

— Не докладывали. А что?

— Узнать бы, куда нас?

— Я ж говорю — наступать!

— И немец, слышно, наступает... — Снегирев повел рукой с дымящейся цигаркой. — Интересно, зачем Гитлер здесь своих фрицев снова вперед гонит? Ему бы под Берлином дай бог оборониться...

— От Германии наших оттягивает, — высказал свое мнение Прохоров. — Так я предполагаю.

— По-научному — гипотеза, — поспешил пояснить Федьков. — Вот я...

Никто не заметил, что возле остановился проходивший мимо майор Понедельный, заместитель командира полка по политчасти. Совсем еще молодое, широкоскулое, со следами давних оспин лицо Понедельного выражало и любопытство, и некоторое лукавство: увлеклись разговором и его не видят.

— Обожди, гипотеза! — перебил Федькова Прохоров: он наконец заметил замполита.

— Нет, пусть выскажет! — улыбнулся Понедельный — оспинки на его щеках словно разбежались.

— Я только в своем масштабе. — Федьков кивнул на Снегирева и Прохорова. — А им желательно на всю стратегию.

— И верно... Товарищ майор! — попросил Прохоров, — может, вы знаете: всерьез немец пошел или так, для виду?

— Всерьез, — оспинки на лице Понедельного словно потемнели. Он подсел к солдатам. — Как бы вам объяснить... Дайте котелок, что ли!

Прохоров подал.

Достав карандаш, замполит перевернул котелок вверх дном, обвел карандашом вокруг:

— Это, к примеру, Венгрия.

— Котелок, значит, шар земной, — не замедлил вставить Федьков.

— Дунай. — Замполит провел карандашом вертикальную линию — графит оставлял на темном от давней копоти дне котелка отчетливый серебристый след.

— Будапешт. — В верхней части линии замполит ловко вывел кружок.

— Озеро Веленце... — Ниже кружка, чуть левее линии Дуная, карандаш вычертил небольшой овал.

— А вот тут, юго-западнее Веленце, — озеро Балатон. — Ниже и левее первого овала под карандашом появился второй, чуть побольше, вытянутый наискось, похожий на колбаску.

— Дуже большое? — полюбопытствовал Опанасенко, заглядывая в чертеж.

— В длину полсотни километров, — пояснил замполит. — Для мадьяр — вроде как море. А вот — река Драва. — Ниже овала, обозначающего Балатон, замполит провел горизонтальную линию, примыкающую к вертикальной. — В Дунай впадает. По ней фронт.

— А где же наше отделение? — Федьков с нарочито озабоченным лицом воззрился на котелок.

— А вот, — замполит ткнул карандашом между двумя овалами, между Веленце и Балатоном. — К сожалению, персонально вы, товарищ Федьков, не обозначены. Масштаб мал.

— Хведьков — он с другой стороны котелка обозначится, когда кухня придет, — счел своим долгом разъяснить Опанасенко.

— Видите? — продолжал замполит. — Если немцы здесь, между озерами, двинут на нас — значит южнее на Драве нашим, чтобы в мешок не угодить, — задний ход давать. А куда? Сзади — Дунай! Отбросит немец за него — опять форсируй, заново наступай. Гитлеру, глядишь, какая ни есть — отсрочка.

— А может, здесь Гитлер не ради отсрочки? — усомнился Снегирев.

— А ради чего же? — испытующе поглядел Понедельный. — Растолкуй, товарищ ротный парторг.

— Да как сказать, — Снегирев замялся, задумчиво тронул свой короткий, черный с проседью ус. — Впрочем, соображение высказать могу...

Замполит подвинул ему котелок, протянул карандаш.

— Нет, я по своей! — Снегирев вытащил из-за пазухи затрепанный, сложенный в несколько раз лист и развернул его на котелке.

— А, еще та карта! — узнал Понедельный.

Эту маленькую карту Европы подарил Снегиреву зимой прошлого года мальчонка из села около Корсунь-Шевченковского, когда там покончили с окруженными немцами. Хлопчик первым долгом откопал зарытые им учебники. Три года лежали они в земле: за любую советскую книжку, обнаруженную в хате, грозила кара. Грустно было Снегиреву глядеть на того мальца: у Снегирева младший — вот такой же, белесый, вихрастый, в шестой ходит. Когда стали собираться снова в поход, хлопчик спросил: «А маете вы, дядю, карту, щоб до неметчины дойти?» И, узнав, что нет, решительно выдрал карту из учебника, заставил взять...

Снегирев помедлил секунду:

— По-моему, ради здешних мест Гитлер к Дунаю жмет.

— Скажешь! — возразил Прохоров. — Неужто ему Венгрия Германии дороже?

— Смотрите! — Снегирев черкнул по карте проволочкой. — Не отпихнет нас Гитлер за Дунай — мы все народы по Дунаю от фашизма освободим. Отпихнет — союзники раньше нас в эти места придут. — Аккуратно сложил карту. — Вот Гитлер, поди, и смекает: Берлин — шут с ним, войне все одно капут. А не пустит нас в эти страны — может, что-нибудь с союзников выторгует.

— Да ты, товарищ Снегирев, дипломат! — рассмеялся замполит.

— Чего в дипломатию забираться? — Прохоров забрал котелок. — Наше дело солдатское.

— Потому и забираюсь...— Снегирев спрятал карту.— Моя дипломатия простая: поспешать. Бить Гитлера, где ни попадя, пока с союзниками не сойдемся.

— Бить надо, а поспешать обождем пока, — замполит поднялся. — В обороне нам стоять. И крепко.

— Эге ж! — сказал Опанасенко, когда майор ушел.— Не позычить ли тебе, Хведьков, мою лопатку?

Под солнышком, после ночи похода, размаривало. Докуривали цигарки. Постепенно затихал разговор, кой-кто и придремывал уже. Снегирев, лежа в стороне от остальных, вертел новую самокрутку. Недавний разговор не по-обычному всколыхнул душу. И в памяти всплыло давнее-давнее: эшелонная теплушка — «сорок человек, восемь лошадей». Плакат: «Разгромим Деникина!». Вокруг железной печки — бойцы, всякой нации народ: и свои русские, и мадьяры из военнопленных, и еще какие-то. Даже два китайца было. Комиссар в кожаном картузе, с газетой — газета рыжая, на оберточной бумаге. Рассказывает: в Венгрии — Советы, но Антанта на нее со всех сторон наступает. Один мадьяр вскочил: пусть на родину отправят, революцию защищать! Комиссар ему: «А мы ее и здесь защищаем!»

Тянулись цепочкой мысли: «Те мадьяры за нас воевали. Мы теперь — за них... А с союзниками скоро соединимся, и все — мир!»

Не хотел Снегирев растравлять душу сомнениями. И не могло быть в мыслях у него даже, что, может быть, та же рука, которая в прошлом году вкладывала в генеральский портфель бомбу с расчетом ухлопать фюрера, чтобы не помешал сговориться с англичанами и американцами, может быть, та же рука чертит сейчас на картах германского генерального штаба стрелу балатонского наступления.

«А ведь нас и в самом деле в оборону ставят!» Снегирев обратил внимание: неподалеку тесной кучкой собрались офицеры — свои полковые и казачьи. Положив планшет на колено, пишет что-то, наверное, акт о сдаче-приемке участка, казачий майор с лихо закрученными усами, в короткой синей бекеше.

А лейтенант Галочкин, командир взвода, тот в сторонке. Стеснительный, к офицерскому званию еще не привык. Сидит, что-то в книжечке своей опять пишет. А какая у командира взвода отчетность может быть? Чудной он немного. На привале почти всегда так. Все уморятся, спят, а он либо похаживает в стороночке, будто ищет чего, либо, как сейчас, в книжечку пишет... Только что из тыла лейтенант, из училища — каков-то он в бою окажется? Бывает: получит такой мальчик погон со звездочкой — и петухом смотрит на всех, кто званием ниже. А этот — нет. Солдат уважает... А поле-то здесь на случай боя неудобное. Как на ладошке будешь виден. Неуютная местность. Но, может, не долго придется постоять?

Пехотные и казачьи офицеры, сидевшие тесной кучкой, встали и разошлись: формальности по передаче и приему участка обороны были окончены.

Поднятые командой, строились бойцы. Один за другим взводы и роты уходили к разбросанным по степи окопам, из которых уже выбрались казаки. Увел на отведенную позицию свой взвод и лейтенант Галочкин. Но отделение сержанта Прохорова не пошло вместе со всем взводом — оно получило назначение в боевое охранение.

Больше всех этому обрадовался Федьков:

— БеО, — это все равно что разведка! Глаза и уши!

— Верно, — добавил Прохоров. — Только придется тебе и ручки потрудить. Отрыть окоп, чтоб было куда глаза и уши девать.

Плоскин, извлеченный сержантом из объятий сна — отделение уже строилось, — нахлобучил свалившуюся во сне шапку и, узнав, куда идти, приосанился, отчего и при невеликой своей фигуре мог бы показаться рослым, заявил бодро:

— Почет нам! — Но тут же осведомился: а надолго ли и в самом ли деле впереди не будет никого из своих?

Пришел связной от лейтенанта показать, где отделению занять позицию. Следом за связным двинулись цепочкой мимо оставленных казаками траншей, в которых уже обосновывались бойцы: углубляли, подравнивали брустверы, обновляли маскировочную дернину, ставили пулеметы. Начиналась хлопотливая и не очень-то любезная сердцу солдата жизнь на рубеже обороны, когда

сколько ни рой, сколько ни строй — все мало: дооборудуешь окопы — соединяй их в траншеи, кончил траншеи — копай ходы сообщения, завершил ходы — блиндажи сооружай... И, кажется, нет конца этой работе. В походе куда веселее.

* * *

Недлинный еще мартовский день подошел к концу. Помощник начальника штаба полка капитан Гурьев возвращался с передовой. Он только что проверил, все ли подразделения заняли указанные им позиции, составил схему расположения. На первый случай все готово. Но где наступающий противник? Казаки, спешно переброшенные сюда два дня назад, его так и не дождались. Не обнаружили и разведкой, которую вели далеко впереди.

Под ватник забиралась предвечерняя прохлада. Солнце, выдав земле нещедрую в эту пору долю тепла, шло на покой, все быстрее опускалось к ровной линии горизонта. Гурьеву хотелось засветло добраться до селения, где обосновался командный пункт полка: надо успеть отправить в штаб дивизии схему только что занятых боевых порядков. Есть и другие неотложные дела, они не переводятся у пээнша.

Должность пээнша, пожалуй, самая беспокойная из всех офицерских должностей в полку, хотя и не весьма заметная: за успехи хвалят, а за неудачи ругают обычно командиров, а не штабистов. Но быть пээнша — куда хлопотливее, чем просто командиром. Некоторые офицеры по неведению завидуют: сидишь де в штабе, ночуешь всегда под крышей. Пээнша же завидует любому командиру подразделения: тот получил задачу, расположил бойцов как велено и спокоен до получения нового приказа. А помначштаба? Обобщи данные о боевых порядках, проверь взаимодействие и связь, постоянно знай обстановку и умей в любую минуту дать ответ на любой вопрос. Позже других офицеров получает пээнша возможность отдохнуть. Да и спит-то он всегда с телефонным аппаратом возле головы, и будят его ночью чаще, чем кого-либо другого — то звонком «сверху», из штадива, то «снизу», с передовой. Первого в полку подымает его поступивший боевой приказ. И днем и ночью, и

в бою и в затишье — в любой час, везде и всегда — не прекращаются его дела.

Нет, не стоит завидовать помощнику начальника штаба...

Частенько не без сожаления вспоминал Гурьев о недавнем времени, когда служил еще не в штабе полка, а в батальоне — сначала на штабной работе, а потом комбатом вместо капитана Яковенко, отстраненного за провинность. Недавно Яковенко вернулся, и Гурьева перевели на его теперешнюю должность.

Земля и небо уже приобрели тот сиренево-розоватый оттенок, который скорее чувствуешь, чем видишь за несколько минут до того, как уже не слепящий, налитый мягким густо-алым светом солнечный круг нижним краем коснется горизонта и в тот же миг станет расплывчатым, неясным...

Вместе с вечерней прохладой на Гурьева наползало чувство легкой, бестревожной грусти, которое в последнее время все чаще охватывало его в минуты, когда он оставался наедине с самим собой и, хотя бы на миг — а это случалось так редко! — отрешался от беспрестанных служебных забот. Всегда в такие минуты всплывают мысли о Лене, и стоит только зажмуриться, видит он ее большие, темно-карие, всегда что-то спрашивающие глаза... В первые военные годы Лена оставалась в маленьком сибирском районном городке, где они, незадолго до войны вместе кончив институт и вскоре поженившись, учительствовали в одной школе: он преподавал историю, она — русский язык. В прошлом году Лену, по ее просьбе, послали на работу в один из освобожденных районов. Она писала, что захотела быть хоть как-то поближе к нему. Теперь директорствует в школе одного из донбасских поселков. Но повидаться им пока нет, конечно, никакой возможности.

В третий раз наступает весна с той поры, как они в разлуке. Редко, всегда с большим опозданием приходят письма — полевая почта не поспевает за наступающими. Уже больше месяца нет весточки. Да много ли узнаешь, если и получишь? Письма коротенькие, на одном листочке. А в начале войны в каждом было помногу страниц, исписанных ее неровным, не по-женски угловатым почерком. Рассказывала о своих тревогах, заботах, о том, что тоскует. Теперь почти не пишет об этом — обтерпе-

лась, расстраивать не хочет? Не до того ей, чтобы помногу писать — работы по горло, жить трудновато.

Нет, не винил Гурьев Лену, что последнее время так скупы ее письма. И даже в разлуке считал себя счастливым. Вся их довоенная жизнь, жизнь, в которой, как и во всякой, даже ладно сложившейся семейной жизни, бывали свои столкновения и обиды, казалась ему теперь сплошным, без единого пятнышка, счастьем — память сердца хранила только хорошее. Истосковавшийся по Лене, он видел ее сейчас созданной только из достоинств, теперь ему было мило все в ней.

Слегка тревожась, что уже почти месяц от Лены нет вестей, Гурьев невольно припоминал предыдущие ее письма. Старался по ним представить, как сегодня, в этот вечер, в эту минуту живет она, что у нее на душе... И радость, что она существует, печаль, что он не может быть сейчас вместе с ней, тревога оттого, что давно уже ничего не знает о ней, наполняли все его существо сейчас, как и всегда, когда приходили мысли о Лене. И хотелось верить: «А ведь скоро будет письмо».

* * *

Несколько дней назад, в сырую и хмурую ночь с пятого на шестое марта, гитлеровцы, пробивая себе дорогу артиллерийским огнем, форсировали юго-западнее озера Балатон приток Дуная — Драву, по северному берегу которой держали оборону болгарские и югославские войска.

Немцы имели большой численный перевес. Болгары и югославы, теснимые от реки, оставляли рубеж за рубежом. Но уже к утру на выручку подоспели полки Третьего Украинского фронта. Противника отбросили обратно за реку.

Был ли неожиданным для нашего командования этот ночной удар? Чего хотел достичь враг рывком через Драву?

В феврале, после взятия Будапешта, войскам Второго и Третьего Украинских фронтов открылась, казалось бы, прямая дорога наступления — в Австрию, на Вену и дальше, к юго-восточной границе Германии. После будапештской победы сердце каждого бойца горело полным накалом наступления — давай на запад, за Дунай,

через венгерскую степь, к Альпам — вершины их на марше уже искал солдатский глаз.

И вдруг приказ: врага не преследовать, остановиться. Удивился солдат: передышка? А зачем? Жми вперед, пока немец опомниться не успел. Тылы отстали? Так не впервой — прокормишься по «бабушкину аттестату» да трофеями.

Но приказ есть приказ. Остановился солдат, взялся за лопатку. Догадывался: встали неспроста. Но в чем суть — не ведал еще. Не сразу узнаёт рядовой то, что уже знают генералы.

Командованию было известно: после разгрома в будапештском «котле» Гитлер приказал перебросить к озеру Балатон несколько новых соединений в дополнение к немецким и салашистским[1] войскам, уже действующим на этом участке фронта.

Это не могло не насторожить.

Гитлер слал к Балатону дивизию за дивизией. Он брал их с западного фронта. Там американские и английские генералы не очень-то охочи были беспокоить немцев после того, когда те зимой в Арденнах танковым кулаком отбросили экспедиционные армии чуть ли не к Парижу, — отбросили бы и дальше, не начни тогда советские войска, для выручки союзников, наступать.

Перебросил к Балатону Гитлер немало дивизий и с итальянского фронта, где американское командование тоже не спешило с наступлением: в швейцарском городе Берне оно вело, тайком от советского союзника, переговоры с врагом, надеясь, что тот откроет фронт, даст американским и английским войскам дорогу на Балканы.

Германское верховное командование стягивало к Балатону войска не только с запада и юга, но и с центрального участка восточного фронта, не останавливаясь перед риском ослабления обороны на подступах к Берлину.

Что заставляло Гитлера так усиливать балатонский участок фронта?

Конечно, Гитлер имел основания опасаться: новый удар, который могут нанести в Венгрии советские войска, окажется для него роковым. После своего поражения в

---

[1] Са́лаши — фашистский главарь, в последний период войны объявленный гитлеровцами правителем Венгрии.

Будапеште немцы потеряли весьма выгодный для них рубеж Дуная. Еще раньше, в январе, советские войска вышли на юго-восточный берег Балатона. Германский главный штаб предугадывал: готовится новый удар и, возможно, хотел предупредить его встречным ударом.

Стянутые к Балатону германские дивизии были в большинстве свежими, сформированными главным образом осенью сорок четвертого года, еще не битыми. Боевой дух солдат этих дивизий не был так подпорчен, как у солдат тех дивизий, которые получили изрядную выволочку на восточном фронте. Некоторые из этих новых дивизий сами месяца полтора назад во Франции били англичан и американцев.

Под Балатоном были собраны вновь пополненные самые именитые соединения гитлеровской армии: мотодивизия СС «Райхс фюрер», танковая дивизия СС «Адольф Гитлер», танковая дивизия «Райх», дивизии «Викинг», «Гитлерюгенд» и другие. Из этих эсэсовских дивизий была сформирована полнокомплектная танковая армия, оснащенная самыми мощными машинами: «королевскими тиграми», «пантерами» и «фердинандами», а также и последней новинкой германской техники — управляемыми на расстоянии, действующими без экипажей самоходными установками, предназначенными для подрыва минных полей и огневых точек. Всего близ Балатона было собрано в кулак пятнадцать готовых к бою дивизий, из них только три пехотные, остальные — танковые или моторизованные.

Триста десять тысяч солдат, тысяча шестьсот танков и самоходных орудий, более восьмисот бронетранспортеров, почти шесть тысяч пушек и минометов, около девятисот истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков — вот что стянул Гитлер со всех фронтов к Балатону. По количеству живой боевой силы, танков, бронетранспортеров немцы имели на этом участке фронта огромный перевес.

Гитлеровское командование, как об этом можно было догадаться, рассчитывало нанести советским войскам в районе озера Балатон три сокрушительных удара и тем самым коренным образом изменить обстановку не только в Венгрии, но и на всех фронтах — на западе и на востоке. В случае успеха Гитлер мог бы рассчитывать не только на ослабление натиска советских армий на Бер-

лин, но и на то, чтобы удержать в своих руках западные и южные районы Венгрии, где есть крупные военные заводы, нефть, продовольствие. Все это дало бы Гитлеру возможность еще некоторое время продолжать войну.

Становилось понятно: главный удар германское командование метит нанести бронированным кулаком между озерами Балатон и Веленце, всего в пятидесяти километрах южнее Будапешта. В танках на этом участке гитлеровцы имели шестикратное превосходство. Как стало известно советскому командованию, танковая армия СС должна была с первого рывка пробить в обороне брешь, оттеснить советские войска к Дунаю и сбросить их в него, затем круто повернуть на север, к венгерской столице, и фланговым ударом вдоль Дуная с ходу захватить ее.

Двумя другими ударами от Дравы немцы предполагали легко и быстро смять оборону болгар и югославов, разрубить левое крыло Третьего Украинского фронта и южнее Балатона тоже вырваться к Дунаю.

Уменье предвидеть дает преимущество в борьбе. Замысел врага был разгадан советским командованием еще до того, как начал осуществляться. Было решено: если гитлеровцы начнут наступать — измотать их в оборонительных боях, нанести им контрудар и только после этого, развивая успех, возобновить наступление на Вену.

Уже ночной бой на Драве показал, что наступление, так тщательно подготовленное германским командованием, может оказаться и не очень-то успешным, что внезапность и численный перевес — еще не гарантия победы. Однако германские генералы продолжали действовать неуклонно по заранее утвержденной диспозиции, ни на ноту не отступая от нее.

К концу дня шестого марта, несмотря на то, что стал уже совершенно очевиден провал немецкого наступления на Драве, эсэсовские танковые дивизии ринулись на оборону советских войск меж Балатоном и Веленце.

На каждую советскую противотанковую пушку, стоявшую на переднем крае, приходилось по нескольку вражеских танков, на каждый советский танк — по нескольку вражеских самоходных пушек, на каждый километр фронта обороны — около восьмидесяти машин. От удара

вражеского бронированного кулака в щите обороны образовалась вмятина. Однако проломить этот щит врагу не удалось: он сбил с передовых рубежей некоторые советские части, но продвинулся пока всего на один — два километра, да и то не везде.

Германское командование вводило в бой все новые и новые танковые силы. Советская артиллерия огненным бичом хлестала свирепое стальное стадо, но оно лезло напролом, грозило втоптать в землю бойцов, вставших в эти дни на венгерской земле насмерть, так же как стояли они когда-то на родной земле, под Москвой и Сталинградом. Обороняющиеся держались до последнего. Подкреплений почти не поступало. Командование вынуждено было беречь резервы.

Немецкий броневой кулак был уже порядочно обколочен: броня билась о броню, железо плавилось огнем. Все больше «королевских тигров» и «пантер», распластав сорванные гусеницы, чадя черным дымом, замирало в степи. Но все новые и новые чудища на гусеницах — только успевай — приходилось ловить в глазок орудийных панорам нашим наводчикам, в прорезь прицела — бронебойщикам.

На тех участках фронта близ Балатона, где еще было спокойно, и на том, куда в один из дней середины марта после ночного марша пришел полк Бересова, в любой час могли начаться такие же яростные бои...

Глава 2

БАУМБЕРГ НЕДОВОЛЕН

Степь уже была одета тьмой. По другую сторону «ничейной» полосы, занимавшей в ширину несколько километров, возвращался в свое подразделение оберштурмфюрер[1] Баумберг, еще недавно офицер личной охраны Гитлера, а теперь всего-навсего командир взвода полевой гренадерской[2] дивизии черного корпуса[3].

---

[1] Эсэсовское звание, соответствующее званию старшего лейтенанта.

[2] Гренадерскими в гитлеровской армии именовались пехотные части.

[3] Общепринятое в гитлеровской Германии неофициальное название войск СС.

Целый день тряслись в грузовиках по бесконечным дорогам. Предполагалось, что дивизию бросят для развития успеха в брешь, по слухам, уже пробитую танками в обороне русских. Но колонна машин, совершая, очевидно, обходной маневр, двигалась, судя по звукам доносившейся канонады, вдоль фронта, не приближаясь к передовой. К вечеру высадились. Вокруг лежала пустынная равнина. Офицерам сообщили: русские, перегруппировавшись, в десяти километрах южнее спешно размещают новые силы перед каналом, пересекающим дорогу на восток, к Дунаю. Приказано было дальше вести солдат пешим порядком в направлении селения, стоящего на скрещении канала и дороги. Только перед закатом переход был окончен.

Гренадерам и часа не дали отдохнуть: поступил приказ окапываться. Баумберг недоумевал: для какого дьявола? В этих местах по приказу фюрера для наступления собрано столько сил, что русские и опомниться не успеют, как будут отброшены далеко назад.

Баумберг считал, что ему повезло по сравнению с теми, кто уже побывал в мясорубке Восточного фронта: он попал на восток впервые только сейчас, когда начинается такое мощное наступление.

Повезло, да не во всем...

Час назад, как только пришли в назначенное место, Баумберга вызвал командир батальона и приказал: ночью его взвод, которому придается группа автоматчиков, должен внезапно атаковать одну из обнаруженных авианаблюдением позиций русских, отвлечь на себя их внимание и тем помочь действующей рядом разведгруппе захватить пленных.

Черт побери батальонного, который именно ему дал такую задачу! Ведь знает, бестия, что Баумберг не имеет фронтового опыта. Злорадствует, наверное: «Теперь ты такая же окопная крыса, как и мы».

Темнота сгустилась. Все более растворялись в ней очертания идущих впереди — автоматчика, сопровождающего Баумберга, и того, кого с рук на руки передали Баумбергу в штабе батальона: рядом с автоматчиком сутуло шагал некто в мешковатой, не по росту, русской шинели, в теплой шапке, какую носят советские солдаты. Над его плечом, едва различимое в темноте, покачивалось тонкое жало четырехгранного штыка. Этого

русского всучили Баумбергу «для выполнения особого задания». Черт побери штабных с их выдумками!

Остановившись, Баумберг с раздражением стряхнул с сапога землю, налипшую тяжелым комом. Проклятая фронтовая грязь!

...А давно ли все было совсем иначе. Теперь это — как далекий сон. Комфортабельные подземные помещения, где бомбежка почти не слышна. Отдельная комната со всеми удобствами, какие только мыслимы на двадцатипятиметровой глубине. Исполнительный ординарец, старающийся во всем угодить, лишь бы его не отправили на фронт. В неслужебное время — сколько угодно выпивки и девочки на выбор в вилле для отдыха офицеров, запрятанной в лесной чаще возле одного из бесчисленных озер в окрестностях Берлина. А общество, в котором он вращался? Не чета этим заскорузлым армейским сапогам, с которыми он вынужден жить бок о бок сейчас.

— Дьявол! — Баумберг споткнулся в темноте о кочку. — Таскайся ночью по этой венгерской пустыне, пропади она пропадом!

Нет, за что, за что с ним поступили так сурово? За все месяцы, прошедшие с того дня, как начался прошлогодний июльский путч, разве дал он хотя бы малейший повод усомниться в его верности фюреру? Разве тогда, прошлым летом, хоть раз дрогнула его рука? Как ему было приказано, он застрелил в приемной вызванного в ставку армейского полковника, не размышляя, заговорщик тот полковник или нет. Он расстрелял генеральшу — жену одного из путчистов и двух ее дочерей-подростков. Семьи заговорщиков казнили, как и самих заговорщиков. Вместе с другими подобранными для таких дел офицерами он совершил еще несколько подобных акций.

После того дня, когда в фюрера была брошена бомба, головы покатились одна за другой — и какие головы! А Баумбергу продолжали доверять. Ему доверяли до самого последнего дня, когда каждый из схваченных путчистов уже получил пулю в затылок, а их главари — крюк под подбородок в подземелье гестапо. Ему доверяли и позже. Еще в начале зимы он был в числе особо проверенных направлен для усиления личной охраны фюрера в его полевую ставку на западный фронт. Он помнит это совещание в замке Сконеберг, на которое Гитлер вы-

звал генералов перед арденским наступлением. Генералов привезли в закрытых бронемашинах, каждого в сопровождении двух чинов СС, и, отобрав оружие, портфели, по одному ввели в зал, рассадили одного от другого на расстоянии метра. В числе прочих офицеров охраны Баумберг стоял у стены с автоматом, готовый действовать по инструкции: стрелять при первом же подозрительном движении любого из генералов. Ему доверяли больше, чем генералам!

Конечно, естественно, что среди личного состава охраны фюрера после путча проведена основательная чистка. Но чем мог вызвать сомнение Баумберг? Да, его отец, командир отряда штурмовиков, был застрелен эсэсовцами, как сторонник Рема, в тридцать четвертом году, когда Карлу Баумбергу исполнилось пятнадцать лет. Карла отправили в специальный воспитательный дом. Там ему внушали: прегрешения отца он должен искупить верной службой фюреру. Карл изо всех сил старался доказать свою преданность, жаждал выдвинуться, занять такое положение, чтобы никто и никогда не посмел попрекнуть его отцом. Его направили в привилегированную офицерскую школу. Окончив ее, он получил назначение в черный корпус. Все годы, прошедшие с той ночи, когда лишился отца и дома, он старался заслужить доверие и заслужил. Сделал неплохую карьеру. И вот все полетело к дьяволу...

Впереди Баумберга в темноте едва маячили две молчаливые фигуры — одна в каске, другая в русской солдатской шапке. Баумберг старался не потерять их из виду, но шагал не быстро, а осторожно, боясь вновь споткнуться.

Холодок страха потихоньку вползал в него. Как-то обойдется с ним судьба в ближайшие часы? Не ждет ли его и в самом деле обручение со смертью? При мысли об этом Баумберг невольно, как бы рефлективно совершая уже ставший привычным за последние дни обряд, коснулся левой рукой массивного кольца на указательном пальце правой и ощутил знакомую выпуклость — череп. Как принято в черном корпусе, он носит такое кольцо — знак обручения со смертью: она не тронет обрученного. Так верят. Но не стал ли обрученный уже обреченным? Суровая невеста, как видно, спешит прибли-

звать его к себе. Не сегодня ли ночью она прикоснется к нему своей костлявой рукой и уложит рядом с собой? В двадцать шесть лет рановато вступать в этот брак. От жизни получено еще мало...

— Будь оно проклято! — выругался Баумберг: носок сапога зацепился за сухие спутавшиеся стебли.

Идущий впереди автоматчик оглянулся, остановился на миг, снова зашагал. Его спутник в русском обмундировании о чем-то спросил вполголоса, но автоматчик промолчал.

«Что за рожа у этого типа в русском?» — постарался припомнить Баумберг. Мелькнуло сомнение: «Можно ли довериться такому? Своих предал и нас, если случай, тоже предаст...» Будь воля Баумберга, он не взял бы этого русского. Однако приказ есть приказ. Вместе с этим типом лезть к дьяволу на рога... А кому все это нужно?.. В голову Баумберга уже не в первый раз с того времени, как он попал на фронт, полезли мысли, которых он боялся и никому и нигде не рискнул бы высказать вслух. Надо защищать фатерланд, остановить русских, уже надвигающихся на имперскую столицу. В добром старом немецком гимне есть великие слова: «Германия — превыше всего!» Разумно ли, что Баумберг и его солдаты посланы сражаться с русскими здесь, в чужой стране, а не на немецкой земле, чтобы отбросить их прежде всего от нее? Но такова воля фюрера, и все обязаны без размышлений выполнять ее!

Привычное чувство послушания придавило шевельнувшиеся сомнения, и Баумбергу стало спокойнее: легче жить, не ломая себе голову над теми вопросами, которых ты все равно не решаешь. Воля фюрера может порождать размышления только о том, как ее лучше выполнить... Для него, Баумберга, воля фюрера воплощена в приказе, который только что ему дан. Но с кем он будет выполнять приказ? Что за солдат он получил, приняв взвод! Впрочем, немудрено: дивизия хотя и укомплектована полностью, но кем теперь, на шестом году войны, можно укомплектовать? Полуинвалидами, вышедшими из лазаретов, уголовниками, выпущенными из тюрем, юнцами из гитлерюгенда, престарелыми тотальниками да набранными в разных странах «фольксдойчами», многие из которых даже по-немецки толком не говорят. На

кого из своих подчиненных Баумберг может по-настоящему положиться? Дивизия считается эсэсовской, но как мало осталось в ней таких солдат, которые достойны служить в черном корпусе. Можно ли положиться, например, на командира отделения Буша? Пожалуй, да, хотя он и не из настоящих СС. Зато Буш старый фронтовик. Имеет медали за Париж, за зимнюю кампанию сорок первого года, три знака за ранения. Отличный солдат. А вот какой получится из этого юнца Кассельмана? Он услужлив, из хорошей арийской семьи. Его отец — старый деятель партии, один из видных чиновников во Франкфурте. Наверное, мог бы при своем положении избавить сына-студента от тотальной мобилизации, но не стал этого делать — и вот семнадцатилетний бурш на фронте. Такие юноши из гитлерюгенда ревностны в службе. Кассельман ретив, пожалуй, даже чрезмерно. Каждый вечер по целому часу выкладывает, кто что во взводе сказал, кто по какому поводу позорчал. А не следит ли он и за своим командиром, хотя и смотрит преданными глазами? Возможно. Должны же быть в роте тайные осведомители полевого гестапо? Одним из них вполне может состоять и Кассельман. Впрочем, что он может о Баумберге донести?

...А на кого можно положиться во взводе еще? На развалину Шинке? Ох, эти тотальные вояки! Ну как брать Шинке в ночные действия? Да он своим кашлем и вздохами предупредит русских раньше, чем удастся приблизиться к ним! Или потеряется где-нибудь в темноте, а за него потом отвечай. Обойтись бы без этой старой песочницы... Но Шинке все-таки немец. А вот такие типы, как этот подозрительно молчаливый поляк Корецкий? Не зря предписано за всеми поляками вести особое наблюдение. Последнее время многие из них перебегают к русским при первой возможности. А приятель поляка — француз Дадье? Черт побери, и француз зачислен в арийцы! Тоже смотрит косо... Пожалуй, следует поручить Бушу особо приглядывать за этими двумя. Жаль — таких, как Буш, во взводе совсем мало. А считается, что полк укомплектован отлично, специально для наступления. Численно укомплектован. А качественно? Если такие, как Шинке, поляк и француз, — лучший материал, то, спрашивается, что такое худший?

* * *

...Суббота. Шинке дома. Он только что закрыл мастерскую, или, как гласят золотые буквы солидной вывески, «Бюро по ремонту часовых механизмов Фридриха Шинке». В помещении «бюро» не без труда умещается сам Шинке, и может туда втиснуться еще один клиент, если он не слишком крупной комплекции.

У Шинке уже сидит гость, являющийся каждый субботний вечер, его старинный приятель Август Киршбаум, или «папаша Клаузевиц», — так прозвали Киршбаума посетители его табачной лавочки за любовь к военным прогнозам.

Кроме любви к стратегическим прогнозам, которая за последнее время стала так заметно остывать, папаша Клаузевиц имеет пристрастие к анекдотам. Их он рассказывает только Шинке. Всякую субботу он приносит новый. Вот и сейчас он сидит за столом напротив и рассказывает нарочито бесстрастным голосом, с многозначительными паузами, затягиваясь из трубки с длинным изогнутым мундштуком и фарфоровой чашечкой, расписанной голубыми цветочками:

— Одна фрау говорит другой: «Как печально, что мой муж похож на фюрера». — «Почему же? Ведь это такая честь!» — «Да, но теперь муж боится выходить из дому...»

«Не дай бог, если кто-нибудь услышит это», — пугается Шинке. Кто-то трясет его за плечо. И тотчас же Шинке ощущает под собой стылую землю, а над собой видит в темноте крупную фигуру Буша:

— Вставай!

...Шинке, отвернув поднятый воротник шинели и поправив глубоко нахлобученную фельдмютце[1], кряхтя поднялся. Неужели это был только сон: насиженное кресло, теплая комната, Киршбаум. Ох, как заломило поясницу... Сейчас бы грелку... О, эти русские! Сколько из-за них приходится переносить старому Шинке! Если бы не зашли так далеко, Шинке на старости лет не сделали бы гренадером. И ему на старости лет не пришлось бы изведать, что такое сон на холодной земле,

---

[1] Солдатская шапка.

свирепые военно-полевые вши и полная походная выкладка.

Забросив за плечи ремень винтовки, Шинке уныло поплелся вслед за Бушем.

По приказанию оберштурмфюрера, только что вернувшегося из штаба, Буш разбудил всех солдат. Через несколько минут они, сонные и злые, уже шли по полю.

А вскоре спереди была передана команда: развернуться в цепь и залечь.

...Как было приказано, лежали попарно: Буш — с Дадье, Шинке — с Корецким. Кассельман, по своему положению ординарца оберштурмфюрера, держался возле него, чуть позади остальных. Вблизи Баумберга находился и тот, в русской шинели.

Баумберг ждал. Как только от разведчиков, которые должны уточнить, где передовые русские позиции, придет связной, Баумберг даст команду продвигаться дальше. Перед русскими окопами гренадеры снова залягут и по следующей команде подымутся для броска...

«Удастся ли атака? Останешься ли ты жив?» — эта мысль томила сейчас каждого лежащего в цепи.

Томила она и Буша; в который раз за службу он подставляет свою шкуру под пули? Будет ли бесконечно добра его солдатская фортуна? Или у нее на седьмом году войны иссякнет терпение? Сколько его товарищей, вместе с которыми он впервые надел мундир в тридцать шестом, ушли в вечный отпуск... А он — трижды продырявлен, но жив, и вот теперь, после лазарета, угодил в эсэсовскую часть. Может быть, и для него сегодняшний бой окажется последним? Впрочем, такая мысль приходит перед каждым боем.

Шорох рядом привлек внимание Буша. Это возится суетливый француз, все никак не может устроиться на месте.

— Тише, Дадье! — бросил Буш резким шепотом.

Но француз, кажется, и не расслышал. Мыслями он был сейчас не здесь, в ночной венгерской степи, а дома, в солнечной Пикардии, в своей деревне близ Амьена. Летом сорокового, после долгих месяцев нудного сидения в окопах, все вдруг кончилось так неожиданно быстро... Боши прорвали фронт, полку Дадье было приказано отходить, не вступая в соприкосновение с противником. Говорили: это — необходимый маневр, бои еще развернутся.

Но кончилось тем, что солдат, зачитав им приказ о капитуляции, распустили по домам. Как обрадовались Жанетта и ребятишки, когда увидели его живым и невредимым! Но плохо, что боши пришли в деревню раньше, чем туда вернулся Дадье. При бошах, известно, не сладко. В деревне помнят, что они творили в прошлую войну, да и то, что было в семидесятом году. Дадье жил и терпел, хотя часто, когда какой-нибудь пруссак заглядывал к нему во двор, чесались руки стукнуть незваного гостя по башке — уж очень осточертели с разными поборами. А потом дело дошло до худшего. Дадье вызвали к мэру. Рядом с мэром за столом сидел немецкий комендант. Он предложил на выбор одно из двух: или его жену отправят на работу в Германию, или сам Дадье пойдет служить в рабочий батальон немецких войск. Дадье выбрал последнее, чтобы спасти Жанетту, детей и хозяйство. Рабочий батальон строил дороги и мосты в прифронтовой полосе. Не хотелось работать на врагов, но что Дадье мог поделать? За четыре года он побывал со своим батальоном в Польше, в Белоруссии, на Украине. Три месяца назад, когда прокатился очередной вал тотальной мобилизации, из рабочего батальона всех, годных к строевой службе, отправили на фронт для пополнения потрепанных частей. По документам Жак Дадье числился уроженцем Саара: когда-то, еще до первой войны, его отец ездил туда на заработки, женился там на саарской француженке и привез с собой в амьенскую деревню ее и маленького Жака. «Ваша родина — Германия», — сказали Дадье и направили его в часть. И вот бывший солдат французской армии Жак Дадье воюет вместе с бошами, которых он теперь ненавидит еще больше, чем прежде. Сбежать? Но что тогда сделают с Жанеттой? Ему хорошо известно, как нацисты поступают в подобных случаях.

О том, чтобы сбежать, втайне подумывал и приятель Дадье — Юзеф Корецкий, лежащий сейчас поблизости от него. Когда фашисты пришли в его родные Каттовицы, при очередной перерегистрации и проверке Корецкого записали лицом немецкой национальности. Как это получилось — он и до сих пор не понимает: в их роду, насколько он помнил, не было ни одного немца. Может быть, его стали считать лицом немецкого происхождения по той причине, что девическая фамилия матери

походила на немецкую? Но с таким же успехом эту фамилию можно посчитать и еврейской... Что поделать? Если тебя назвали «фольксдойче» — осмелься, откажись. Ну, а раз ты «фольксдойче» — хочешь не хочешь служи их фюреру. И вот честный польский шахтер Юзеф Корецкий уже третий год носит ненавистную ему германскую шинель... В Каттовицах остались старуха мать и сестра. Если бы не они — давно бы Юзеф оказался на той стороне и сбросил бы к дьяволу германскую форму. Впрочем, сделать это не просто. Он примечает — за ним постоянно следят. Вот и сейчас между ним и дружищем Дадье — можно догадаться по запаху — Шинке, этот катаральный гренадер. От него, как всегда, разит порошком против вшей — Шинке еще не привык к солдатской жизни и боится их панически. Как только он сам не сдох от этого порошка, который сыплет в свою обмундировку в неимоверном количестве? И удивительно, как это у него сегодня вечером живот не разболелся, когда приказали выступать? Про таких, как Шинке, справедливо говорят: их боевой дух снисходит до кальсон... На него, на Корецкого, Шинке смотрит свысока: «Ты сомнительный «фольксдойче», а я — истый ариец, ты простой шахтер, и твой удел — рыться в угольных норах, а я мастер-художник, понимающий душу часов...»

Мимо Корецкого кто-то прошел согнувшись. Он успел разглядеть темный нескладный силуэт: тот странный русский. Зачем его взяли? Перебросить на ту сторону? Как он может идти против своих? Однако ведь и он, Юзеф Корецкий, если разобраться, тоже идет против своих. Нет, разница...

Дойдя до Буша, русский лег возле. Так ему было приказано. Буш покосился.

Русский вполголоса спросил у Буша на ломаном немецком языке: скоро ли?

Буш не ответил, молча отвернулся. Противен ему этот. И не потому, что русский. Буш лично для себя не видит разницы между русскими, французами, англичанами, за исключением одного — что с русскими воевать труднее. Русские, французы, англичане, американцы — для него все это объединяется одним понятием — противник, сражаться с которым он обязан. Он не мог бы поступить так, как поступил в ночь на двадцать второе июня сорок первого года, когда полк вывели к русской

границе близ Львова, его друг по службе Генрих Шехтер, до призыва — линотипист в Лейпциге. В ту ночь Шехтер исчез. Буш полагал, что Шехтер дезертировал. Впрочем, возможно, что его ночью взяло гестапо. Буша несколько раз допрашивали: было известно, что он и Шехтер дружили еще с боев во Франции. Буш не сказал на допросе о том, что Шехтер говорил ему: война не нужна. Буш понимал: скажешь — пожалуй, самого притянут к ответу, почему не донес раньше о подрывных речах. В глубине души Буш еще тогда, в сорок первом, сомневался, стоило ли начинать войну против такой огромной страны, как Россия. Еще больше сомневается теперь, на седьмом году: можно ли кончить войну так, чтобы Германия осталась непобежденной. Однако, несмотря ни на какие сомнения, он остается и до сегодняшнего дня верен дисциплине: солдат обязан служить отечеству и не имеет права нарушать присягу. Именно поэтому Буш не может относиться хорошо к тем русским, которые почему-то не остались в лагерях для военнопленных, а служат ездовыми, шоферами, саперами. Иногда даже заградительные отряды состоят из таких: взятые в плен немцами, эти русские следят, чтобы немецкие солдаты в трудную минуту не оставили позиций. Это уже совсем оскорбительно.

* * *

...Баумберг посмотрел на часы. Вполголоса позвал:

— Кассельман! Скажите русскому: пора! — и предупредил: — Не отставайте от него ни на шаг. Следите, чтобы не удрал.

— Будет исполнено, господин оберштурмфюрер!

Кассельман обрадовался распоряжению: наконец-то он сможет показать себя.

...Одетый в русскую шинель вздрогнул: долговязый немец, тот, что все трется возле офицера, подбежал, лег рядом, молча толкнул в плечо. Значит, уже — время... Долговязый так близок, что краем шлема задел щеку. Вплотную придвинулось его узкое лицо. В темноте под шлемом видны только тонкие губы да длинный, похожий на ребром поставленную линейку нос, а там, где глаза и лоб, — сплошное черное пятно. Снова толкает в плечо, сердито шепчет что-то.

— Ладно! — ответил неожиданно для самого себя по-русски. Подхватив винтовку-трехлинейку на правую руку, медленно пополз. Долговязый, слышно, ползет следом, не отстает ни на шаг... Оглянулся — злость колыхнулась в сердце: боится, чтоб не утек? — и нарочно, назло, пополз медленнее. «Для какой радости стараешься? — камнями ворочались мысли. — А что? Взять, крикнуть: «Товарищи! Здесь немцы!» — и в сторону! Нет, боязно... «А вот не двинусь дальше!»

Сзади дернули за полу: остановиться!

...Сколько еще лежать, а потом снова ползти? На оклик впереди велено отозваться: «Свой!» Он отвлечет внимание на себя, а немцы тем временем подползут и бросятся вперед. А что будет потом с ним? «Эх, что ты есть сейчас? Поросенок, которого в лесу за ногу к дереву привязывают, чтобы волка под выстрел заманить!..»

Страх гнал вперед, и страх же сковывал ноги. И клял он себя, что нет сил вырвать душу из рабства страха...

Четыре года назад, в первом же бою, страх закрыл его глаза и поднял его руки, когда он увидел идущих по полю прямо на него немцев. В лагере, где почти не кормили, испугался голодной смерти. Когда пленным предложили немецкую службу, он один из немногих согласился. Его сделали повозочным. В сорок третьем летом, во время немецкого отступления, стал подумывать: надо отстать, спрятаться. Другие обозники, служившие вместе с ним, собирались поступить так же. Немецкие обозы потянулись на запад. Он все не решался: а вдруг поймают? А как свои встретят? Правда, в сброшенных советскими самолетами листовках, которые иногда он тайком подбирал, говорилось: переходящих обратно — не карают. Но все-таки не осмелился. Его товарищи, прихватив с повозок автоматы и патроны, ушли в лес без него. Он боялся: вот их поймали, допрашивают в гестапо, и они рассказывают, что и он собирался уйти вместе с ними. Он мог бы сбежать и потом, но побоялся. Остерегаться всего привык он с детства. Таким его невольно воспитала мать, хотевшая уберечь сына от всего дурного. Она учила его бояться палящего солнца, дождя, ветра, мороза, собак и гусаков, трубочистов, милиционера, дворника, чужих дядей, постоянно лечила от несуществовавших недугов.

Зак. 385

Он вошел во взрослую жизнь боящимся всего, что требует если не жертв, то хотя бы серьезных усилий. Он вырос рабом трусости. Для всякого своего поступка, продиктованного ею, искал и находил оправдание, даже если для того и приходилось лгать, хотя бы самому себе. И так было в его жизни постоянно: трусость порождала ложь, ложь — подлость.

В спину толкнули. Пополз. Сразу взмок лоб, стало жарко. Припадал грудью к земле. Врасти бы в нее. Затаиться... Но где? И от тоски, что такая подлая доля досталась ему, что никто не скажет о нем доброго слова, если придется пропасть вот тут, в эту черную ночь, и больше всего от страха, что его в любую минуту, вот сейчас, могут убить, — руки и ноги теряли силу.

Перестал ползти, бессильно растянулся. Тяжестью своей страх придавил его. Искал силы, которые помогли бы преодолеть этот груз. Но не мог найти.

Сзади нетерпеливо ткнули стволом автомата в подошву.

Иди!

Глава 3

ТЕМНОТА ТАИТ ОПАСНОСТЬ

Почти весь день бойцы углубляли траншею, оставленную в наследство казаками. Прохоров нашел лопатку и Федькову. Тот трудился, как все, пошучивал над Плоскиным:

- При твоем росте глубоко копать не надо. Давай я за тебя отрою, а ты за меня.

Работу закончили, когда солнце уже опустилось за край степи.

Снегиреву, назначенному старшим, Опанасенко и Плоскину сержант определил позицию на левом фланге:

– Смотрите во все шесть глаз! Немцев пока не слыхать, но, гляди, ночью припожалуют...

- Будь покоен! — заверил Снегирев. — Не первый раз тещу в гости ждем. — И спросил: — Интересно, кто против нас здесь? Немцы или мадьяры? Ежели мадьяры, так они и ночью мастаки...

Немцы, наверное.

- И почему это мадьяры редко встречаться стали? В прошлом году, да и нынче зимой их Гитлер впереди

своих ставил. А после Будапешта — неизвестно куда и девает. Доверять перестал, что ли?

— Не похоже,— не согласился Прохоров.— На марше видел — у дороги на крестах шапки мадьярские. Кладут еще головы... Ну, поглядывай.

Снегирев расположился в середине. Слева, чуть подальше, самый крайний в траншее — Плоскин. Справа, руку протянуть, — Опанасенко, еще правее — Федьков. Дальше — остальные.

Привалившись грудью к прохладной земляной стенке, Снегирев, держа карабин наготове, всматривался во тьму. Она пахла остывающей после дневного пригрева землей, чуть-чуть прелью, влажным прохладным воздухом — все эти запахи мартовской ночи как-то по-особому тревожат душу.

...Нигде так не томительны ночные часы, как в боевом охранении. Держи палец на спусковом крючке, не смыкай глаз.

Ни закурить, ни перекинуться словом с товарищем — и так до рассвета.

Нет никого между тобой и врагом, таящимся где-то впереди в непроглядном мраке. Ты один за все в ответе.

Всматривайся в тьму, жди. Шорох? Тень врага? Может статься — в неравной схватке погибнешь ты и все, кто рядом с тобой: охранение первым принимает удар и не отходит, если нет на то приказа, жизнями своими оплачивая драгоценные минуты, нужные, чтобы на позициях позади успели приготовиться к встрече врага.

Нет никого из своих впереди тебя.

Но ты и твои товарищи — не одиноки. Позади, в окопах, внимательно смотрят и слушают наблюдатели: что в боевом охранении? Неподалеку, возле сержанта,— ящичек полевого телефона. «Нитка» — так во фронтовом обиходе называют провод — тянется отсюда на полковой командный пункт, оттуда — в дивизию, дальше — в штаб армии, в штаб фронта, к Верховному Командованию, в Москву. А в столицу провода идут со всех концов. Из Барнаула — тоже. А от Барнаула есть провод к районной почте, от нее — к колхозу. Одной ниткой связаны передовая, Москва, дом...

«Телефон у нас в конторе на стенке висит, — припомнил Снегирев. — Позвонить бы сейчас отсюда Маркелову: «Слышь, председатель, это я, Снегирев! С фронта

говорю. Пошли-ка за моей!» — Усмехнулся: «Ишь, раскинулся мечтами! Знай — поглядывай!..» Но что поделаешь? Когда один с собой остаешься — на посту ты или не на посту, — солдатская думка сильнее душу ворошит... Из дому недавно письмо было. А вот Семен, сынок, где-то близко, на этом же фронте, да вестей что-то давненько никаких нет. Уж не стряслось ли что? Парень горячий, рванет куда на своем танке — и готов... Мать-то о нем шибко тревожится: вот уж два месяца минуло, как Семен не пишет. Только от командира части извещение ей пришло: «Звездочкой» Семена наградили. Гордись сыном, Григорий Михайлович! А впрочем, какой солдат, который на фронте давно, к нынешнему времени награды не заработал? Это в сорок первом орденов мало давали. Да и кто ж на то обижался тогда? По делам и награды. Что ни год — лучше воюем. Храбрость-то, она от уменья прибавляется... Отступать — совсем вроде отвыкли. Сейчас каждый в свое место вобьется, как гвоздь в стенку, по самую шляпку, — попробуй, выдерни. Кого ни возьми — все такие. Федьков вот пришел — тоже хорош гвоздь. Вот только Плоскин... До сих пор в вещевом мешке свой инструмент бережет, мечту таит обратно в полковые сапожники определиться...

Чуть слышный шорох за бруствером. Снегирев замер, стиснув карабин.

Секунды шли, но шорох не повторился. Снегирев ждал.

Веточку или травинку ветром ворохнуло? Ветра, вроде, нет...

Минута, другая... Тихо. «Зверушка, поди, прошмыгнула, — решил Снегирев. — Бывало идешь ночью по степи, в траве пискотня, возня — кто-то с кем-то насмерть воюет. Но это не в такую пору, как сейчас, а уж когда всходы подымутся... У нас дома первые росточки не раньше как через месяц проклюнутся. А здесь, гляди, через неделю-другую. Набралась тепла земля...»

Шорох, чуть слышный, повторился вновь. Окликнуть?

* * *

Что скрыто в безмолвной тьме? Настороже не только боевое охранение — глаза полка. Глядят туда, откуда ожидается противник, с наблюдательных пунктов. Наго-

тове бойцы дежурных расчетов возле пулеметов, бронебоек, противотанковых пушек. С трубками возле уха — в любую секунду примут донесение или приказ и тотчас же передадут дальше — телефонисты. А остальные на передовой спят непробиваемым солдатским сном после бессонной маршевой ночи и дня тяжелых окопных работ. Только кое-кто из офицеров и старшин еще не улегся.

Не спит еще и командир второй стрелковой роты старший лейтенант Никита Белых. Он сидит в тесной, пахнущей свежевырытой землей щели, именуемой ротным командным пунктом. Под ним — волглая, отдающая прелью солома. И это роскошь здесь, в голой степи.

Вплотную над головой — высокий рост не позволяет Белых сидеть выпрямившись — настил из застеленных соломой и присыпанных сверху землей жиденьких жердочек, для хорошего наката — где в этой безлесной стороне найдешь бревна? Выход завешен плащ-палаткой, чтобы наружу не проник свет от стеариновой плошки, стоящей в маленькой нише, вырезанной лопаткой в земляной стене. Перед старшим лейтенантом на разостланном по соломе полотенце — котелок, из него подымается легкий, с аппетитным мясным духом парок. Он ужинает не спеша. Только что обошел позиции, проверил, что и как сделано в роте за день. Все в порядке. Галочкин вот только вроде недоволен, что к нему прислали Федькова. Ох, этот Федьков! В прошлом году, когда Белых еще командовал взводом полковых разведчиков (из разведки пришлось уйти после контузии — стал плохо видеть в темноте), Федьков немало доставил хлопот. Сколько раз приходилось перед командиром полка краснеть! Прощали Федькова только за то, что в поиске ловок. А теперь и у Кересова терпение кончилось. Федьков сегодня, как только явился, стал в связные проситься. Связной из него — орел. Да пусть рядовым во взводе у Галочкина послужит. Прохоров там да Снегирев в крепкие руки его возьмут.

Снаружи, из-за плащ-палатки, прозвучал негромко и не совсем решительно знакомый девичий голос:

— Товарищ старший лейтенант!

Белых, несколько смутившись, поспешно сунул ложку в котелок, положил сверху хлеб:

— Заходите!

Огонек плошки всколыхнулся. Меж складками плащ-палатки показалась солдатская ушанка, торчащие из-под нее черные, коротко обрезанные пряди. На Белых глянули затененные густыми ресницами большие, вопрошающе-внимательные и немного робкие глаза.

Белых предупредительно отодвинулся, чтобы было куда войти.

— Я на минутку, товарищ старший лейтенант,— Ольга, ротный санинструктор, остановилась у входа, согнувшись в неловкой позе.

— Проходите, садитесь!

Угловатым, стесненным движением подобрала полу шинели, присела.

— Разрешите доложить. Больных в роте нет, баня оборудована. Когда позволите начать помывку? Командир санвзвода сказал: нашу роту можно первой пускать.

— Завтра с утра пораньше.— Белых украдкой пробежал взглядом по лицу Ольги. Как и у всех по-походному обветренное, оно в неярком свете плошки казалось смуглым, от резких теней — даже грубоватым, но все-таки, как всегда для Белых, трогательно полудетским.

— Значит, с утра разрешите? — переспросила Ольга.

— Да, пожалуйста,— Белых догадывался: потому и переспросила, что ей хочется побыть с ним еще минутку, перекинуться словом. Но она всегда наедине с ним держится подчеркнуто по-служебному, словно как-то связана... Да и он — тоже.

Чтобы сказать хоть что-нибудь и тем избавить себя и Ольгу от неловкости, спросил:

— А где баня?

— В селе, на этой стороне канала, в крайнем доме. По отделениям мыться отправлять?

То, что она спросила, можно было и вовсе не спрашивать — в баню всегда отправляли таким порядком.

— Да. С командирами взводов договоритесь сами.

— Разрешите идти?

Он кивнул.

Ему вдруг очень захотелось, чтобы Ольга сказала что-нибудь еще, хотя бы самое пустяковое, не относящееся к службе.

Но она молча отодвинула рукой плащ-палатку и, нагнув голову, не оглянувшись вышла. Снова тревожно ко-

лыхнулся огонек в нише, косая черная тень пробежала по коричневой земляной стене.

«Как-то все неловко получается...» — Белых уже не первый раз после разговора с Ольгой ощутил недовольство собою, будто чем-то обидел ее. Но чем он перед нею виноват? Ничем.

Снова потянул к себе котелок, взялся за ложку, вяло ковырнул ею, положил. Остыло, да и есть уже расхотелось. Спать. Сунул котелок в угол, прилег, отворачивая лицо от душного запаха прелой соломы. Ольга, Ольга... Почему ему всегда, даже когда ее нет близко, кажется, что она смотрит на него? Вот уже с год так. Но что она ему! Он нарочно заставил себя думать о далеком, о том, что никак не должно бы совмещаться с мыслями об Ольге. Несколько дней назад, когда еще стояли на отдыхе, он получил письмо из родного Забайкалья, от матери и отца. В конверт было вложено тщательно заклеенное письмо от шестнадцатилетней сестренки. С тех пор, как Никита ушел в армию, сестренка взяла на себя роль его сердечного поверенного и без всяких со стороны брата просьб в каждом письме извещала, как живет его невеста Наташа, как она расспрашивает о нем. На этот раз сестренка написала: «Талка к нам совсем перестала ходить, про тебя не спрашивает, а я про тебя заговорю — ей вроде без интересу». Еще с год назад при такой вести он не нашел бы себе места. А сейчас — спокоен... А может быть, так и должно случиться? Чем, собственно, связан он с Наташей? Мечтами о будущем? Сейчас, после стольких лет разлуки, словно повыцвели они... Нет, нет! Как можно! Вот закрыть глаза — и увидишь Наташу как живую: то озорные, то строгие глаза, волосы, словно спелая солома, широкие брови, полные губы, чуть вздернутый милый нос.

Как давно расстались и как помнит ее... А Ольга? И глаз закрывать не надо, чтоб увидеть.

Впервые Никита встретился с Ольгой в прошлом году, в январе, когда шли на Корсунь. Она тогда только что прибыла в полк вместе со своей разбитной подружкой Зиной, что стала женой капитана Яковенко и недавно уехала в не терпящий отлагательства отпуск. Путь Ольги на фронт был такой же, как и у многих других девушек: в сорок первом в родном своем городе Горьком

кончила десятилетку. Еще не решила, в какой институт подавать документы, а война уже определила выбор: курсы медсестер. Поработала в госпитале, оттуда направили в полк.

Непохожестью на других привлекла Ольга внимание Никиты при первой же встрече. Проглядывала во всем облике ее какая-то особая собранность и строгость. Строгость прежде всего к самой себе. С первой встречи показалось ему: Ольга чем-то напоминает Наташу. Чем? Не внешностью. Но чем-то! Словно желая убедиться в этом сходстве, все внимательнее приглядывался к Ольге и со все большим смущением признавался себе: не в сходстве дело. Наоборот, все у Ольги казалось иным. Просто хотелось видеть ее вновь и вновь.

Однажды после длительного отсутствия — он попал в переделку и уже считался погибшим — нечаянно встретился с Ольгой. Увидел, как она обрадовалась, понял: эта радость ее — больше, чем просто товарищеская. Да она и не скрывала того. А потом они не раз оказывались вместе в бою, и были еще встречи, и был разговор во вьюжную ночь на безлюдной улице отбитого у врага села, когда он случайно оказался ее попутчиком до санчасти. Разговор, после которого он понял все. Именно в ту ночь впервые ощутил он чувство вины перед нею. Оказывается, может существовать такое чувство вины — перед той, которой не имеешь права отдать то, что она готова отдать тебе. С другой он, пожалуй, не упустил бы возможного. Но нет, нет! В глаза Ольги, такие большие, глянешь — и на твои глаза словно сама совесть руку кладет, говорит: «Отойди!». Ругнул себя: «Узнала б Наташа, о чем размышляешь, было бы тебе!» Невольно улыбнулся, представив себе Наташино разгневанное, но даже и в этом состоянии милое лицо, и, видя его перед собою, так и вошел в сон.

* * *

...Снегирева тронули за правый рукав. Он повернул голову: Опанасенко. Молча показывает в поле. Вот Опанасенко осторожно щелкнул предохранителем автомата. Снегирев предупреждающе положил руку на его плечо.

Как будто шевельнулась тьма перед окопом?..

Кто-то ползет? Нет, не к окопу, а мимо, наискось, ближе.

Вскинув карабин, выстрелил в направлении шороха — и не успел выстрелить второй раз, как из темноты крикнули негромко:

— Свои! Не стреляйте!

— Кто такой? — окликнул Снегирев, не отнимая приклада от плеча.

— Из разведки...

— Лежать на месте!

В щеку Снегирева ударили комочки земли, и возле головы словно кто сухую холстину рванул пополам.

Инстинктивно пригнул голову. Но в тот же миг выпрямился. Начал стрелять в темноту. Она мгновенно наполнилась щелканьем и треском, багровыми точечными вспышками.

Справа, казалось, возле самого уха, короткими частыми очередями бил автомат Опанасенко. В тусклых, прерывистых отсветах выстрелов то выскакивала из тьмы, то вновь скрывалась в ней часть бруствера с комкастой, еще не слежавшейся землей, торчащие белые сухие травинки, а дальше, в поле, — непроглядная чернота.

Два раза рявкнули гранаты. Левее, там, где Плоскин, поверху, перед траншеей, кто-то пробежал не таясь, громко топая, следом — еще и еще.

— Немцы! — сквозь щелкотню выстрелов послышался крик Плоскина. Снегирев, повернувшись влево, выпустил обойму туда, где слышалась беготня. За его спиной Опанасенко, громко крякнув и матюкнувшись на ридной мове, швыркул за бруствер гранату. На миг колыхнулось багрово-дымное пламя, осветив растрепанный куст сухого бурьяна перед окопом. И тотчас же стало темнее прежнего. Но впереди, в какой-нибудь сотне шагов, взвилась ракета, раздвигая тьму и окрашивая дымчатым малиновым светом сухую, слежавшуюся прошлогоднюю траву. Секунда, другая. Темнота стала упруго сбегаться, сжимая меркнущий ракетный свет. Снегирев успел заметить: в десяти шагах перед траншеей недвижно торчит колом вставшая на чьем-то заду шинель.

Глава 4

ЧТО ВЕЗЕТ ФЕДОСЕИЧ?

В эту ночь, как, впрочем, и во всякую, капитана Гурьева не однажды будили телефонные звонки. Собственно, не в каждом случае ему требовалось брать трубку — у аппарата, как обычно, бодрствовал оперативный дежурный. Но помначштаба касается все. И Гурьев невольно сквозь сон прислушивался к каждому телефонному разговору, а то и вставал и, взяв трубку у оперативного, начинал разговаривать сам. Заполночь к нему в пропахший кисловатым запахом старого вина подвал одного из домов северной окраины, где временно разместился командный пункт полка, пришли только что вернувшиеся разведчики. Они еще с вечера уходили далеко за передний край, в степь, — выяснить, где противник, каковы его силы.

Разведчики принесли тревожные вести. Противник обнаружен там, где несколько часов назад и признаков его не было. Несколькими, довольно большими группами, пешим порядком он движется в направлении переднего края. Вероятно, уже к утру все пространство впереди перестанет быть «ничейным». На стороне противника далеко слышны моторы.

То, что сообщили разведчики, не явилось неожиданностью. Можно и раньше было догадаться: и на этом пока тихом участке враг станет наступать. Потому полку и дали задачу строить крепкую оборону на принятом от казаков рубеже.

Теперь Гурьеву стало совсем не до сна. Он тотчас же позвонил Бересову, ночевавшему в соседнем доме, и, стараясь сдержать волнение, сообщил о только что полученных тревожных вестях. Гурьев знал Бéресова и не удивился, услышав спокойный ответ: «Так оно и должно быть. Мы же сюда воевать пришли? Предупреди батальоны, боевое охранение, артиллеристов, доложи в штадив и ложись спать... Раньше времени никого не булгачить».

«Попробуй, поспи! — усмехнулся Гурьев. — Пока всех обзвонишь — и ночь пройдет...»

— Ложитесь, отдыхайте, теперь я сам, — сказал он оперативному дежурному, юному, только что из училища,

младшему лейтенанту, еще не получившему взвода, и подсел поближе к поставленной на попа пустой бочке, на которой рядом с телефонным аппаратом мерцала трофейная стеариновая плошка. Положил на бочку планшет с картой, придвинул плошку поближе и взялся за телефонную трубку...

Обзвонил всех, кого надо. Пока неотложных дел нет. Можно бы и отдохнуть, как Бересов предложил... Посмотрел на младшего лейтенанта, посапывающего в углу на ворохе кукурузных стеблей, и позавидовал его мальчишеской беззаботности. Вот он не может так: ткнуться куда-нибудь и заснуть мгновенно. Как тихо... а в нескольких километрах отсюда по темной степи идут немцы. Раньше утра они ничего не начнут — не любят на ощупь воевать...Поспать часок-другой! Это просто необходимо, чтобы на случай боя свежую голову иметь. Бересов — вон, знает все, а не тревожится. И здесь, в подвале, все уснули. А Лена там, в своем далеке, тоже, наверное, спит, умаявшись за день. Спит, по привычке согнувшись калачиком и уткнув нос в плечо — круглое, с двумя крохотными, близко одна к одной, родинками, на белизне подушки темнеет заплетенная на ночь коса. На миг закрыл глаза, чтобы тусклый свет плошки не помешал ему зримо представить Лену такой, какой она может выглядеть, как подсказывала ему память сердца, в ночной откровенный час. И внезапно нахлынувшая тоска знакомо сжала горло: сколько же разлуке длиться? Не в первый раз уже коготок тревоги царапнул: почему нет писем?

Гулко зазуммерил телефон. Гурьев схватил трубку. Из первого батальона докладывали: в районе боевого охранения — стрельба.

Неужели началось?..

А в эти самые минуты в одном из домов по ту сторону канала на противоположной, «тыловой», окраине селения полковой почтальон, всеми почитаемый степенный Федосеич, занимался важным, ответственным делом: сушил письма.

Уже было темно, когда Федосеич, еще на марше уехавший за письмами, разыскал в городке, где разместились дивизионные тылы, полевую почту и получил корреспонденцию. Писем на этот раз было особенно много: на походе полевая почта, как это бывает, приотстала, на ней скопилась корреспонденция за несколько

дней. Набив конвертами сумку и вдобавок вещевой мешок, Федосеич уселся на свою Пулю — лохматую, монгольской породы лошадку, на которой он возил почту уже третий год, и отправился догонять полк. На пути случилась беда — подвела темнота, оплошали старые глаза, да и Пуля зазевалась — Федосеич вместе со своим ответственным грузом ухнул в придорожную колдобину и оказался по пояс в воде. Первым долгом он выбросил на сухое место сумку и мешок, потом выбрался сам и вытянул Пулю. Он погнал Пулю рысью, чтобы поскорее привести в порядок размокшую почту. Заехав в первый попавшийся дом — это оказался дом, где расположились обозники, — Федосеич потребовал немедленно освободить ему плиту и стол, выложил на него гору размокших конвертов.

Обозники, занимавшие хату, давно уже спали вповалку на полу, а Федосеич, озабоченно хмурясь, все возился со слипшимися, размокшими письмами: бережно отделял их одно от другого, раскладывал на столе и на плите, переворачивал, чтобы подсохли получше. Он спешил: утром надо все раздать. Но час шел за часом, а дело подвигалось медленно: писем множество, а плита невелика. Федосеич решил ускорить дело: подкинул в печку дровец и раздул огонь — угли на поду еще не остыли. Но малость не рассчитал. Лежащие на плите письма вдруг закорежились и задымили. Федосеич поспешно смахнул их, чтобы не сгорели; из расклеившихся конвертов полетели исписанные листки с мутными потеками чернил. Все смешалось. В сердцах выругавшись, Федосеич стал вкладывать листки в конверты, присматриваясь по почеркам, какой куда. Но ошибиться было немудрено — писем было десятки, а многие почерки схожи. Правда, Федосеич за три года почтальонской должности знал уже многих своих адресатов, знал, кому из них кто пишет, но ему все-таки пришлось применяться и так и этак, чтобы не напутать, не вложить какое-нибудь письмо не в тот конверт.

Особенно смутило его большое, на нескольких страницах, письмо. Все ли он страницы подобрал? Они в этом письме не были пронумерованы. Федосеич подумал-подумал и решил, что особого греха не будет, если он просмотрит странички и убедится, что ни одна из них не потеряна. Он подсел к столу, извлек из кармана гимна-

стерки бережно хранимые очки в жестяной оправе, которыми вооружался только при чтении, придвинул к себе коптилку и стал просматривать листки, ища, где продолжается текст. Читая, перекладывал перепутавшиеся странички в нужном порядке и вскоре убедился, что все они, от первой до последней, налицо. Сложив листки, вздохнул:

— Скажи ты на милость, какое дело...

Федосеич по почерку уже знал, что это письмо капитану Гурьеву от жены. Он без особого труда нашел нужный конверт, лежавший среди прочих, таких же размокших, и вложил туда аккуратно свернутые листки. Накрепко залепил расклеившийся конверт вареной картошкой и все время, пока делал это, покряхтывал, бурчал себе под нос:

— Ну и ну...

Глава 5

«МАЗЕПА КЛЯТЫЙ»

Ракета, погаснув, как бы погасила и стрельбу. Очевидно, она была для немцев сигналом к выходу из боя. Кругом снова плотно сомкнулась тьма.

В наступившей тишине за бруствером отчетливо послышались приближающиеся шаги и громкий голос Федькова, командующего кому-то:

— Сюда! Полный вперед! Прямо!

На фоне ночного неба перед Снегиревым выросли два силуэта.

Осыпая с бруствера еще неулежавшуюся землю, в траншею мешком свалился кто-то в расхристанной шинели. Следом легко спрыгнул Федьков, спросил неизвестного, переводя дух:

— Нет! Зачем ты от своих дёру дал, а?

— Так... так... стреляли же.

— «Так... так!» — рассерженно передразнил Федьков. — Я тебе абсолютно ясно кричал: «Стой!». А ты дуешь обратно к фрицам!

По траншее, меж бойцами, протиснулся сержант Прохоров.

— Вот, неведомая личность! — показал Федьков на неизвестного. Тот вытянулся, запахивая шинель:

— Из разведки... Отбился...

— Нет, почему ты от меня драпал?

— Обожди, Федьков! — прервал Прохоров. Спросил неизвестного: — Где оружие?

— Обронил... Поищу.

— Поищешь!.. — сержант помолчал в раздумье. — Сам заблудился, оружие посеял... Как тебя, такую растеряху, в разведку взяли?

— Я... в первый раз.

— Да что с ним разговоры вести! — не вытерпел Федьков. — Кому он плетет? В разведке таких не держат!

— Из разведки я!.. — продолжал твердить неизвестный.

— Из какой? — Федьков не дал договорить. — Кричал что есть духу? От фрицев ты разведчик!

— А ну, обожди! — остановил расходившегося Федькова Прохоров.

— Обыскать его надо, товарищ сержант! Может, оружие у него?

— Давай.

Сосредоточенно, несмотря на плаксивые возражения подозрительного «разведчика», Федьков ощупал его карманы. Извлек оттуда пару яйцевидных гранат, протянул сержанту:

— Немецкая курица снесла.

— Садись! — приказал задержанному Прохоров.

— Да почему...

— Без разговоров!

Задержанный неохотно опустился наземь.

— Снегирев, Опанасенко, следите за ним! — распорядился Прохоров. — Поочередно. За полем наблюдайте. Федьков, на место.

— На своего вы... — обиженным тоном пробормотал задержанный.

— А почему мы знаем, свой ты или нет?

— Какой же? Пожалуйста...

Назвал дивизию, полк. Про такую дивизию сержант слышал: одна из соседних. Может быть, и в самом деле — отбившийся растяпа? Но, похоже, прав и Федьков. Да что? В штабе разберутся! Прохоров еще раз предупредил Снегирева и Опанасенко, чтоб поглядывали, и пошел на середину траншеи, где дежурил с аппаратом связист.

Минут через пять сержант вернулся, шепнул Снегиреву:

— Доложил! Обещали прислать за ним.

...Медленно тянулось время. Темное поле впереди оставалось безмолвным. Как будто и не гремела всего полчаса назад стрельба, не раздавались крики, не качался зыбкий свет ракеты. Небо чуточку посерело — кончалась ночь. И чем светлее становилось оно, тем беспокойнее поглядывал тот, назвавшийся разведчиком, на двух молчаливо стоящих солдат, меж которыми сидел на дне траншеи, уткнув лицо в воротник шинели. Все злее скребла по сердцу тоскливая мысль: «Не помилуют меня... Слыхали ведь, как я... Видели ведь...— В отчаянии примеривался взглядом: — А что если выскочить? Пока не рассвело — в полусотне шагов из виду потеряешься, не словят. А потом куда? Эх, все равно пропадать!»

...Тихо приподнялся, вытянув руки, уперся ими в края траншеи, с силой оттолкнулся — мигом оказался наверху. Но не успел сделать и шага. Затрещала шинель — его, ухватив за полу, сдернули обратно.

Сильные руки толкнули его — чуть не ударился лицом оземь.

Близ уха песок хрустнул под сапогом, тяжелым, пахнущим кожей и землей, и холодок пополз от поясницы к затылку.

— Гляди, Трофим, за этим в оба! В случае чего — первым выстрелом бей!

«Пропал...»

В отчаянии ткнулся подбородком в землю, и живая прохлада ее показалась ему могильным холодом.

Светлело небо, покрытое редеющими тучками. Уходила ночь. Как туго сжатая и медленно отпускаемая пружина, ослабевало тревожное ожидание.

«Заблудившийся разведчик» все еще сидел, понуро сгорбившись, на дне траншеи между Снегиревым и Опанасенко. За ним почему-то из тыла так никто и не пришел.

Снегирев нет-нет да и поглядывал на задержанного. Уже не сомневался: изменник. Впервые за годы войны ему приходилось видеть изменника так близко около себя.

Стелющийся перед траншеей туман постепенно таял. Над полем колыхалась, расползаясь, полупрозрачная пе-

дени. Сквозь нее все отчетливее проступали обломанные стебли сухого бурьяна.

И вот уже далеко вперед, до густой бурьянной заросли просматривается поле.

Сержант разрешил всем отдыхать, оставив двоих наблюдателями. Но отдыхать не спешили. То один, то другой подходили по траншее туда, где сидел, ссутулившись, пойманный. Рассматривали, перекидывались словами:

— На морду глядеть — вроде наш.

— Из какой области, интересно?

— Может, твой землячок?

— На кой он мне!

Плоскин, подойдя, посмотрел пойманному на ноги, сказал с видом знатока:

— Сапоги не по-нашему шиты.

Подошел Прохоров. Его только что вызывал к телефону командир батальона и приказал не дожидаться, пока за пойманным придут, а немедленно отправить его с кем-нибудь из бойцов.

— Ну, собирайся! — сказал Прохоров «заблудившемуся». Тот поднялся, оправил шинель.

— Товарищ сержант! Я его поймал, я и отведу! — не замедлил вызваться Федьков.

— Обожди! — Прохоров спросил задержанного: — Документы есть?

— Нет... — прошептал тот. — Ничего нет. Вы ж смотрели...

— Еще раз посмотрим, при свете.

— Товарищ командир!..

— Адольф тебе товарищ! Федьков, погляди-ка у него еще разок.

Еще старательнее, чем ночью, Федьков проверил карманы «разведчика». В них нашел он лишь круглое зеркальце немецкой работы с похабной картинкой на обороте и полупустой пакетик с изображением огромной вши — порошок от паразитов. Показал товарищам:

— Культура! — сунул задержанному обратно в карман: — На память от фюрера.

Прохоров повел взглядом по лицам бойцов, остановился на Плюскине:

— Отведешь этого. Под расписку сдашь.

— А я? — воскликнул Федьков. — Его ж поймал я!

— Ты поймал, а Плоскин отведет. А то еще и этого уступишь кому за спиртное, как того языка.

— Скажете! За этого и ста грамм не дадут. Кому он нужен? — Федьков отвернулся, как бы показывая: не очень огорчен. А ему не терпелось в качестве конвоира прогуляться в тылы, заглянуть в родной взвод разведки, рассказать, как ночью отличился. Но Прохоров, видимо, успел прочесть помыслы Федькова в его глазах.

Плоскин подтянул ремень, опустил воротник шинели, поднятый с ночи в спасение от сырости, вскинул карабин наперевес, скомандовал задержанному:

— Шагай!

— Шинель пусть сымет! — потребовал Снегирев.

— Шут с ним! — махнул рукой Прохоров.

Но Снегирев стоял на своем:

— Пусть сымет! Что он будет нашу шинель срамить?

Прохоров молча протянул руку к плечу задержанного.

Треск срываемых погон всем показался необыкновенно громким.

Лицо изменника побелело. Он судорожно шевельнул руками, губы его дернулись:

— Товарищи...

— Давай, давай! — нетерпеливо подтолкнул Плоскин. Изменник, сгорбившись, путаясь в полах распоясанной шинели, медленно побрел впереди него по траншее.

— Ох, лучше вбитому быть, чем от так... — проговорил вслед Опанасенко.

Снегирев покачал головой:

— Дошел же человек, а?

— То не людина. Нелюдь, — уточнил Опанасенко. — Мазепа клятый!

* * *

Плоскин и впереди конвоируемый им шли напрямик полем, держа направление к батальонным окопам, желтевшим свежими насыпями.

Несколько раз конвоируемый пытался замедлить шаг, пойти рядом. Но Плоскин сурово покрикивал:

— Шагай, шагай!

Когда до окопов осталось немного, конвоируемый остановился, обернулся:

— Душа горит.. Закурить бы...

— Еще чего! — отрезал Плоскин. — Я тебе дам, а ты мне табаком в глаза да дёру? Слыхал я про такие штучки.

— Товарищ боец, что ты? — скривил рот в жалкой улыбке: — Куда я денусь? Дай закурить! Как милостыни прошу...

— Нечего! — прикрикнул Плоскин.

Они прошли еще немного, конвоируемый снова остановился и повторил свою просьбу.

— Ладно! — подумав, Плоскин согласился. Скомандовал: — Садись! — Вынул из кармана кисет, зажигалку, бросил все это в руки. — Закуривай! — а сам остановился поодаль, держа карабин на весу.

Конвоируемый долго и неуклюже завертывал папиросу, просыпал махорку. Плоскин съязвил:

— Ты, вижу, разучился! К немецким сигаретам привык?

— Эх! — услышал в ответ. — Никому такой привычки не пожелаю.

Плоскин саркастически усмехнулся:

— Пой! Поди, сам в услужение к фрицам пошел?

— Заставили... — конвоируемый сунул себе в губы кое-как слепленную цигарку, закурил, вернул зажигалку и кисет.

— Спасибо, земляк.

— Какой я тебе земляк? — рассердился Плоскин. — Я в Берлине не прописан.

— А я в Москве прописан... В самом центре...

— Родные есть?

— Мать, отец, жена.

— А дети?

— Сын. Семи годов...

Видимо уловив в голосе Плоскина нотки сочувствия, заговорил, запинаясь:

— С сорок первого обо мне не знают. Написать бы...

Но Плоскин уже снова посуровел:

— И писать не к чему! Лучше уж пусть тебя пропавшим без вести считают! Испортил ты своей родне анкету на всю жизнь.

— Что поделаешь, судьба... — с силой затянулся, так, что затрещал в цигарке горящий табак. — Судьба...

Его лицо сморщилось, он молча сделал еще несколько затяжек, поднял глаза — Плоскин в них увидел отчаяние.

— Что со мной будет?

— Таких — к стенке...

Затрясшейся рукой изменник отшвырнул цигарку в сторону, скрюченными пальцами рванул себя за ворот:

— Стреляй сразу, все равно конец! Никуда я не пойду!

Упал ничком на землю, охватил голову ладонями и забился в рыданиях.

Плоскин выждал немного, потом потолкал лежащего носком сапога в бок:

— Слышь, ты! Подымайся!

Но тот продолжал лежать ничком, сотрясаясь от беззвучного плача.

«Канитель с ним!» — Плоскин отошел на несколько шагов, забросил ремень винтовки за плечо и стал сворачивать самокрутку — теперь захотелось закурить и ему: «Выкурю одну, очухается, пойдем. Куда спешить-то?»

Глава 6

ЧЕЛОВЕК В ПОЛОСАТОМ

Солнца не было видно за тучками, неровной полосой лежащими впереди по горизонту, но чувствовалось, что оно уже поднялось. Степь теперь была видна далеко-далеко...

Даже самый зоркий, обладающий фронтовым зрением глаз не нашел бы в этой утренней степи ничего, напоминающего, что где-то, может быть очень близко, прочерчена незримая грань, отделяющая от врага. Здесь еще не проходили бои, и взгляд, сколько ни шарь, не отыщет ни воронки, ни подбитой машины — только белесо-желтоватая, полеглая прошлогодняя трава да удержавшийся под всеми непогодами темно-рыжий высохший бурьян стоит стеной. Может быть, в нем затаился враг? Ведь еще затемно сам комбат капитан Яковенко сообщил Прохорову по телефону о том, что̀ ночью обнаружено разведкой.

Вот почему Опанасенко, поставленный сержантом в качестве одного из наблюдателей, особо пристально всматривался в полосу бурьяна, тянувшуюся метрах в трехстах перед траншеей. Да и Снегиреву, которому с рассветом разрешено было спать, не спалось.

Сказывалась многолетняя, не стертая войной привычка начинать трудовой день на рассвете — в этот час он обычно выходил в поле... Стоял рядом с Опанасенко, протирая рукавом шинели затвор карабина, запотевший от росы. Покончив с затвором, хотел присесть и закурить, но Опанасенко нарушил его намерение:

— Бач! Бач! От там, в бурьянах, с краю!

Над бурьяном черной точкой мелькнула голова медленно идущего человека, за ней еще... Двое. Идут осторожно, согнувшись. Сделают несколько шагов — останавливаются. Прячутся в бурьяне. Снова идут. Снова скрываются...

— Фрицы, что ли? — недоуменно спросил Снегирев.

— Не разберу... — Опанасенко, прищурясь, следил, держа автомат наготове.

Идущие по бурьяну постепенно приближались. Уже различалось: оба — с непокрытыми головами. Немцы не ходят так...

За спинами Снегирева и Опанасенко протиснулся куда-то спешащий по траншее сержант, на ходу бросил:

— Стрелять погодите! Не обнаруживайтесь!

Два неизвестных оставили за собой полосу бурьяна и вышли на открытое место. Трудно было понять, кто они. Как будто без оружия. Присели. Осматриваются? Вскочили, что есть мочи побежали к траншее. Вслед им из бурьяна защелкали частые выстрелы.

— Я ж кажу: фрицы! — Опанасенко поднял автомат.

— Фрицы по фрицам? Обожди! — удержал Снегирев.

Обгоняя бегущих, пули, повизгивая, проносились над траншеей.

— Чи фрицы, чи не фрицы... — недоумевал Опанасенко. — Полосатые якие-то...

Действительно, оба бегущих были в странных серых, в темную полоску, куртках, таких же полосатых штанах.

Один приотстал, другой вырвался вперед. Вот они уже близко. А выстрелы вслед им все чаще. Один схватился рукой за бок, согнулся, словно переломившись, пробежал еще несколько шагов и упал лицом, взмахнув широко раскинутыми руками. Другой обернулся к упавшему, бросился наземь рядом с ним. Снова вскочил, ринулся напрямик к траншее. Вот он виден совсем ясно. Наголо остриженная голова, рот широко раскрыт, хва-

тает воздух на бегу. Полощутся полы распахнувшейся полосатой куртки, из-под нее желтеет голое тело.

Человеку в полосатом осталось всего несколько метров до траншеи. Делая огромные шаги, он добежал и спрыгнул в нее вблизи Снегирева, не удержался, с размаху упал. Поверху просвистело несколько пуль.

Упершись руками в дно траншеи, человек в полосатом поднялся. Истощенное, бледное лицо, перепачканное землей, сияет от радости, видно, перехватило в горле. Широко раскрытыми горящими глазами смотрит на бойцов. Трудно понять — сколько ему? По лицу — в годах... Простер черные от земли руки:

— Товарищи! Свой! Я винницкий! Мы угнанные! От немцев бежим.

Теперь по голосу понятно — молод, совсем еще парнишка.

Солдаты обступили его, с любопытством рассматривая. Вперед протиснулся Федьков, глянул на потрескавшиеся деревянные башмаки, прикрученные к ногам веревками:

— Вот так обутка!

Прохоров спросил строго:

— Что за человек?

— Я ж говорю — свой! Я комсомолец!.. Винницкой области, город Немиров, с улицы Шевченко... Зубарь моя фамилия. Степан Зубарь! — и вдруг замолк, сунулся к брустверу, вытянул шею, всматриваясь туда, откуда только что прибежал. Все поглядели туда же.

Нет, и не шевелится тот, второй, что лежит у края бурьяна, настигнутый немецкой пулей...

Паренек в полосатом повернул к бойцам лицо, глаза его, глубоко запавшие от худобы, были печальны.

— Не повезло дружку твоему, — посочувствовал Прохоров. — Так откуда же вы взялись на переднем крае?

Назвавшийся Зубарем, видимо и не замечая, что сержант не склонен сразу верить ему, охотно стал рассказывать:

— С Винницы — в Мюнхен нас. Я бежал, поймали — и в Югославию, на рудники... А недавно — позаталкали в вагоны. Гоняли эшелон — дороги разбомблены. Выгрузили. По шоссейке повели. Налетели американские самолеты, давай строчить! Им же не видно, кто: колонна и всё. Мы с другом — в кусты... Досидели до ночи, пошли,

как приметили, на восток. Днем опасно: в лагерном мы, а сменить одежду — где? Под утро вышли на разъезд. Товарный стоит, с паровозом. Залезли на платформу под брезент. Сутки просидели. На вторую ночь на остановке вылезли. И по степи напрямик, на солнцевсход. На хутор мадьярский набрели. Собаки залаяли. Притаились, ждем. Может, выйдет кто? Хлеба, одежды попросим... Вышел старик в холстине. Показываем, чего нам надо. Он принес хлеба полбуханки, кукурузы вареной. Показал: ждите. Ушел. А тут как выскочит со двора какой-то толстый, в шляпе, с двустволкой. Мы — тикать! Так и остались в этом полосатом. День в овражке перележали, а ночью опять пошли. Видим — далеко впереди ракета! Значит — фронт! Светать стало. Думали — на своей стороне мы уже. А тут в бурьяне немцы...

— Рассказываешь складно. — Взгляд сержанта скользнул по валяющимся на бруствере погонам, сорванным с шинели того, которого недавно отправили с Плоскиным. — Так говоришь, бежал?

— Ну да ж! Я свой!

— Что его слушать! — подал голос со своего места Федьков. — Еще один подосланный!

— Нет, свой я! — с отчаянием и обидой воскликнул «винницкий». Только сейчас, очевидно, догадался он, что могут ему и не поверить.

— Ну, ладно. Свой не свой — начальство разберется. Сиди тут. — Прохоров показал «винницкому» в угол траншеи — и отошел.

Снегирев стоял рядом с Опанасенко, изредка поглядывая на присмиревшего, погрустневшего паренька, очевидно озадаченного тем, что ему не поверили. Но главное внимание Снегирева было обращено в поле. Глаз все задерживался на едва приметном пятнышке на серой сухой траве: второй, который не добежал. Не подстроили ли все это немцы, вроде того, как ночью? Но нет, тот, в поле, в самом деле мертв. Снегирев оглянулся — взгляд встретился с полным надежды и тревоги взглядом «винницкого». «Почему вы мне не верите?» — говорил этот взгляд.

— Однако не жарко тебе, — пожалел Снегирев «винницкого», видя, как тот ежится от утренней прохлады в своей тонкой полосатой куртке.

— Ничего, — прошептал «винницкий».

Нагнувшись к своему вещмешку, лежащему на дне траншеи, Снегирев достал оттуда плащ-палатку:

— Накройсь пока что. — Вытащил из мешка хлеб, отломил добрый кусище: — Поешь!

— Спасибо, что вы! — застенчиво проговорил «винницкий», но без промедления взял хлеб и торопливо начал жевать — видно, проголодался.

Когда Снегирев вернулся на свое место и снова стал смотреть в поле, Опанасенко, до этого не сказавший «винницкому» ни слова, повернулся к нему, присел на корточки, спросил тихо:

— Слышь, хлопец, а девчат с Украины ты в тех лагерях бачил?

— Много их там... — ответил тот, жадно жуя.

— А полтавские — е?

— Есть и полтавские.

— Ярину Опанасенко, часом, не бачил?

— Нет.

— Черненька така, невеличка... С Ярмолинец родом.

— Не встречал. Много ведь там... И не под фамилиями люди — под номерами.

Не спрашивая более ни о чем, Опанасенко вздохнул потихоньку, досадливо тронул усы, поднялся. Слышавший все Снегирев с сочувствием посмотрел на него: ищет Опанасенко дочку, в Германию угнанную, надеется... Что сказать в утешение? Пожалуй, ничего и не скажешь, кроме того, что до Германии скоро дойдем. Так то Опанасенко и сам знает.

Глава 7

ЗАГРЕМЕЛИ ПУШКИ

Командир полка подполковник Бересов появился на своем наблюдательном пункте, на высотке близ канала, еще затемно. Обычно он приходил на НП позже. Но после того как среди ночи ему доложили о результатах разведки и о налете на боевое охранение, он, как ни пытался, не сумел заснуть.

Бересов имел основания предполагать, что противник начнет наступление в ближайшие часы. А полку придано пока маловато артиллерии. Снарядов за вчерашний день

пели завезти немного. Оборонительные работы еще не вершены.

Посасывая трубку, Бересов сидел, привалившись спи- й к земляной стенке щели, еще не покрытой накатом. урил густые, кустистые брови, придающие его круп- му обычно доброму лицу сердитый вид: «Ну вылез, ну л. А еще ж ни черта не видно. Жди, когда солнышко ойдет».

Обычно на передовой с командиром полка находился о-нибудь из штабных офицеров. Бересов привык поль- ваться их помощью. Он нередко говаривал: «Коман- р — голова, штаб — мозг. А что голова без мозга? Гла- м не моргнет, языком не шевельнет». Чаще других с ресовым находился Гурьев: за последние месяцы Бере- в привык к Гурьеву, как к своей руке. Но нынче утром, за тот показался, Бересов отослал его:

— Иди к представителям. Я тут и сам.

По тону Бересова Гурьев понял: командир полка рьезно обеспокоен. А в такие минуты, известно, он едпочитает оставаться в одиночестве.

«Представители» — офицеры приданной полку артил- рии со своими радистами — помещались в наскоро со- уженном блиндаже, шагах в ста позади бересовского блюдательного пункта. В том же блиндаже располо- лся и узел связи.

Было уже светло. «Представители» сидели снаружи, входа в блиндаж. С каждым из них Гурьев был зна- м: давно — артиллеристы не первый месяц воевали есте с полком. Был здесь капитан из гаубичного диви- она, сухощавый, с тонкими усиками и внимательными, ными, чуть ироническими глазами, «собрат по ору- ю», как шутливо называл он себя в разговорах с рьевым. Капитан был тоже преподаватель, но не исто- к, как Гурьев, а математик; лейтенант из дивизиона тюш» — совсем молоденький паренек, чьи щеки, на- рное, еще и не знавали бритвы. Этот представитель озной реактивной артиллерии имел такой отроческий , такие пухлые губы и по-детски голубые глаза, что ресов как-то сказал ему, будучи в веселом располо- нии духа: «Ты не бог войны, а ангелок!» — с той поры прилепилось к юному лейтенанту это прозвище. Даже глаза иной раз называли его так, и он не обижался.

Гурьев поздоровался с артиллеристами, присел рядом.

— Ну, как сегодня? Война будет? — спросил гаубичный капитан. — Что у вас в боевом охранении случилось?

— Немцы сунулись... — Гурьев рассказал о происшедшем ночью.

— Всерьез на нас нажать думают или так, прощупывают?

— Мне из Берлина не докладывали, — пожал Гурьев плечами. — Эти дни противник кое-где наступал. Неспроста нам в оборону приказано.

— Неужто долго простоим? — вздохнул «ангелок». — Дороги сейчас подсыхают. Рвануть бы на третьей скорости...

— Это вам на колесах хорошо, — улыбнулся Гурьев. — А у нас, у пехоты, — одна скорость... — Посмотрел в белесое утреннее небо, предложил: — Давайте пока что часы сверим. А то, может, сегодня воевать и в самом деле придется. — Глянул на циферблат. — Шесть двадцать.

Капитан и «ангелок» поставили свои часы по часам Гурьева.

— Кому-то плясать! — капитан показал на пожилого солдата с толстой сумкой на боку, протискивающегося по узкому ходу к блиндажу. Сердце Гурьева екнуло: «Федосеич! От Лены весточка?»

Федосеич и в самом деле подошел к Гурьеву.

— А я вас ищу, товарищ капитан! — Порывшись в сумке, вытащил пухлый, мятый конверт с расплывшимся адресом. — Извините, подмокло малость. Я залепил... Получайте!

— Что из дому пишут? — бойко спросил «ангелок».

А гаубичный капитан с нарочито равнодушным видом отодвинулся, вытащил из планшета карту с нанесенной схемой огня и стал сосредоточенно ее рассматривать. Гурьев отошел в сторону, повертел письмо в пальцах: какое толстое! Не то что предыдущие.

Каких-нибудь десять дней назад это письмо держали руки Лены. И словно теплоту ее пальцев ощутил он в шершавой, волглой бумаге конверта. Нетерпеливо надорвал...

Из блиндажа крикнул телефонист:

— Капитана Гурьева!

Сунув письмо в сумку, Гурьев поспешил в блиндаж. Звонил Яковенко: противник перед боевым охранением. Только что вел ружейный и автоматный огонь.

— Не пора ли снимать охранение? — спросил Гурьев у Яковенко.

— Пусть сидят пока, — ответил тот. — Как-никак — глаз батальона.

— Ну что ж, тебе виднее...

Раздался новый звонок, на этот раз из второго батальона, с левого фланга полка: показались танки противника. Гурьев, торопясь, вытащил из планшета карту, чтобы уточнить: где? И в ту же минуту услышал пронзительное шипенье летящих над блиндажом снарядов.

Из нескольких батарей противник открыл огонь — одновременно и по переднему краю, и по артиллерийским позициям, и по тылам.

Хотелось Гурьеву своими глазами увидеть, что происходит на переднем крае, куда идут вражеские танки.

Но таков уж удел помначштаба: его главное оружие — телефонная трубка. Он должен знать обстановку, как бы быстро она ни менялась. В самые горячие минуты боя он нужен всем, все нужны ему — через него проходят нити и ниточки управления. Как пойдет бой — во многом зависит от того, вовремя ли позвонил пэнша куда надо, не опоздал ли послать связного. Идет бой — пэнша поглощен тем, чтобы не упустить из рук ни одну из этих нитей и ниточек...

Занятый спешными телефонными разговорами, Гурьев уже не вслушивался в звуки беспрерывно проносящихся где-то высоко над блиндажом немецких снарядов. Но вот снаружи, низко над накатом, раздался громкий, прерывистый шелест, словно огромная птица летела, тяжко взмахивая крылами, — и от этого знакомый холодок прошел по сердцу: так шелестит снаряд, который падает вблизи.

Громыхнули два разрыва. Вслед за ними — снова два, еще более громкие. С потолка посыпалось, земляной пол блиндажа качнулся.

— Вот дает! — опасливо глянул на бревна над головой сидящий поблизости связист.

— Панкратьев! — крикнул, заглянув в блиндаж, капитан-артиллерист своему радисту, согнувшемуся в другом углу над голубоватым ящичком. — Передай на бата-

рею: танки противника — квадрат 38-42, левее отметки двести!

Радист, ладонью прикрывая микрофон от сыпавшейся с потолка земли, закричал в него:

— «Дыня», «Дыня»! Я «Арбуз», я «Арбуз»!..

Снова грохнуло — песчинки, брызнувшие сверху меж бревен наката, больно хлестнули Гурьева по щеке.

Сидевший рядом телефонист, побледнев, прижался к земляной стене. Снаружи пахнуло пылью и кислым дымом.

— Ангелок убит! — послышался голос артиллерийского капитана.

Сунув трубку телефонисту, уставившемуся на него неподвижными, широко раскрытыми глазами, Гурьев, на ходу заталкивая карту в сумку, выбежал наружу.

«Ангелок» стоял на коленях, навалившись грудью на стенку хода сообщения и уткнувшись в нее лицом. Левой рукой он еще держался за верхний край окопа, словно силился встать и не мог. В правой, бессильно повисшей, был крепко зажат большой артиллерийский бинокль.

— Куда его? — почему-то шепотом спросил Гурьев капитана, вместе с ним осторожно беря «ангелка».

— Не все равно — куда? — раздраженно ответил капитан. Он посмотрел в лицо мертвого — спокойное, необычно повзрослевшее, чуть недоуменное. Расстегнул ему ворот ватника, потом опять застегнул... Пряча от Гурьева глаза — может быть стыдясь набежавших слез, — проговорил ломким голосом:

— Не только его — и мать сейчас убили. Третий он у нее за войну. Последний...

Только сейчас Гурьев обратил внимание: стоит тишина. Неужели противник уже кончил артподготовку? Отчетливо, словно рубя секунды, тикали часы на руке убитого. «Только что сверяли... — припомнил Гурьев. — Вот и отвоевался ты, ангелок...»

* * *

Еще до того как загрохотали немецкие батареи, Белых, обеспокоенный донесением из боевого охранения, разослал связных по взводам с приказом поднять всех, быть готовыми к бою. Перед рассветом к нему, по пути из соседней роты, зашел майор Понедельный, старый зна-

комый: всего несколько месяцев назад он, тогда еще капитан, служил замполитом в их батальоне.

В появлении заместителя командира полка по политчасти не было ничего необычного. Понедельный любил говорить: «Ночь — рабочий день политработника». С наступлением темноты, когда по передовой передвигаться безопаснее, а люди менее заняты, он постоянно находился среди бойцов, половине которых, как обычно, полагалось бодрствовать. Под утро он обыкновенно уходил отдохнуть. Но сейчас, поговорив с Белых о случившемся ночью, решил: «У вас побуду» — и отправился к бойцам его роты. Еще беспокойнее стало на сердце Белых: «Боя ждет, потому и остался».

Как только немного развиднелось, он, тревожась все более, принялся рассматривать в бинокль поле перед позициями, еще подернутое туманом. За этим занятием его и застала Ольга. Доложила:

— Баня готова, товарищ старший лейтенант! Я начинаю помывку с первого взвода.

— Что? Отставить!

— Почему? — Ольга, видно, еще не знала последних новостей.

«А потому, что другой бани ждем», — хотел ответить Белых, но в это время зловещее шипенье вверху заставило его инстинктивно пригнуть голову. Мимо него и Ольги по траншее пробежало несколько солдат, спешащих в укрытие.

Шипенье, грохот, свист осколков. Белых бросился ничком. Кто-то зацепился сапогом за карман его ватника, повалился рядом. Никита скосил глаза — торчащая дыбом, толстая санитарная сумка, обсыпанная глиной и землей шапка-ушанка, темная прядь, выбившаяся из-под нее на медицинский погон с одной сержантской лычкой. Ольга лежит, прикрыв лицо рукавом.

Рыхлая глина, словно с большой лопаты, тяжко рухнула Никите на спину. Новое зловещее шипенье. «Убьет девчонку!» Земля вокруг вздрогнула, словно окоп сдвинулся с места. В уши туго давнул спресованный взрывной волной горячий воздух. Никита шевельнул плечами, отряхиваясь. Увидел устремленные на него глаза Ольги, наполненные страхом. И понял: это страх за него. Наверное, так же, как и его страх — страх за нее... А она уже встала:

— Может, ранен кто? — и, не отряхнув шинель, быстро пошла по траншее.

«Вот и баня началась!» — Никита поднялся, чувствуя, как в носу и в горле першит от пыли и едкого запаха сгоревшей снарядной начинки. Крикнул телефонисту:

— Связь! Цела?

— Цела!

— Комбата мне!

Сейчас же попросить у капитана Яковенко снять боевое охранение. Эх, раньше бы надо! Но разве все предугадаешь?

* * *

Плоскин делал вторую затяжку, когда услышал над собой резкое, с подвывом, шипенье. Пригнулся, выпрямился — разрывы прогремели где-то в тылу батальонных позиций, до которых еще не близко. Крикнул конвоируемому:

— Эй, ты! Вставай!

Озираясь, тот поднялся. Колени его тряслись.

— Раньше смерти помер? А ну, давай! — прикрикнул Плоскин. — Двигай!

Заплетающимся, сбивчивым шагом изменник пошел, пугливо косясь по сторонам и поглядывая наверх — шипенье летящих к селению снарядов и гул разрывов слышались все чаще.

— Быстрей, быстрей! — поторапливал Плоскин. — Мне к своим успеть вернуться...

Вихрь горячего воздуха налетел на него, сшиб с ног.

Когда Плоскин очнулся — в ушах стоял звон, словно над ним ударил во всю мощь огромный колокол. Глаза резало от набившейся в них пыли, он ничего не видел. Кое-как проморгавшись, хотел подняться, но жаркий вихрь снова пронесся над ним. Наконец протерев глаза, но еще ничего не слыша, оглушенный, поднял голову. Невдалеке дымилась воронка. Столбы пыли и дыма взметались теперь чуть подальше, около окопов батальона.

— Гвоздит немец! Вот те на...

Шинель и ватник на нем были распахнуты, меж одеждой и телом всюду чувствовался песок. «А где же этот, плакса-то?» Подобрав винтовку, Плоскин забегал меж

дымящими жаром воронками. «Удрал? Разнесло? А может, землей завалило? Нет, не видать... Такого сволочугу пустил! Да лучше б меня ранило! Что я теперь сержанту скажу...»

Плоскин метался меж воронок. И вдруг увидел: все отделение, растянувшись цепочкой по полю, спешит к батальонным позициям... Плоскин растерянно остановился: вот он, Прохоров-то, впереди всех, сейчас спросит.

И действительно, сержант, увидев Плоскина и поравнявшись с ним, спросил:

— Отвел?

— Снарядом его! — ответил Плоскин — и сам поверил в то, что сказал.

— Давай! — только махнул рукой сержант. Плоскин пристроился в конец цепочки, там, где шли связист с болтающимся на боку зеленым ящиком телефона, Снегирев и рядом с ним какой-то странный парень, наголо остриженный, в солдатской плащ-палатке, из-под которой виднелась незнакомая Плоскину серая, в синюю полоску, одежда.

Глава 8

В НЕРАВНОМ БОЮ

Небо стонало, беспрерывно полосуемое снарядами. С натужным свистом проносились осколки. По всему переднему краю, по глубине обороны била немецкая артиллерия.

Прохоров и его бойцы разыскали наконец свой взвод. Лейтенант Галочкин указал отделению позицию в крайнем, никем не занятом левофланговом окопе на стыке с соседним батальоном, близ врытой в землю противотанковой пушки «сорокапятки». «Винницкий» пока остался с бойцами.

Еще с полчаса после того, как отделение засело в указанный окоп, бушевал артиллерийский шквал. Потом наступила тишина.

Никто не верил ей. Не станут немцы кидать снаряды так, за здорово живешь.

Но шли минуты, а тишина держалась, тугая, как до предела натянутая тетива.

Минута, еще.

Далеко впереди на желтовато-белесом склоне показалась крохотная черная точка. Можно было заметить: она движется.

В высоте словно дунул кто-то огромный во всю мощь — это большой снаряд прошел в воздухе, и около ползущей точки расплылось темное бесформенное пятнышко. Посветлело, растаяло.

Возле движущейся точки возникали новые и новые, округлые, быстро тающие дымы, оставляя после себя на светлом поле темные пятна. Рядом с правой движущейся точкой появилась вторая, третья... Они быстро росли в размерах, приобретали угловатые очертания. Лавируя перед встающими на пути разрывами, машины потеряли первоначальную прямолинейность движения, но продолжали приближаться. Только одна замерла меж темными пятнами воронок. Подбита?

Пронзительный звук авиационных моторов заставил всех в окопе поднять головы.

— Летят, гады! — прокричал Федьков. — Держись за землю!

Немецкие бомбардировщики, резко снижаясь, проплыли над окопами, вытягиваясь вереницей в направлении батарей, стреляющих по танкам.

Из траншеи видно: один, другой, третий бомбардировщик стрелами падает вниз, круто взмывает, снова пикирует. Слышен раскатистый гром рвущихся бомб. В той стороне, где огневые артиллеристов, вспухают над землей темные клубящиеся тучи.

И больше не видно разрывов перед вражескими машинами.

Все отчетливее вырисовываются на белесом небе прямолинейные квадратные силуэты. Теперь видно: «тигры».

Какой-то из «тигров» с ходу хлестнул из пушки — снаряд громко шикнул в воздухе, позади «сорокопятки» взлетела земля.

«Даст сейчас и нам!» — Снегирев опасливо присел, задев щекой стенку окопа, отдернулся: земля показалась по-особенному холодной. Выглянул, прикинул: «Метров четыреста осталось «тиграм» до нас. Неужто артиллерия не выручит?»

Глянул на товарищей. Напрягся, будто хочет выскочить навстречу танкам, Федьков; помаргивает, словно что

попало в глаза, Плоскин; надвигает шапку поглубже Опанасенко. Прохоров встретился взглядом со Снегиревым, поняли друг друга без слов: держись!

Снегирев вставил запал в противотанковую гранату, покосил глазом — гранаты готовят все. Только Плоскин, привстав на носках, как-то по-собачьи тянет вверх голову, прислушиваясь ко все более громкому моторному рыку. «Не трусит ли?»

Машинный гул, нарастая, холодил сердце. А пушки молчат... Пальцы Снегирева крепко сжали толстую рукоятку гранаты. Казалось, граната пульсирует, напрягается, словно стремится вырваться, полететь навстречу танкам. «А как же документы? — вдруг промелькнула мысль. — Список коммунистов, партбилет? Немцы обшарят, найдут...» — но тотчас же со стыдом признался: о себе тревожишься, не о партбилете! Примерился: если первый «тигр» подойдет на пятнадцать шагов...

Состояние полной отрешенности от всего охватило Снегирева — обычное состояние в ту минуту боя, когда неизвестно, останешься ты жить или нет в следующую. Разве правда, что в такую минуту вспоминаются близкие, вспоминается прожитое? Нет, скорее другое — все личное остается где-то за гранью мыслей и чувств, странным спокойствием полнится сердце, и одна только в нем забота: если прожить осталось всего мгновение, то и его прожить достойно.

В те миги, которые могут стать последними, живет боец последним своим боем... И что там наводить глянец на, может быть, грубую, но великую правду этих мгновений? Замахиваясь гранатой на дыбящийся на него вражеский танк, не имя жены или невесты шепнет, не лозунг выкрикнет солдат, а молча стиснет зубы или выругается крепко, по-русски, да с тем неизящным словом на устах и встретит смерть. Но разве подвиг его от этого будет менее славным?

...Четыре удара — один за другим, как удары гигантского молота. Наконец-то! Батарея ударила по танкам!

И снова четыре удара, сливающиеся в один.

И еще, и еще.

Черный всклубившийся дым закрыл от взгляда Снегирева самую ближнюю машину, дым несло на окоп. Разглядеть что-либо впереди стало невозможно. Только слышались частые, упорные, тяжкие, как удары кувалды,

разрывы и в промежутках между ними — злое, нервозное рычание моторов.

Снегирев положил гранату обратно на бруствер, вытер пот.

Заслоняя танки, тяжело колыхаясь, клубились дым и пыль. Но разрывы слышались и сзади, откуда стреляли свои батареи. Немецкая артиллерия с удвоенной силой повела огонь по ним.

Гул разрывов вражеских снарядов нарастал. В нем глохли голоса пушек, стреляющих по «тиграм».

Однако полковые и дивизионные артиллеристы успели сделать, что могли. Впереди вьется по земле упругий черный дым: один из «тигров» горит. Остальные, невидные за дымом, уходят, как можно догадаться по звуку моторов, куда-то левее

Но что это?

Вынырнула из дыма темно-серая броня с белым номером и каким-то зверем, намалеванным на ней. Снегирев прикидывал: «тигру» остается до траншеи не больше трехсот метров... двухсот... ста пятидесяти. Когда же выстрелит «сорокопятка»? Через две минуты будет поздно! Промахнуться боится наводчик? На ста метрах промахнется лишь такой, у которого душа дрожит...

Ага! Хлопнул негромкий, но звонкий выстрел. Под гусеницей «тигра» блеснула крохотная вспышка, почти в тот же миг — вторая. Набирая скорость, он ринулся на пушку. Она успела выстрелить еще два раза. Оглушительно гремя, выбрасывая назад серые тугие струи дыма, «тигр» промчался мимо, подмял «сорокопятку». Крутнулся, взметнув из-под гусениц песок, пошел, показалось Снегиреву, прямо на него. За кормой «тигра» в сером выхлопном дыму возникла фигура солдата — без шапки, с лицом цвета земли. Ветерок шевелил его темные волосы. Солдат взмахнул рукой — и непроницаемое облако закрыло и его, и «тигра», тугой удар на миг поглотил все звуки вокруг.

Черный дым, смешанный с серо-желтой пылью, тотчас же смахнуло порывом утреннего ветерка. «Тигр», зло ревя мотором, поворачивался. Но вдруг остановился. Его башня шевельнулась, застучал пулемет. На краю окопа, где только что подымался артиллерист, всплеснулись косые бурые струи взбитой пулями земли. Выпустив длин-

ную очередь, пулемет танка умолк. Только моторы продолжали реветь.

Мимо Снегирева протиснулся Федьков.

— Я им пол-литра! — Федьков выскочил наверх, побежал к танку.

Резко простучал пулемет. Федьков с разбегу упал плашмя, далеко в сторону откинул руку с зажатой в ней коричневой бутылкой.

«Убили!» — вздрогнул Снегирев.

Над артиллерийским окопом, из которого торчал искареженный щит раздавленной танком пушечки, показалась темноволосая голова. «Тот, пушкарь!»

Артиллерист выбрался наверх. В руках он сжимал ломик, какой обычно имеется среди шанцевого инструмента при орудии. Снегирев с замиранием сердца следил: прихрамывая, артиллерист пробежал несколько шагов, отделявших его от «тигра», и не стал виден — корпус стоящего танка заслонил его. Но вот голова с раскосмаченными темными волосами мелькнула из-за башни: артиллерист на броне! Размахнувшись, ударил ломом по пулеметному стволу, на конце которого судорожно плясало пламя. «Ну что он сможет?» — усомнился Снегирев. И действительно, артиллерист ударил еще, еще, а пулемет не перестал стрелять. Мелькнул в воздухе брошенный лом. Артиллерист сорвал с себя шинель, накинул ее на переднюю часть башни. «Тигр» ослеп. Но его пулемет продолжал стучать.

Навалившись на шинель, артиллерист что-то прокричал.

Федьков встрепенулся. «Живой», — обрадовался Снегирев. Федьков вертко, ужом, пополз к танку.

Башня быстро вращалась — видимо, танкисты пытались сбросить артиллериста вместе с его шинелью.

До танка Федькову осталось метров пятнадцать.

«Вскакивай, кидай!» — хотелось крикнуть Снегиреву. Широко размахнувшись, Федьков бросил свои «пол-литра». «Успел! Успел!» — возликовал Снегирев. На кормовой броне заплясало чадное растекающееся пламя. Пулемет смолк.

Густыми клубами валил темно-бурый дым, закрывая Федькова и танк. Но вот фигура Федькова проступила в дыму. Охватив безвольно поникшее тело артиллериста,

он волочил его к траншее. «Помочь!» — Снегирев выкарабкался наверх.

— Куда? — услышал окрик Прохорова. Обернулся: рядом бежит кто-то. Сам Прохоров!

Вдвоем помогли Федькову втащить в траншею раненого. Это был смуглолицый молодой солдат, по обличью не то киргиз, не то казах. Он не открывал глаз, на запорошенном пылью лице не шевелился ни один мускул.

— Из пистолета они его, сквозь щелку, — отдышавшись, сказал Федьков. — Помер, вроде?

— Зачем помер? — прохрипел артиллерист, неожиданно открывая глаза, и рванулся подняться: за траншеей снова взревели моторы «тигра». Раненого едва удержали.

— У, собака, фашист! — глаза его горели яростью. — Один граната — мало! Один бутылка — мало!

Федьков обежал взглядом вокруг:

— Еще его, горючкой, чтоб не воспрял!

Кинулся вдоль траншеи, вернулся — в каждой руке его было по бутылке. «Ну, лих», — не успел и подумать Снегирев, — а Федьков был уже опять наверху.

Вот он в клубящемся вокруг «тигра» дыму. Негромко хлопнуло — это вспыхнуло содержимое разбитых о броню бутылок. Всплеснулось многоязыкое черно-оранжевое пламя, взвилось вокруг башни. Из дыма вынырнул Федьков, хлопая себя по задымившимся бокам, и кубарем скатился в траншею.

Артиллерист пытался уцепиться непослушной рукой за стенку траншеи, тяжело дыша, жадно всматривался в полыхающего «тигра», но недолго — стал медленно оседать, оседать. Снегирев, придерживая, посадил его спиной к земляной стенке:

— Куда тебя угодило?

— В середка, юлдаш, — раненый скривился от боли.

Снегирев вынул свой санитарный пакет, расстегнул на раненом шинель.

Он еще не домотал бинт, как по всему полю перекатами пошла стрельба. Наскоро завязав бинт, Снегирев выглянул: чуть правее, растянувшись по полю в линию, идут с немецкой стороны, покачиваясь на гусеницах, бронетранспортеры — низкие, скошенными бортами похожие на гробы. Из них на ходу выпрыгивают и тотчас же скрываются, сливаясь с землей, согнутые фигуры.

Бронетранспортеры, опустошив свои чрева от живого груза, разворачивались, уходили назад. Вот и последний, болтая за кормой створками распахнутых дверей, крутнулся на гусеницах и поспешил вслед за ушедшими.

...Сейчас немцы подымутся, начнут перебежки.

Снегирев напряженно стиснул карабин.

В трескотню разнобойных выстрелов вмешалось жестяное переливчатое дребезжание. Мина разорвалась шагах в пятнадцати перед траншеей. И сразу, не успела еще опасть взметенная разрывом земля, — еще мина, еще и еще. Низко летели урча комья земли, осколки.

Огневой налет кончился.

«А как мой винницкий?» — Снегирев оглянулся: паренек жмется к стенке, побледнел, в глазах страх. Снегирев ободряюще подмигнул ему, хотя и сам не так уж спокоен был в эту минуту: перестал немец мины бросать — жди атаки.

Немецкие пикировщики все сновали над позициями батарей, сбрасывали бомбы вновь и вновь. Немецкая артиллерия гремела не умолкая. Под прикрытием ее огня бронетранспортеры подбрасывали новые группы пехоты.

Взлетела над полем дымчато-зеленая ракета.

«Ага, поднялись!»

Старательно целясь, сдерживая дрожь рук, Снегирев стрелял. Иногда, перезаряжая карабин, оглядывался: «винницкий», бледный, с напряженным лицом, стоит, сжавшись, все в том же углу траншеи. Пожалел: так и не успели парня в тыл отправить... Да разве до него сейчас...

Все полнее наливалось сердце тяжелой тревогой: «Без оружия — и герои не дюжие. Не поможет артиллерия — сомнет нас враг».

Справа заливисто застучал пулемет. Перебегавшие немцы залегли, исчезли из виду. «Повременю, — Снегирев придержал палец на спусковом крючке. — Покажутся — тогда». Осмотрелся: и другие не стреляют. Федьков выкладывает по бровке траншеи гранаты. Откуда у него столько? Ведь известно — Федьков лишнего не понесет... Где насобирал? Берет то ту, то другую, прикладывает, примеряется.

— Что ты мудришь? — полюбопытствовал Снегирев.

— Что? — голос Федькова был преисполнен важности. — Комбинированный фугасно-осколочно-зажига-

тельно-пугательный снаряд ближнего действия системы Федькова образца тысяча девятьсот сорок пятого года! Скрутить бы чем... А! — Федьков вытащил санитарный пакет, рванул зубами за уголок плотную прорезиненную оболочку и, вытянув оттуда бинт, стал связывать им две ручные гранаты и бутылку горючки.

— Во! — показал он Снегиреву. — Чтоб фрица сразу и жгло, и рвало...

— Патент возьми... — Снегирев не договорил: одна из мин ударила в край траншеи.

Прогремело еще несколько разрывов.

Отряхиваясь от земли, Снегирев и Федьков поднялись. Белый как мел «винницкий» медленно вставал, остекленело глядя себе под ноги: возле лежал лицом в землю солдат — молодой, из недавнего пополнения, вместо того, чтобы лечь, — побежал и попал под осколок... Снегирев нагнулся. Не шевелится.

— Эх, по дурости пропал...

— Фрицы поднялись! — показал Федьков. — Отчаянные, гады! Шнапсу надрались? — и взялся за автомат.

«Пора! — Снегирев стал старательно ловить на мушку одного из атакующих. — Давно не видал таких ретивых...»

Нажал на спуск.

Стрельба шла по всему переднему краю, усиливаясь, словно кучу сухих веток ввалили в костер.

Пули срезáли атакующих. Но за первой их цепью катилась вторая, за второй — третья...

Ствольная накладка карабина уже жгла Снегиреву руку, но враги ближе, их словно больше. «Ох, и до черта вас... Не отбиться. Неужто... здесь суждено?»

Несколько немцев далеко впереди других. До траншеи им — сорок шагов. Тридцать...

С непостижимой для него самого быстротой Снегирев выпустил обойму. Кто-то из немцев, бегущих прямо на него, упал. Но остальные — еще миг, взбегут на бруствер. Вот они! Красные лица с черными провалами орущих ртов, широко раскрытые глаза, полные страха и ярости, словно раскаленные добела... С молниеносной быстротой перезарядив карабин, Снегирев стрелял в эти лица и глаза. Не чувствовал ничего, ничего, кроме самого простого: податливого металла под указательным пальцем, толчка приклада в плечо после очередного выстрела. Все

осознанные чувства, даже страх, даже сама ненависть к врагу, в такие мгновения уходят в глубины души. Остается только одно — доведенное почти до автоматизма желание убить врага. Убить. Иначе эти, темно-зеленые, в козырькастых шапках, убьют тебя.

За бруствером среди подбегающих немцев гулко хлопнуло, всплеснулось широкое пламя. Федьковский снаряд! Немец в задымившей снизу шинели пробежал вдоль траншеи. Другой, неожиданно возникнув над Снегиревым, сверху вниз направил на него свой автомат, но кто-то выстрелил в немца на секунду раньше, чем тот нажал на спуск, — немец строчил уже падая, и Снегиреву только ухо обжег пулевой ветер. На месте упавшего немца мгновенно появился второй. Снегирев навскидку пальнул в него — и, видно, не попал. Немец спрыгнул прямо на Снегирева, хватил его прикладом автомата по пальцам, сжимавшим карабин. От нестерпимой боли Снегирев на миг разжал их, едва удержал оружие одной рукой. Немец замахнулся вновь, но рухнул — рядом с собой Снегирев услышал два выстрела один за другим. Кто это стреляет? «Винницкий» из чьего-то карабина. Спасибо, выручил! На бруствер взбегают еще немцы. Опередить их! Успеть выстрелить!

Превозмогая боль в расшибленных пальцах, Снегирев вскинул карабин...

Кругом хлопали отрывисто выстрелы, слышались крики, ругань. Сквозь всю эту сумятицу прорвался возглас Опанасенко:

— Ото ж, враже, кайся, о пощаде не заикайся!

И где-то близко отчаянным голосом завопил Плоскин:

— Да держите их, держите!

Снегирев обернулся — два немца прижали Плоскина в угол траншеи, а он ухватился за стволы их автоматов, расталкивает в стороны. Прикладом Снегирев ударил одного. Тот, не выпуская из рук оружия, повалился, потянул за собой Плоскина. Второй выпустил из рук автомат, который все еще держал Плоскин, сильным ударом кулака в челюсть опрокинул Снегирева. На миг у того потемнело в глазах. Напряжением воли удержавшись в сознании, вскочил.

Метавшиеся над окопом немцы вдруг куда-то исчезли. Федьков, вылезший наверх, став на одно колено, упоенно

строчил из автомата вслед убегающим. Тот немец, который только что свалил Снегирева, лежал вниз лицом. Плоскин с немецким автоматом в руках, угрожающе наставив ствол в спину лежащему, кричал:

— Хенде хох!

— Какой там хенде! — Снегирев взглянул: немец уже перестал шевелиться.

— Еще бы! — горделиво проговорил Плоскин, поправляя сбившуюся шапку, из-под которой торчал клок рыжих волос. — Я как дал этому боксеру! Да кабы не я — капут бы тебе, Григорь Михалыч!

— Ладно, ладно, спасибо!

За те секунды, что Снегирев падал от удара и поднимался, произошло что-то, ему еще непонятное.

Гитлеровцев, прорвавшихся к траншее, словно ветром сдуло. Тех, которые еще не успели достичь траншеи, вообще не было видно: там, где только что бежали цепи атакующих, курились, быстро тая, реденькие дымки. В пылу схватки не увидел и не расслышал Снегирев, как минуты три назад высоко в небе с глуховатым шумом огненноперой стаей пролетели реактивные снаряды и обрушились на немецкую пехоту, высаженную с бронетранспортеров.

— Жарко! — Снегирев сдвинул на затылок ушанку, расстегнул ворот ватника.

— Цел? — спросил подошедший Прохоров. — Немец тебя благословил — заклепки не выскочили?

— Ничего, мой котелок старинной клепки.

Бойцы возбужденно и весело перекликались, перекидывались шутками. Федьков громогласно уверял, что истребил не меньше десятка фашистов. С ним никто не спорил, хотя никто и не верил ему. Среди шумных, еще не остывших от схватки бойцов только «винницкий» был молчалив — не чувствовал себя своим меж ними. Но вот его заметил Федьков:

— Друзья! А винницкий-то! Шикарно из карабина! — Подошел, похлопал по плечу. — Толков! Как зовут-то тебя?

— Степан Зубарь.

— Зубарь? Чудна́я фамилия.

Федьков достал свой роскошный, блестящий, с накладными украшениями портсигар:

— Закуривай!

— Спасибо! — застеснялся Зубарь. — Не курю я.

— Что, не приучился на чужбине?

— Приучишься... От ихнего табаку смерть в боку. Кто и умел, так забыл.

— Ничего, приохотишься. Какой же солдат без этой соски? — Ловко щелкнув крышкой портсигара, Федьков бросил себе в губы папироску.

Подошел Прохоров. По его распоряжению молодого солдата, убитого осколком, уложили пока у стенки, накрыли шинелью. Двух валяющихся в траншее гитлеровцев выбросили за бруствер. Когда их выволакивали, бойцы обратили внимание: у каждого вокруг обшлага на рукаве — лента с крючковатыми буквами. Зубарь глянул:

— Написано: «Адольф Гитлер».

Федьков пояснил с видом знатока:

— Эти адольфы — гвардия ихняя. Вот кого на нас! И озорно подмигнул Зубарю.

— Слышь! Ты по-немецки силен? А можешь ты их по ихней арийской матушке покрыть?

— У них таких выражений нету.

— Чего ж? — удивился Федьков, — они и не ругаются никак?

— Ругаются, но так, как у нас, не умеют.

— Конечно, где им!.. Жаль. А то, как пошли бы они опять в атаку, катнул бы ты их во весь голос по-ихнему. Для изумления! А я б их — зажигательно-пугательным!

— Ладно, обойдешься и родной речью! — прервал разговор Прохоров. — Его, — он показал на Зубаря, — в тыл отправим.

Зубарь встрепенулся:

— Я буду с вами фашистов бить!

— Экий ты шустрый! Ты же не оформлен, как положено.

— А что надо? Я ж стрелять умею!

— И верно, — подтвердил, обращаясь к Прохорову, Снегирев. Спросил Зубаря: — Где научился?

— Дома еще. Я всю допризывную подготовку прошел. Винтовку, гранаты, пулемет Дегтярева. Только автоматов не было тогда. Я по стрельбе отлично имел! А в армию не успел: немцы пришли... Я воевать смогу!

— Без пяти минут боец! — Снегирев добрым взглядом смотрел на паренька, тщедушного на вид, но явно преисполненного решимости стать солдатом.

— А что? Он парень боевой, — заявил Федьков. — С таким можно во фрицах дырки сверлить. Оставим его, а?

— И впрямь... — поддержал Снегирев.

— Выдумаете! — отмахнулся Прохоров. — Здесь не партизанский отряд: кто пришел — воюй! В тыл. И раненого пушкаря отправим заодно.

— Куда же сейчас? — вмешался Снегирев. — Выйдут на открытое, а тут немец опять начнет. Пусть побудут пока.

Прохоров согласился:

— Ладно.

— Эй, корешок! — поманил Зубаря Федьков. За поворотом траншеи он подобрал шапку-ушанку, оставшуюся от кого-то из убитых. Протянул ее Зубарю.

— Спасибо! — паренек быстро напялил шапку на круглую, наголо остриженную голову. — Теперь я, как красноармеец, правда?

— Хоть на карточку даме сердца. — Федьков подал просмоленную коробку с винтовочными патронами: — Держи вот эти медные конфеты. Карабин заряди, остальное — по карманам рассуй.

— У меня такая форма, что ни одного кармана нет...

— Вот приодел тебя Гитлер... Обожди-ка, — Федьков куда-то сбегал по траншее, вернулся с солдатской шинелью, перекинутой через плечо, с рыжими немецкими сапогами в руке:

— Надевай!

— Спасибо! — Зубарь взял шинель, потрогал погоны на ней. — Раньше у красноармейцев погон не было...

Надел, подпоясался ремнем и подсумками, которые также вручил ему Федьков, и стал похож на заправского солдата. Только выглядывали из-под шинели полосатые арестантские штаны.

Немецкие сапоги оказались Зубарю малы. Старался-старался, а не лезли. Плоскин, как знаток, посоветовал:

— Переда подпороть надо. У немецких, известно, подъем мал.

Своим трофейным кинжалом Федьков единым махом взрезал переда, но сапоги все равно не лезли. Он взял их

у Зубаря и со злостью вышвырнул из траншеи. Зубарь снова стал прикручивать к ногам деревянные обутки. Но Федьков остановил его и поманил Плоскина.

— Слышь! У тебя, однако, запасные сапожки есть. Не подойдут ли?

— Да что ты?.. Да где? — смутился Плоскин.

— Сапожник, да без сапог? — Федьков назидательно поднял палец. — Разведчика не проведешь. В вещмешке у тебя что?

— Да откуда ты знаешь?

— Искусство предвидения. Доставай!

— И верно, зачем тебе лишние таскать? — поддержал Снегирев. А Опанасенко сказал:

— Хватит тебе и одних до победы! А хлопец — босый!

Как ни мялся Плоскин, пришлось выложить из мешка запасные. Зубарь примерил — в аккурат. Плоскин, которому только и оставалось, что проявить великодушие, сказал важно:

— Ненадеванные. Носи да понимай: для себя шил.

— Еще бы штаны тебе человеческие, — оглядел Зубаря Федьков, — и тогда хоть по Дерибасовской... Обожди, разживемся! Меня держись. Запомни: Федьков моя фамилия.

Глава 9

«ДЕЙСТВУЙТЕ ПО ОБСТАНОВКЕ»

Близился полдень.

Еще пощелкивали вразнобой винтовочные выстрелы, потрескивали короткие очереди. Но постепенно бой притихал.

Немецкая артиллерия не возобновляла огня. В воздухе не слышалось воя пикировщиков.

Бересов старался предугадать, что произойдет дальше.

Едва ли надолго утихомирен враг залпом «катюш». Да и «катюши» уже ушли, срочно понадобились в другом месте. «Тигры» прорвались на правом фланге полка, спустились в лощину, где стояли батальонные минометчики. Те едва успели отойти. Скрытые лощиной от глаз наводчиков противотанковых пушек, «тигры» движутся к дороге, ведущей в селение. Как только они покажутся

на открытом месте, уцелевшие пушки станут стрелять по ним, пока хватит снарядов. Но «тигров» слишком много. Сколько Бересов помнит, противник еще никогда не бросал на такой узкий участок столько танков одновременно. Не исключено, что «тигры», выйдя на дорогу, отрежут полк от тыла и соседей. Правее немецкие танки тоже пробиваются к каналу. Противник явно готовит «клещи». А сломать их — нечем. Дожидаться, пока они сомкнутся? Целесообразнее, пока не поздно, отойти на новый рубеж и закрепиться.

Бересов по телефону доложил командиру дивизии свои соображения. Комдив ответил: «Действуйте по обстановке». Бересов догадался: комдив понимает, что отход необходим, однако, прежде чем дать на него разрешение, обязан доложить «верху». Но ведь комдив знает, что в ответ скорее всего скажут: «Ни шагу назад». Так бывало уже не раз. Разрешение на отход если и дают, то почти всегда позже, чем надо бы дать. А отходить все равно приходится, и уже в более трудных условиях, со значительно большими потерями в людях, материальной части, пространстве...

* * *

На правый фланг батальона Яковенко враг нацелил основной удар. Именно сюда он после полудня снова бросил, собрав в кулак, танки и следом за ними — бронетранспортеры.

«Тигры» рычали уже совсем близко, когда в передней траншее появился Понедельный. Он шел от бойца к бойцу. Немногословен был. Иного спросит: «Запал вставить не забыл?» Иному только взглянет в лицо. И так же немногословны были ответы. Но в глазах солдат видел замполит: «Выдюжим». И знал: выдюжат — как было под Сталинградом, Курском, Корсунем и совсем недавно, в январе, под Секешфехерваром, когда враг рвался на выручку к своим, в Будапешт.

Никто не оставил своей позиции. Стояли насмерть. Но слишком уж велика была вражья сила. «Тигры» прорвались через переднюю траншею. Под гусеницами погибли, не отступив, сражаясь до последнего дыхания, бойцы, отбивавшиеся противотанковыми гранатами, почти все бронебойщики, немало артиллеристов вместе со своими пушками — последний снаряд посылали в упор,

когда лязгающая громада дыбилась уже в нескольких шагах впереди, закрывая собой белый свет.

Когда вслед за танками перевалил через траншею первый бронетранспортер с немецкой пехотой, Понедельный, сзывая уцелевших бойцов, повел их в тыл по ходу сообщения. Оставаться на прежней позиции стало бессмысленно: противник уже прошел ее. Надо было собирать силы и срочно создавать оборону на новых рубежах.

Яковенко по телефону доложил командиру полка о происходящем. Впрочем, Бересов со своего наблюдательного пункта видел все сам. Он приказал Яковенко готовиться к круговой обороне, другим батальонам — усилить фланги. Гурьев начал из штабного блиндажа обзванивать комбатов и командиров батарей, передавая им указания командира полка о перегруппировке.

Возле Гурьева в блиндаже сидел подполковник Неворожин, заместитель командира полка по строевой части, несколько месяцев назад переведенный в полк с должности начальника одной из дивизионных служб. Неворожину по его обязанностям, пока Бересов на своем посту, не было необходимости, в отличие от другого заместителя, Понедельного, находиться на передовой. Неворожину были подчинены тыловые и резервные подразделения. Но Неворожин не хотел, чтобы думали, что, пользуясь своим положением, он отсиживается в тылу. И поэтому, когда разгорелся бой, он счел должным отправиться на передний край, хотя для дела это и не было необходимым.

Стараясь сохранить выражение спокойствия и деловой сосредоточенности на своем сухом, костистом лице, Неворожин прислушивался к гулу боя, чуть приглушенному здесь, под толстой земляной крышей, к разговору Гурьева по телефону.

Гурьев кричал в трубку:

— Девятый! Четвертый спички вам отдает. Кладите в левый карман!

— Как? — Неворожин привстал. — Вы в батальон отсылаете бронебойщиков резерва?

— Бересов приказал.

Тонкие светлые брови Неворожина поднялись:

— Но ведь танки противника могут появиться здесь в любую минуту! Бронебойщики необходимы здесь!

— Еще нужнее они там — прикрыть дорогу.
— Откуда вы знаете?
— Об этом только что звонили.
— Кто?
— Яковенко и Понедельный.
— Майор Понедельный? — Неворожин чуть скривил губы.

Гурьев не знал, что втайне Неворожин на Понедельного смотрит свысока: тот и званием ниже и в должности не выше.

Покосившись на связиста, сидевшего у аппарата в углу блиндажа, Неворожин снизил голос:

— Я же беспокоюсь, чтобы капэ нормально функционировало! — он произнес это доверительно, почти дружеским тоном, каким обычно старался разговаривать с Гурьевым, чтобы тот не заподозрил его в неприязни. Дело в том, что, когда Неворожин прибыл на свою должность, обязанности заместителя по строевой временно нес Гурьев — взамен убитого под Яссами майора Гукасяна, которого Бересов так любил за инициативу и смелость. Бересов уже подумывал оставить Гурьева своим заместителем: в случае чего тот и всерьез может заменить его — из хороших штабных офицеров получаются отличные строевые. Но отдел кадров неожиданно прислал Неворожина. И до сей поры, втайне побаиваясь, как бы Бересов не откомандировал его обратно, Неворожин при каждом удобном случае старался показать, что он своей должности вполне стоит: был пунктуален, точен, требователен, всякое поручение выполнял с рвением. Бересов за все это не мог не ценить его. Однако самостоятельных дел давал по-прежнему мало. Во все вникал, как и раньше, сам или, по привычке, пользовался помощью Гурьева. Постепенно Неворожин привык к такому положению, когда достаточно было быть только исполнителем. Но он искренне желал быть необходимым, особенно в бою.

Напряженно прислушиваясь к разговорам, которые Гурьев беспрерывно вел по телефону, Неворожин старался понять: какова обстановка? Услышал: говоря с Бересовым, Гурьев упомянул про круговую оборону. Тот, видимо разговаривая с кем-то другим, прокричал в трубку:

— А я повторяю: немедленно! Через пять минут может быть поздно!

— Что происходит, капитан? — не выдержал Неворожин.

— Противник отрезает. Его танки почти возле окраины слева.

Неворожин нервным движением тронул кобуру:

— Пойду...

Гурьев посмотрел ему вслед с чувством облегчения: и без него забот гора, пусть идет себе в тылы.

Однако Неворожин спешил вовсе не в тылы. Велика ли честь возглавлять обозы? Лучше быть возле командира полка. Окружение? Ничего. Не сорок первый. Противника отгонят. Зато потом никто не скажет, что в трудный момент подполковник Неворожин ушел с передовой.

Бересов, наблюдавший за передним краем в бинокль, не сразу заметил Неворожина, спустившегося к нему в окопчик.

Неворожин сам решил напомнить о себе:

— Простреливают. Едва проскочил к вам.

— Чего ж скакать... — пробурчал Бересов, не отрывая глаз от бинокля. — Пожалуй, отходить придется.

— Всем полком?

— Не нам же с вами вдвоем...

— Получено разрешение?

— Дождешься его... — Бересов озабоченно повел биноклем, вглядываясь во что-то впереди. — Припрет, так и сам ноги в руки возьмешь.

— Я полагаю — надо использовать все возможности... До последнего патрона...

— А потом — пусть по нашим костям спокойно немец идет? А кто будет держать новый рубеж?

— Но покинуть позиции без приказа? Мы должны стоять непоколебимо...

— Знаю, стаивали. Первый батальон и сейчас стоит.

— Мы должны по уставу...

— А по обстановке?

Бересов из-под кустистых бровей метнул на Неворожина сердитый взгляд. — Я не олух, чтоб дать противнику весь полк в мешок завязать. Пусть не рассчитывает. Смертью глупых погибать — не наша перспектива.

— Но если и попадем в окружение — прикуем противника к себе. А тем временем выручат нас. Так ведь уже было в прошлом году.

— Так да не так. — Бересов помедлил. Он, видимо, не расположен был сейчас спорить. Но сказал: — Бой всегда разный. Тогда горный лес был, а здесь — степь. Да и соотношение сил... Сотрет нас танками, и все.

— Командование примет меры.

— Примет? — Бересов скупо усмехнулся. — В мешке сидеть да на других надеяться — легче, чем бой на отходе вести. Но комдив предупредил: подкреплений не дадут.

Неворожину очень хотелось, чтобы Бересов согласился с ним и поверил бы, что он, Неворожин, в этих трудных обстоятельствах духом тверд. И он сказал, как полагал, самые сильные слова:

— Нам положено в любом случае стоять насмерть!

— Не в любом... — Отведя глаза от окуляров, Бересов покосился на Неворожина. — На все задачки один ответ?.. Это только немцы так устав соблюдают. За то их и бьют. — И снова приложил бинокль к глазам.

— Но ведь за отход без разрешения придется отвечать?

— Ничего, отвечу. — Бересов повернулся к сидевшему вблизи связисту, назвал ему чей-то условный номер, приказал вызвать. Связист подал трубку. Бересов послушал. Лицо его помрачнело. Сказал в трубку:

— Пока держитесь! Вас прикроют.

Глянул на Неворожина:

— Давайте в селение. Все тылы — на колеса... Карту!

Неворожин поспешно вытащил карту из планшетки.

— Повозки боепитания, со снарядами — вот сюда! — Бересов отчеркнул ногтем на карте нужное место. — Без промедления действуйте.

— А вы?..

— Пока здесь.

Неворожин не стал более спорить. В конце концов командир полка сам отвечает за свои решения. Совесть Неворожина чиста. Он настаивал, он предупреждал.

* * *

Немецкие танки, прорвавшись к дороге, не смогли пойти по ней. С окраины их встретили частым огнем артиллеристы, успевшие встать на новые позиции. К тому же головной «тигр» подорвался: саперы из подвижного отряда заграждения, ползая уже под огнем противника,

успели заложить на дороге мины. Остальные «тигры» вслед за подорвавшимся идти не решились. Они вновь укрылись в неглубокой лощинке около дороги и только временами высовывались наверх, на скат лощины, постреливали. Противник явно выжидал чего-то. Может быть, своих саперов для разминирования? Пехоту, порядком приотставшую после залпа реактивных установок? Или авиацию, чтобы та обрушилась на позиции артиллеристов?

Каждому немецкому танку, если он подымался из лощины, передний край полка открывался как на ладони. Небольшой окопчик бересовского наблюдательного пункта на склоне пологой высотки стал, видимо, особенно приметен немецким танкистам: несколько снарядов они выпустили по высоте. Бересов хорошо видел каждый «тигр», как только тот выползал из лощины выстрелить.

Но меньше всего Бересов сейчас думал о том, что он подвергается опасности. Неотрывно, со все возрастающей тревогой, следил он за ходом боя. Справа и слева противник уже почти полукольцом охватил центр обороны полка — позиции батальона Яковенко и ту часть селения, которая расположена севернее канала. Противотанковые мины, наспех набросанные саперами подвижного отряда, не удержат «тигров» долго: противник или разминирует путь, или обойдет заминированное место. Еще несколько танков показалось вдалеке — не на Яковенко ли они нацеливаются? А если из лощины двинут «тигры» — Яковенко будет взят в клещи. Вот-вот противник на флангах Яковенко выйдет к каналу. У артиллеристов осталось совсем немного снарядов: уже почти восемь часов они ведут бой. А дорога вся простреливается, на бреющем полете носятся вдоль нее вражеские штурмовики — снарядов не подошлешь. Попытались дивизионные гаубичники на машине подкинуть — штурмовик налетел, зажег, как только машина выскочила на открытое место.

Бересов велел еще раз соединить его с комдивом.

— Знаю. Туго вам, — сказал генерал, выслушав. — Но помочь нечем.

— Не помощи прошу! — нетерпеливо перебил Бересов. — Прошу разрешения отойти правофланговым батальоном к северной окраине. Иначе окажемся в мешке.

Комдив, помедлив, ответил:

— Действуйте, вам виднее. Но за канал противника не пускать. Тут — хоть умрите.

Закончив разговор с комдивом, Бересов на минутку призадумался. Даже полез машинально в карман за трубкой, но не вытащил ее: не до курева! С удивлением провел ладонью по высокому, с залысинами, лбу: не жарко, а вспотел. И решительно приказал телефонисту:

— Отключай аппарат.

Он решил перейти на запасный командный пункт, ближе к селению, а оттуда уже дать приказ об отходе и руководить им.

Через несколько минут Бересова, шедшего с телефонистом по полю к окраине, близким разрывом снаряда сбило с ног, и он мгновенно потерял сознание. На плащ-палатке его дотащили до селения и сдали на руки медикам.

Где Неворожин, который по положению должен заменить Бересова, никто толком не знал. Гурьев, следом за Бересовым переходивший на новый командный пункт, тотчас же послал в селение для розысков Неворожина самого шустрого связного. Но вот уже и Гурьев пришел к окраине, на подготовленный командный пункт, а связной все еще где-то продолжает поиски. Получается, что в самый ответственный момент полком не командует никто. Начальника штаба, который мог бы заменить Бересова, нет уже несколько дней — его вызвали зачем-то в отдел кадров штаба армии... Понедельный? У того — свое дело.

На то время, пока не разыщется Неворожин, Гурьеву волей-неволей нужно брать в свои руки нити управления полком. А эти нити сейчас, когда враг теснит, путаются, рвутся.

Но Гурьев не впервые видит такое.

Полку, второй год находящемуся в непрерывном наступлении, не раз приходилось и выдерживать свирепые атаки врага, и отходить, а в окружение за это время полк попадает уже третий раз: под Житомиром осенью сорок третьего, в прошлом году в Венгрии под Мишкольцем и вот теперь, того и гляди, попадет снова. Опыт подсказывал: всякая неудача — преходяща. Немцев непременно начнут бить, как только они измотаются в атаках, а измотаться они должны скоро.

...Куда же делся Неворожин?

Подгоняемый звуками пушечной стрельбы, он быстро добрался до селения. За каналом, на южной окраине, упрятанные меж домами, стояли наготове запряженные обозные повозки. Старики-ездовые нетерпеливо топтались возле них, ожидая команды. Впрочем, обозники были не очень уж встревожены. Они привыкли за последние год — полтора держаться «впритирку» к пехоте.

Но Неворожин беспокоился очень. Снаряд за снарядом падает, вон дым повалил, загорелось что-то... Положить обозников в оборону по южному берегу канала? Но если противник прорвется через него? Или, того страшнее, зайдет с тыла? Отправить обозы, пока дорога свободна? Но что скажет Бересов, если положение восстановится? Ведь Бересов не давал команды отводить тылы...

Неворожин долго колебался, с тревогой прислушивался к звукам боя. Наконец решил для верности еще раз уточнить обстановку. Сел в каретку трофейного мотоцикла, на котором обычно ездил командир полка, и велел водителю гнать в сторону передовой, к мосту. Но едва успел проехать мост, как увидел: навстречу, вдоль улицы, во весь опор мчится упряжка с семидесятишестимиллиметровой дивизионной пушкой, за ней другая. У артиллеристов спросить?

— Стой! — приказал Неворожин водителю. Выскочил из коляски, выбежал на дорогу, замахал руками. Но передняя упряжка, не замедляя хода, летела прямо на него. «Драпают!» Неворожин отскочил в сторону, закричал:

— Ни шагу назад! Не сметь! Куда вы?

Обе пушки прогрохотали мимо по мосту, скрылись за домами. Артиллеристы, у которых не осталось ни одного снаряда, спешили, как приказал еще Бересов, занять новые огневые на южном берегу канала.

Неворожин побледнел: «Дело плохо! Артиллеристы бросили позиции».

Напряженно глядел на северную окраину: что же творится на передовой? От моста до крайних домов, которые закрывали ему поле боя, всего несколько усадеб. Но пойдешь туда — потеряешь время... Вот на дороге показались солдаты, разрозненной толпой спешащие к мосту. На плечах у них — минометные стволы, издали похо-

жие на толстые дубины, и опорные плиты — массивные, как богатырские щиты. За минометчиками торопливо шагают еще какие-то солдаты.

Четыре высоких черных разрыва встали позади солдат, близ крайних домов. Солдаты перешли с шага на бег, спеша к мосту. Неворожин хотел их спросить, каково положение на переднем крае, но в это время снаряд резнул воздух совсем близко. Пригнувшись, Неворожин побежал к мотоциклу. Бросился в коляску, крикнул водителю:

— Обратно!

Мотоцикл обогнал минометчиков, протрясся по расшатанным доскам моста. Впереди, посреди дороги, вихрем взлетела земля. Неворожин крикнул водителю:

— Влево! В проулок!..

— Стой! — Не успел мотоцикл затормозить, как Неворожин выбросился из коляски: вверху со зловещим шипением прошли снаряды. Над ближними крышами сразу в нескольких местах заклубился густой дым, взметнулось светло-розовое, с золотистыми проблесками, пламя.

Неворожин растерянно оглянулся. Вон как бьет. По селению дальше ехать опасно. А надо на южную окраину. Там — обозы, за которые отвечает он... Солдаты-минометчики, уже перешедшие мост, торопливо уходили садами и огородами куда-то влево, вдоль канала. «Куда это они?» Неворожин провожал их недоуменным взглядом.

Над крышами опять всклубился дым. Донесся глуховатый звук разрывов.

Неворожин снова уселся в коляску.

— В объезд! — Чтобы не попасть под какой-нибудь снаряд, он хотел обогнуть селение стороной, подъехать к нему с южной окраины и там уже возглавить отход тылов.

Мотоцикл, подпрыгивая, мчался по выгонам, перескакивая канавы, межи, отчаянно разбрызгивая колесами встречавшиеся лужи — Неворожину всю физиономию залепило грязью.

Трясло отчаянно. Неворожин судорожно держался за край коляски, наконец не вытерпел:

— Да по дороге, по дороге!

Водитель послушно повернул на проселок, обсажен-

ный с двух сторон деревьями и окопанный канавами. Проселок вел на юг, на селение.

Едва мотоцикл показался на пустынном проселке, как позади грохнул разрыв, другой, третий.

— Быстрее! — заторопил Неворожин. Водитель дал полный газ. Впереди, где проселок вел под гору, показался какой-то солдат с винтовкой за спиной. Он выбежал на середину колеи, размахивая руками. Водитель стал притормаживать, но позади прогремел еще один разрыв. Неворожин закричал:

— Гони!

Солдат, выбежавший на дорогу, едва успел отскочить в сторону. Внезапно Неворожин ощутил: вместе с мотоциклом летит в воздух. В ужасе зажмурил глаза: «Прямое попадание!» Его с силой выбросило из коляски.

Очнулся от холода и ощущения, что захлебывается. Замахал руками и ногами в воде, но сразу же обнаружил дно, встал, и первое, что услышал, — отчаянную ругань. Открыл все еще зажмуренные глаза и с удивлением увидел: он по пояс в воде посреди небольшой канавы возле разобранного мостика. Припав на бок, наполовину въехавший в воду, стоит помятый мотоцикл, а водитель и тот самый солдат, который пытался их остановить, по погонам — сапер, кричат друг на друга:

— Куда же ты прешь, слепошарый! Мне за вас отвечать?

— А ты что, не мог как следует предупреждение дать?

— Дашь тебе. Чуть не задавили, чтоб вам...

— Да ты потише, начальство везу!

— Насыпать мне на твое начальство!

И только тут они обратили внимание на Неворожина и замолкли, следя, как он медленно бредет к берегу. Неворожин выбрался на сухое, сел и начал выливать воду из планшета, из кобуры.

Сапер, от греха подальше, поднялся наверх, на свой пост. А водитель, увидев, что подполковник жив и невредим, стал ощупывать мотоцикл: цел ли?

Вылив воду из сапог, Неворожин поставил их рядом с собой и прислушался: не падают ли снаряды близко? Но гремело не у дороги, а где-то поодаль, в селении. Неворожин снял ватник, брюки, стал выжимать их.

Поглощенный этим занятием, за своей спиной услышал почтительное:

— Разрешите обратиться, товарищ подполковник?

Обернулся. Перед ним стоял запыхавшийся, вспотевший солдат-связной.

— Обождите! — сказал Неворожин таким тоном, что связной замер, вытянувшись: он, как и все солдаты, знал, что подполковник строг.

Отойдя на два шага от связного, Неворожин повернулся к нему спиной, оделся, застегнулся на все пуговицы, затянул ремень и только тогда разрешил:

— Обращайтесь!

— Вам от капитана Гурьева, — связной протянул сложенный вчетверо листок, вырванный из полевой книжки. — Приказано вручить немедленно, но вас пришлось долго искать...

Неворожин разорвал листок. Гурьев сообщал, что Бересов контужен, отправлен в санчасть. Это значило, что теперь командовать полком, все решать и за все отвечать надлежит ему, Неворожину.

* * *

Солнце стояло уже довольно низко, едва приметное за серыми тучками, под вечер вновь затянувшими почти все небо. Воздух казался мутным, как бывает в пасмурный мартовский день, и разглядеть что-нибудь на порядочном расстоянии было трудно.

Артиллерия противника возобновила огонь. Сейчас она била больше по тылам. Поблизости от окопа отделения Прохорова пока что не падал ни один снаряд. Не показывались ни танки, ни пехота. Неужели бой пошел где-то стороной?

Левее, возле окопа с пушечкой, вдавленной в землю гусеницами «тигра», догорал он сам. Вокруг потемневшей, с красноватыми пятнами окалины башни вились струйки серого дыма, они становились все прозрачнее.

Справа, на позициях соседнего батальона, изредка мелькали согнутые фигуры бойцов. Там перегруппировка.

С той же стороны донеслось чуть слышное урчание танковых моторов, тукнуло несколько пушечных выстрелов. Гул моторов стал удаляться в тыл, к каналу.

— Как думаешь, что за суета у соседей? — вполголоса спросил Снегирев Прохорова, подойдя к нему. — Переходят куда-то?

— Похоже, — присмотрелся Прохоров. Забеспокоился: — Винницкого да раненого — отправить бы сейчас, пока тихо. Пушкаря Ольге препоручить.

— А как она сюда доберется?

— Да, на отшибе мы... Высотка — позиция сто́ящая. Недаром сюда и «тигры» лезли. Как полагаешь, товарищ парторг, уделит нам немец особое внимание?

— Уделит, однако... Ну что ж? Наше дело — стой, где поставлен, и точка.

Сказал это Снегирев, а снова шевельнулась в нем надежда, которую таил, наверное, каждый в отделении: может, пока тихо, лейтенант связного пришлет с приказом присоединиться к взводу.

— Тут мы, как отрезанный ломоть, немцу в зубы...

Не повторится ли сегодня то, что пришлось пережить полтора года назад?

...Серым декабрьским утром в степи под Житомиром немецкие танки без единого выстрела хлынули на подразделения, с марша только что занявшие рубежи в голом поле и не успевшие даже начать окапываться. Прямо на Снегирева и его товарищей, залегших меж мерзлыми пластами пашни, двигались с автоматчиками на броне четыре «тигра». Оставаться на месте было бессмысленно: «тигры» втерли бы их в землю. Не дожидаясь команды, побежали от танков по казавшейся бесконечной пахоте. Танки шли следом, почему-то не стреляя. Шли медленно, наверное опасаясь попасть на мины. Но все-таки нагоняли. И тогда Снегирев неожиданно для самого себя крикнул: «Ложись!» Солдаты недоуменно остановились: на заледеневших пластах ни укрыться, ни окопаться. «Почему здесь?» — спросил Прохоров Снегирева. «Все одно!» — ответил он и лег лицом к танкам, выставив вперед винтовку. «Ложись!» — закричал тогда и Прохоров. Через минуту все лежали, растянувшись реденькой цепочкой, и другие солдаты, пробегавшие мимо, невольно замедляли шаги и тоже присоединялись к ним. Что заставляло поступать так? Дисциплина? Нет, что-то другое, что выше ее. Может быть, и погибли бы все они через минуту-другую под гусеницами, но проходивший мимо Бересов — в отступлении он часто отходил одним из по-

следних — крикнул: «Зачем тут? К лесу, бегом!» — и всех словно ветром сдуло...

Сейчас все это всплыло в памяти Снегирева. Сегодня труднее пришлось, чем тогда, а ведь выстояли. Вбились, как гвозди. Те же люди, что год — два назад, да уж не те.

«До темноты продержаться бы...» За сгустившимися облаками едва угадывалось солнце. Оно было уже довольно низко. Показалось странным: день почти прошел, а ведь будто всего часа два назад утреннюю тишину нарушили первые разрывы немецких снарядов.

К окопу приползли и спустились в него четверо солдат, присланных лейтенантом Галочкиным: двое с ручным пулеметом и два бронебойщика со своим длинным ружьем. Передали Прохорову приказ лейтенанта: прикрывать слева стык с соседним батальоном, без приказа позиции не менять. Рассказали: артиллерия и минометы снялись с огневых, ушли. Значит, отделение, вместе с вновь прибывшими, оставлено для прикрытия отхода, догадался Снегирев, но не высказал догадки вслух. Зачем без необходимости людям души растравлять? Оставаться в заслоне — нелегко, отступать — горько: снова придется отвоевывать отданное, за каждый шаг платить потом и кровью.

Уже больше года полк ни разу по-серьезному не отступал, не терпел поражений. Неужели нынешний бой закончится иначе?

Расставив вновь прибывших по местам, Прохоров кликнул Федькова:

— Бери винницкого, вдвоем кладите раненого сорокопятчика на плащ-палатку осторожненько — и в окоп, где лейтенант. Сдашь — пулей назад.

— Будьте покойны! — заверил Федьков.

Ждали новых атак врага. Но он все не показывался. Только его снаряды временами сверлили воздух, пролетая в сторону селения.

Вернулся Федьков, бойко доложил: раненый сдан.

— А это что такое? — накинулся на него Прохоров.

За спиной Федькова, виновато улыбаясь, стоял Зубарь. В руке он крепко держал карабин и с робкой надеждой поглядывал то на сержанта, то на Федькова.

— Зачем обратно привел?

— Да ведь просится!

— А что ж лейтенант? Не оставил?

— А я лейтенанта не видал, — голос Федькова был кристально искренним, а в глазах проглядывала хитринка. — Лейтенант куда-то на другой край ушел. Я не стал ждать. Ты же пулей назад велел.

— А ну, марш в тыл, — сказал Прохоров Зубарю. — Не положено тебе здесь!

— Да за что же, товарищ сержант? — вступился Федьков. — Он в бою себя показал? Показал. Воевать хочет? Хочет! И может. Я за него гарантию даю!

— Не агитируй меня! Все равно отправлю потом.

— Потом? Порядочек! — Федьков хлопнул Зубаря по плечу:

— Видишь? За Федьковым не пропадешь!

...Прошло еще около часа. По окопу противник не вел огня.

Справа, со стороны дороги, ведущей к селению, простучало несколько пулеметных очередей, раз пять гулко хлопнула бронебойка, прогоготал «жеребец» — так бойцы прозвали автоматическую пушку на немецких бронетранспортерах.

Что происходит там?

Из окопа не могли видеть: противник на танках и бронетранспортерах уже глубоко вклинился в позиции батальона. Чтобы не оказаться расчлененным, батальон по приказу Яковенко отходит к северной окраине. Двое связных, один за другим посланные Галочкиным через высоту к Прохорову с приказом об отходе, не дошли. Одного убило, другой вынужден был вернуться: гитлеровцы, высаженные с транспортеров, простреливают весь обратный скат высоты.

Прохоров и его бойцы еще не знали, что они уже отрезаны.

Глава 10

ОТХОД

Получив записку Гурьева, Неворожин вынужден был повернуть обратно к мосту.

Мотоцикл, к счастью, оказался после полета в воду почти в исправности. Водитель с помощью связного, которого Неворожин не отпустил, выкатил машину на сухое, подкачал спустившую шину. Связного усадили на заднее сиденье — и через несколько минут, промчавшись

полем по боковому проулку, подкатили к мосту. Оставив мотоцикл в проулке, Неворожин, за которым следовал связной, вышел к угловому дому. Хоронясь за стену, выглянул. До моста метров двести. Улица безлюдна. Блестят в дорожной грязи осколки оконного стекла, кровянеет битая черепица. Где-то за домами, на противоположной, северной стороне канала, постукивают выстрелы, отрывисто потрескивают пулеметы. Неподалеку, у края дороги, в крохотном окопчике, вырытом под каменной оградой, Неворожин приметил двух человек. Послал связного:

— Узнайте, кто там!

Связной вернулся, доложил:

— Саперы наши полковые.

— Позовите!

Из окопчика вылез и подбежал к Неворожину молодой скуластый ефрейтор со скрещенными топориками на погонах шинели.

— Вы что здесь делаете? — спросил Неворожин.

— На случай — мост рвать. В нем взрывчатка, мы с подрывной машинкой там, — ефрейтор показал на окопчик.

Неворожин обрадовался:

— А! Это хорошо, хорошо! Врага нельзя пропускать на эту сторону. Нельзя! Понимаете, товарищ ефрейтор?

— Так точно. На то поставлены.

— Какая обстановка?

— Не знаю. Стреляют.

— Обстановку надо знать! Капитана Гурьева или кого из штаба не видели?

— Нет. Не проходили.

— Возвращайтесь на свой пост, ждите распоряжений!

Связному Неворожин приказал:

— Следуйте на ту сторону. Разыщите капитана Гурьева и скажите, чтоб передал всем: ни шагу назад. И пусть немедленно явится ко мне. Я его жду здесь.

Связной повторил приказание, побежал.

Неворожин нервно прохаживался возле стены, временами выглядывая из-за угла. Черт побери, куда все запропастились? Что там за мостом творится? Стрельба все ближе... Вот загорелся на той стороне у берега дом. Кажется, моторы гудят. Танки? Неужели враг подошел

уже так близко? Где полк? Где полк?! И почему не является Гурьев? Безобразие! О чем он только там думает!

Гулкие, частые пушечные выстрелы заставили Неворожина спрятаться за угол. Стреляют где-то близ моста.

Когда выглянул вновь, увидел: по мосту, поддерживая один другого, бредут двое раненых.

Выждав, пока они перешли мост и поравнялись с домом, за которым он стоял, окликнул их.

Раненые остановились. Оба едва держатся на ногах, лица в грязи. У одного повязка белеет из-под разорванной гимнастерки.

— Как там обстановка? — спросил Неворожин. — Наши где?

— Какие там наши! Всех до единого побило! — в один голос воскликнули раненые. — Никого там нет!

— Капитана Гурьева не видели? Кого-нибудь из офицеров?

— Какие там офицеры. Всех напрочь положил. Он уж вот! Сейчас тут будет!

Неворожин метнулся к мотоциклу, но на полпути остановился. Куда он поедет? Он сейчас отвечает за полк. Он! За полк, за участок обороны... Да с него же голову снимут в случае чего... Что делать, что? Расспросить раненых подробнее, уточнить! Бегом вернулся к углу. Но раненые уже скрылись куда-то.

В ближайшем дворе грохнул снаряд, черепица, шумя, посыпалась с крыши. Вдоль улицы, из-за моста, взвизгивая пролетело несколько пуль.

Ринулся к окопчику саперов, возле которого, озабоченно поглядывая на мост, стоял ефрейтор.

— Взрывайте мост!

— Товарищ подполковник! — запротестовал ефрейтор. — На той стороне — наши еще. Приказано только, когда противник покажется...

— Не пререкаться! Кто здесь старший? Я или вы?

— Вы, но нам приказ...

— Молчать! Здесь я приказываю! Взрывать!

Ефрейтор спрыгнул в окоп. Молча отстранив дежурившего у подрывной машинки солдата, взялся за рукоятку. Но медлил.

— Выполняйте, а то!..

Ефрейтор, стиснув зубы, крутнул рукоятку.

* * *

За полчаса до того, как по приказу Неворожина был взорван мост, Гурьев вместе со связными и телефонистами полкового командного пункта, одновременно с отступающими солдатами первого батальона, пришел к северной окраине.

То место в поле, где находился только что оставленный штабной блиндаж, сейчас уже все простреливалось не только артиллерийским, но и пулеметным огнем врага. Переваливая опустевшие траншеи и мелкие — их не успели закончить — ходы сообщения, вслед за отступающими шло несколько «тигров». С ними, заставляя их лавировать, вели перестрелку, скупо расходуя снаряды, несколько пушек, отведенных еще по приказу Бересова за канал и поставленных на огневые чуть в стороне от селения, так, чтобы дома на противоположной стороне канала не заслоняли целей. Артиллеристы старались сдержать вражеские танки в открытом поле, не подпустить их к окраине. Если «тигры» войдут в улицы, они, прикрываясь от обстрела зданиями, смогут безнаказанно приблизиться к мосту...

Подразделения первого батальона отходили медленно, поддерживая друг друга огнем. Соседи Яковенко — второй и третий батальоны, отойдя на южный берег канала, прочно встали на нем. Вражеские танки для них не опасны, в канал не сунутся. Яковенко же не мог сейчас позволить себе отойти за канал. Он обязан держаться на рубеже северной окраины, имея позади себя коротенькую уличку, ведущую к мосту. Удержать мост — таков последний приказ Бересова, о котором его успел предупредить Гурьев. Яковенко отвел своих бойцов к крайним дворам: за стенами и оградами обороняться легче, чем в открытом поле.

Когда Гурьев и все штабные, тянувшиеся за ним как нитка за иголкой, вошли в селение, из крайнего двора навстречу выбежал один из радистов, находившихся при Бересове, и окликнул Гурьева.

Поскольку стояли в обороне и действовала проводная связь, Бересов, не любивший возле себя на НП лишних людей, велел радистам сегодня остаться в селе. Как они сейчас кстати, когда все сдвинулось, телефонные линии

нарушены. Пока они будут восстановлены — только по радио можно связаться со штабом дивизии.

— Рация где? — спросил Гурьев.

— Здесь, — радист показал на усадьбу, из которой выбежал. — Мы к комбату пока пристроились, вас ожидали.

— К капитану Яковенко?

— К нему. На чердаке он, наблюдает.

Гурьев и радист, а вслед за ним и все остальные вошли во двор.

— Стоим на приеме, — сказал радист Гурьеву.— Комдив уже в который раз командира полка требует. Ругается, страсть. Мы доложили, что подполковник в санчасть отправлен. Комдив спрашивал, кто вместо него.

— А разве подполковника Неворожина вы не видели?

— Спрашивали у всех. Да где его найдешь?

— Ну, ладно! Пошли к рации.

Вслед за радистом Гурьев спустился в просторный подвал под домом, тускло освещенный через узенькие горизонтальные окошки у потолка. Второй радист, сидевший в углу возле двух своих голубоватых ящичков, сразу же подал Гурьеву трубку.

Не без трепета сердечного поднес Гурьев трубку к уху. Ну, сейчас ему генерал и за Бересова, и за Неворожина выложит... Получай, капитан, шишки за все начальство, ввиду отсутствия такового поблизости...

— С вами будет говорить первый! — раздался в трубке далекий голос радиста дивизионной рации. Гурьев назвал свой условный номер.

— Почему у аппарата вы? — первым долгом спросил генерал. — Где ваш пятый?

— Разыскиваем, товарищ первый. Послал за ним связного.

— «Разыскиваем, послал»! — загремел генерал.— Порядочки у вас! Доложите обстановку!

Гурьев выдернул из планшета закодированную карту, быстро доложил.

— Ну ладно, — чуть помягчевшим голосом проговорил генерал, выслушав до конца. — Закрепляйтесь там, где остановились. Вам посланы «зверобои». Свяжитесь с ними на месте. Отбрасывайте противника, не пускайте к мосту.

— Слушаюсь, товарищ первый!— обрадовался Гурьев.

Все-таки дают помощь! «Зверобои», то есть самоходки, сейчас будут здесь. Вот-вот они промчатся по мосту, ударят по «тиграм», отгонят от окраины. Потом можно будет поставить самоходки под прикрытие домов, они оттуда вместе с артиллеристами будут вести огонь, Яковенко закрепится...

— Вышлите навстречу «зверобоям» толковых людей, — наказывал тем временем генерал. — Пусть укажут позиции получше и цели. Как поняли меня? Прием.

— Вас понял... — начал было Гурьев, но в это время близко, за стенами, прогремел взрыв — дрожь пробежала по каменному полу.

— Мост взорвали! — крикнул кто-то, просунувшись снаружи в дверь подвала.

Лоб Гурьева мгновенно покрылся испариной: теперь посланные на помощь самоходки не смогут пройти на эту сторону и контратаковать врага!

— Вас понял, товарищ первый! — стараясь совладеть с собой, продолжал Гурьев, — но мост только что взорван.

— Какой мерзавец приказал взорвать?!

— Не знаю, товарищ первый.

— Не знаете! — Послышалось, как стукнула брошенная трубка. Комдив больше разговаривать не стал.

Вконец расстроенный, Гурьев поднялся — пойти к Яковенко, посоветоваться, как быть. Он нашел Яковенко на чердаке. Прячась за трубой, тот наблюдал за полем боя через дыру, образовавшуюся там, где черепицы сбиты.

— Не знаешь, что за сволочь мост взорвала? — обернулся Яковенко. — Я б ее своей рукой...

— Не знаю.

Гурьев сообщил о только что состоявшемся разговоре с командиром дивизии.

— Компот с клюквой! Эх... — Яковенко в сердцах выругался. — Теперь на те «зверобои» надеяться нечего...

— Да, положение... — только вздохнул Гурьев. — Но куда денешься? Воевать надо.

— Надо, да чем? — Брови Яковенко хмуро сдвинулись. — Знаешь, сколько моих полегло уже? И боеприпасов осталось всего ничего. А отступать дальше нельзя.

— Что ж, будем держаться. Понедельный тут был — так и порешили.

— А где он?

— Опять к моим ушел... Ты где полковое капэ развернул?

— Тут, в подвале, под тобой.

— Ладно. Вместе и тонуть веселее.

Явился связной — тот, которого Гурьев еще с прежнего командного пункта посылал разыскивать Неворожина.

— Товарищ капитан! Вашу записку вручил. Подполковник Неворожин приказал передать: ни шагу назад, вам явиться к нему.

— А где он?

— На той стороне, за углом. Возле мотоцикла.

— К Неворожину отправишься? — спросил Яковенко, когда связной ушел.

— Как капэ брошу? Он же сам велел — ни шагу назад.

...Гурьев снова в подвале. Еще только смеркается, а здесь уже совсем темно. Во мраке пронзительно ярок кровавый глазок контрольной лампочки на шкале радиостанции. Гурьев опять докладывает комдиву обстановку. «Тигры», подошедшие близко к домам и теперь заслоненные ими от стоящих за каналом пушек, бьют по оградам и постройкам, за которыми засели бойцы первого батальона. Во дворы, в улицы танки, правда, пока не суются. Наверное, ждут, пока пехота и саперы обезопасят путь. На правом фланге с нескольких бронетранспортеров, проскочивших вслед за танками, высадились автоматчики. Мелкими группами они пробираются по усадьбам и садам к каналу, в нескольких местах они уже в тылу подразделений, еще держащих оборону вдоль северной окраины. Приходится спешно заворачивать фланги, чтобы не оказаться между двух огней: немецкие танки спереди, автоматчики сзади. Сплошного фронта обороны уже нет. Бой с каждой минутой рассыпается на все большее количество отдельных мелких схваток в переулках, меж каменных оград, разделяющих усадьбы. Стрельба слышится уже почти возле северного берега, враг вот-вот прорвется к нему. Батальону Яковенко остается одно из двух: или сражаться до последнего бойца, после чего противник все равно форсирует канал, не встретив уже сопротивления, или остатками сил отойти

за канал, пока это еще возможно, и занять оборону по нему, в линию с другими батальонами.

* * *

«Провалиться сквозь землю, застрелиться?» — Галочкин от стыда был готов на все. Как только бой переместился в селение, в путаницу дворов, садов, переулков, в надвигающихся сумерках Галочкин растерял почти всех своих бойцов, а отделение сержанта Прохорова еще раньше целиком осталось где-то в поле. Галочкин во всем этом винил только себя, не думая, что под таким натиском врага едва ли и более опытный командир сумел бы сохранить свое подразделение в полном порядке.

Сопровождаемый всего двумя бойцами, он остановился в переулке, у беленой глинобитной ограды, по которой метались багровые отблески — где-то вблизи горело. Где свои, где враг? Продолжать отступать — по существу бежать? Позор. Привыкший мечтать, что его ждут только победы, Галочкин никак не хотел примириться с тем, что в этом, первом в его жизни, бою, ему придется отступать. Ведь он дал себе клятву: «Ни шагу назад, ни шагу!» А теперь? Он был убежден — если отступят, в этом будет виноват только он сам и этого он потом ни за что не сможет простить себе.

— Товарищ лейтенант, — тронул его за рукав один из бойцов. — Товарищ лейтенант! Немцы!

И впрямь — за угловым домом в дальнем конце переулка послышались хриплые перекликающиеся голоса. Галочкин взял автомат наизготовку.

Из-за угла выбежала цепочка немцев — они спешили пересечь переулок.

— Огонь! — Галочкин нажал на спуск. Рядом оглушительно загрохотали автоматы двух бойцов. Немцы шарахнулись обратно за угол. Один из них упал, шевельнулся, затих.

Прошла минута, другая... Галочкин не спускал пальца с курка. Бойцы вопросительно смотрели на лейтенанта, и он, даже не видя этих взглядов, чувствовал их... Что же дальше? Пожар, где-то близко, за домами, разгорался, по переулку сильнее заколыхались тени.

За углом, где скрылись немцы, послышалось приближающееся урчание мотора. Танк или самоходка...

— Сейчас даст, товарищ лейтенант! — услышал он опасливый голос бойца, стоявшего рядом. — Пошли, а?

— Нет!

Словно горячая волна внезапно подхватила его, взвила, понесла. — Нет! Стоять!

Бойцы подчинились.

Еще один солдат, пробегавший вдоль переулка, увидев лейтенанта, присоединился к ним. Справа, в саду, протрещало несколько выстрелов. Громко топая, оттуда спешили трое солдат, незнакомых Галочкину. Увидев офицера с тремя бойцами, эти трое тоже встали за ограду, приготовились стрелять.

Галочкин оглядел шестерых солдат, собравшихся возле него. Они верят ему, ждут его приказаний. Сейчас из-за углового дома покажется «тигр», ударит из пушки — и кто уцелеет? Эту жалкую глиняную ограду снаряд танка разнесет шутя... Ну и пусть!

Горячая волна отчаянной решимости все еще несла Галочкина на гребне. — Пусть!..

За угловым домом громче рыкнул мотор.

Из-за угла мелькнули сгорбленные тени. Галочкин даже команды дать не успел — дружно застучали справа и слева от него автоматы бойцов. Тени скрылись.

— Прекратить огонь! — закричал Галочкин, стараясь перекрыть голосом звуки стрельбы. — Патроны беречь!

Автоматы стихли.

«Пускай атакуют!» — проносились в голове Галочкина горячечные мысли. «Отбили и отобьем! Рванемся в контратаку! Наверное, все наши убиты, мы здесь последние...»

Еще раз оглядел бойцов. Они выполнят его команду, только дать... Вот сейчас фашисты покажутся, он крикнет бойцам: «Вперед!» Вперед, пусть даже на танк... Так гибнут храбрые...

— Лейтенант! — окликнули его сзади. Обернулся: майор Понедельный, в порванном ватнике, с автоматом в руке, в отсвете пожара в оспинах лица блестит пот.

— Что вы здесь делаете, лейтенант?

— Готовимся к контратаке...

— К контратаке? Танк пулей остановить хотите? Отводите своих к каналу!

— Но...

— Батальону приказано занять рубеж на том берегу. Чего ждете, лейтенант?

— К берегу! — скомандовал бойцам Галочкин — и те не стали мешкать. Их солдатская совесть была чиста.

Галочкин хотел последовать за ними, но задержался:

— А вы, товарищ майор?

— Я -- туда! — Понедельный показал автоматом. — Там еще наши, — и побежал в ту сторону, где громче всего трещала перестрелка.

Галочкин спешил вслед за солдатами. Но как бы ему хотелось остаться вместе с майором! Он жаждал оправдать свою командирскую неопытность личной храбростью, кровью, жизнью... Но ведь это легче, чем командовать, отвечать за жизнь других! Нет, он обязан вместе с бойцами переправляться на южный берег. А у майора Понедельного свои дела.

* * *

...На примыкающих к северному берегу канала задворках одной из усадеб Ольга собрала всех раненых, каких ей удалось обнаружить за время боя. Санитаров не было, да и не полагается их в роте. Тех, кто не мог идти, тащили «ходячие». Раненых набралось десятка три. А сколько бойцов осталось там, в поле, отдав последнее тепло и последнюю кровь мадьярской земле?

Сначала Ольга намеревалась переправить раненых на южный берег самым прямым путем—через мост. Но мост оказался взорванным, вдоль улицы, ведущей к нему, били пулеметы немецких танков. Вместе с ранеными Ольга стала пробираться по задворкам вдоль берега, ища наиболее удобное место для переправы. Наконец нашла: у самой воды валялись доски разбитого снарядами сарая, переломанные стропила.

С помощью нескольких раненых, еще способных действовать руками, Ольга наскоро соорудила подобие плотика: обмотками, бинтами, обрывками телефонного провода связали несколько досок, пару обломков стропил. Но выдержать этот плотик мог всего двух человек, при этом почти весь его заливало.

Когда началась переправа, над водой уже посвистывали пули. Но находившихся у воды защищал береговой откос.

В первую очередь переправляли самых тяжелых. Их по двое укладывали на плотик. Два — три легкораненых, нерешительно вступив в воду — она была еще холодна, — цеплялись за края плотика. Шли вброд, только на середине дно уходило из-под ног, приходилось плыть, держась за плотик. Обратно плотик вытягивали пустым за связанные ружейные и поясные ремни — конец этого импровизированного каната был привязан к всаженному в береговую дернину штыку.

Вот на этом берегу остались последние: один тяжелораненый и один раненный в ногу. Плотик только что пошел на ту сторону. Еще один рейс, и всё.

Но успеет ли?

Ольга с тревогой прислушивалась к звукам боя. Впереди ничего не видно — перед глазами дернистый откос, за ним, выше, — надворные постройки, сад, дом. Все ближе трескотня выстрелов. Уже хорошо видны в густеющих сумерках огнистые пулевые трассы, полосующие потемневшее небо справа, там, где мост. Неужели враг уже возле моста, на берегу? Вон слева, удаляясь, вдоль берега бегут какие-то бойцы... Ищут, где перебраться через канал. Спросить бы их, как там, впереди? Близко ли немцы?.. Она должна переправить еще двоих... Где рота? Где Никита? Что с ним? Хотя бы он успел переправиться! Если немцы прижмут к воде, они уничтожат всех...

Пулеметы справа, у моста, застучали сильнее.

Ольга бросила взгляд назад, через канал. Плот уже причалил. Крикнула:

— Побыстрее разгружайтесь! Немцы вот-вот.

— Сейчас, сейчас! — откликнулись с той стороны. Но возле плотика не было ни одного здорового, дело шло довольно медленно.

— Как разгрузят — тащи сразу! — наказала Ольга раненому, который сидел, вытянув забинтованную ногу, и держал конец «каната», привязанного к плоту.

Стрельба справа, со стороны моста, слышалась, казалось, уже почти на самом берегу.

Ольга подтянула к себе ручной пулемет, который до последней возможности кто-то из раненых тащил на себе. Поднялась по откосу, несколькими шагами выше. Легла, установила пулемет так, чтобы можно было стрелять в

сторону моста, вдоль берега — в этом направлении, вероятнее всего, покажется враг. Проверила магазин — полон. Взвела затвор, положила палец на спусковой крючок.

Топот и возбужденный голос заставил ее обернуться. Какой-то солдат, без шапки и без оружия, с забинтованной рукой, подбежал к воде, ошалело кричал на тот берег:

— Скорее! Скорее! Отпускайте! — и, увидев, что плотик уже свободен, схватился за привязанные к нему ремни и обмотки, которые торопливо тянул раненный в ногу, и быстро дернул. «Вот хорошо, поможет нам этот, — обрадовалась Ольга, — тяжелого погрузим, а сами вплавь...»

Плотик, поддернутый к берегу, с силой ударился о него. Солдат с забинтованной рукой прыгнул на плотик.

— Стой! — вскочила Ольга. — Куда! — Оставив пулемет, она успела вбежать на плотик раньше, чем солдат с перевязанной рукой оттолкнулся от берега. Схватила его за полу шинели, плотик накренился, вода холодом обожгла ее колени.

— Как ты смеешь! Тяжелораненых сперва!

— Ты чего, чего? — вырывался солдат. — А мне что, пропадать? Немцы вон!

— Тяжелораненых сначала, тебе говорю! — Ольга тянула очумевшего от страха солдата с плота.

— Отпусти! Отпусти, говорю! — заорал тот. — Отпусти, командирша мне еще, мать твою...

— Подлец! Трус! — Ольга отпустила полу шинели, с размаху, изо всей силы ударила кулаком в орущий рот, раз, другой. Плот крутился, Ольга и солдат ухнули в воду. Ольга поскользнулась, упала плашмя, промокла вся, но стужи воды будто и не чувствовала уже. С берега кричал раненный в ногу:

— Ты, гад! Пришибу! — и, бессильный подняться, грозил кулаком солдату с перевязанной рукой, барахтающемуся между плотиком и берегом.

— Сволочь ты! — выбравшись из воды, сказала Ольга тому. — Не стыдно! — Она чувствовала, что вот-вот разрыдается. Но плакать нельзя.

А солдат с перевязанной рукой, молча, отворачивая от нее лицо, вылезал на берег.

— Бери лежачего! — скомандовала ему Ольга. Солдат — она не ожидала, что он станет так послушен, — помог ей погрузить тяжелораненого на плотик. — Давай и ты, — нагнулась она к раненному в ногу.

— Я подожду, я с тобой, — запротестовал тот.

— Нечего, нечего. И ты! — приказала она солдату с перевязанной рукой.

Плотик отчалил. Ольга осталась на берегу одна. Снова вернулась к пулемету.

Там, куда смотрела она, в сумеречной дымке вечера мелькнули какие-то фигуры. «Немцы?» Удержалась, не нажала на спуск. «Может быть, наши еще?». В вечернем полусвете уже трудно было рассмотреть приближающихся неизвестных. Она припала глазом к прицелу. Скорее всего это немцы. Но все-таки надо убедиться... Всего двое, она срежет их наверняка с короткой очереди... Нет! Ушанки, ватники... Свои! Свои! Кто это высокий, планшетка бьется на боку? Никита! Жив, не ранен...

Да, это был Белых со связным.

— Вы что тут воюете? — В голосе его услышала Ольга тревогу и заботу.

Она приподнялась от пулемета:

— Раненых переправляю. А где все наши? Рота где?

— Последние отходят, на тот берег. — Белых приказал связному: — Передай майору Понедельному — переправа есть. Прикрытие может отходить.

Связной быстро побежал вдоль берега, туда, откуда они с Белых только что появились, и скрылся за постройками.

С того берега кричали в два голоса:

— Сестра! Плот бери!

Ухватившись за «канат», Белых и Ольга вмиг перетянули плотик на свою сторону.

Белых показал Ольге на плотик:

— Не мешкайте, переправляйтесь.

— Нет! — запротестовала она. — Сейчас подойдут бойцы, а если среди них — раненые? Я понадоблюсь.

— Без вас управимся!

— Я, как санинструктор...

— На плот! — оборвал Белых. — Ну?

Ольга нехотя вступила на плотик, Белых резким движением ноги оттолкнул его.

Через несколько секунд плотик причалил к противоположной стороне. Еще не сойдя с него, Ольга оглянулась.

Между ней и Никитой — полоса темной воды. Никита лежит за ручным пулеметом на том самом месте, где только что лежала она. Майора Понедельного и бойцов, которых Никита ждет, еще не видно.

Густым огненным роем полетели, скрещиваясь, казалось Ольге только над Никитой, казалось, только в Никиту, трассирующие пули. Она крикнула ему, сама не зная что. Он успокаивающе махнул ей рукой и снова приник к пулемету, пряча голову. Огненный рой еще гуще замельтешил над ним.

Глава 11

РУБЕЖ КАНАЛА

Положение на участке бересовского полка ухудшалось с каждой минутой. Хотя артиллеристы и подбили несколько танков на подходе к селению, но сдержать их лавины не смогли. Гранатометчики батальона Яковенко и уцелевшие бронебойные расчеты, засев в домах северной окраины, вывели из строя еще один танк. Но бойцы гибли под обваливающимися стенами и потолками: танки били фугасными. «Тигры», а за ними и бронетранспортеры ворвались в улицу, ведущую к мосту, — гитлеровцы еще не знали, что он разрушен. А может быть, и знали, но спешили пробиться к берегу, навести новый мост и бросить танки на южную сторону. Однако ни одной немецкой машине не удалось подойти к разрушенному мосту: с южного берега, через канал, вдоль улицы, ударили самоходные пушки — те, которые обещал прислать комдив и прислал. Немецкие машины, не ввязываясь в бой со «зверобоями», быстро расползлись по сторонам с простреливаемой дороги, попрятались за домами. По просьбе Гурьева и Яковенко, которые с последними из отступавших бойцов перебрались через канал, командир самоходчиков оставил вблизи моста пару машин на случай, если «тигры» опять сунутся, а остальные — рассредоточил меж домами так, чтобы можно было простреливать канал и вдоль. Но все-таки весь северный берег теперь контролировал враг, и можно было ожидать:

ночью он попытается где-нибудь в удобном для него месте форсировать канал.

Расположить бойцов в оборону непосредственно около воды, как сначала намеревался Яковенко, не представлялось возможным: на южной стороне берег открыт, низок, заболочен. Пришлось окапываться дальше от кромки берега, там, где начинались сады и огороды.

Яковенко и Гурьев, перейдя на южный берег, связались через посыльных с командиром соседнего батальона. Тот сообщил: «Меня противник не атакует, только беспокоит огнем. Смыкайте фланг со мной». «Смыкаем», — ответил Яковенко.

Неворожин в поисках удобного места, откуда он мог бы видеть все и установить связь с батальонами, к наступлению темноты оказался на холме за южной окраиной. Там в добротно отрытых щелях сидели артиллерийские наблюдатели. Неворожин был один: и связного, и мотоциклиста послал разыскать кого-нибудь из штаба полка.

Внизу, в долине, темнота почти совсем уже скрыла селение. Где-то там, в мешанине домов, оград, садов, переулков или на берегу канала, каждый из солдат выполнял свою пусть маленькую, но осознанную задачу, и если не видел, то знал, где соседи, где противник, представлял, хотя бы по звукам выстрелов, как развивается бой. Неворожин не знал и этого. Ему хотелось расспросить кого-нибудь из офицеров-артиллеристов про обстановку, но он стыдился обнаружить свою неосведомленность перед посторонними. И даже был доволен, что артиллеристы, занятые своим делом, не обращают на него внимания.

Напрягая слух, старался по характеру стрельбы, которая постепенно затихала, определить: что происходит. Где батальоны? Куда запропастился Гурьев? Может быть, он уже имеет связь со штабом дивизии и доложил обстановку генералу, а тот спросил: «Где Неворожин?» Ох, нехорошо генерал о нем подумает...

— Где тут подполковник Неворожин? — знакомый голос прервал его невеселые размышления.

— Пехотный? Здесь, в щелке, — услышал ответ кого-то из артиллеристов. Обернулся.

Перед ним стоял Гурьев.

Вся досада Неворожина на себя, на неловкость своего положения обратилась в этот миг на Гурьева.

— Где полк? Почему я сижу здесь и не информирован об обстановке? Где вы были до сих пор?

— Я был на капэ полка...

— На капэ? Капэ — там, где командир! Запомните это. Докладывайте обстановку. По карте!

Неворожин завел Гурьева в находившийся поблизости, вырытый в склоне горы небольшой с застарелым кислым запахом погребок, загроможденный огромными бочками. Прилепленная к краю одной из них, мерцала невесть где раздобытая толстая церковная, с золотыми узорами, свеча. Между бочек на соломе сидели солдаты и офицеры со скрещенными пушками на погонах, что-то ели из котелков.

Подошли к свече. Гурьев развернул карту:

— Батальон Яковенко вот здесь, за каналом.

— Кто разрешил отступать?

— Вынудила обстановка...

— Нечего на обстановку ссылаться. Командир батальона оставил позицию без приказа. За это — под суд!

— Если бы мост остался цел, Яковенко не отступил бы.

— Если бы, кабы! Если бы мост остался цел, вы с Яковенко пропустили бы на эту сторону танки противника!

— Нет, товарищ подполковник, по мосту успели бы пройти самоходки и помогли бы батальону устоять.

— Какие самоходки?

— Те, что послал комдив.

— Послал комдив? Почему вы мне своевременно не доложили?

— Не успел. Мост был уже взорван.

— Н-да... — как-то сразу обмяк Неворожин. Проговорил наставительно: — Вот к чему приводит нечеткость!.. Ну вот что. Напишите мне коротенько. Перечислите ориентиры и прочее. Надо доложить командующему дивизией.

— Я уже докладывал ему. Ведь со мной радисты. А с вами... связи не было, товарищ подполковник.

— Н-да... Что о Бересове знаете?

— Старший врач прислал записку — контузия сильная. Но в медсанбат подполковник отправлять себя не дает.

— А где заместитель по политической части?

— Майор Понедельный отходил с последним подразделением первого батальона. Сейчас в ротах где-то.

— И он не возражал против решения комбата?

— Нет. Наоборот, одобрил.

— Гм... — Неворожин промолчал, что-то соображая. Потом заговорил: — Указание такое. Капэ полка — здесь. Тяните связь. Вышлите людей. Пусть мне отдельное помещение оборудуют. — Неворожин покосился на артиллеристов, которыми был полон тесный погребок. — А вы, товарищ капитан, отправляйтесь на капэ первого батальона и находитесь там. Что вы ни говорите, а комбат не оправдал надежд. Нужен над ним штабной контроль. Будьте в курсе обстановки на передовой и докладывайте мне лично, по проводу.

* * *

Сделав все, что требовал Неворожин, Гурьев отправился обратно к Яковенко.

Как только протянули связь, Неворожин решил все же сам позвонить командиру дивизии и доложить о положении полка по данным, только что полученным от Гурьева.

Но генерал прервал его в самом начале:

— Знаю уже. Бестолково как-то в вашем хозяйстве получилось. Самоходки не использовали. Кто распорядился взорвать мост?

— Я, товарищ первый, — признался Неворожин. — Но один мой комбат отошел самовольно, противник был уже почти на мосту. Я вынужден был...

— Кто-то в этой путанице виноват, — не дал договорить генерал. — Следует разобраться.

— Мне написать объяснение? — дрогнувшим голосом спросил Неворожин.

— Да.

Яковенко устроил свой новый командный пункт в полуподвале дома со снесенной крышей, неподалеку от канала. Путь Гурьеву туда лежал склоном горы, через виноградники.

Стояла темным-темнющая ночь, какие бывают в середине марта. За каналом, в захваченной противником северной части селения, изредка взлетали разных цветов

ракеты. Внизу, во мраке, в трех—четырех местах еще мерцал багровый, тусклый свет дотлевающих пожарищ. Иногда вспыхивало что-то — солома или напоследок попавшееся огню сухое дерево, — и тогда на секунду-другую выступала из черноты красноватая крыша, кусок белой стены или ограды, и снова все заглатывала тьма. Ночную тишину не нарушал ни один звук — словно и не гремел бой еще недавно по всей округе.

Яковенко сидел на полуразломанном ящике, возле которого на каменном полу чадила плошка, мрачно и жадно курил. Он не мог и не хотел скрыть досады: его батальон отступил!

О том, что Неворожин считает Яковенко первым виновником, Гурьев хотел сказать тому сразу, как вошел, но удержался. И так Яковенко казнится больше меры.

— Ну? — поднял Яковенко взлохмаченную кудрявую голову, на которой едва держалась лихая кубанка. — Какие указания свыше?

— Известные: не пускать немца дальше.

— Да, нахлопал он нам... — Яковенко зло сплюнул, с силой затянулся.

— Что поделаешь? — Гурьев присел рядом. — Сила, вот и нахлопали.

— Сила! — Яковенко еще раз порывисто затянулся, так что табак затрещал, швырнул окурок в стену — только искры брызнули:— Что оправдываться! Побиты — значит виноваты.

— Силён, вижу, судья из тебя.

— Я — себе судья, не кому-нибудь!

— К себе тоже по справедливости надо. — Гурьев положил ладонь на плечо Яковенко. — Давай о деле. Потери подсчитал? Сколько людей осталось в строю?

— Из четырех сотен — две. Но кухни еще не пришли.

— Причем тут кухни?

— Что, не знаешь? В такой кутерьме мало ли кто отбиться мог? Ты его пропавшим без вести или убитым посчитал, а он, глядишь, и объявился, когда ужин привезли.

— Мудрец ты, гляжу я.

— Опыт жизни.

Пришли связисты, поставили телефонный аппарат. Теперь можно было держать связь и с командным пунктом полка, и с подразделениями.

— Живем! — порадовался Гурьев. — Когда возле меня ставят телефон — словно душу на место ставят.

Он сразу же принялся звонить в батальоны и батареи, уточнять, что где. Когда кончил, Яковенко предложил:

— Давай-ка ужинать! И по стакашку с горя, а? Из погребов бежавшей буржуазии.

— Пожалуй...

Яковенко кликнул связного. Тот расстелил прямо на плитах пола плащ-палатку, начал на ней собирать ужин. Гурьев тем временем тщательно осматривал свои карманы, рылся в сумке.

— Что ты ищешь? — заинтересовался Яковенко.

— Письмо от жены. И куда запропастилось?

— Не горюй! — утешал Яковенко. — И так все про свою знаешь. Пиши ей сразу ответы-приветы, и всё.

— Однако ж досадно...

Только убедившись, что письма при нем так-таки и нет, Гурьев внял наконец приглашению Яковенко.

Едва успели они приступить к ужину, как Гурьева вызвал к телефону Неворожин и велел немедленно явиться к нему.

— А, черт! — подосадовал Гурьев. — Вот доля пэнша. И поесть некогда. Ты меня не жди, заправляйся.

Когда Гурьев вернулся, Яковенко полюбопытствовал:

— Зачем тебя временный требовал?

— Объяснение в штадив от себя послать хочет, как отступили. Ну, и писал.

— Неймется ему! Что толку с тех бумаг?

Разливая по кружкам темно-красное густое вино, Яковенко посочувствовал:

— Плохо тебе без Бересова будет. Задергает этот зам. Человек, который никогда не смеется, — недаром его так в штадиве писаря прозвали. Дай ему бог быть полковником, да не в нашем полку! Ну, давай! — Яковенко поднял кружку. Гурьев тоже. Осушили.

— Чудесное зелье мадьяры делают, — похвалил Яковенко. — Я тебя ждал, да Понедельный зашел — с ним пропустили для согрева. Он тоже ведь в канале искупался.

— А где он сейчас?

— Во второй батальон пошел. Поругал меня майор...

— За что?

— За волнения-страсти. А как же? У меня весь батальон растрепан, за канал выгнали. А Понедельный говорит: немцам хуже. Словом, наша берет, хоть и морда в крови...

— Да ведь так оно и будет.

— Ну, как будет, еще поглядим.

Взялись за еду. Яковенко после выпитого вина заметно оживился. Он отпустил еще какую-то шуточку по поводу Неворожина.

— И почему так зол ты на него? — удивился Гурьев. — У тебя что, с ним встречный бой бывал?

— Не то чтобы... Но только он такой старательный, что спасу нет. — Яковенко покосился на придремнувших в другом конце подвала солдат. — В дивизии, когда я там служил, слышал: процветал он при прежнем комдиве. А при новом сразу — в полк. Торопится боевую славу заработать, пока война не кончилась. А я б ему и взвода не доверил!

— Ну, уж так и взвода. Все ж он строевик опытный.

— Опытный? — Яковенко усмехнулся. — Весь его опыт в том, что у него всегда гудит.

— Гудит?

— Не знаешь этой притчи?

— Нет...

— А вот слушай. — Яковенко стал рассказывать вполголоса, чтоб его слышал только Гурьев. — Встретились три товарища, вместе когда-то училище кончили: два капитана да полковник, много лет не виделись. Капитаны удивляются: «Ты — уже полковник!» — «Что же, служу исправно». — «Так ведь и мы — тоже!» А сзади в это время генерал шел, поравнялся, услышал, спрашивает: «Чему удивляетесь?» Капитаны объясняют. Генерал говорит: «Мне тоже не совсем ясно. А ну, уточним». Поднял с земли кирпичину, поднес себе к уху, послушал и говорит: «Гудит!» Потом дает тот кирпич одному из капитанов: «Гудит?» — «Никак нет». — «У меня гудит, а у вас — нет?» Другому капитану ту же кирпичину. Тот послушал и тоже: «Не гудит!» Тогда генерал кирпичину — приятелю ихнему. Тот кирпич к уху приложил: «Так точно, гудит вовсю, товарищ генерал!» Тогда генерал и говорит капитанам: «Вы оба не слыхали, и я, хотя не то что до полковника, а и до генерала дослужился, ни при каких обстоятельствах не слыхивал, чтоб кирпич

гудел. А вот у товарища полковника такой слух, какой не часто встретишь, — всегда гудит!» — Яковенко шутливо ткнул Гурьева в бок пальцем. — Понимаешь теперь, почему у прежнего комдива Неворожин в чести был?

— Гудело?

— Вот именно.

Тут Гурьева снова позвали к телефону. Неворожин вторично требовал его к себе.

Гурьев застал Неворожина за сочинением какой-то бумаги. Рядом с ней лежала исчирканная бумажка — бросив взгляд на нее, Гурьев узнал то объяснение, которое он писал. Заметив взгляд Гурьева, Неворожин поспешно сложил бумаги. «Мое не понравилось, по-своему пишет», — догадался Гурьев.

— Командир дивизии перенес свой командный пункт сюда на высоту, — сказал Неворожин. — Пойдете сейчас к нему и по карте подробно покажете, где боевые порядки.

* * *

Как ни успокаивал себя Гурьев, а все же шел он с растревоженным сердцем. Полк отступил, и, как ни говори, уже одно это заставляет чувствовать себя виноватым: ведь это твой полк. К тому же Гурьев еще ни разу не встречался с новым командиром дивизии, только несколько раз приходилось по телефону докладывать тому обстановку. Но кое-что о новом комдиве он слышал от знакомых офицеров штаба дивизии.

Генерал принял дивизию месяца три назад, на пути к Будапешту. Говорили, что до этого он тоже командовал дивизией, но потом был ранен и долго, чуть ли не год, лечился. Как рассказывали, комдив участвовал в гражданской войне, будучи рядовым, в боях на КВЖД командиром роты, воевал комбатом на Халхын-Голе, побывал, по слухам, в Испании, в Финскую кампанию командовал полком и под конец — бригадой, а перед войной имел уже генеральское звание. Служил на большой должности в Наркомате обороны, когда началась война — сразу же отправился на фронт. Все, кто знал комдива, говорили о нем только хорошее.

Комдив занимал такой же, как у Неворожина, погребок на одном из виноградников.

Пройдя мимо маячившего в темноте часового, Гурьев спустился по земляным ступенькам и, пригнувшись, вошел через низкую дверь в помещение, освещенное парой коптилок. Возле большущей бочки, опираясь на нее спиной, сидел на соломе по-солдатски остриженный под машинку человек в расстегнутом ватнике, из-под которого пестрели многочисленные орденские колодки. Лицо его, остроскулое, с высоким лбом, было спокойным, чуть-чуть даже сонным. Один сапог его был снят, он, прихватив рукой за лодыжку, с видимым удовольствием пошевеливал пальцами разутой ноги, в другой руке держал портянку.

— От Бересова? — спросил он голосом, который Гурьев не раз слышал в телефонной трубке.

Намотав портянку и натянув сапог, генерал встал. Его длинная тень черной дугой метнулась по сводчатому потолку. Спросил:

— Бересова в тыл так и не отправили?

— Нет, товарищ генерал, не хочет.

— А вы слушайте не его, а медиков. В своем деле они нам начальники. — Чуть распахнув ватник, резким движением сунул большие пальцы обеих рук за пояс гимнастерки, окинул Гурьева внимательным взглядом. — Ну, ладно, докладывайте. Вот вам, капитан, моя карта. Нанесите, где у вас что.

Выслушав Гурьева и дождавшись, пока он проставил все нужные обозначения, генерал показал на карте:

— Ваш левофланговый батальон имеет правый фланг вот здесь. А левый фланг батальона, стоящего в центре, вы обозначили вот тут. Если это так, то налицо большой разрыв. Ночью это особенно опасно. Уточните на местности. Вы пэнша один? Вот и хорошо. Это ваше дело. Уточните лично. И дайте командирам подразделений указания на месте об увязке стыка. Необходимо установить огневую и визуальную связь...

Дав еще несколько указаний об организации обороны, генерал отпустил Гурьева.

Вслед за солдатом-связным Гурьев шагал через виноградники обратно. «Вот сейчас приду к Неворожину, передам распоряжение генерала — засуетится, никому спать не даст, по семьдесят семь раз начнет переспрашивать: как сделать... Не от требовательности это у него —

от неуверенности, что ли? Да что мне Неворожин...— Вновь вспомнил: — Где же письмо? Когда начался артобстрел, меня позвали к телефону... Куда же я затолкал? В левый карман? В правый? В сумку?» Но так и не смог припомнить.

* * *

Лейтенант Галочкин, вздрагивая от озноба — во время переправы через канал он, как и многие, промок,— одиноко жался в тесной, наскоро вырытой шагах в сорока от края воды ямке, именуемой его командирским наблюдательным пунктом, и, уткнув лицо в рукав, чтобы кто ненароком не заметил, плакал. Плакал самыми настоящими, как в детстве, слезами. Плакал оттого, что в первом же в его жизни бою ему пришлось отступать, чуть ли не бежать. Его удивляло: как это другие относятся к отступлению спокойно? Ведь поражение! Поражение! Позор! Плакал от огорчения: никудышный он командир! Это показал сегодняшний бой... Конечно, никудышный! Разве он по-настоящему командовал? Стрелял из автомата, как прочие, и все. Верно, все атаки противника взвод отбил. Так здесь он, Галочкин, ни при чем. Бойцы и без него воевать умели. А при отходе! Растерял почти всех. Понятно теперь, почему майор Понедельный так решительно отсылал его назад, когда сам оставался до последнего. Не надеялся, что лейтенант Галочкин оправдает... А Галочкин-то был уверен: в первом же бою совершит подвиг. Ведь об этом всю войну — и в школе еще, и в запасном полку, и в училище, и в офицерском резерве, в котором протомился не один месяц,— втайне мечтал, с нетерпением ждал: когда же на фронт? И чем дальше, тем больше тревожился: он все еще в тылу, а наши наступают, войне скоро конец. Неужели не успеет повоевать, внести свою долю в победу, ну и, конечно, в боях отличиться? Отличился! Хоть в рядовые просись, кровью искупить...

В таком смятении и застал Галочкина связной командира роты. Он передал: старший лейтенант срочно вызывает.

«Ну, начинается...» — Галочкин предчувствовал, что разговор будет неприятным.

До командира роты связной довел его за две — три минуты. Белых находился в какой-то не то баньке, не то сушилке — безоконной, крохотной, приземистой каменной построечке, стоявшей в глубине одного из дворов. В печурке жарко полыхало пламя. Белых — он был один — сидел, близко придвинувшись к огню, сушился: он тоже вымок, перебираясь через канал.

— Долго я буду ждать, пока вы разберетесь, сколько у вас людей осталось? — метнул Белых сердитый взгляд.

— Больше никого нет... — Галочкин почувствовал, как покраснел. Стоял, втянув голову в плечи, сгорбившись — встать во весь рост мешал низкий потолок, — и от этого ощущал еще большую неловкость. Присесть же — не позволял сам тон разговора.

— Вы командир взвода или мокрая курица? — Белых глянул и отвернулся: и Галочкин мокр, и сам он — тоже. — Когда же вы соберете всех своих? Где отделение Прохорова?

Галочкин молчал: сказать в свое оправдание нечего, гнев командира роты он принимал как должное.

— У вас не набирается и десятка бойцов. А мне нужен взвод. Ваш взвод, понимаете? Нужно метров на сто подрастянуться на левом фланге. А кого поставите туда?

Галочкин виновато молчал. Наконец прошептал покаянно, но твердо:

— Виноват я, товарищ старший лейтенант. Насчет Прохорова — целиком виноват.

— Что мне с вашей вины... А Прохоров, думаю, не такой, чтобы запросто пропасть. Не растеряется, как... — Галочкин, видимо, понял, что хотел сказать Белых, и не смог удержать дрогнувших ресниц. Хорошо, что в полумраке не видно, как краснеешь... Командир без подразделения — не командир!

Белых говорил резко: Яковенко только что пробирал его за то, за что он сейчас пробирает Галочкина.

За спиной Галочкина скрипнула дверь и послышался голос, от которого его сразу ударило в испарину.

— Мне сказали, здесь печка? — спросила Ольга входя. — Посушиться бы... Можно?

— Сушитесь, — покосившись на Галочкина, ответил Белых. Ольга шагнула к огню. Галочкин поспешно отодвинулся, освобождая ей место, сердце его заныло еще больше.

«Она все слышала! Неужели старший лейтенант при ней и дальше мне выговаривать станет? Может, нарочно даже... А вдруг он догадывается?..»

А Белых и в самом деле приметил: «При этом свете и то видать — эк покраснел лейтенант. Уж не из-за Ольги ли?»

Подойдя к огню, Ольга увидела по лицам Белых и Галочкина: между ними какой-то малоприятный разговор. Смутилась:

— Я помешала?

— Нет, нет... — Белых подвинулся. Уже более спокойный и мягкий был у него голос, совсем не тот, как только что. — Сушитесь.

Если бы Ольга в эту минуту не вошла, он, может быть, и дальше продолжал бы выговаривать Галочкину. Но при ней не захотел: еще подумает, что он нарочно, себя показать. При Ольге ему захотелось быть добрее, Галочкина вдруг стало жаль. Он глянул на его насупленное лицо с плотно сжатыми пухлыми губами, на тонкую шею в слишком свободно сидящем воротнике гимнастерки. Мальчишка еще! Сегодня под огонь впервые попал. Белых вспомнил — в своем первом бою, три года назад, он растерялся, пожалуй, побольше, чем Галочкин сегодня. А Галочкин что ж? Он все-таки храбро воевал и для первого раза не так уж бестолково. Правда, скорее как рядовой, а не как лейтенант. Да ничего, оботрется.

— Так вот, — уже другим, спокойно-деловитым голосом заговорил Белых. — За левым флангом у вас, товарищ лейтенант, к каналу примыкает болотце с ручейком, с кустами. До ручейка займите. Ставьте людей пореже, чтоб хватило, но так, чтоб слуховая и огневая связь были.

Ольга молча присела у огня, приблизив к нему колени. Раздвинула руками полы волглого ватника. Одежда ее чуточку уже подсохла, пока она бегала, устраивала своих раненых, передавала их санитарам полковой санчасти, прибывшим, как только утих бой, с повозками.

— Смотрите, где этот ручеек, — Белых осторожно извлек карту из сумки, бережно расправил.

— Мокрая, расползется еще... — поднес обвисающую меж пальцами карту ближе к огню. — Бумага... Вот если

бы для пехоты на полотне карты печатать? Износу бы не было. А прошел до обреза — сморкайся.

«Шутит — значит не сердится...» — у Галочкина от сердца немного отлегло. Хорошо, если Ольга ни о чем не догадалась.

Белых подсушил карту, показал Галочкину нужное место:

— Вот тут должен находиться ваш левый фланг. Не спутаете в темноте?

— Нет, — заверил Галочкин. — Ориентир ясный. Ручей поперек.

Белых стал осторожно всовывать подсохшую карту в планшет.

Под дверями, слышно, переминались, вполголоса переговаривались.

— Кто там? — Белых позвал: — Заходите!

— Разрешите, товарищ старший лейтенант, обратиться к лейтенанту? — На пороге вырос сержант Прохоров. Его шинель была темна от воды. Галочкин остолбенел.

— Обращайтесь! — кивнул Белых. И с чуть приметной усмешкой — уловил ее только Галочкин и снова вспыхнул — добавил: — А то ваш командир взвода переживает тут... — Скользнул взглядом по лицу Галочкина, проговорил: — Я же знал — не пропадут. — Обернулся к Прохорову: — Где путешествовали, воины?

— Стояли на позиции, как приказано. Бронебойку расшибло, одного пулеметчика поранило. Немцы, с бронетранспортеров ссаженные, в атаку на нас. Дотемна мы отбивались. А потом вижу — ракеты ихние позади уже. Я и решил — к своим...

— Правильное решение, — одобрил Белых. — А как вы к каналу пробрались?

— По селу, садами. Два раза на фрицев нарывались.

— Закрепляются?

— Роют.

— Танки видели?

— Промеж домами поставлены. Ну, а потом мы — через канал. Федьков для переправы подходящее место нашел...

— А, Федьков! — улыбнулся Белых. — Вы ему спуска не давайте... Сколько людей с вами пришло?

Прохоров назвал. Добавил:

— А еще... пополнение у нас.

— Какое? — удивился Белых.

— Тот, который утром к нам перебежал. Товарищ лейтенант знает... Отправить не успели, а тут бой.

— А откуда он? — спросил Белых. — Перебежчик? Из немецких лагерей? Отправить его в штаб сейчас же!

— Оно конечно... — помялся Прохоров. — Только мы его уже по бою знаем. Атаку отражал. На фашистов зол пуще нашего. Оставить бы?.. Все просят.

— Покажите-ка мне его! — заинтересовался Белых. — Где он?

Прохоров приоткрыл дверь, позвал:

— Зубарь!

Тот вошел.

— Ого, обмундирован уже! — удивился Белых. — Какого года? Двадцать пятого? Ну, доложи, кто ты есть.

Торопливо, перескакивая с одного на другое, Зубарь стал рассказывать свою историю. Рассказывая, волновался: а вдруг этот сердитый на вид командир с тремя звездочками на погонах прикажет сдать карабин, снять всю обмундировку, которую ему собрали солдаты, и отправит куда-то? Нет, он хочет быть вместе с участливым Снегиревым, со строгим, но добрым Прохоровым, с ловким и веселым Федьковым, с Опанасенко, с Плоскиным.

— А что? — сказал Белых Галочкину, когда Зубарь закончил свой взволнованный рассказ. — Пусть пока остается. Комбату я доложу.

Галочкин охотно согласился. Тем более, что так просят солдаты.

— Ну что ж, — распорядился Белых. — Покажите, лейтенант, отделению его позицию. Вот, как раз на левом фланге... Пусть только бойцы подзаправятся сперва. Кухня сейчас должна подъехать.

Прохоров и Зубарь вышли.

— Больше никаких распоряжений не будет, товарищ старший лейтенант? — спросил Галочкин. — В присутствии Ольги он старался держаться с командиром роты подчеркнуто официально.

— Нет. — Белых пригласил: — Садитесь к огню, обсушитесь.

— Спасибо, — отказался Галочкин. — Пойду к своим бойцам.

Он торопился уйти, будучи уверен, что Белых только и ждет, чтобы остаться с Ольгой вдвоем. С самоуверенностью, свойственной его возрасту, Галочкин был убежден, что безошибочно понимает их отношения.

* * *

Батальонная кухня приехала в лощинку, почти примыкающую к каналу и отделенную от него небольшим садом. Эта лощинка по сравнению с позициями на берегу — уже тыл. Здесь можно ходить в рост, не тая огня, курить, говорить не шепотом, а в полный голос.

Отделение Прохорова, а вместе со всеми — и Зубарь, стояло в очереди, медленно подвигаясь к котлу, над которым в темноте белел халат повара, раздававшего еду.

Окрест стояла полнейшая тишина. Умолкли даже редкие выстрелы, слышавшиеся до этого. В этой тишине особенно громкой показалась музыка, внезапно зазвучавшая с вражеской стороны. Она разносилась, наверное, очень далеко.

Солдаты оживились, прислушиваясь к знакомой мелодии:

— «Катюшу» Гитлер заиграл!

— После того как наши ему сыграли.

— Уважает нас фюрер ихний. Культобслуживание обеспечивает.

Музыка смолкла. Четкий металлический голос, тысячекратно усиленный громкоговорителем, объявил:

— Русские солдаты! Красноармейцы воинской части подполковника Έересова! Слушайте, слушайте! С вами будет говорить ваш боевой товарищ Иван Федорович Полосухин, рядовой вашей части, третьей роты первого батальона, Рязанской области, Курмышевский сельсовет!

— Вот нашелся — Рязань порочить! — зло сказал кто-то в очереди.

— Да неужто есть такой гад?

— Под покойника работают! — громко, чтобы слышали все, проговорил Снегирев.

— Как это под покойника?

— Что, не знаете? Замполит когда еще объяснял: заберут с убитого бойца солдатскую книжку, прочтут фамилию — и пошел врать!

Громкоговоритель с немецкой стороны зазвучал вновь, но уже другим голосом:

— Товарищи бойцы! Я добровольно сдал себя в плен германской армии. Вместе со многими моими и вашими товарищами! Вот их имена... — говоривший перечислил несколько фамилий. — Мы сделали это потому, что в сегодняшнем бою окончательно убедились, что германскую армию победить невозможно. Вспомните, сколько из вас погибло сегодня, и, если вы будете продолжать воевать, смерть ждет и вас. Сдавайтесь в германский плен! С нами обращаются хорошо. Мы получаем отличное питание, вино и табак без нормы, а раненых лечат искусные германские врачи...

— Лечат они! — усмехнулся Зубарь. — На тот свет. Повидал я...

Голос в громкоговорителе звучал торопливо, как будто обладатель голоса опасался, что его не дослушают до конца.

Да солдаты и действительно не слушали — подобные речи им были не в диковинку.

А голос бубнил, бубнил, повторяя одно и то же. Наконец смолк.

— Сдамся я тоби, як у мене хвист выросте! — изрек Опанасенко.

Со стороны к очереди подошли трое, бинты на них приметно белели в темноте.

— Горяченького бы... — попросил один из них. — А то пока доберешься до медсанбата...

— Проходите вперед! — заговорили в очереди.

— Эй, повар, раненым отпусти!

— Ничего, нам не к спеху, — сказал тот из раненых, что заговорил первым. — Становись, ребята, сюда.

Все трое втиснулись в очередь перед Прохоровым и его бойцами.

Плоскин, со смаком потягивая огромную самокрутку, от которой аж искры сыпались при затяжке, говорил уверенно, словно был в курсе всех планов высшего командования:

— С утра наступать начнем. «Зверобои» вдарят разом.

— Побачим, — сомневался Опанасенко. — Ведь вот куда гитлеряка спихнул нас.

— Спихнул! — с пренебрежением повторил Плоскин. — А помнишь осенью, под Мишкольцем, он нас даже

в окружение взял. А получилось — мы ж его и поперли. Уметь надо!

— То верно. Научився Федот брать горячий уголь в рот, — дал свое резюме Опанасенко.

— Где тут Плоскин? — подошел Федьков. Своего котелка он так и не завел, не желая себя обременять лишним грузом, а поэтому в очереди не стоял. — Возьмешь на меня?

— Ладно, — согласился Плоскин. — Так и быть, покормлю. Плоскин понимает, что такое взаимная выручка.

— А як же! — не замедлил прокомментировать Опанасенко. — Ты Федькову поможешь получаты, а он тоби — исты.

Один из стоявших впереди Плоскина раненых, с забинтованной кистью руки, вышел из очереди, хотя он находился уже почти возле котла, и быстро пошагал прочь.

— Эй, друг, куда ты? — окликнули его. Но он уже скрылся в темноте.

— Чегой-то с этим? Схватило, что ли? — удивился Плоскин. Темнота не позволила ему разглядеть, что это за солдат. Но тот, услышав названную Федьковым фамилию Плоскина, услышав голос Плоскина, сразу узнал его.

Утром, когда его вел Плоскин и когда разрывом его швырнуло наземь, он, еще не рассеялись дым и пыль, ринулся прочь. Но, уже через секунду сообразив, что бежать под обстрелом опасно, бросился наземь и, запнувшись, свалился прямо на своего конвоира. Пальцы натолкнулись на безвольно откинутую руку. Убит? Скрыться! Только переждать, пока кончится обстрел. Ага! Вот уже секунду, другую, третью снаряды не падают... А потом? Куда деться потом? Внезапно догадка пришла. Сунул пальцы за пазуху лежащего, нашарил грудной карман, отстегнул пуговку. Здесь? Ну да, где обыкновенно у каждого бойца... Вытащил серенькую книжечку. Оглянулся. Нет, больше как будто не стреляют. Вскочил, побежал, путаясь в полах распоясанной шинели. Крадучись, шел долго.

Несколько раз на пути попадались уже опустевшие, местами разрушенные обстрелом окопы, возле них зияли частые воронки. В полузасыпанной снарядами траншее, где валялось несколько убитых, долго шарил, пока разы-

скал то, что сейчас ему было нужнее всего: индивидуальный пакет и карабин с патронами. Здесь, в этом окопе, он наконец решился на то, на что пытался, но не мог решиться целый день, хотя и до мельчайших деталей продумал, что и как ему надо сделать. Подобрав валявшуюся в окопе солдатскую шапку, нагреб в нее земли, приложил шапку к кисти левой руки. Приставил к шапке ствол карабина и, зажмурив глаза, правой рукой нажал спуск. Забинтовал простреленную руку, в возбуждении почти не чувствуя боли. Накрутил бинт так, чтобы повязка снаружи была повиднее. Теперь он шел не таясь. Уже в сумерках, дойдя до села, поспешил вдоль берега канала, по дворам и садам. Какая-то медсестра на маленьком плотике переправляла раненых. Присоединился к ним. Дальше пошел с двумя ранеными солдатами, которые искали санчасть. Так втроем и набрели на кухню и решили подкрепиться. Окажись же тут, как на грех, тот самый солдат, который его вел!

Как бы то ни было — лучше как можно быстрее убраться отсюда.

Он шел все дальше от передовой, стараясь не попадаться никому на глаза и поскорее найти какую-нибудь санчасть.

А Плоскин тем временем, потихоньку подвигаясь в очереди к кухне, вслух завидовал повару: вот кому житуха, не то, что в стрелковой роте. Но как раз в этот момент вверху, в черном небе, возник, молниеносно приближаясь, прерывистый, с надрывом свист — так знакомый каждому фронтовику свист летящей мины. Плоскин шлепнулся животом на землю, прикрывая голову, для большей гарантии, котелком. Возле прогрохотали сапоги разбегающихся от кухни, пробренчал чей-то покатившийся котелок.

Гулко, с раскатистым треском рванула мина, за ней без паузы — вторая, третья.

В наступившей тишине прозвучал тревожный голос повара:

— А ну, быстро получай, котел пробило! Борщ утекает!

Плоскин приподнялся. Возле кухни чуть освещенный огоньком из полуоткрывшейся топки суетился повар в заляпанном землей белом халате, кричал:

— Поторапливайся!

Плоскин — мины разогнали всех, он был теперь в очереди первый, чему и обрадовался, воздавая должное своей храбрости, — протянул только что служивший ему шлемом котелок повару.

— На двоих!

Повар ловко опрокинул в котелок полный черпак, в нос Плоскину аппетитно пахну́ло горячим борщом. Но снова раздался нарастающий визг.

— Ложись! — крикнул Плоскин повару и вновь бросился наземь, забыв о котелке. Падая, видел: повар стоит, прижимая ладонью скомканную полу халата к пробоине.

Мина ударила вблизи кухни. Переждав несколько секунд — не продолжится ли налет, — Плоскин поднялся. В левом сапоге невыносимо жгло. «Неужто ранен! — Пощупал — вся штанина мокрая. — Ах, черт, не то. Из котелка выплеснул! Попрошу снова налить...»

Но наливать оказалось некому.

Повар лежал у колеса кухни, на него из пробоины в котле, дымясь, тек борщ.

Прибежал откуда-то низенький, усатый, суетливый старшина хозяйственного взвода. Повара оттащили в сторону, накрыли, как саваном, его халатом. Старшина подобрал валявшийся черпак, влез на кухню, помешал черпаком в котле, объявил с огорчением:

— Одна гуща осталась! — И, подняв голову к темному небу — не летит ли опять мина, — позвал: — Подходи быстро!

Плоскин поднял свой котелок, уже пустой, подал:

— Две порции!

— Хоть три! — многоопытный старшина был щедр: после боя всегда остаются лишние пайки.

Федьков уже поджидал Плоскина. Они отошли в сторонку, сели, достали ложки, начали есть. Но Плоскину что-то не шел в рот ароматный, горячий, густой — ложкой не провернешь — борщ. Он против своей воли глянул туда, где в темноте белел накинутый на мертвое тело халат. Если уж повара здесь, в тылу, ночью, когда и бой-то кончился, достало, то пощадит ли судьба до конца войны его? Сегодня ведь чуть-чуть не пропал, когда немцы ворвались в траншею...

А Федьков, активно работая ложкой, успевал и есть и разговаривать:

— Мина в кухню — что ж тут удивительного! А вот комендантского повара в прошлом году летом чуть щами не убило!

— Щами? — без особого любопытства спросил Плоскин, вяло двигая ложкой.

— Трофейными! — уточнил Федьков. — В наступлении на марше фрицы обоз бросили. Ну, мы глядим — на повозке концентраты лежат пачками, прессованные, в ящиках. Я командиру комендантского взвода предлагаю: «Пока своих продуктов дождемся — вари эти, горячего хочется. Видишь — на каждой пачке по-немецки написано: «суп». Вали в котел побольше». Он меня послушал. Велел повару расшелушить в котел этих супов целый ящик, воды залили, крышку завинтили, огонь разожгли, комендант и повар на передок, поехали. Ну, думаем, скоро привал и обед, концентрат-то он быстрый. И вдруг, что ты думаешь? Как рванет с котла со всех трех винтов крышку! Коменданта и повара — на землю сбросило. А из котла как полез тот суп! И лезет, и лезет! Повар его и черпаком, и ведром выбирает, и топку притушил, а концентрат тот все пучится: много положили, не рассчитали, что его так распирает. Километра четыре этот суп на дорогу вылазил! Я, видя такое дело, от греха подальше в голову колонны ушел. Говорят, повар меня черпаком убить хотел. Как горячим оружием. Плоскин эту очередную федьковскую байку слушал и почти не слышал. Скребла его душу тоскливая мысль, все та же...

А Федьков не замечал, что Плоскину не по себе, бойко работал и языком и ложкой: несмотря ни на что, его настроение и аппетит, как всегда, были отличными.

* * *

Когда Гурьев, побывав у командира дивизии и Неворожина, снова вернулся к Яковенко, тот заканчивал разговор по телефону с кем-то из командиров рот: пока Гурьев ходил, связь протянули уже и к ним.

— Ну и орлы у Белых в роте! — кладя трубку, рассмеялся Яковенко, увидав Гурьева. — На ходу пополняются! — Он рассказал о Зубаре.

— Ты разрешил оставить этого перебежчика? — спросил Гурьев.

— Да, а что?

— Не полагается так запросто.

— Не полагается? А помнишь прошлой осенью, в Румынии, нам освобожденных из плена на пополнение дали? Отлично ведь воевали. Из этого парнишки тоже боец получится.

— Да разве я против? Только оформить надо. Ты Неворожину доложил?

— Успеется. — Яковенко подмигнул. — Сейчас у него душа еще не на месте, я потом. Когда подобреет.

— Ну, смотри.

Гурьев рассказал Яковенко про опасения комдива по поводу стыка с соседним батальоном и сообщил, что хочет сам, на местности, уточнить, как лучше вместе с соседом этот стык прикрыть.

— Пошли кого-нибудь, — посоветовал Яковенко. — Что ты везде будешь мотаться сам?

— Нет, мне приказал комдив. Да я и сам не хочу никому передоверять. Я уже звонил твоему соседу, на его правом фланге меня будут ждать.

— Ну что ж, иди благословясь. У меня на левом фланге Белых, крайний у него взвод — этого новичка, как его... Галочкина. Только обязательно во взводе провожатого возьми. А то ты один ходить любишь.

— Возьму.

* * *

Лейтенанта Галочкина Гурьев разыскал на берегу канала, в ямке, в такой же, какие наскоро вырыли для себя бойцы. Гурьев шел, уже соблюдая все меры предосторожности: до противника, если он на противоположном берегу, отсюда всего несколько десятков шагов.

Кое-как втиснувшись рядом с Галочкиным, Гурьев шепотом спросил:

— Как противник?

— Затих, — так же шепотом ответил Галочкин. — Ракеты перестал кидать. А танки вот...

Гурьев прислушался: на противоположном берегу осторожно, воровато урчали моторы — то затихали намертво, то вновь всхрапывали.

— Сосредоточивают... — прошептал Галочкин. — Хорошо хоть «зверобои» с нами. Дадут в случае чего. Ну, пойдемте, я вас сам провожу, товарищ капитан.

Галочкин привел Гурьева на левый фланг, в отделение, окопавшееся на огороде. Слева темнели заросли, ночью казавшиеся необыкновенно густыми. Где-то в этих зарослях протекает ручеек, впадающий в канал. А левее, за ручейком, должны быть позиции соседнего батальона.

— Прохоров! — сказал Галочкин встретившему их сержанту. — Дайте одного бойца товарищу капитану.

Солдат явился тотчас же.

— А, Снегирев! — узнал Гурьев. — Жив?

— Так точно. Здравия желаю, товарищ капитан.

Отправились в путь — влево от наспех нарытых вдоль канала окопчиков, в которых по одному — по два сидели бойцы прохоровского отделения. Гурьев предупредил Снегирева, что идти надо как можно осторожнее: на стыке — неизвестно что, а противник — близко. Впрочем, это Снегирев знал и сам.

Почти сразу же, как только отошли от позиций, углубились в кусты. Потянуло холодной сыростью, запахом старой размокшей травы. Под ногами хлюпало — весенние воды еще не сошли здесь, в низине. Кругом стояла плотная тьма. Только верхушки кустов чуть выделялись на фоне ночного неба.

Сразу же, как углубились в кусты, Гурьев взял нужный азимут. Через каждые несколько шагов, чтобы не сбиться, останавливался, взглядывая на мерцающую зеленоватым светом стрелку компаса, пристегнутого к полевой сумке. Снегирев шел следом, в трех — четырех шагах. Шли так, чтобы не задеть и веточки, не хлюпнуть под ногой грязью.

Приостановившись в очередной раз свериться с компасом, Гурьев встревожился: сзади не слыхать Снегирева.

Окликнуть? Нельзя: близко, на том берегу, — враг. Снегирев так просто не отстанет. Что-то случилось.

Соблюдая осторожность, Гурьев сделал несколько шагов обратно. Нет Снегирева... И вдруг у самых ног, где-то в воде — он брел по ней почти по колено, — уловил осторожный шепот:

— Товарищ капитан?

— Я, — так же шепотом отозвался Гурьев.

— Стойте! Яма тут.

Негромко булькнула вода, снова послышался шепот Снегирева:

— По самую маковку врюхался. И зацепиться не за что...

Гурьев присел на корточки. Совсем близко шумное дыхание. Ухватился за попавшую под пальцы ветку, другую руку протянул наугад, на голос, шепнул:

— Держись!

Почувствовав, как меж его пальцев легли мокрые и холодные пальцы Снегирева, Гурьев с силой потянул вверх.

— Чего же не окликнул меня? — спросил он, когда Снегирев уже стоял рядом.

— Немца опасался, — прошептал тот, — и знал: вернетесь.

Снова пошли. Под ногами все меньше хлюпало, кусты редели, чуть приметно пахну́ло прохладным ветерком. Видимо, ручей уже пересекли — вышедший из берегов, он мог остаться и незамеченным: везде вода. «Пожалуй, правильно идем». Гурьев уже меньше стал опасаться, что собьется с пути.

Гулко хлопнул совсем близко, справа, винтовочный выстрел, второй. Впереди по кустам ширкнула пуля.

Быстро легли рядом на мокрую, податливую, пахнущую стылым болотом дернину. Гурьев сразу почувствовал, как на коленях, локтях, груди ватная обмундировка набухает сыростью.

Выстрелов больше не слышалось. Кто стрелял? Свои или враг? Не сбились ли с пути?

— Полежите, я разузнаю, — прошептал Снегирев.

— Пойдем вместе.

— Нет, вам рисковать нельзя. Сначала я. — И Гурьев послушался, как будто бы не Снегирев подчинялся ему, а он Снегиреву.

Поднявшись, Снегирев скользнул вперед — через две — три секунды его целиком поглотила темнота.

Прошла минута, другая... Гурьев уже раскаивался, что отпустил Снегирева одного: а вдруг тот опять попадет в беду? Или заблудится. «Нет, обязательно вернется...»

С той стороны, куда ушел Снегирев, послышались осторожные шаги. Наверное, он. На всякий случай Гурьев расстегнул кобуру: кто его знает, тут и немцам недолго. Канал — всего восемь метров ширины, ночь темная...

Опасения оказались напрасными: подошел Снегирев. Присел, прошептал:

— Свои это. Нас услыхали, подумали — немцы. Пойдемте. Окоп тут близенько.

Через несколько минут Снегирев довел Гурьева до обещанного окопа. Здесь его уже дожидался старший лейтенант, командир роты соседнего батальона, предупрежденный по телефону. Он пригласил Гурьева на свой командный пункт — в окопчик, накрытый сверху ветвями и плащ-палаткой. Вслед за старшим лейтенантом Гурьев втиснулся в узкую земляную щель. Позвал Снегирева — тот отказался.

— Я пока портянки выжму. А то как бы ноги не застудить.

— Солдат мой промок до ушей, — сказал Гурьев старшему лейтенанту. — Не найдется ли чем согреть его?

— А как же, найдется! — охотно отозвался старший лейтенант. Пошарил в соломе около себя, побулькал фляжкой, спросил: — Может, и вы, товарищ капитан?

— Нет, спасибо. Снегирев!

— Я, товарищ капитан.

— Вот, повысь-ка температуру, скорей обсохнешь.

— Да незачем... — смутился Снегирев. Однако особенно отнекиваться не стал, сделал пару глотков, вернул флягу: — Спасибо. По жилочкам пошло...

При свете фонарика Гурьев нанес на карту точное местоположение фланговых позиций, договорился со старшим лейтенантом, что тот поставит поближе к кустам станковый пулемет и в кустах, возле самой воды, посадит пару автоматчиков. Пообещал, что и со стороны батальона Яковенко будет сделано то же.

Обратно Гурьев и Снегирев шли уже позади передовых позиций, не таясь: противник теперь не смог бы услышать их шагов. Но закурить, как ни хотелось, все же опасались: по огоньку цигарки могут из-за канала и пальнуть.

Снегирев после «согревательного» заметно повеселел, на вопрос Гурьева, не озяб ли, отвечал словоохотливо:

— Ничего! Теперь на ходу от меня аж пар идет. Да мы ведь, товарищ капитан, и не такое купанье принимали. Помните, нынче зимой, в горах, в Словакии, немец с плотины воду спустил, речка из-подо льда вышла, над берегами поднялась? Вы ж с нами были! В лютую

стужу — и то вброд прошли. А это что! Да и то сказать — теперь нам любая маята не маята...

— Так ли?

— Да ведь известно, скоро войне концы. Потому и легче... Вот только одна опаска — а вдруг в остатний день тюкнет. Кому-то ведь и так суждено?

— Лучше об этом не думать, Снегирев...

— Хочешь не хочешь, а в голову лезет, товарищ капитан. И насчет себя, и насчет сына. В танкистах он, не знаю и где. Дома-то ведь — сколь годов нас мать ждет. Однако нет на всем фронте ни единого человека, которого никто бы не ждал...

«Письмо! — словно иголкой под сердце, уже не впервые за сегодняшний день, кольнуло Гурьева. — Куда же оно задевалось?»

На командном пункте роты, распрощавшись со Снегиревым и дав Белых указания, как прикрыть стык, Гурьев отправился обратно к Яковенко. Дорога туда вела простая: вдоль телефонного провода. Надо только не выпускать его из рук, чтобы не сбиться в темноте. Но так ходить Гурьеву — не впервой.

Он шел, перебирая рукой провод, проложенный прямо по земле. Неотложные дела кончены, осталось одно — позвонить Неворожину, доложить о сделанном, и можно будет, пожалуй, пока отдыхать. Но найти бы письмо!.. Как верно Снегирев сказал: каждого фронтовика кто-нибудь ждет... О чем Лена пишет? Трудно ей среди непривычных людей, в разоренном войной месте... Что бы ни написала она, все равно сумеет он меж строк, меж слов прочесть заветное... Годы и пространства войны лежат между ними. Две чужих страны... И впереди — еще немало, наверно, дорог и боев. Но не может быть, чтобы не вернулся он к ней. Недолго осталось судьбу испытывать. Недолго... Как сейчас выглядит Лена? Три года не видел. По фотографии что поймешь, по той, которую получил в прошлом году, — маленькую, с белым уголком, — снималась для какого-то документа. На секундочку припасть бы щекой к щеке... Стиснул зубы от внезапно нахлынувшей тоски — такой сильной, что даже дух перехватило, словно внезапно о что-то с ходу больно ударился...

Вернувшись на командный пункт Яковенко и по телефону доложив оттуда Неворожину, Гурьев присел в угол

поближе к коптилке и принялся снова искать письмо. Куда он его сунул утром второпях? Выложил все бумажки из одного кармана гимнастерки, из другого, перебрал каждую — письма нет. Порылся в сумке, даже вынул из планшетки карту, развернул ее по всем сгибам, тряхнул — нет.

— Не горюй! — сказал наблюдавший за его поисками Яковенко. — Потерял, ну и не беда. Что с твоей случится? Ей же не рожать, как моей.

Яковенко совсем недавно отправил домой жену, военфельдшера Зину, и ждал от нее известия, что стал отцом.

Гурьев продолжал пересматривать все на себе. Добрался до заветного — до старых писем Лены, которые заботливо хранил в сокровенном, самом дальнем уголке сумки. Озабоченно перебирал мятые конверты, листки, написанные ее неровным почерком. Каждого из этих листков касалась ее рука, как касается сейчас его рука, на каждый из них смотрели ее глаза, как смотрят сейчас его глаза... Он постарается до конца войны сберечь эти листки. Когда-нибудь, через много лет, они с Леной сядут рядом, касаясь плеча плечом, и вместе перечитают все эти старые письма...

Яковенко, прилегший на соломе неподалеку, поглядывал-поглядывал на Гурьева, потом предложил:

— Брось ты! Давай лучше вздремнем, пока противник и начальство не беспокоят.

— И то! — отчаявшийся в поисках Гурьев аккуратно уложил письма. Сунув сумку под голову, лег рядом с Яковенко и сразу отвернулся к сырой, с грибным духом, стене. Закрыл глаза — если не заснуть, то хотя бы остаться наедине с собой...

Кажется, ему снилась Лена... Пушечный выстрел. Еще. Еще. Еще. Гурьев поднял голову с сумки. Тревожно зуммерит телефон. Трубку уже держит Яковенко.

— Что? — метнулся к нему Гурьев. — Где? На канале?

* * *

...С вечера, когда разыскавшееся отделение Прохорова стало занимать указанную ему позицию на левом фланге, Галочкин дал сержанту заряженную ракетницу и сказал:

— Выделите двух бойцов поглазастее, посадите у воды. Если услышат противника на берегу — пусть тотчас же дают туда, на шум, ракету.

Галочкин отдал такое приказание потому, что перед этим Белых предупредил: противник, зная, что район моста прикрыт артиллерией и самоходками, может попытаться ночью переправиться где-либо в другом месте. На такой случай несколько самоходок выдвинуты в обе стороны от моста: они откроют огонь, когда им ракетами укажут цель.

Сержант вручил ракетницу Федькову, объяснил задачу, распорядился:

— Плоскина с собой возьмешь.

— Винницкого лучше, Зубаря, — попросил Федьков. — Он парень мировой.

— Плоскина! — повторил Прохоров. — Зубаря на капэ полка потребовали.

— Насовсем забирают? — огорчился Федьков.

— Не знаю. Так что действуй с Плоскиным. Ты — старший. Глядеть в оба, отдыхать — поочередно. Станет светать — назад.

Федькова поручение обрадовало: не просто в окопе сидеть, как прочие, а вроде как в разведке.

Плоскин, наоборот, огорчился: почему именно он должен опять рисковать? Хватит, порисковал нынче! Иной раз и за месяц на фронте столько не натерпишься, сколько за сегодняшний день...

Они устроились в указанном им сержантом месте — около поникшей к воде старой ветлы, где нашли небольшое с пологими краями углубление. На дне его стояла талая вода, но чуть повыше лежала толстым слоем прошлогодняя трава, и сырости не чувствовалось.

— Спи про запас! — распорядился Федьков: он решил дежурить первым. Плоскин тотчас же улегся на откосе, рядом с Федьковым, но сон не брал его. Какой тут сон, если всего в нескольких метрах, на том берегу — немцы. Может быть, сидят вот так же близко от воды. Помстится им — и ударят. Ни за грош можно пропасть...

Долго с такими мыслями не мог уснуть Плоскин. Удалось ему придремнуть чуть-чуть, но вот уже толкнул его Федьков, шепчет:

— Разувай глаза! Твое время.

— Как, немцев не слыхать? — осторожным шепотом осведомился Плоскин, принимая ракетницу.

— Услышишь их! — голос Федькова звучал беззаботно. — Что они, ненормальные разве, в холодную воду да под огонь лезть? Кабы мост им... Но ты поглядывай.

— Ладно! Будь спокоен. Плоскин на посту, не кто иной!

Сунув ракетницу за пазуху, Плоскин прилег грудью на сухую траву, держа голову почти вровень с землей: так лучше наблюдать.

Кромка берега находилась перед ним шагах в десяти. Над водой недвижно лежал серый туман, над ним расплывчато темнел противоположный берег, казавшийся очень высоким: на той стороне, почти от самой воды, начинался густой сад. Если немцы в этом саду, то от них до Плоскина всего два — три десятка шагов.

Не полезут немцы здесь. Знают, что наши за каналом следят. Не один Плоскин... А устаешь смотреть в темноту...

На секунду Плоскин смежил веки. И тут сон, которому он, обеспокоенный, не в силах был отдаться еще недавно, когда бодрствовал Федьков, тут сон мгновенно овладел им.

Ему показалось — он спал всего несколько секунд. Встрепенулся, услыхав какой-то глуховатый звук. Что-то плеснуло, что-то стукнуло еле слышно. Или мерещится? Мотор, мотор! Тихо урчит мотор на том берегу, вблизи воды. Ракету! Сунул руку за пазуху. Ракетницы нет! Где она? Вывалилась? Зашарил руками под собой. Нет ракетницы!

— Чего ты? Чего? — вскинулся придремнувший рядом Федьков.

Плоскин молчал, щупая землю по откосу, сползал вниз: не скатилась ли туда?

— Ракету давай! — толкнул Федьков.

Не отвечая, Плоскин продолжал лихорадочно шарить вокруг себя.

— Ну! — дыхнул ему в лицо Федьков. — Не слышишь? Фрицы!

— Обронил... Обронил... — бормотал Плоскин.

— Эх, расшепёра! — Федьков зло выругался, заскреб

по шуршащей сухой траве, их руки то и дело сталкивались.

Наконец ракетница попала под руку Плоскину.

— Ты, шляпа с траурными перьями! — Федьков вырвал ракетницу.

Возле уха растерянного Плоскина хлопнуло, прошипело, и впереди, на той стороне, полыхнул белый свет.

Туман, кажущийся серебристым. Блеснувшая сквозь него недвижная вода. Висящие над нею, положенные в ряд поперек канала толстые балки — их же не было! Кто-то, бегущий по балкам обратно на тот берег. И там, возле самой воды, — немецкий танк, медленно сползающий с берега к настилу из балок.

Еще только разгорается посланная Федьковым ракета — уже летит, откуда-то слева, с другого поста, рассыпая искристый след, еще одна. Гулкий пушечный выстрел раскалывает тишину ночи. Второй. Третий. Возле немецкого танка вспышка разрыва. Танк, взревев мотором, пятится в черные прибрежные кусты. Еще вспышки. Еще грохотнул разрыв — смахнуло в сторону, в воду, балки.

Ракеты погасли.

Федьков вложил в ракетницу новый патрон, выстрелил. Снова на том берегу белый свет распахнул темноту. Но уже не видно ни танка, ни втихомолку наведенного моста. Только клубится меж прибрежными кустами редеющий дым да, мешаясь с ним, колышется, оседая, потревоженный туман.

Свет федьковской ракеты погас, и снова тьма скрыла все.

Ткнув ракетницу себе за пояс, Федьков поднес к самому носу Плоскина кулак:

— Такое бы тебе! Зевло!

Плоскин не оправдывался. Только попросил робко:

— Ну дай, я буду теперь до утра смотреть...

— Иди ты! — отмахнулся Федьков. — Чтоб я за тебя позор принимал? — и отвернулся.

Ни слова больше не сказав, Плоскин сел с Федьковым рядом. Старательно глядел в темноту. Но до самого рассвета более ничего не произошло. Попытку переправиться через канал противник не повторил ни в этом месте, ни в каком-либо другом.

Глава 12

ОБЕСКРОВЛЕННЫЕ

Близилось утро. В одном из немногих пощаженных огнем домов северной окраины, протянув ноги к огню жарко пылающей печки, сидел оберштурмфюрер Баумберг. Остатки его поредевшего взвода сейчас окапывались в саду, примыкающем к каналу. Приказ окапываться поступил недавно, после того как русские обнаружили и артиллерийским огнем разбили мост, наведенный с чрезвычайными предосторожностями. До этого гренадер держали в готовности к наступлению — вслед за танками, которые должны были перебраться через канал и поднять панику среди русских.

Сейчас, когда окопные работы заканчивались, Баумберг позволил себе отдых. Час назад он зашел в этот дом, холодный и темный, вместе с Кассельманом. Еще на пороге услышал: кто-то шумно дышит. Зажег фонарик — увидел: на полу лежит с закрытыми глазами русский, очевидно, раненый заполз. Баумберг приказал Кассельману убрать его. Кассельман взялся за русского — тот очнулся, дернулся, закричал. Кассельман растерянно отвел руки. «Чего же вы? Пристрелите его сначала!» — приказал Баумберг. Кассельман нерешительно потянул с плеча автомат... «Эх вы, цыпленок! Германская рука должна быть твердой!» — Баумберг вынул парабеллум, не целясь долго, выстрелил русскому в голову. Распорядился: «Вытащите его!» Кассельман ревностно, как бы спеша искупить свою нерешительность, поволок за порог теперь уже спокойного русского. Первого русского, собственноручно убитого оберштурмфюрером Баумбергом на восточном фронте. После этого Кассельман, чем нашлось завесил окна, затопил печь, среди раскиданной мебели нашел мягкое кресло и поставил его у огня.

Греясь, Баумберг размышлял:

Видимо, командование решило пока не возобновлять попыток форсировать канал. Требуется дать передышку людям, подтянуть новые силы. Потери неожиданно огромны. Из взвода в результате одного дня боя почти каждый второй отправился в Валгаллу[1]. А оставшиеся

[1] Рай для воинов в представлении древних германцев.

измотаны до крайности. Под вечер, когда вслед за «тиграми» ворвались в селение и завязался бой во дворах, солдат приходилось гнать вперед чуть ли не кулаками.

Все идет довольно скверно, еще с прошлой ночи, с той дурацкой вылазки.

За ночную неудачу он получил свирепый нагоняй от командира батальона. Баумберг стоял перед ним навытяжку, а этот солдафон орал на него. Грубое животное! Говорят, в начале войны, в тридцать девятом, он был всего-навсего фельдфебелем...

Скрипнула дверь. Вошел Кассельман, принес с офицерской кухни запоздалый ужин, который можно было, пожалуй, посчитать уже и ранним завтраком.

— Позвольте доложить, господин оберштурмфюрер,— вкрадчиво проговорил Кассельман, поставив на стол принесенные судки. — Я должен сообщить вам о недопустимых высказываниях...

— Чьих?

— Буша.

— Неужели? — поразился Баумберг. Уж кого-кого, а Буша он считал самым дисциплинированным солдатом.

Но Кассельман подтвердил:

— Так точно, Буша.

Баумберг несколько скептически посмотрел в преисполненное услужливости лицо Кассельмана: наверное, как обычно, преувеличивает?

Однако все же необходимо, хотя бы для вида, выслушать Кассельмана. А то еще донесет, что оберштурмфюрер Баумберг попустительствует непозволительным разговорам.

Поэтому Баумберг сказал:

— Докладывайте, что там болтал этот Буш?

— Он непочтительно отзывался о фюрере.

— О фюрере?

— Да. Когда на исходном рубеже перед боем рядовой Шинке попросил у Буша разрешения отлучиться по нужде, Буш ответил: «Фюрер требует жертв. Можешь делать в штаны, слабак!»

Баумберг еле сдержал улыбку: ретив Кассельман! Но сделал строгое лицо:

— О всем сомнительном докладывайте и впредь.

* * *

Грязные, голодные и злые гренадеры работали лопатками. Вторая бессонная ночь, ночь после целого дня боя! Особенно тяжелым он стал под вечер, когда наконец удалось потеснить русских и пробиться в селение. Именно здесь, на улицах и во дворах, где пришлось сражаться лицом к лицу, столь многих гренадер нашли русские пули. Ни один из гренадер не надеялся, что ему удастся дожить до конца дня. Еще час-другой такой костоломки — и наступать было бы уже некому...

Молча работали, выбрасывали наверх тяжелую, мокрую, липнущую к лопатам землю. Не радовались, что половина селения взята. Впереди может быть потруднее. Того и жди — заставят форсировать канал и брать вторую половину. А русские за ночь, конечно, постараются укрепиться. И многие из гренадер втайне мечтали: после таких больших потерь — не отведут ли на отдых?

Но Кассельман еще горел наступательным зудом, хотя ему и пришлось натерпеться немало страха. Рядом с ним падали убитые, корчились раненые. О эти ужасные минуты, когда нужно было бежать навстречу выстрелам, а потом лежать под огнем. Это не то, что наступление в Арденнах, где почти не пришлось покидать грузовиков. Но кто посмеет сказать, что сегодня в бою Готфрид Кассельман дрогнул? Он ни на шаг не отставал от господина оберштурмфюрера, он был храбр, как надлежит быть храбрым германскому воину, и судьба сохранила его в этом аду. Трудно даже представить — и его труп мог бы валяться сейчас в темном холодном поле. Но это поле уже позади. Сегодняшний день — начало обещанного фюрером перелома. О, ему, Кассельману, выпало счастье! Его первое сражение там, в Арденнах, предвестило победу. Его второе сражение, начавшееся здесь вчера, определит исход всей войны! Почему так хмуры остальные? Ведь совершается именно то, что обещал фюрер. Неужели они не понимают того, что понятно Кассельману? О чем они только думают!

Если бы Кассельман и в самом деле знал, о чем думают другие солдаты!

Дважды приговоренным чувствовал себя Корецкий. Впереди ждет русская пуля, которая не станет разбирать, по охоте воюешь или по неволе; позади, если отстанешь

или повернешь назад, — пуля оберштурмфюрера. Нет, довольно. Выскочить из этого чертова колеса! Дождаться, пока появятся русские, и выйти к ним. Они ему плохого не сделают, ведь он не германец! Только надо все сделать так, чтобы никто не догадался. Пусть считают его погибшим, пропавшим без вести... Хорошо бы вдвоем с Дадье. Жаль, меж ними окапывается Шинке.

А Дадье, угрюмо копавший неподалеку от Корецкого, мыслями находился сейчас за многие сотни километров от этих мест, на своей ферме. Что-то сейчас дома? Наверное, Жанетта, намаявшись за день, спит. И ребята тоже — три черных головенки торчат из-под одеяла, которым их заботливо накрыла мать. Все в доме погружено в сон, спокойный деревенский сон. Только старик-кот Франсуа бодрствует, подкарауливая у шкафа мышь... Не спят, конечно, старинные, еще прадедовские часы в высоком деревянном ящике, отмеривавшие время четырем поколениям Дадье, звучно постукивают маятником... В родных местах сейчас, пожалуй, потеплее, чем здесь. Наверное, начали высаживать капустную рассаду. Да что рассада, с рассадой Жанетта управится одна. А вот как с виноградником? Многие лозы надо пересаживать, глубоко перекапывать землю. Это не женская работа. А что если Жанетту мобилизовали на оборонительные работы? Все немецкие газеты трубят об Атлантическом вале. Не одним же языком доктора Геббельса этот вал строится? Из дому писем нет с прошлого лета, с той поры, как англичане высадились в Нормандии. Увидит ли он жену и ребят когда-нибудь? Гитлер заявил, что будет воевать до последнего солдата. Ему-то не жалко! Тем более Жака Дадье.

Хорошо бы попасть в плен к русским...

А старый Шинке, не подозревая, какие мысли гнездятся в голове его соседа, рыл землю, с трудом удерживая в ревматических пальцах рукоятку лопатки. Его одолевала одышка. Он все чаще давал себе передохнуть и все больше мечтал о несбыточном: выпить горячего кофе и улечься в теплую постель. Скорее бы закончить свой окопчик, натаскать туда сухой ботвы и забраться под плащ-палатку.

Собирая последние силы, Шинке начал энергично действовать лопатой. Хриплое дыхание вырывалось из его груди.

— Не надрывайся, папаша! — сказал ему Корецкий. — А то захвораешь, наступление отменить придется. Много тебе еще осталось?

Корецкий заглянул в окопчик Шинке:

— Я свою ячейку кончил, ложись в нее и спи. А я твою доделаю.

— О, благодарю! — обрадовался Шинке. — Мой бог, у тебя доброе сердце, Корецкий!

Кряхтя, он выкарабкался из своей ямы. Шурша сухой ботвой и потихоньку покашливая, стал устраиваться на ночлег. А Корецкий спрыгнул в его недорытый окопчик. Теперь-то он, как и хотел, оказался рядом с французом.

Подошел Буш. Спросил Корецкого:

— Почему здесь?

— Пожалел старикана Шинке.

— Следовало спросить разрешения...

Выговаривал Буш Корецкому лишь для порядка. Что плохого, если поляк пожалел эту песочницу Шинке? Честный солдат всегда должен помогать товарищу.

Уже отходя, Буш вспомнил: оберштурмфюрер не велел оставлять поляка и француза вместе. Но он же поглядывает за ними. А вообще — почему им нельзя доверять? Свои шкуры под пули и они, как и все, подставляют.

Вскоре после ухода Буша Корецкий закончил работу и прилег возле окопчика Дадье. Их головы сблизились.

Поляк и француз шептались довольно долго. О чем они говорили — не слыхал никто.

Глава 13

В РОТУ ПРИШЕЛ КОРРЕСПОНДЕНТ

На ночь у кромки берега было оставлено из первого батальона немного бойцов — на случай, если противник попытается форсировать канал. Остальных отвели на триста — четыреста метров назад на высокий покрытый виноградниками склон, более удобный для позиций.

Отделению Прохорова повезло: солдаты расположились по довольно глубокой канаве, ограничивающей один из виноградников снизу. Она послужила почти готовой траншеей, окапываться пришлось мало.

Федьков и Плоскин, как им было приказано, вернулись с берега, едва стало светать: днем оставаться там не было необходимости.

Федьков не утерпел, чтобы не похвастать:

— Кабы не я — не разгрохал бы «зверобой» «тигра» и мост!

С обычными прибавлениями он рассказывал, как легко выследил немецких саперов и «тигр». Выходило, что Федьков нарочно дождался, когда немцы наведут мост, а «тигр» войдет на него, и только тогда дал ракету.

Слушая вместе с остальными эту похвальбу, Плоскин все время внутренне дрожал: а ну как возьмется сейчас за него, высмеет, осрамит — куда денешься? Лучше пока что не попадаться ему на глаза. Плоскин ушел от него подальше, благо сержант разрешил ему, как и Федькову, отдохнуть.

Привалившись к пологой стенке канавы неподалеку от Снегирева, Плоскин поднял воротник шинели, нахлобучил шапку, обхватил обеими руками автомат и закрыл глаза. А Снегирев, только что вставший на свою позицию, после того как вздремнул часок-другой, держа наготове карабин, стал смотреть на противоположный берег.

Почти рассосался беловатый туман, с ночи налитый в низине между высотой и каналом. По-прежнему тихо. Только глухие звуки далекой пушечной стрельбы слышатся справа. Да изредка щелкнет где-то на берегу канала винтовочный выстрел, простучит негромко ленивая, короткая очередь. Постреливают с обеих сторон только так, «для острастки».

Снегиреву хорошо видна вся занятая противником северная, находящаяся за каналом, часть селения: угрюмая безоконная серая башня костела, белые стены домов, во многих местах покрытые черными полосами копоти, протянувшимися вверх из разбитых окон, красные зияющие черными провалами черепичные крыши, еще по-зимнему голые деревья. Отсюда все там выглядит безлюдно. Неискушенному взгляду может показаться, что уже мирно небо над раскинувшимся внизу селением, над степными далями за ним.

Ни единой души, сколько ни всматривайся, не увидишь меж домами за каналом. Но известно: с той стороны следят сотни вражеских глаз. Высунься — мигом попадешь на мушку.

Снегирев долго присматривался, потом неторопливо выстрелил. Плоскин схватился за автомат:

— Где? В которого?

— А кто его знает, в которого...

— Зачем же патроны жечь зря?

— А я разве зря? Не хитро убить, хитро выследить. Ты не стреляешь — фриц спокоен. Пальни — возле него пуля цвикнет, он не утерпит, вскочит, себя обнаружит. Тут ты его на мушку и бери.

— А и в самом деле... — Плоскин, переведя автомат на стрельбу одиночными выстрелами, пристроился рядом со Снегиревым. Выстрелил дважды, потом еще. Никто не показался на вражеской стороне. Но вдруг какой-нибудь фашист высмотрит, откуда стреляли, да и сам...

Плоскин убрал автомат, присел на корточки:

— Хватит. Все одно не выманишь его.

Снегирев молча глянул, ничего не сказал. Вскоре опять щелкнул выстрел снегиревского карабина, немного погодя — опять. На эти редкие выстрелы Плоскин не обратил внимания. Известно, попрятались фрицы. А если какой покажется — с первого выстрела снимет Снегирев, метче его в отделении никого нет...

Но вот Снегирев снова выстрелил и тотчас же — еще, еще, еще — без передышки.

— Показались? — вскочил Плоскин.

— Вспугнул одного, — Снегирев клацнул затвором, выбросил стреляную гильзу. — Да не успел я... Очередью бы...

Плоскин виновато опустил глаза:

— Кабы знать... — и вдруг, словно обрадовавшись, что можно заговорить о другом, заметил: — На правый носок латку тебе надо.

— Разве? — Снегирев нагнулся, пощупал сапог. — Верно. Не иначе ночью порвалось, когда с капитаном Гурьевым по кустам лазали...

— Давай починю! Скидывай!

— И то... — Снегирев снял сапог и снова стал наблюдать за противником.

Проворно достав из вещмешка заботливо завернутые в тряпочку шило, дратву, кусок кожи и сапожный ножик, Плоскин приступил к делу. Ладил заплату и с тайной боязнью ждал: а ну как Снегирев скажет: «Вижу я тебя насквозь». Но Снегирев молчал, только изредка погляды-

вал на Плоскина. У того немного отлегло от сердца. Резво орудуя инструментом, он бойко заговорил:

— Я тебе сейчас мигом поставлю латочку, как влитую. Для меня это — раз плюнуть. Я, Григорий Михалыч, не то делал. На мавра Отелло шил, на полковника Скалозуба, заслуженного народного, королеве Марии-Антуанетте — по индивидуальному заказу.

— Это у себя в Ярославле? — не сразу понял Снегирев.

— А где же? В театр имени Волкова кого для новой постановки всегда приглашали? Только меня.

Поставив заплату, Плоскин подал сапог Снегиреву.

— Носи. Гарантийная работа. Выдержит до Берлина и обратно.

Прибрал инструмент, взял автомат и встал со Снегиревым рядом.

— Чего ты? — спросил тот. — Ты отдыхай.

— Не поманивает. Я уж с тобой...

— Ну, стой, коли сон не берет.

Время шло к обеду. Поглядывали вдоль канавы: не идет ли старшина роты с поваром? Ага, идут двое! Нет, не с термосами.

К ним, пригибаясь, приближались командир взвода лейтенант Галочкин и незнакомый офицер, длинный, чернявый, в небрежно застегнутой шинели, с кожаным футлярчиком на ремешке через плечо.

Когда они подошли, лейтенант сказал спутнику:

— Вот, из того отделения, которое «тигра» подбило. Плоскин, а это Снегирев — наш парторг ротный.

— Я из армейской газеты, — объяснил старший лейтенант. — Моя фамилия — Карбовский. Мне сообщили, что ваше отделение вчера отличилось. Не расскажете, товарищ Снегирев, кто лучше всех себя проявил? Про кого в газете написать?

— Воевали все как положено, товарищ старший лейтенант. А кто лучше — это сержант Прохоров объяснит.

— А он к вам адресовал.

— Да что лучших искать? — искренне удивился Снегирев. — Пишите о любом.

Старший лейтенант взглянул на Плоскина:

— Ну, вот вы...

— Что про меня писать!

— Не хотите? — губы Карбовского шевельнулись в сдержанной улыбке. — Вас же не раскритикуют, похвалят.

— Спасибочки! Похвалили меня однова в газете — не возрадовался.

— Как? — удивился Карбовский.

— А так. Заявился к нам в прошлом году корреспондент, вроде вас...

— Может быть, я?

— Нет, не вы. Тот видом погрузнее. И фотографа отдельно приводил. Тоже все выспрашивал отличных. Промежду прочим и меня. — Плоскин при этом не удержался от самодовольной улыбки. — Записал фамилию, год рождения, ну, все как следует быть. Потом интересуется: «Награды имеете?» Говорю: «К медали представили — получу либо нет?» Он обнадежил: «Насчет награды уточним, сам проверю». Потом фотограф меня два раза щелкнул — и прямо в личность, и с уха. Пообещали: «С портретом про вас дадим». Ну, и дождался! — Плоскин горестно вздохнул:

— Приходит газета, в ней все правильно: боец Плоскин, отличился в атаке. Портрет тоже правильный, я, безусловно. Только я небритый был дней семь, а на карточке — личность чистая, вроде моложе годов на десять. Спасибо тому фотографу, побрил. Но как глянул я той карточке на грудь — ахнул: две медали, два ордена нарисовано. И под портретом написано: имеет четыре награды. Сердце зашлось! Решил: может, за всю войну к наградам меня представляли, а я и не знал? А вот теперь проверили, спасибо тому корреспонденту, — причитается рядовому Плоскину все как есть, и в газете к портрету, что положено, то и пририсовали. Весь взвод меня поздравляет: напечатано — получишь. Через некоторое время из редакции письмо приходит: «Ваш портрет посылаем вашим родным». Ладно, пусть жена всем покажет да на стенку повесит, и в нашем ателье «Пошив модельной» — тоже. Но меня все-таки сомнение берет: что-то больно многовато навешено. Вроде столько мне и не обещали. В тот самый день, как газета пришла, вызывает меня командир роты, старший лейтенант Белых. Спрашивает: «Зачем, товарищ Плоскин, наврали корреспонденту, что у вас столько наград?» Я аж со спины похолодел: «Честное беспартийное слово, говорю, не

врал. В редакции напутали». А старший лейтенант не верит: «Знаю я вас, Плоскин, приврать вы вполне». «Это есть, говорю, но не в таком масштабе, как в газете дано». Поверил мне старший лейтенант. Даже утешил на прощанье: «Наверное, вас с другим героем перепутали, случается»... Но вы думаете — на том все и кончилось? В роте каждый об меня язык чешет, все бесперечь спрашивают: «Плоскин, когда все награды получишь? Причитается с тебя!» Да и дома — приеду после войны, а мне что скажут? На карточке полна грудь, а на деле — медаль разъединая?

Карбовский рассмеялся:

— Это вам авансом газета выдала. Оправдаете до конца войны!

— Может, и оправдаю... Только я теперь опасаюсь тех, которые фотографируют.

— Ничего, ничего, уж я-то вам лишнего не пририсую, — Карбовский подсел к Плоскину поближе, видимо рассчитывая, что этот словоохотливый солдат сможет ему обстоятельно рассказать о вчерашнем бое. Интересовало Карбовского и ночное происшествие на канале, участником которого, как он уже узнал, был и Плоскин. Тем временем Снегирев, присев с Галочкиным рядом, потихоньку спросил.

— Как, товарищ лейтенант, Зубаря нашего скоро обратно пришлют?

— Отправили в штаб, а что дальше — неизвестно.

— Вы узнаете?

— Постараюсь, — пообещал Галочкин. — Мне самому интересно, если во взводе одним бойцом больше.

А Карбовский уже вытащил блокнот:

— Рассказывайте, товарищ Плоскин, как вчера дело было. Только поподробнее.

— Подробнее? Можно, — охотно согласился Плоскин. — Как бы это вам?.. Ну, он — как даст, даст! И попёр. «Тигра» спалили. А тут — пехота. Прямо на меня фрицы сверху сигали. Потом — сержант командует: ходу! В деревню и через канал. Как ночью переправу засекли? — Плоскин бросил быстрый взгляд по сторонам: нет ли поблизости Федькова? — Лежим. Они мостят. «Тигр» ползет. Федьков — раз ракету! «Зверобой» как влепит им!

Карбовский ждал, что Плоскин продолжит. По заданию редакции Карбовский должен был к очередному номеру подготовить материал для подборки «Враг не пройдет». В политотделе дивизии ему сказали, что труднее всего во вчерашнем бою пришлось бересовскому полку, который принял на себя главный удар. Не теряя времени, с попутной машиной Карбовский отправился в полк. Его спутником оказался старший лейтенант, следователь из дивизионной прокуратуры. В разговоре выяснилось, что он едет тоже в полк Бересова. Прибыв в полк, Карбовский явился к заместителю командира полка по политической части майору Понедельному спросить совета, о ком следует написать. Замполит предложил отправиться в первый батальон, который, как сказал он, отличился более остальных, хотя и вынужден был отойти: почти до последнего патрона сражались бойцы. Комбат капитан Яковенко, когда Карбовский явился к нему, посоветовал: «В роту Белых идите. Дольше других держалась». Карбовский вспомнил, что и замполит упоминал об этой роте, о каком-то лейтенанте Галочкине, который собрал вокруг себя остатки роты, отбросил огнем прорвавшихся к каналу немцев и одним из последних переправился через него. Но командир роты старший лейтенант Белых на вопрос Карбовского о Галочкине ответил: «Зелен еще. А вот бойцы у него — львы!»

Галочкина корреспондент своим появлением привел в полное недоумение: неужели о его заблудившемся взводе стоит писать? Впрочем, если он виноват, солдаты-то при чем? И Галочкин повел корреспондента в отделение сержанта Прохорова.

Карбовский уже расспрашивал Прохорова, но тот отвечал еще лаконичнее, чем Плоскин. Поэтому Карбовский еще раз попросил Плоскина:

— Поподробнее бы...

Плоскин взглянул на Карбовского с неподдельным удивлением:

— Все как есть, товарищ старший лейтенант! Да у нас, знаете, кто здорово рассказать может? Федьков! Вы его спросите!

— Федьков? — видимо, эта фамилия была знакома Карбовскому. — А, это разведчик? В газете про него не раз бывало. А почему он у вас в роте теперь?

— Откомандировали... — вмешался в разговор Галочкин: он вспомнил предупреждение, только что данное ему Белых: не следует корреспондента адресовать к Федькову — тот обязательно что-нибудь наврет, может случиться конфуз. — Нет, нет, Федькова спрашивать не стоит.

— Кто же тогда? — Карбовский решительно подступил к Снегиреву. — Давайте уж вы!

От Снегирева Карбовский не отстал, пока не вынудил его рассказать обстоятельно, как действовали во вчерашнем бою. Записав в блокнот фамилии и звания тех, о ком рассказывал Снегирев, и кто из них партийный, Карбовский сунул блокнот в карман и, щелкнув затвором аппарата в лицо Снегиреву, сопровождаемый Галочкиным, отправился дальше.

После их ухода Плоскин внезапно погрустнел. Он долго молчал, искоса поглядывая на Снегирева, потом, помявшись, заговорил:

— Слышь, Григорь Михалыч, корреспондент-то спрашивал про партийность...

— Ну и что? — Снегирев сделал вид, что не понимает.

— А то: все в беспартийных хожу. Обидно.

— Что обидного? Мало ли беспартийных. Я сам таким до тридцатого года был, а — революции участник.

— Не то обидно, что беспартийный. То, что не принимают.

— Тебе что парторг батальона сказал?

— На общих основаниях, говорит, вступай. На льготных нельзя. Да как же так? Ты же мне сам рекомендацию дал!

— Дал. Так на льготных тех принимают, кто отличается, а не всех, абы на фронте. Ты благодарности получал за последнее время?

— Что, не знаешь? От Верховного Главнокомандующего, товарища Сталина. За Будапешт и этот, как его, Секешфехервар.

— Ну, это вообще. А персонально, от сержанта хотя бы?

— От Прохорова... — Плоскин замялся. — Да что я хуже других воюю?

Снегирев ответил вопросом на вопрос:

— Я тебе рекомендацию когда давал?

— Зимой. В Будапеште.

— Тогда еще могли бы тебя и на льготных принять...

— А сейчас что? Я все одно службу несу.

— Несешь, как куль картошки. Несешь, несешь, плечи замлели — сбросил, посидел на куле, передохнул, да и дальше потихоньку. А сам поглядываешь: далеко ли еще, да не подсобит ли кто.

— Чудно что-то говоришь, Григорь Михалыч! Как это тебя понимать?

— Понимай, как сказал. Шибко уж ты осторожный стал после Будапешта.

— Так ведь каждый бережется. Кому под конец войны охота из НКО в Наркомзем переводиться?

— Дался тебе Наркомзем! А ты знаешь, кто раньше смерти помирает?

— Знаю... Нешто я такой? Разве в чем подведу? Да разрази меня гром!.. Григорь Михалыч! Может, поговоришь, чтоб на льготных меня?

— Сейчас — нет.

Обидчиво сжав губы, Плоскин отодвинулся от Снегирева.

Рекомендацию Снегирева Плоскин все еще носил с собой. Не хватало второй. Он давно намеревался попросить у Прохорова. Но сразу же тогда, в Будапеште, взять как-то не успел. А потом не решался: были основания...

Но Плоскин обижался: «Придирается сержант... Неужто уж я такой плохой?»

Плоскину захотелось еще раз прочесть, как хорошо написано о нем в рекомендации. Посмотрел на Снегирева — тот сидит в сторонке и, кажется, задремал. Известное дело, солдат всегда спит про запас... Повернулся к Снегиреву спиной. В заколотом иголкой внутреннем отделении, предназначенном для хранения партийного документа, у Плоскина вместо партбилета лежала пока что вместе с его заявлением только снегиревская рекомендация. Он достал тщательно сложенную бумагу. Прочел ее еще раз, другой. Хорошие слова тогда о нем написал Снегирев! А сейчас что, берет обратно? Эх! Несправедливо, несправедливо... Уже застегивая карман, спохватился: а где же его солдатская книжка, она все время лежала тут, в кармане. Куда могла деться? Вчерашним днем, наверное... Карман расстегнулся — книжка вылетела. Доложить? Нет, потом...

Галочкин и Карбовский шли от бойца к бойцу, согнувшись в три погибели, по канаве и почти ползком там, где путь лежал по открытому месту: днем по передовой в полный рост не разгуляешься.

В первые минуты знакомства с Галочкиным, увидев его голубые, по-отрочески ясные глаза и почти детские, еще пухлые губы, Карбовский невольно подумал: «Какой из этого мальчика командир?» Но пройдя вместе с Галочкиным от бойца к бойцу и наторелым глазом фронтового газетчика заметив, как солдаты относятся к юному лейтенанту, Карбовский смотрел на него уже другими глазами.

...Карбовский быстро писал в блокноте. Нет, мало, мало он узнал! Его интересуют люди, а они не очень любят рассказывать о себе. Может быть, о них лучше расскажет этот лейтенант, их командир?

Карбовский стал расспрашивать Галочкина о бойцах, с которыми только что разговаривал. Оказалось, что Галочкин, хотя он командует взводом всего второй месяц, хорошо знает каждого из своих солдат.

Галочкин охотно отвечал на новые и новые вопросы Карбовского и все больше начинал понимать — он интересен корреспонденту не только как источник нужных сведений. Не совсем еще понятно Галочкину — чем, но Карбовский располагал к себе.

Наконец Карбовский захлопнул блокнот.

Галочкин сказал:

— Вы половину блокнота исписали, неужели в газете будет так много про нас?

— Строчек двадцать дадут.

— Так мало? А остальное?

— А чтоб было из чего двадцать строчек сделать. Все равно есть отходы производства, хотя и заметки пишем. Не романы.

— А кто-нибудь будет и большие книги писать. После войны, конечно. — Галочкин улыбнулся мечтательно. — Знаете, что я хотел бы?

— Да?

— Чтоб после войны книгу про наших бойцов написали и на все языки перевели. Такую, от которой у врагов волосы дыбом встали бы при одной мысли о новой войне.

— Страшную книгу? Книгу только для врагов?

— Нет, вы меня не так поняли! Вот сейчас, в войну, про это не очень говорят... Вместе с союзниками бьем Гитлера, и всё. Но вот мы и Румынию прошли, и Венгрию проходим — неужели, где мы прошли, и короли и графы останутся?

— Не задумываюсь пока об этом.

— А я вот — задумываюсь, — признался Галочкин. — Еще в пионерах мечтал, да и в кино показывали: не успеет буржуазия против нас войну начать, как пролетарии всех стран на мировую революцию подымутся, установят везде Советскую власть. Оказалось — не так просто. Пролетарии всяких стран — они вон воюют против нас... Знаете, что я вспомнил сейчас? В Будапеште видел, как пленных принимали. Какой там среди них нации не попадалось! Не только немцы и мадьяры, а голландцы, французы. Даже валлонцы какие-то, это бельгийцы, что ли? И почти каждый заявляет: рабочий класс я, никс эршоссен, жить хочу... Но разве это те, что за революцию?

— Не огорчайтесь, — мягко улыбнулся Карбовский, — встретятся нам еще и те.

— Не знаю. Может, дальше где начнутся. А пока что такие только... Вчера к нам парень один перебежал, в Германии в лагерях был. Я его спрашивал: видал ли он таких немцев, которые против Гитлера? Нет, не видал.

— Это еще не значит, что таких совсем нет. Имеются же антифашисты... Мне пора, однако, — спохватился Карбовский, — должен еще к артиллеристам зайти...

Уже прощаясь, попросил Галочкина писать в газету о новых боевых делах. Тот согласился, правда, без особого энтузиазма:

— Слыхал я, как бывает... Либо совсем не поместят, либо переделают так, что себя не узнаешь.

— Ничего, я прослежу! — заверил Карбовский. — Запишите номер нашей почты и шлите прямо на мое имя.

Галочкин вытащил полевую офицерскую книжку. Пока он перелистывал ее, ища чистую страницу, Карбовский, сидевший рядом, успел заметить на страницах книжки короткие строчки — стихи. Спросил:

— Поэзию любите?

— Люблю, — Галочкин чуть покраснел, это не ускользнуло от внимания Карбовского.

— Переписываете? — кивнул он на книжку. — Или свои?

— Переписываю... — Галочкин покраснел еще больше.

— Можно посмотреть какие?

Галочкину не осталось ничего, как дать книжку. Карбовский глянул — и сразу понял:

— Э, лукавец! Тут только вначале переписанное, Блок да Есенин. А дальше — вы сами сочинили. Давно этим занимаетесь?

— Не очень... — смешался Галочкин. — Как в армию призвали...

— Посылали куда-нибудь?

— Да... то есть нет, что вы! Это так, для самого себя.

— А вы дайте мне что-нибудь — для газеты! — решительно предложил Карбовский. — Нам и стихи надобны.

— Но... — в глазах Галочкина вспыхнул настоящий испуг. — Ведь газету все прочитают!

— Думаете — поэзия авторитет командира взвода уронит?

— Неловко...

— Вот как... — понимающе сказал Карбовский. Хитро прищурился. — Впрочем, учтите: фамилия ваша не ахти какая редкая. Не захотите — не признавайте себя автором.

— Разве что так...

— Договорились! — положил Карбовский конец колебаниям Галочкина. — Что вы нам дадите?

Галочкин в раздумье перелистал книжку.

— Знаете! — с чувством внезапно нахлынувшего доверия к Карбовскому проговорил он. — Посмотрите сами, что больше подходит.

Отдав Карбовскому книжку, Галочкин с озабоченным видом приподнялся, уперся локтями в край окопа, приложил к глазам бинокль и стал тщательно регулировать окуляры, всем видом своим показывая, что он, собственно, не очень смущен тем, что самое сокровенное отдал в чужие руки.

Карбовский торопливо вчитывался в строки, тесно исписанные карандашом.

Стихи в большинстве были о любви. «Лирика! — Для души сойдет, а вот для газеты...»

Карбовский быстро прочитывал стихотворение за стихотворением. На одном задержался:

...Нас греет солнце на огромном расстоянье.
Оно — во всем, что дышит и живет.
Вот так же и любви большой сиянье
По всем дорогам нас вперед ведет...

Стал листать дальше. Остановился на коротеньком стихотворении под названием «Пехота»:

В пудовых намокших шинелях,
По грязи, за взводом взвод,
Таща пэтээр еле-еле,
Сердито пехота идет.
Который уж день вот так-то,
А немца никак не догнать.
На этой дорожке и трактор
Спасует! — и вспомнили мать.
Погас разговор недолгий.
Курится цигарок дымок.
Прошли до Дуная от Волги —
Дойдут и до Рейна, дай срок!

«Возьму-ка, на случай, это», — решил Карбовский. Долистав книжку до конца, он подобрал еще пару стихотворений и, получив согласие Галочкина, аккуратно переписал их в свой всепоглощающий блокнот. На прощание сказал:

— Постараемся что-нибудь дать. Пишите новые. Не стесняйтесь этого занятия.

После ухода Карбовского Галочкин долго удивлялся: «Как он сумел догадаться, что я стихи пишу? Как получилось? Никому не показывал, а ему — сразу».

Глава 14

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕРЕСОВА

Вскоре после ухода Карбовского неподалеку от Галочкина в канаве послышались шаги. Галочкин приподнялся, выглянул, и на его лице появилось выражение радостного удивления и тотчас же подтянутости: к нему, низко пригибаясь, пробирались командир полка Бересов и его заместитель по строевой подполковник Неворожин.

Полковые медики пытались еще накануне отправить Бересова в тыл. Но придя немного в себя и узнав от Понедельного, пришедшего ночью повидать его, что полк отступил не только к северной окраине, а и за канал,

Бересов наотрез отказался уезжать лечиться. На уговоры Понедельного ответил: «Ордена с тобой вместе получали? А шишки получать — я в сторону, ах, контуженный? Нет уж». Бересов тотчас же собрался на передовую. Понедельный с помощью врача едва уговорил его отлежаться хотя бы до утра.

Бересов медвежевато втиснулся в окопчик Галочкина, почти весь его заполнив своим крупным телом. Неворожин в окоп не поместился, остался у входа в канаве.

Ответив на приветствие Галочкина, Бересов посмотрел, прищурясь, со своей бересовской хитринкой:

— Ну, лейтенант, как после драпа самочувствие?

— Хорошее, товарищ подполковник! — бодро ответил Галочкин.

— А? — переспросил Бересов: после вчерашней контузии он стал глуховат.

— Хорошее! — повторил Галочкин, и щеки его обдало жаром смущения: что ж хорошего, если отступать пришлось? Ведь сам вчера плакал тайком от всех!

А Бересов заметил смущение Галочкина, но вида не подал. Только усмехнулся про себя: «Уверенный лейтенантик!»

Стоя рядом с Галочкиным, оглядел местность впереди:

— Удобная здесь для наблюдения точка выбрана. Ну, докладывай, командир взвода.

Стараясь говорить громче, чтобы Бересов смог расслышать все, Галочкин доложил, как расставлены на позиции бойцы, какова связь с соседями, что замечено у противника.

— Добро! — проговорил Бересов, внимательно выслушав Галочкина. Позвал Неворожина: — Пошли к Яковенко, по пути к бойцам заглянем.

— Здесь опасно, товарищ подполковник. Противник заметить может, — предупредил Галочкин. — Я провожу вас?

— Сам дорогу найду. — Бересов не любил пользоваться провожатыми.

Сопровождаемый только Неворожиным, Бересов пошел вдоль позиций.

Солдаты радостными взглядами встречали вернувшегося командира полка, о тяжелой контузии которого слух

прошел еще вчера. Проходя по канаве, служившей траншеей, Бересов то и дело останавливался, перекидывался словечком, особенно с теми, кого знал давно.

Бересов умел прочно запоминать людей не только по внешнему облику, но и по характеру, достоинствам и слабостям. Он знал всех офицеров полка, знал и очень многих солдат, хотя тысячи людей переменились на его памяти с лета сорокового года, когда он начал служить в полку, стоявшем тогда гарнизоном в небольшом латвийском городке.

В ту пору Бересов был совсем молод. Теперь в не по годам грузноватом подполковнике с чуть заметными, но все-таки уже явственными пролысинами, начинающимися от высокого лба, не угадать лейтенанта, окончившего училище перед войной. Пять лет прошло, а как постарел! И немудрено: из пяти — почти четыре года фронтовых.

Не только очередные воинские звания даются по фронтовому счету, где вместо годов — месяцы. Нет, здесь жизнь всему ведет ускоренный счет, и как нигде быстро набирается человек опыта и мудрости, быстро мужает, но и стареет быстрее.

Некогда на передовой следить, как меняются люди. Но приглядись и увидишь — иной раз всего один бой прошел, а уж седой волос забелел, морщина прорезалась. А сколько невидных глазу и сгоряча, в заботах военных, не ощутимых сердцем морщин прорезывается внутри, в душе... Ведь иной за всю свою жизнь не переживет столько, что, случается, приходится пережить за несколько боевых часов на войне, за всю жизнь не потеряет столько дорогих сердцу людей, сколько может потерять на переднем крае за один день! А тяжесть командирской власти? В мирной жизни как ни велик круг ответственности любого руководителя, но обычно ответственность за жизнь людей, за судьбу их близких — вне пределов этого круга. На фронте даже командир отделения, в подчинении которого всего десяток солдат, своим опрометчивым решением может заставить любого из них понапрасну потерять жизнь. А командир полка? На нем — ответственность за успешное и бережное использование физических и душевных сил сотен и сотен людей, ответственность за их жизни. Нелегок этот груз, заставляет осторожно и точно рассчитывать каждое побуждение воли.

Но не только фронтовая жизнь, когда службе отдаются все двадцать четыре часа, так быстро состарила Бересова. В самом начале войны он потерял жену. Из родного города она должна была приехать к нему в воскресенье, но на рассвете полк вывели по тревоге. Сутки за сутками отступали на восток. Ожесточенные арьергардные бои, душные сосновые леса, теплая грязь болот, белая пыль и песок латвийских дорог, пот, заливающий глаза... Сумятица первых дней, горькое ожесточение последующих... Сталинская речь третьего июля, утвердившая в понимании, что война будет трудной. Бой, где полк, став насмерть, на два дня задержал врага и потерял больше половины личного состава. Окружение, прорыв. И снова тяжелый путь на восток. И только под осень, в лесах у Старой Руссы, встали в оборону. Бересов к тому времени уже командовал ротой. О жене он узнал лишь одно — от родных к тому времени пришло письмо — домой, в Саратов, она не вернулась. Погибла по дороге от бомбежки? Попала в лапы фашистов? Или скрывается где-нибудь в лесах у партизан?

Прошлой осенью жена нашлась где-то в Польше, в одном из лагерей, который не успели эвакуировать немцы. Сейчас она дома, но он в постоянной горькой тревоге: ее съедает туберкулез, которым заболела в неволе. Дождется ли она встречи? Повидать бы... Но отпуска нет с войны.

Служба забирала его всего целиком, мало оставляла времени и места в сердце для тоски — та приходила лишь тогда, когда он оставался один.

Но когда во фронтовом быту человек остается один? Почти никогда.

Да и не любил Бересов одиночества. В свободные от служебных дел минуты он старался быть среди солдат. Они привыкли: вечером после боя командир полка обязательно придет ужинать в одну из рот — в ту, которая на этот раз воевала лучше других... Если поднесут «сто наркомовских» — выпьет «за роту», крякнет, обязательно скажет: «Ах, редечки бы!» Всем известно: редька — любимая бересовская закуска. Иной раз повар расстарается, разыщет... Выпив, Бересов присядет к котелку, неторопливо, как делает все, поест, потом, запустив руку в один из многих услужливо протянутых кисетов, соорудит цигарку и, закурив, поведет разговор.

Солдатская жизнь была и жизнью Тересова. До войны, прежде чем его послали в училище, он три года срочной службы отслужил рядовым. В войну, с первого же дня, делил с бойцами все тяготы и опасности. В одной колонне с ними шел в трудных ночных маршах, рядом с ними ночевал на снегу, в слякоти. Как и они, томился в обороне в недели затишья. Как и они, радовался потертым на полевых почтах конвертам, которые не так часто вручал полковой почтальон Федосеич.

Солдаты давно привыкли к Бересову, и поэтому его приход никогда не вызывал переполоха, как это порой бывает при появлении начальства. Но каждый невольно подтягивался: огорчить Бересова каким-нибудь, хотя бы и мелким, упущением никому не хотелось.

Вот и сейчас шел Бересов от бойца к бойцу, не вызывая этим никакой суеты, останавливался, присаживался, заводил разговор, заставляя Неворожина ожидать — тот со скучающим видом сидел или стоял в сторонке.

Побывал Бересов мимоходом и в отделении Прохорова, о делах которого во вчерашнем бою узнал сегодня утром от навестившего его еще в санчасти Понедельного, перекинулся словечком со своим давним, с сорок первого года, знакомцем Снегиревым. Тот, пользуясь случаем, спросил о Зубаре.

— А! — вспомнил Бересов. — Доброволец ваш? Мне о нем нынче утром замполит тоже говорил. Если все в порядке — попросим вернуть, пусть служит.

Только пройдя по переднему краю и поговорив с солдатами и командирами взводов и рот, Бересов направился к Яковенко.

Яковенко, предупрежденный Гурьевым по телефону, уже давно ждал Бересова, ждал с радостью, но не без тревоги: а что тот скажет по поводу вчерашнего? Вчера Яковенко очень огорчился тем, что Бересов в самый трудный момент боя выбыл из строя. За три года службы в полку Яковенко привык к Бересову. Выдержка и спокойствие Бересова невольно усваивались Яковенко, как и всеми, кем Бересов командовал, и это помогало пылкому, не всегда владеющему собой комбату в самые напряженные моменты сохранять самообладание и не принимать опрометчивых решений.

Сопровождаемый Неворожиным, Бересов подошел к батальонному командному пункту, еще ночью перене-

сенному выше в гору, в один из многочисленных погребов на винограднике. Возле входа в погреб сидели два солдата-связных и ели кашу — один из котелка, другой из объемистой серебряной миски с причудливыми узорами и заковыристо изогнутыми ручками. Изнутри края миски отсвечивали позолотой. Ложки у обоих связных были тоже серебряные — массивные, с вензелями и коронами на черенках.

Увидев командира полка, связные положили ложки, встали.

— Как графы, живете! — усмехнулся Бересов. — Откуда такую роскошь заимели?

— А вот, — один из связных показал на лежавшие у входа в подвал грубо сколоченные, грязные от земли и навоза носилки — на них, наверное, в свое время разносили по винограднику удобрения. На носилках сверкали в беспорядке сваленные серебряные кубки, блюда, кувшины, вазы. Меж ними торчали вилки, ложки, ножи, какие-то вычурные совочки и поварешки.

Бересов подошел к носилкам и пошевелил носком сапога вазу в форме лебедя, свалившуюся с них. Серебряный лебедь горестно уткнулся носом в землю.

— Лежит без учета! — с возмущением проговорил Неворожин, подошедший вслед за Бересовым. — Ценности такие! Растащить могут! Безобразие!

— На кой нам эти финтифлюшки сдались?

— На голову такую посудину надевать или еще на что? — связной показал на серебряного лебедя.

— Откуда такой клад? — спросил Бересов. — Уж не с той ли притащили стороны? — Глаза его посуровели. — С позицией могли расстаться, а с барахлом — нет?

— Да ниоткуда не тащили, товарищ подполковник! — пояснил связной. — Тут нашли, когда окапывались. Наверно, здешнего фашиста какого: зарыл, а сам драпанул... А нам — к чему оно? Правда, кое-кто по ложке взял...

— Ложка — личное оружие. Без него солдат — не солдат. — Бересов нагнулся, взял серебряного лебедя за шею, осторожно положил его сверху на кучу посуды.

— Где комбат?

— Вон, на косогоре, в окопчике.

Бересов с Неворожиным направились было туда, куда им показал солдат, но остановились: к ним подошел со-

провождаемый одним из полковых связных старший лейтенант с узкими погонами на шинели. Это был следователь из дивизионной прокуратуры.

Представившись, следователь доложил Бересову о цели прихода. Выслушав, Бересов молча посмотрел на Неворожина. Утром, докладывая вернувшемуся из медсанбата Бересову о всех делах, Неворожин сообщил и о том, что им подана докладная комдиву. «Той бумаги вместо моста через канал не положишь», — недовольно ответил Бересов. Неворожин не сказал, что в докладной он обвиняет кого-либо. Не сказал, исходя из искреннего убеждения: его дело — изложить обстоятельства. Если надо — командование разберется, кто виноват (себя он виноватым не считал). Никто не окажется виноват — тем лучше.

— Не знаю, что у вас получится, — со свойственной ему прямотой сказал Бересов следователю. — Пожалуй, не найдете в батальоне преступников.

— Мне не так уж хочется, чтобы они непременно нашлись, — ответил следователь. — Но мне приказано установить...

— Что ж, устанавливайте, — Бересов глянул на следователя со сдержанной усмешкой. — Тех, кто жив остался, можно допросить по всей форме. Ну, а кто выбыл в бою... — Бересов, как бы извиняясь, развел руками.

Следователь несколько смутился: на основании своего опыта он ожидал, что командир полка начнет оправдываться, и тем сильнее, чем более чувствует вину свою или своих подчиненных. А он спокоен. Может быть, и в самом деле виноватых нет? Следователь сам в свое время, еще в начале войны, повоевал в пехоте и знал, каково приходится, когда враг наваливается танками. Но юстиция не признает эмоций, для нее существуют только факты. Следователь сделал бесстрастное лицо:

— Я должен получить показания командира первого батальона капитана Яковенко.

— Получайте, — не стал возражать Бересов. — Подождите здесь, пришлю его.

Позвал Неворожина:

— К комбату!

Они осторожно поднялись по склону, втиснулись в узкую щель, где сидел Яковенко с биноклем на груди.

К недоумению Неворожина, словно забыв, что комбата ждет следователь, Бересов пошутил:

— Вижу — разбогатели, на серебре кушаете?

— Беда! Не знаю, куда его и девать, — посетовал Яковенко.

— Чего, говоришь? — переспросил Бересов.

Яковенко догадался: Бересов после контузии слышит плохо. Сказал громче:

— В тылы я сообщал, чтоб увезли. Да не торопятся. Шнапс или кожу на подметки вмиг бы прибрали.

— Это же большие ценности! — наставительно заметил Неворожин.

— Приберем, — пообещал Яковенко. — Поедут за боеприпасами — велю сложить на повозку и свалить у трофейщиков.

Бересов присел на корточки, перебросил планшетку на колено.

— Ну, комбат, что дальше делать будем? Долго еще на противника с этой недосягаемой высоты смотреть собираешься?

Вопрос, в котором для Бересова не заключалось ничего, кроме невинной шутки, для Яковенко прозвучал горьким упреком. В глубине души он по-прежнему считал отход за канал своей виной. Был уверен, что такого же мнения и Бересов, и удивился, почему тот не выговаривает ему. Ведь Неворожин, наверное, уже поспешил высказать Бересову свое мнение.

Яковенко не переживал бы так, если бы знал, как сегодня утром в беседе с Бересовым охарактеризовал его действия в прошедшем бою Понедельный. В политдонесении, которое Понедельный отправил в политотдел дивизии, о Яковенко было сказано противоположное тому, что сказано в докладной Неворожина комдиву. Не знал Яковенко и того, что Бересов, пройдя по передовой и своими глазами ознакомившись с обстановкой, относился теперь к случившемуся, как к весьма ощутимой, но отнюдь не трагической неудаче. Полк отошел, но отошел незначительно и крепко держит рубеж канала. Высота, на склоне которой позиция батальона, господствует и над селением и над ведущей через него к Дунаю дорогой. Дорогу за ночь хорошо прикрыли саперы и артиллеристы, сменившие ушедших с рассветом самоходчиков.

Правее, за ней, соседний полк. Противнику почти не удалось его потеснить. При таком положении можно стоять прочно.

Перед тем как отправиться на передовую, Бересов по телефону доложил командиру дивизии, что вновь принимает командование. Тот слегка ругнул его за непослушание врачам и предупредил: главное — не дать противнику форсировать канал.

Бересов посчитал, что более всего комдив обеспокоен тем, как отразить противника, если тот возобновит натиск. Но то, что для Бересова являлось самым важным — полк, его положение и его задача, — для командира дивизии было, хотя и имеющей большое значение, но все-таки частностью, хотя, конечно, он не мог чувствовать себя вполне спокойным за участок дивизии: полк — на острие вражеского клина. Генерал не считал результаты вчерашнего боя в такой мере огорчительными, в какой их считал Бересов и тем более Яковенко. Отступить пришлось лишь на одном участке шириной километра два. На всех остальных полки дивизии почти не сдвинулись с тех рубежей, которые приняли сутки назад от казаков.

Особенно радовало комдива то, что неизменными остались рубежи на правом фланге дивизии, восточнее селения, где почти перпендикулярно перерезающему его каналу тянется с севера на юг, к Дунаю, от промежутка между озерами Балатон и Веленце другой канал, по названию Шарвиз. Сегодня с раннего утра противник, стянув танки и бронетранспортеры, в том числе и те, которые принимали участие во вчерашнем бою за селение, пытался перейти Шарвиз и пробиться к находящемуся за ним местечку Цеце, от которого две большие дороги ведут к Дунаю. За ночь врагу была подготовлена должная встреча. Недаром на Шарвиз были переброшены и те самоходки, что накануне находились в бересовском полку. Уже к полудню противник вынужден был прекратить атаки: встреченные сильным артиллерийским огнем, вспыхивали танки; гитлеровские пехотинцы, измотанные вчерашним боем, высадившись с бронетранспортеров, сразу залегли, и поднять их в атаку офицерам стоило превеликих трудов. Взять Цеце гитлеровцы не смогли. Не смогли потому, что накануне только за часть разделенного каналом селения, которое оборонял полк Бересова,

им пришлось заплатить дорогой ценой -- за Цеце платить было почти нечем.

Командир дивизии уже подумывал о том, о чем еще не помышлял Бересов. Информированный из штаба армии, командир дивизии уже знал: сегодня с утра в полусотне километров севернее, близ озера Веленце, соединения одной из соседних армий, усиленные ударными бронетанковыми частями, пользуясь тем, что немцы оттянули оттуда силы для удара по Цеце, начали контрнаступление. Они сбили с рубежей части противника, наполовину обескровленные за последние дни в наступательных боях, и успешно продвигаются вперед, угрожая фланговым охватом немецким войскам, еще наступающим возле Цеце.

Комдив уже строил расчеты: по противнику, стоящему перед каналом, ударить с флангов — справа через канал Шарвиз от Цеце и левее — через тот канал, на котором держит оборону полк Бересова. Ударить так, чтобы зажать вражеский клин в свои клещи и сломать его.

* * *

Следователь пробыл в полку довольно долго, опросил многих офицеров, некоторых сержантов и солдат. Яковенко на вопросы следователя отвечал обидчиво, со злостью и даже не замечал, что тот относится к нему без предубеждения и вовсе не считает его заведомым преступником. Белых, наоборот, держался со следователем очень спокойно. У него и в мыслях не было, что его или кого-либо еще в батальоне могут в чем-либо обвинить: все, кого он знал, начиная от командира батальона и кончая последним солдатом его роты, честно выполняли свой долг. Не их вина, что пришлось отступить; сегодня назад, завтра вперед — обычное дело. Ольга же, узнав, что следователь допрашивает Белых, очень разволновалась: в чем могут обвинить Никиту? Ей не терпелось самой пойти к следователю, защитить, оградить Никиту, хотя она не знала, от чего и как.

Но следователь не вызвал ее.

Ольге очень хотелось спросить у Никиты, в чем же дело, утешить, успокоить. Но та невидимая преграда, что по-прежнему стояла меж ними, мешала ей.

Неворожин вначале отвечал на вопросы следователя довольно спокойно: он был убежден, что если кто и бу-

дет признан виновным, то, во всяком случае, не он. Но когда следователь начал допытываться, при каких обстоятельствах было приказано взорвать мост, Неворожин забеспокоился: почему следователя это интересует более, чем все остальное, связанное со вчерашним боем? Из слов следователя он понял, почему тот так пытлив в своих вопросах: ефрейтора-сапера, которому Неворожин отдавал приказ, после боя среди уцелевших не оказалось, а второй сапер, солдат, который находился все время в окопчике возле подрывной машинки, вероятно, мало что видел и слышал. Только теперь Неворожин припомнил, что ефрейтор возражал: «Нам приказано только когда противник покажется...» А противника ведь еще не было близ моста в тот миг, когда его взорвали! Ну что ж, убит ефрейтор — вечная память, ранен — пусть лечится...

* * *

Под конец дня командир дивизии неожиданно появился в полку. Сопровождаемый только адъютантом, он прошел прямо на наблюдательный пункт Бересова.

В узком окопчике, которым оканчивался ход сообщения на обращенном к селению склоне, генерал и Бересов стояли только вдвоем, больше там никто не смог бы поместиться. Когда генерал, ознакомившись на месте с обстановкой, уже собрался уходить, Бересов спросил его о том, о чем хотел спросить с первой минуты, но сдерживался, хотя и знал, что генерал к нему относится хорошо и на его слова не рассердится:

— Что ж, наш полк виноватее всех? Следователь тут целый день ходит, допросы со всех снимает. Мой командир батальона в штрафбат собирается.

— Это Яковенко? Кипяток! Спешит... — усмехнулся генерал. — А как ваше мнение? Виновен он, что полсела отдали?

— Нет! — ответил Бересов не задумываясь.

— Горой за подчиненных стоите.

— А что комбат мог еще сделать? — не сдержался Бересов. — Лечь костьми и всех людей положить? Тогда немцы сейчас стояли бы здесь, где мы с вами.

— Верно. Но если бы не был взорван мост, ваш полк, надо полагать, был бы сейчас там, где теперь немцы, — комдив показал в направлении канала.

— Вы же знаете, товарищ генерал, что я был выведен из строя...

— А ваш заместитель по строевой части? — с неожиданной резкостью прервал генерал. — Ваш зам по строевой только на докладные мастак. А он должен уметь командовать без вас. Вместо вас! — генерал как бы подчеркнул слово «вместо».

— Но разве я виноват, что он оказался такой?

— Да, вы! Вы своевременно не внушили ему, что, возможно, ему и одному придется отвечать за полк. Все сами, сами. Вы даже довольны были, что он только исправный исполнитель ваших поручений, которыми, кстати, вы его не очень обременяли. Он и привык — при вас. А без вас? За вас? Вот и получился он у вас вроде запасного колеса с ненакачанной шиной. Поставишь, а не поедешь.

— Я ж не просил его себе. — Бересов потихоньку вздохнул. — Может, обратно заберете?

— Не надейтесь, — отрубил генерал. — Вас устраивало, что он всегда в вашу тень прячется, света не застит? А теперь хотите, чтобы его с фронта в тыл отправили, как неспособного? Или чтобы его кто-нибудь в другом месте перевоспитывал? Нет уж, извольте сами!

Глава 15

ДОЗНАНИЕ

Связной из штаба полка довел Зубаря до небольшой, не затронутой войной помещичьей усадьбы, упрятанной в лощине километрах в четырех позади передовых позиций. Уходя, Зубарь не прощался со своими новыми товарищами, был убежден: вернется скоро. В этом уверили его и Федьков, и сержант Прохоров, и Снегирев. Прохоров наказал: «Пойдешь обратно — в овээс[1] заверни. Пусть тебе брюки выдадут, какие положено. А то все на тебе солдатское, а штаны эти арестантские в полосочку — срам!»

В немногочисленных постройках усадьбы: доме, флигельке, летней кухне и сараях — располагались какие-то тыловые подразделения. Везде под стенами стояли

[1] ОВС — обсзно-вещевое снабжение.

машины, повозки, отпряженные лошади. Связной, дойдя с Зубарем до флигелька, показал ему: «Сюда тебе, спроси капитана» — и ушел. Зубарь поправил на себе шапку, разгладил под поясным ремнем складки шинели, так, чтобы из-под нее поменьше были видны удручающие его лагерные штаны, — ведь он теперь должен был выглядеть, как полагается бойцу, — и вошел в дом.

В передней, без всякой мебели комнате на подоконнике сидел солдат с винтовкой, а на полу, у стены, прислонившись к ней спиной, — другой, в распоясанной шинели, с забинтованной рукой, которую он осторожно держал на коленях.

— Где тут капитан? — спросил Зубарь.

— Там, — показал солдат с винтовкой на плотно закрытую дверь. Зубарь тихонько постучал в нее. Дверь приоткрылась, из нее выглянул розоволицый сержант с искусно возделанным пробором, в аккуратной, отличного сукна, видно, шитой по заказу гимнастерке с ровненькими щегольскими погонами, не измятыми, как обычно у солдат, под лямками вещевого мешка или под ружейным ремнем, с малюсенькой, словно игрушечной, кобурой на поясе.

— В чем дело? — спросил сержант. Его пухловатое лицо с белыми редкими бровями выражало начальственную строгость.

— Мне к капитану, — Зубарь протянул конверт с сопроводительной запиской, которую ему дали на командном пункте полка.

Сержант взял пакет, оглядел Зубаря с головы до ног, остановился взглядом на его злополучных полосатых штанах, удивленно приподнял белые брови, еще более строгим голосом сказал:

— Жди здесь! — и захлопнул дверь.

Ждать так ждать. Зубарь опустился на корточки возле стены. Поскучав несколько минут, спросил у солдат:

— Вы тоже к капитану?

Солдат с забинтованной рукой ничего не ответил, словно и не слышал вопроса. По лицу было видно: плохо ему. Зубарь посочувствовал:

— Болит рука-то...

Солдат с винтовкой ответил односложно:

— К капитану, — и, видимо, не был расположен продолжать разговор.

Прошло в молчании несколько минут. Приоткрылась дверь, из нее снова выглянул чистенький сержант, молча поманил сидевшего на полу. Тот поспешно поднялся.

— Куда это он его? — спросил Зубарь солдата с винтовкой, вновь усевшегося на подоконнике.

— Куда? — солдат посмотрел с изумлением.— Ты что, не знаешь куда пришел?

— К капитану...

— Зачем?

— Не знаю. С пакетом прислали.

— Не знаешь? Особый отдел тут! — со значением проговорил солдат. — А этого, с рукой, — на следствие. Самострел! Слышь, а что это у тебя штаны такие диковинные?

Зубарь рассказал о себе.

— Молодяга! — похвалил солдат. — Твое дело правильное. Сюда тебя только так, для формы.

* * *

Тем временем солдат с перевязанной рукой сидел в соседней комнате и отвечал на вопросы офицера, ведущего дознание.

Вчера вечером в очереди к кухне услышав фамилию и голос своего воскресшего конвоира, он ринулся бежать и потом не помнил, как очутился где-то на темном, безлюдном винограднике. Поплутав немного, вышел на едва заметную в темноте дорогу. Навстречу попались повозки, двигавшиеся шагом. Ездовые, видя белеющую в темноте повязку, охотно объяснили: километрах в двух дальше по дороге — помещичья усадьба и небольшой поселочек, там — медсанбат.

Он пошел, следуя совету ездовых, и вскоре увидел впереди темные силуэты домов. Его остановили два патрульных. Увидев повязку, не стали расспрашивать, показали, где медсанбат. Быстро нашел: у ворот пустые повозки, над воротами белый флажок с крестом. Медлил входить — охватило сомнение: а вдруг догадаются?

Набравшись храбрости, вошел. В большой комнате на полу, на беспорядочно разбросанных перинах и охапках соломы, сидели и лежали раненые. Между ними хло-

потала, осматривая и перебинтовывая раны, медсестра — видимо, раненых только что привезли. Остановившись у порога, он с завистью посмотрел на раненых: они-то могут быть спокойны...

Стоял у порога, пока сестра не обратила на него внимания. Усадила на скамейку возле стола, на котором горела большая лампа, участливо спросила: «Больно?» Посмотрела на повязку: «Надо переменить». Стала скатывать бинт.

Сестра смотала бинт до конца, отложила в сторону, взяла свежий, взглянула на рану — и задержала руку с бинтом. Ее лицо было уже не добрым, а настороженным. По его спине пробежал холодок. Но тотчас же он успокоил себя: ничего она не заметит.

— Товарищ капитан! — обернувшись, негромко позвала сестра. Из другой комнаты вышел врач в белом халате, на ходу вытирая руки куском марли.

— Поглядите!

Врач, близоруко щурясь, нагнулся к ране, переглянулся с сестрой, посмотрел ему в глаза. И он понял, что врач знает все... Ноги, словно лучинки, подломились. Если бы он не сидел на табурете — наверное. бы, не устоял.

— Забинтуйте! — врач брезгливым жестом показал на рану, что-то шепнул сестре и ушел опять в соседнюю комнату.

Уже не болела рука, не ощущал все более плотных прикосновений свежего бинта. В глазах стоял туман.

Сестра завязала бинт, что-то вполголоса сказала двум легкораненым, сидевшим на полу у двери, и быстро вышла на улицу.

Посидел еще, постепенно освобождаясь от постигшего его ошеломления. Стараясь придать своему лицу как можно более беззаботное выражение, встал и направился к выходу.

— Куда! — поднялся раненый с забинтованной головой, сидевший у порога. Тотчас же рядом поднялся его сосед.

— А что? Что? — постарался показать удивление. — По нужде — нельзя?

— Потерпишь! — раненый с забинтованной головой заслонил собой выход.

Он попытался протиснуться в дверь, но раненый схватил за плечо:

— Самострел! За хребтом нашим!..

Стоял, пронзаемый со всех сторон суровыми взглядами. С пола тяжелораненый, не поднимая головы, прохрипел:

— Эх ты, мать твою!.. Было бы у меня оружие — я бы тебя без долгих делов!

Пришла сестра, с ней — солдат с винтовкой, показал на дверь:

— Шагай!

* * *

Любознательный собеседник расспросил Зубаря обо всем досконально, выкурил несколько самокруток, а дверь, за которую чистенький сержант унес взятый у Зубаря пакет, все еще оставалась закрытой.

— Сколько же мне этого самострела дожидаться? — посетовал конвойный. — И чего там его держат? Дело ясное. Высшая мера — и всё.

— Расстреляют?

— А что, цацкаться с таким?

Прошло еще с полчаса. Зубарь совсем заскучал. Но вот приоткрылась дверь, из нее показался «самострел», шаги его были неверные, глядел в землю. Следом за ним вышел сержант, сказал конвойному:

— Веди!

Солдат вскинул винтовку на руку, пропустил «самострела» впереди себя к выходу. Проходя мимо Зубаря, кивнул ему:

— Ну, бывай!

Сержант недоуменно-сердито глянул на конвойного, на Зубаря, как бы собираясь спросить: что за приятельство? — но вместо этого сказал Зубарю:

— Заходи! — и пропустил его в дверь впереди себя. Сидевший за столом смугловатый капитан, маленький, сухонький, остриженный по-солдатски наголо, с живыми черными глазами, быстро окинул взглядом всю фигуру Зубаря, показал на стоящую возле стола табуретку:

— Садитесь.

Чистенький сержант — он, судя по всему, состоял писарем при капитане — уселся у противоположного Зу-

барю конца стола, где были разложены бумаги и стояла чернильница.

Перед капитаном лежал надорванный конверт, тот самый, который Зубарь вручил писарю. Капитан медленно, как бы изучая Зубаря, посмотрел ему в глаза — была во взгляде капитана строгость, но не было той недоброжелательной холодности, которую с первой же минуты почувствовал Зубарь в чистеньком сержанте.

Писарь сидел с ручкой в пальцах, глядя на капитана: готов записывать.

— Степан Зубарь? — спросил капитан, мельком бросив взгляд на лежащую перед ним бумажку, вынутую из конверта.

— Я, — ответил Зубарь. «Непонятно, что еще хочет знать капитан? В бумаге, наверное, все написано. Отпустил бы поскорее...»

— Откуда родом?

Зубарь ответил.

— Года рождения?

— Двадцать пятого.

— Молодой...

Капитан почти не перебивал вопросами. Чуть склонив набок круглую, темно-серую стриженую голову, внимательно слушал, почти не отрывая взгляда от лица Зубаря, и было похоже: сверяет то, что слышит, с тем, что уже знает.

Зубарь уже заканчивал свой рассказ, когда дверь чуть приоткрылась, из-за нее торопливо позвали:

— Товарищ капитан!

Встав, капитан подошел к двери, оттуда ему что-то проговорили вполголоса.

— Скажите — немедленно выезжаю! — Повернулся к столу, взял с него шапку, надел, показал писарю на Зубаря: — Пусть подождет. Запиши пока общие данные. — И вышел.

— Тэк-с... — писарь долгим неподвижным взглядом посмотрел на Зубаря. Лицо его, при капитане исполнительно-скромное, сейчас стало опять начальственно-важным. И весь он, беловато-розовенький, аккуратненький, видимо, всегда довольный собой, стал особенно похож на молодого холеного боровка, гордящегося тем, что он — боровок.

— Ну что ж, продолжим. — Писарь, передвинув чернильницу на середину стола и переложив туда бумаги, пересел на стул, за которым только что сидел капитан.

Писарь тщательно записал год, место рождения, кто родители, в каком военкомате состоял на учете и прочее. Задал, невзирая на возраст Зубаря, и такие вопросы: состоял ли в оппозиции, в других партиях, участвовал ли в гражданской войне, служил ли в белой армии — и все ответы аккуратно записал тоже. Под конец спросил, остановив перо над еще не заполненной рубрикой:

— Под судом и следствием состоял?

— Нет! — поспешно ответил Зубарь.

— Нет, так будешь.

Зубарь не сдержал улыбки: за что его судить? Писарь шутит.

Писарь отложил ручку, полистал бумаги, очевидно просматривая ранее записанное, глянул на Зубаря, соображая: а что еще можно спросить? Но спрашивать что-либо еще писарь, судя по всему, не был уполномочен. Он достал из кармана пачку папирос в красивой коробке — таких папирос Зубарь не видывал ни у кого в полку, — закурил.

Выпуская время от времени изо рта и ноздрей голубой ароматный дым, писарь, опустив взгляд к бумагам, молчал, сосредоточенно сдвинув беловатые брови. Молчал и Зубарь. Ему становилось скучно. Скорее бы кончилась вся эта формальность. Но если бы Зубарь знал, о чем думает в эту минуту писарь, он не был бы так спокоен.

А писарь думал, что вот только что на той же табуретке, на которой сидит сейчас этот перебежчик, сидел тот, с перевязанной рукой, самострел. Сначала прикидывался честным раненым солдатом, а потом, припертый капитаном — а капитан это умеет, — признался, что прострелил себе руку. А вот у этого — капитан ничего почему-то не вытянул.

А что — попугать его как следует, заставить признаться! Удивится капитан! Может, после этого и на курсы военюристов отпустит? Ведь как раз сейчас, сведения верные, разнарядка есть. Хорошо бы! Пока учишься — война кончится. Звание, должность... Да вот капитан не отпускает, говорит: «Не порти себе биографию, юриста из тебя не получится». А почему? Вот

вытрясти из этого молодчика то, что и капитан не сумел, доказать свою способность! Даст тогда и характеристику, и направление.

Писарь пересмотрел еще раз заполненные им листы, что-то вписал на одном из них, положил его перед Зубарем, протянул ручку:

— Распишись!

— Что это? — не понял Зубарь.

Писарь потянул лист обратно к себе, прочел строго-торжественно:

— Настоящим подписуюсь, что об уголовной ответственности за дачу ложных показаний предупрежден. — И снова положил лист перед Зубарем.

У того глаза округлились от изумления. Сдерживая невольную дрожь в руке, взял перо, расписался там, куда указал писарский палец.

Писарь быстрым движением подхватил лист. Таким же движением, что и капитан, положил руки перед собой, сцепив пальцы, — видно было: писарь хочет походить на своего начальника, может быть, потому и хочет, что ничем не похож.

— Ну, вот что! — заговорил, многозначительно помолчав. — Ты, как тебя, Зубарь. Все, что ты тут капитану наговорил, это сказки для бедных. Признавайся без дураков, какое задание от фашистов получил?

Пораженный Зубарь сразу даже ответить не смог — дыхание перехватило.

— Ничего не получал. Я бежал от них. Они стреляли в нас. Моего товарища убили.

— Бежал, стреляли, убили... — с усмешкой повторил писарь. — Знаем эти штучки! Не первый ты. Давай, не волынь, признавайся!

— Да в чем же?

— А в том, о чем я говорю.

Не зная, как разубедить писаря, Зубарь молчал. А тот, не дождавшись ответа, с многозначительным видом поворошил бумаги на столе, пробежал взглядом по одной из них, потом снова поднял белесые бровки:

— Упрямствуешь? Напрасно. Нам про тебя известно...— Писарь потряс в руке исписанным листом, наугад взятым из бумаг. — Вот показывают те, которые тебя у немцев видали. Такие же ихние прислужники, как ты.

— Я не прислужник!

У Зубаря все в глазах шло кру́гом: ему верили в бою все, и здесь — капитан тоже, кажется, верит, а этот боровок нет! Как доказать, что ни в чем не виновен?

— Помалкиваешь? — услышал он сдержанно-раздраженный голос писаря. — Врать капитану — так горазд был!.. Ты со мной поразговорчивее будь, — писарь положил руку на плечо Зубарю. — А то ведь — что напишу, то тебе и будет.

— Пишите! — Зубарь шевельнул плечом, стряхивая с него цепкие пальцы писаря. — Моей вины ни в чем нет!

— Пой! — Писарь снова ухватился за плечо Зубаря — тот обернулся, увидел злое, раздосадованное, в красных пятнах пухлое лицо. — Выкладывай все, немецкий прислужник! Ну?

Зубарь вскочил.

— Но, но, потише! — чистенький сержант попятился: очевидно, в лице и во всей позе Зубаря он увидел такое, что напугало его, он даже схватился за свою игрушечную кобуру. — Потише! А то...

«Да что же это такое?» — Зубарь, разжав кулаки, опустился вновь на скамейку, сжимая пальцами край стола.

— Руки, руки со стола!

«В бою верили, а здесь — нет!» — Зубарь в отчаянии стиснул зубы.

Глава 16

ДВА ВЫСТРЕЛА

Едва стемнело, как в сад, где еще с прошлой ночи наскоро окопались солдаты Баумберга, пришел Кассельман и передал Бушу приказ оберштурмфюрера: возобновить прерванные на день окопные работы.

Нехотя принимались гренадеры за дело. Еще вчера прошел слух, что после штурма отведут на отдых. Но слух, как видно, остается слухом...

Самым последним, покряхтывая и поохивая, взялся за лопату Шинке. Почти целый день пролежал он скрючившись. Со вчерашнего дня у него болел желудок. Шинке почти ничего не мог есть и за сутки так ослаб, что едва держался на ногах.

Уныло копал Шинке вязкую огородную землю, пах-

нущую застоявшейся сыростью. Почти после каждого броска лопаты он останавливался — переждать, пока чуточку утихнет надоедливая, тупая боль в пищеводе, о которой он обычно говорил, если обращали внимание на его болезненный вид: «Я чувствую себя так, как будто у меня в брюхе болят зубы». Сейчас, как обычно, если Шинке чувствовал себя скверно, он пытался найти утешение в воспоминаниях о более приятном времени, когда бывало сидел он в уютной теплой комнате и слушал очередной анекдот папаши Клаузевица. «Вернусь ли я туда...» — вздохнул Шинке и вспомнил при этом один из рассказанных Киршбаумом анекдотов, кем-то из отпускников завезенных в Миттельдорф с восточного фронта: «Как бы я хотел сейчас увидеть Вилли!» — «Почему именно Вилли?» — «Так он же в плену».

Старый Шинке знает, что такое плен. Тридцать лет назад, солдатом ландвера, он попал в плен к русским и очутился в азиатском городе Акмолинске. Шинке решил, что его завезли в самую отдаленную губернию России, вероятно уже граничащую с Китаем: город окружала выжженная солнцем пустыня, по улицам на самых подлинных верблюдах — таких Шинке прежде видывал лишь на иллюстрациях — разъезжали смуглолицые кочевники в диковинных одеждах. Но оказалось, что он и его товарищи не проехали и половины России.

Уже тогда Шинке был квалифицированным мастером. Клиенты — сначала офицеры команды, охранявшей пленных, а потом по их рекомендации и горожане — давали ему часы в ремонт. Шинке недурно зарабатывал, не имея конкурентов. После войны, когда Шинке вернулся в голодную Германию, не без грусти вспоминал о белом хлебе, жирной баранине и сливочном масле, которые, в дополнение к лагерному харчу, имел в Акмолинске благодаря своему ремеслу. Но в ту войну в России правил царь, как-никак родственник кайзера. А сейчас — совсем другое. Про большевистский плен в газетах пишут ужасные вещи. Но, может быть, газеты преувеличивают?

«Да неужели я захотел в плен к русским? — с испугом поймал себя Шинке на собственной мысли. — Думать так — измена! Твоя судьба — в руках фюрера и бога!»

Шинке верил Адольфу Гитлеру много лет. Как миллионы немцев, он верил: фюрер приведет Германию к

вершинам славы и благополучия, все немцы в конце концов заживут отлично. Но что теперь остается от всей этой веры, если русские подходят к Берлину, а Шинке на старости лет пришлось снова стать солдатом?

— Эй, старина, ворочайся поживее! — сзади по траншее к нему протиснулся Буш.

Лопата в руках Шинке задвигалась несколько быстрее.

Буш постоял, наблюдая за работой. Шинке раздражал его неповоротливостью, но Буш все-таки жалел его. Однако что поделаешь? С Буша требует оберштурмфюрер, а Буш должен требовать с рядовых. Таков порядок. Ночью работай, а придет новый день... До конца ли костлявая будет так добра к нему? Когда-нибудь и у нее кончится терпение...

Около полуночи работы завершили. Выставив наблюдателем Корецкого, Буш разрешил остальным отдыхать и сам, завернув на голову широкий воротник шинели, улегся на дне окопа.

Едва Корецкий встал на пост, как к нему вновь вернулись те мысли, которые приходили всякий раз, когда он оставался один. Теперь уже нечего медлить. Из последних немецких газет, как ни туманны в них военные сводки, можно понять: его родные Каттовицы освобождены от германцев, теперь, если он и сбежит, германцы ничего не смогут причинить худого ни матери ни сестре.

Но как удрать? Могут заметить, когда начнешь пробираться к берегу. Канал, хотя не широк, но, как говорят, глубок, вода холодна. Да и русские могут не разобраться и обстрелять... Подождать, пока ляжет, как в прошлую ночь, туман?

В тревожных думах уходило время. Половина ночи уже минула. Еще немного, и начнет светать. А Корецкий все еще не решил, как ему поступить. Вот зашевелился и привстал Дадье, спавший рядом, проворчал вполголоса:

— Черт побери! Уже половина марта, а такая стужа. Пробирает до костей! — Дадье зябко ежился. — Сигарету бы сейчас...

— Буш тебе выдаст, — шепотом пошутил Корецкий, — а русские прикурить дадут.

— А, пусть!

— Ого, ты стал щеголять своей храбростью, Жак.

— Не в этом дело, — буркнул Дадье.

— А в чем?

— В том, что мне все осточертело. И вообще, Юзеф, наше положение с тобой анекдотично, не так ли? Петух и орел[1] служат крысе. Если бы в моей деревне не было сейчас незваных гостей, как их уже нет в твоих Каттовицах...

— А может быть, ты пойдешь со мной? — снизив голос до едва слышного шепота, спросил Корецкий.

— Нет, Юзеф, еще не могу. Если бы я тревожился только за себя...

Дадье нахлобучил фельдмютце, засунул руки поглубже в рукава и лег. Поворочался, затих.

«...Рискнуть? — вновь вернулась к Корецкому мысль. Но ее прервали приближающиеся сзади шаги. — Опять Кассельман?» — Корецкий не обернулся, стараясь сдержать себя: ему захотелось оглушить этого соглядатая самым крепким шахтерским ругательством. Но оказалось, что это не Кассельман, а Буш. Он сказал Корецкому:

— Разбуди француза. Собирайтесь. Шинели к ранцам.

Сердце Корецкого сжалось: зачем и кому понадобились в эту пору он и Дадье? Но Буш сказал:

— Выступаем. А куда — черт его знает. — Бушу, видимо, не терпелось хоть кому-нибудь излить свое недовольство.

Уже через несколько минут Буш вел гренадер от берега. Ночь стояла темная, хоть глаз коли — идущего впереди нельзя разглядеть, если отстать на три — четыре шага. Покинутые позиции, вопреки ожиданиям, не занял никто. На них осталось только несколько пулеметных расчетов.

Корецкий был в досаде: когда теперь и где удастся ему осуществить задуманное? Не раньше ли разыщет его пуля?

В саду, где в черноте ночи выделялись только побеленные известкой стволы плодовых деревьев, собрался весь взвод оберштурмфюрера Баумберга. Пройдя через дворы, вышли на улицу. Здесь взвод пристроился к тем подразделениям, которые пришли раньше, и колонна тот-

---

[1] Петух — символ Франции, орел — Польши.

час же двинулась по темной улице в направлении, противоположном тому, каким входили в селение сутки назад. Но в прошлую ночь не было такой кромешной тьмы: взлетали ракеты да горели дома.

Солдаты предполагали, что их поведут без остановки дальше из селения. Но колонну повернули в переулок. Впереди забелели длинные приземистые постройки.

Пройдя середину огромного двора — очевидно, это был двор помещичьей фермы, — вошли через настежь распахнутые ворота внутрь обширного коровника, наполненного словно утрамбованной тьмой. Послышалась команда остановиться. Блики тусклого света упали на лица: кто-то зажег керосиновый фонарь и поставил его на пол возле стены. Уродливые, косые тени поднялись к низкому потолку.

Роту выстроили рядами вдоль кормушек. Приказано было подравняться лицом к проходу.

Стояли, кого-то ждали, перешептывались, недоумевали: зачем весь этот парад в такой неурочный час и в таком неподходящем месте? Кто-то уже пустил слух: ждут группенфюрера, командующего дивизией, он раздаст награды отличившимся во вчерашнем штурме. Другие говорили, что, наоборот, предстоит церемония разжалования в рядовые офицера, который вчера в бою проявил преступную нерешительность. Высказывалось также предположение, что сегодня на рассвете снова погонят в наступление и по этому поводу какой-то высокий чин выступит перед солдатами с речью. А некоторые считали, что ничего особенного не предстоит, будет просто инспекторский осмотр на вшивость: недаром же велено быть не в шинелях.

Все эти прогнозы прервало громкое:

— Смирно!

Перед строем, возле стоящего на полу фонаря, появились трое: ротный обершарфюрер [1], командир роты и какой-то незнакомый оберштурмбаннфюрер [2].

Оберштурмбаннфюрер что-то негромко сказал командиру роты. Тот сделал знак — обершарфюрер тотчас же поднял фонарь. Тени с потолка и стен упали вниз.

---

[1] Эсэсовское звание, соответствующее званию фельдфебеля.

[2] Эсэсовское звание, соответствующее званию подполковника.

В руках командира роты забелел листок бумаги. Обершарфюрер поднес фонарь ближе.

— Приказ фюрера! — громко объявил командир роты.

С изумлением слушали в рядах: фюрер выражал недовольство тем, что штурмовая дивизия «Адольф Гитлер», носящая такое почетное имя, не оправдала в последних боях его надежд, не проявила достаточной решимости в наступлении и не выполнила до конца боевого приказа, а тем самым показала себя недостойной носить имя, являющееся символом великого германского духа. Приказывалось: лишить дивизию почетного именного названия, присвоить ей обычный номер, всему личному составу снять отличительные нарукавные знаки.

Кончив, командир роты молча отдал прочитанный приказ стоявшему рядом оберштурмбаннфюреру, поднял левую руку, где вокруг обшлага мундира, как и у всех, была нашита узкая лента с готической надписью. Рванул ленту, скомкал, бросил ее под ноги. Срывающимся голосом прокричал:

— Снять всем!

Ропот, хотя и глухой, сдерживаемый привычным чувством повиновения, но все же ропот, прошел по рядам. Роптали немногие уцелевшие от кадрового состава дивизии старые эсэсманы, служившие в ней еще тогда, когда война шла в Польше и в России. Они издавна привыкли кичиться своей принадлежностью к дивизии, считали себя цветом вермахта и привыкли к убеждению, что надпись на рукаве делает их как бы избранными среди избранных, теми, кому позволено все. Они всерьез считали себя рыцарями и полагали, что фюрер несправедливо обошелся с ними: разве во вчерашнем бою они не проявили рвения? Роптали и некоторые из тех, на кого эта голубая кровь черного корпуса смотрела свысока, те, кем дивизию пришлось пополнить недавно — гитлерюгендовцы, тотальники, наскоро подлеченные в госпиталях фронтовики из обычных армейских частей. Эти были далеки от амбициозности, присущей старым эсэсовским волкам, но также полагали, что фюрер слишком сурово осудил их: они сделали все что могли, чтобы выполнить его волю, и не их вина, что русские оказались так сильны и упорны.

— Снять всем! — повторил командир роты, повысив голос. — Господам офицерам проверить.

Затрещали разрываемые швы, замелькали бросаемые под ноги нашивки с черной надписью. Буш, аккуратно подпоров свою нашивку кончиком штыка, спокойно снял ее и бросил без всякого сожаления. Кассельман отпарывал нарукавный знак со слезами на глазах, как будто сдирал кусок собственной кожи: как он был горд, когда впервые, три месяца назад, надел мундир с этим знаком! Кассельман тщательно спрятал нашивку во внутренний карман, где хранились документы и семейные фотографии. Шинке никак не мог отпороть свои нашивки: старые глаза слабо видели при тусклом свете, пальцы плохо слушались. Ему было все равно. Он не мальчишка, чтобы щеголять значками и лентами. Пусть с него срежут все знаки и все пуговицы и снимут все что угодно. Пусть даже голым, но отпустят обратно в Миттельдорф! Корецкий и Дадье спороли свои нашивки со скрытым удовольствием: для них они были клеймом.

Офицеры прошли вдоль рядов, проверяя, у всех ли нашивки спороты. Приказали надеть шинели. Роту вывели наружу. Навстречу уже шла другая, видимо, этот уцелевший коровник оказался единственным пригодным местом для мрачного церемониала.

Прошедшие церемониал гренадеры ожидали на просторном дворе, края которого терялись в ночной тьме. Никто не знал, какой поступит приказ, куда поведут.

Корецкий присел в отдалении от остальных, близ угла коровника, опершись спиной о его шершавую каменную стену.

За углом послышались шаги. Корецкий насторожился, как будто бы его затаенные мысли могли подслушать.

За углом чиркнуло колесико зажигалки, заговорили негромко.

Одного из собеседников Корецкий сразу узнал по голосу: оберштурмфюрер Баумберг. Другой — наверное, кто-нибудь из офицеров. Хотел встать и отойти: подальше от начальства — спокойнее. Но остался: его же не видят.

— После такой церемонии остается только напиться, — проговорил собеседник Баумберга.

— Вам — особенно, — посочувствовал тот. — Ведь вы в дивизии давно?

— С тридцать девятого... Фюрер не жалел для нас железных крестов. А теперь он щедр на другое...

— Не знаете, что будет дальше? — спросил Баумберг. — Неужели отход?

— Да, — подтвердил собеседник Баумберга. — Я слышал об этом от штабных.

— Но, может быть, это только маневр?

— Увы, мой дорогой Баумберг! Командование опасается, как бы мы не оказались в мешке. Русские усиленно атакуют на флангах.

— А почему не выступаем? — чувствовалось, что Баумберг встревожился. — Ведь скоро утро.

— Оберштурмбаннфюрер из штаба дивизии настоял, чтобы прежде был совершен обряд лишения нарукавных знаков. Видимо, он полагает, что чем скорее наши бравые молодцы расстанутся со своими лентами, тем ревностнее будут стараться заслужить их вновь.

— Бравые молодцы! — Баумберг повторил слова своего собеседника с горечью. — Если пересчитать, сколько после штурма осталось в моем взводе полноценных солдат, — хватит пальцев одной руки. Черт знает что — унтерменши[1] в черном корпусе! Среди моих гренадер — даже поляк и француз! Впрочем, их приказано считать фольксдойчами.

— Ничего не поделаешь...

— Только подумать — столько германской крови за эту Венгрию! В атаки вперед следовало бы посылать мадьяр.

— К сожалению, мой дорогой Баумберг, они теперь ненадежны. Даже Хорти изменил нам...

— Господин оберштурмфюрер! — послышался голос Кассельмана. — Командир роты приказал передать: приготовиться к маршу!

«Сейчас или никогда!» — решение пришло неожиданно. Корецкий поднялся.

Среди лежащих и сидящих на дворе гренадер он отыскал Дадье. Потихоньку отозвал его:

— Жак! Я только что узнал: германцы уходят! Скоро здесь будут русские. Удобный случай! Может быть, все-таки ты со мной?

---

[1] Унтерменш — «недочеловек»; презрительное наименование гитлеровцами людей неарийского происхождения.

— Юзеф, ты знаешь — я не могу рисковать женой и ребятишками.

— Понимаю...

— Иди один. Желаю удачи! — Дадье нащупал в темноте руку Корецкого, стиснул ее. — Да! Ты помнишь, Юзеф! Мы с тобой на всякий случай обменялись адресами.

— Помню, Жак.

— Напишем друг другу после войны. Желаю тебе скорее увидеть твою Польшу, Юзеф! Спеши...

По всему двору, не видная в темноте, уже шла суета, обычная, когда строятся к походу: слышались приглушенные перекликающиеся голоса, торопливые шаги, побрякивало снаряжение и оружие.

В этой суете, не обратив на себя ничьего внимания, Корецкий прошел в дальний край двора, где не было никого, и, увидев перед собой раскрытые ворота какой-то постройки, поспешно скользнул в них. Внутри стояла кромешная тьма. Корецкий, придерживаясь стены, шел дальше. Споткнулся о какую-то деревянную посудину, она гулко ухнула под ногой, чуть не упал, с головы слетела шапка. Пошарил вокруг, но так и не нашел ее. Чиркнуть зажигалку? Нет, заметят еще! Черт с ней, с шапкой! Хватит, поносил на лбу проклятые кости [1].

Прошел дальше, и рука нащупала ворох соломы, высокий, плотный, — соломой была забита вся противоположная воротам сторона сарая. Сунул в солому винтовку, снял ранец, затолкал туда же и его и, разгребая хрусткие стебли руками, полез вглубь. Солома скрыла его с головой.

Так лежал он около получаса. Старательно прислушивался: вышли все со двора или еще нет? Но толстые каменные стены и солома не пропускали почти никаких звуков.

Вот его ухо уловило голоса. Замер: разговаривают двое, только что вошедшие в сарай.

— Посмотрим еще здесь! — услышал Корецкий голос Кассельмана. Щелкнула кнопка фонарика. Зашуршала солома.

— Фельдмютце! Чья-то фельдмютце!

---

[1] Солдаты эсэсовских частей носили кокарду с изображением черепа.

Лоб Корецкого покрылся холодным потом.

Сквозь толщу соломы ему едва-едва были видны перебегающие отсветы фонаря.

— Это — фельдмютце поляка! — обрадованно воскликнул Кассельман. — Взгляните: на подкладке его фамилия! Надо искать здесь!

— Без вас знаю, что делать! — оборвал Кассельмана Буш.

Корецкий весь словно в комок сжался. «Если натолкнутся...» Где оружие? Осторожно протянул пальцы, стараясь нащупать в соломе винтовку. Однако она не попадалась под руку. Он продолжал шарить.

— Вы слышали? — воскликнул Кассельман. — В соломе шорох!

— Что там? Мышь? — отозвался Буш. — А может быть, какая-нибудь живность, которую спрятали дорогие союзнички мадьяры, чтобы мы ее не сожрали?.. Впрочем... — Приказал Кассельману: — Поищите.

Корецкий не стал дожидаться, пока его обнаружит Кассельман. Медленно, стараясь выглядеть спокойным, даже заспанным, поднялся. В глаза, едва он раздвинул солому, ударил слепящий свет карманного фонаря.

— Корецкий! Почему здесь? — спросил Буш.

— Выпил шнапса, заснул...

— Где только сумел стянуть выпивку? И разве порядочный солдат пьет в одиночку?

— Он дезертир! — вскричал, перебивая Буша, Кассельман. — Он нарочно спрятался! Он бросил оружие! Его надо арестовать!

— Прекратите вопли! — Буш шевельнул лучом фонаря в сторону Кассельмана. — Кто здесь старший — вы или я?

— Прошу прощения! — вытянулся Кассельман.

Буш протянул Корецкому его шапку.

— Где винтовка, амуниция?

— Вот здесь.

— Собрать все, и — со мной!

Буш посветил. Корецкий разыскал в соломе винтовку и ранец и зашагал вслед за Бушем. Кассельман шел позади, и Корецкий чувствовал, с какой ненавистью глядит сейчас ему в спину этот нацистский щенок. Если бы Кассельман был один, Корецкий, не задумываясь, стук-

нул бы его и скрылся в темноте. Но Буш... На Буша Корецкий не смог бы поднять руку.

Пришли к коровнику, возле которого уже строилась к походу рота. Буш приказал Корецкому стать в строй, а сам отправился доложить оберштурмфюреру, что его приказание разыскать Корецкого — выполнено.

Баумберг выругал Буша за то, что тот распустил солдат, сказал, чтобы он «эту польскую свинью» ставил на пост вне очереди -- тогда тому будет не до поисков шнапса, и отпустил.

Уже все стояли, выстроившись. Не было только офицеров: их вызвал к себе командир батальона. С нетерпением ждали команду к маршу. Томительно стоять в строю с полной выкладкой.

Но вот появился Баумберг. Вместе с ним пришел незнакомый штурмшарфюрер[1].

— Рядовой Корецкий, из строя! — скомандовал Баумберг.

Корецкий вышел.

— Буш, возьмите у него оружие!

Буш исполнил приказание.

— Забирайте его, — показал Баумберг на Корецкого штурмшарфюреру. Тот негромко скомандовал Корецкому:

— Марш!

— Эта польская свинья хотела дезертировать! — громко сказал Баумберг, обращаясь к солдатам. — Поэтому я отправил его в полевое гестапо. Так будет с каждым, кто попытается уклониться от своего долга!

Баумберг поступил так, как только и мог поступить соответственно своему положению. Через несколько минут после того, как он отпустил Буша, к нему явился Кассельман и сообщил о своих подозрениях. Баумберг сначала хотел оставить это без внимания, но не решился: что если кто-нибудь донесет? В связи с неудавшимся наступлением чины гестапо особенно ретивы. Пожалуй, еще сочтут его виновным в попустительстве дезертиру. И он заблаговременно принял меры сам. Пусть в гестапо разбираются, виноват поляк или нет. К тому же этот случай с поляком явится во взводе полезным предупреждением для остальных.

---

[1] Эсэсовское звание, соответствующее званию штабс-фельдфебеля.

Вскоре из ворот фермы потянулась колонна. Далеко не все, кто штурмовал селение вчера, уходили из него сейчас. Мертвые не ушли. Но они понудили уйти еще живых.

Стояла тишина. Только грязь глухо чавкала под коваными подошвами сапог. Позади, в той стороне, где канал, изредка лениво потрескивали редкие пулеметные очереди: пулеметчики, оставленные на позициях, старались создать видимость, что ничто не изменилось... Да где-то неподалеку, в ближнем дворе, стукнули два, наверно, случайных выстрела.

Шагая в колонне, Дадье с тревогой думал о Корецком. Что будет с ним? Почему ему не удалось? Когда Буш привел Юзефа и поставил в строй, они даже и словом перемолвиться не успели...

Штурмшарфюрер, которому Баумберг передал Корецкого, молча повел его по улице. Он не объяснил Корецкому, что ожидает его. Да Корецкий и не думал спрашивать. И так ясно: расстреляют в назидание остальным. Сейчас, когда наступление оказалось бесплодным и вся дивизия навлекла на себя гнев Гитлера, милости не жди. Не забрали ли они после него и Жака? Как неудачно получилось! Чертов ублюдок, этот гитлереныш Кассельман, всюду сует свой нос. Следовало бы пристрелить его вчера во время боя — это можно бы сделать незаметно — или сегодня в сарае, когда он вошел вместе с Бушем. Собаке собачья смерть... Но что думать о Кассельмане? Надо думать о себе! Когда этот молчаливый штурмшарфюрер посадит его в гестаповскую машину, которая ждет где-нибудь поблизости, будет поздно. Надо решаться сейчас...

Корецкий замедлил шаг, поглядывая в сторону белой каменной ограды, мимо которой они проходили. За оградой густой сад. Ночь темна...

— Быстрее, ты! — поторопил штурмшарфюрер.

Корецкий прибавил шаг. Вот калитка в белой стене. Она приоткрыта.

Резко повернувшись, бросился через калитку в гущу сада.

— Стой! — заорал штурмшарфюрер. Корецкий побежал быстрее. Затеряться в темноте среди деревьев и построек, спастись...

Впереди еще ограда! Перескочить, а там — штурмшарфюрер отстанет, пока будет перебираться.

— Стой! Стреляю! — орал штурмшарфюрер, но Корецкий был уже возле ограды. Он схватился за ее верх, легко вскинул тело. За спиной хлопнул выстрел. Правая нога вдруг стала чужой. Не в силах перебраться, Корецкий свалился обратно, на мягкую садовую землю.

Штурмшарфюрер подбежал, размахивая парабеллумом:

— Ты, хитрая свинья! Встать! — Пнул сапогом в бок. — Поднимайся! Живо!

Упираясь руками в сырую податливую землю, Корецкий попытался встать, но резкая боль в ноге подкосила его, он опустился, глухо проговорил:

— Я ранен.

— Чтоб ты сдох! — выругался штурмшарфюрер. Стоял, покачивая в опущенной руке парабеллум, видимо соображая, как следует поступить.

Корецкий ждал. Мысли с лихорадочной быстротой проносились в его голове: «Одолеть его... Уползу и с раненой ногой. Спрячусь, дождусь русских...»

— Сможешь идти? — спросил штурмшарфюрер.

— Нет...

Корецкий примерился: если подойдет еще на шаг — схватить обеими руками за пистолет, вырвать... Попросил:

— Помогите встать!

— Ну, я с тобой возиться не буду! — штурмшарфюрер поднял парабеллум.

Корецкий понял.

Рванулся, раненая нога подломилась. Упал. Закричал:

— Будьте вы прокляты! Всем вам скоро конец, всем...

Штурмшарфюрер выстрелил, тотчас же — еще раз. Сунул парабеллум в кобуру и поспешил на улицу: по ней, мимо сада, топоча, уже шло какое-то подразделение. Штурмшарфюрер опасался, как бы машина, поджидающая его, не ушла. Не следует задерживаться в селении, в которое того и гляди войдут русские. А насчет поляка — все очень просто. Доложить: «Арестованный убит при попытке к бегству» — и дело с концом.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



На переломе



Глава 1

И ВНОВЬ ВЕНГЕРСКИМИ ПОЛЯМИ

Каких неожиданностей не случается в солдатской жизни! Но самая приятная — это узнать, что противник, новый натиск которого ожидался с часу на час, вдруг начал отходить без боя.

Когда германское командование, стремясь прорвать советскую оборону, бросило в острие шарвизского клина все наличные силы, резервные войска, сбереженные командованием Третьего Украинского фронта, нанесли близ озера Веленце контрудар по левому флангу наступающих. Южнее, возле дороги, ведущей от города Секешфехервар к Дунаю, введенные в бой танки и мотопехота потеснили гитлеровцев от западного берега канала Шарвиз, и только ночь помешала развивать успех. Шарвизский клин для немцев мог не стать мешком только в одном из двух случаев: или они отойдут, или нанесут новый удар. Но чем нанести такой удар? Где взять, взамен потерянных в недавних боях, тысячи свежих солдат, новые сотни «тигров», «пантер», «фердинандов», орудий, чтобы сломить стойкость советских войск? Да и удастся ли ее сломить? Можно, собрав всё в один кулак, навалиться численным превосходством, заставить отойти несколько подразделений, даже полк, даже, может быть, дивизию. Но даже взвода, даже отделения гитлеровцы не смогли бы обратить теперь, как это бывало в начале войны, в бегство, когда разум ослепляется

страхом. За четыре года испытал и изведал дополна боец силу врага, свою силу и всю ту великую, всенародную силу, что так надежно стоит за его плечами. И то, что его хотя и можно заставить отступить с рубежа на рубеж, но уже никак нельзя понудить побежать, опрокинуло и на этот раз планы Гитлера и его фельдмаршалов, заставило главную ставку вермахта отдать приказ приостановить наступление на всем балатонском участке и оттянуть войска из шарвизского клина, острие которого упиралось в оборону Бересовского полка.

Самое веселое для бойца дело — догонять врага, который отступает. Хотя небо затянуто облаками, но утро не кажется хмурым. Без всякого сожаления оставлен окоп, на рытье которого положено столько труда. Пройдена «нейтралка», где еще вчера, только покажись, враз словил бы пулю.

Вот и канал. Для скольких однополчан стал он позавчера смертным рубежом! Торчит из воды полузатопленный плотик, на темном дереве его — белые полосы, пулями поклевало. Чей-то ватник, с располосованным рукавом, в бурых пятнах, лежит на бледно-зеленой береговой дернине. Воронки, опаленная взрывами земля, клочья блеклой перезимовавшей травы...

По шаткому мостику, только что, «на живульку», в одну доску, сколоченному саперами, переходят бойцы канал. Саперы, бойко тюкая топорами, наращивают сбоку мостика, вплотную к нему, на обломанных взрывчаткой сваях настил — восстанавливают мост, который позавчера им же пришлось подорвать. А на берегу позади уже накапливаются тесной вереницей полковые пушки, минометные повозки. Как только саперы положат последнюю доску, все это со стуком колес и покрикиванием ездовых хлынет на тот берег — не отставать от стрелков! А вот уже и немецкую траншею перешагнул боец — пустую, но обильно и пестро замусоренную (когда только немцы успели!) бумагой, жестянками, тряпьем. Заглянул мимоходом в нору-землянку, где еще этой ночью спали фрицы, — там только прелая солома, разорванная перина, утащенная из какого-то дома... И уже шагает боец сельской улицей, где в загустевшей, начинающей подсыхать грязи еще четки следы, оставленные германскими сапогами с тридцатью двумя железными заклепками на подошве. Но проходят солдаты —

и вражеский след затоптан, исчез под следами русских сапог...

Первый батальон вступил на северный берег канала на рассвете, тотчас же после того, как разведчики, перебравшиеся через канал, установили, что в окопах, которые только что занимали гитлеровцы, не осталось никого. В тех местах, откуда еще час назад постреливали немецкие пулеметы, валялись на земле сотни израсходованных патронных гильз. Немцам удалось уйти совсем незамеченными. Они умело использовали темноту и пулеметный огонь, который вели редкими очередями почти до рассвета, создавая впечатление, что на их позициях все осталось по-прежнему. Раздосадованный Бересов свирепо ругал полковых разведчиков и самого себя: опростоволосились, дали противнику оторваться, теперь — догоняй! Он послал разведку вперед, приказав Яковенко с головной ротой двигаться ускоренным маршем вслед.

С веселым говорком шагали солдаты к северной окраине по широкой улице, ведущей от канала. В третий раз за третий день проходят они ее. Когда с марша шли сменить казаков, селение выглядело чистеньким, нетронутым: война до той поры обходила его стороной. Когда отступали по дворам и переулкам, отстреливаясь от наседавших гитлеровцев, полыхали подожженные снарядами дома, несло горьким дымом, под ногами хрустели битые стекла, черепица. А сейчас — как мертвые ребра, торчат обнаженные стропила, с которых артиллерийским огнем стрясло черепичную кровлю, чернеют опаленные деревья, а на дороге легкий ветерок ворошит пух разодранных перин, бумажки, клочья сена и соломы, матерчатые нарукавные ленты с надписью «Адольф Гитлер». Любопытный боец на ходу подымет такую ленту, посмотрит, бросит...

Пройдено селение. Вот остался позади крайний дом, вернее не дом, а только стены, наполовину разбитые снарядами, все в осколочных выбоинах. Видно, крепко кто-то из наших оборонялся в нем...

Вот и солнце показалось над краем степи. День сегодня обещает быть ясным, не то что прошедшие дни. Солнце, солнце наступления греет душу солдата. И весел разговор на ходу:

— Эх, матушка-пехота, сто верст пройдешь — еще охота.

— Приятно шагать по земле, коли грудью на ней полежал.

— А что это фриц тягу дал? Должно, нажали где?

Солдатам и мысли не приходило еще, что вынудили врага отступить прежде всего они.

Вот проходят позавчерашнюю свою передовую. Почти у самой дороги — извилистая траншея, желтеют комья глины, выброшенной разрывами, поблескивают на бруствере еще не потускневшие стреляные гильзы. Много их... Наверное, весь свой запас потратили бойцы, что оборонялись здесь. Но вот и траншея позади, и побуревший от окалины «тигр», замерший в десятке шагов от нее, и полузасыпанный гусеницами окоп, из которого косо торчит исковерканный щит и тонкий ствол пушки-«сорокопятки». Открыта впереди, до самого горизонта, степь — шагай, солдат, на запад, до края ее. Где-то там, не так уже далеко, — озеро Балатон, о котором все время упоминают военные сводки. За ним, может быть, скоро увидишь альпийские горы, и не за теми ли горами конец войны...

Торопились: разведка, двигавшаяся далеко впереди, сообщала, что отходящего противника все еще не видит.

Позади давно скрылось селение. Скрылась и возвышенность за каналом, по склону которой еще сегодня на рассвете проходил передний край. Дорога то некруто поднимается вверх — чем выше, тем суше и тверже она и тем дальше видна голая и пустынная, без всяких признаков человеческого жилья, степь, — то так же некруто спускается в лощины, пересекает ручейки, еле заметные, уже унесшие влагу растаявших снегов. Только сочная, жирная грязь да кое-где полные кристально чистой воды колдобины напоминают, что совсем недавно сошел снег.

Не первый час марша.

Давно уже — так легче на походе — идут без всякого строя, кто где, выбирая путь посуше. Уже не слышен веселый разговор, как в начале пути, — пошагай-ка с полной выкладкой, в шинелях — и километр не первый, и дорога — не асфальт.

Прошли широкую низину, в которой почти вся дорога залита стоячей водой. Тяжело выбираться наверх — на сапогах грязи пуды. Выбрались. Наконец-то объявлен привал.

— Ну и грязища ж! — заговорили солдаты, садясь на пригорке на присушенную солнцем землю. Постукивали сапогом о сапог, стряхивали липкие черные комья. Снегирев, сломав сухой, трескучий стебель бурьяна, сложил его в несколько раз, как скребком стал сдирать цепкую землю с голенищ. Слушал, как Опанасенко, сидя рядом, тоже счищает грязь с сапог и рассуждает не спеша:

— Ото ж я от Полтавы до Будапешта, от Будапешта до цього болота скильки той грязюки помесив? И почему оно так, Григорий Михалыч: чем бильш наступление, тем бильш грязюка? Мабудь, немец так подгадывает?

— Не знаю, — Снегирев рассмеялся, — может, Гитлер с небесной канцелярией согласовал?

— Чи согласовал, чи ни, а дорога дуже погана...

— Сейчас что — вперед идем, — Снегирев отряхнул свою счищалку. — В сорок первом отступали — и по гладкой дороге было горше, чем по этой грязи.

— Бачил я, как скризь наши Ярмолинцы войско видступало...

— Да, брат, такого не забудешь.

Продолжая счищать грязь разлохматившимся уже стеблем, припомнил Снегирев свое... Болотная жижа под Старой Руссой в сорок первом. Замешанный на многодневном осеннем дожде жирный чернозем за Киевом осенью сорок третьего. Крутая, со снегом, взбитая тысячами колес, копыт и сапог грязь под Корсунь-Шевченковским. Цепкая грязь дорог прошлогоднего весеннего наступления, не давшая уйти немецким обозам. Залитые водой румынские, словацкие, венгерские проселки минувшей осенью и нынешней весной. И горькими дорогами отступления и радостными путями побед прошел за четыре военных года...

— Товарищи бойцы! — перебил его мысли бойкий голос Федькова. — Разрешите передать вам пламенный тыловой привет от Шахрая!

— От якого Шахрая? — не сразу понял Опанасенко...

— Как от какого? — Федьков искренне удивился. — Кто знает меня, тот не может не знать Шахрая!

— А! Твой друг с разведки? Як же, як же! — вспомнил Опанасенко. Шахрая, великана ростом и балагура, служившего в полковой разведке вместе с Федьковым, знали все. О его силе и поразительной невозмутимости в полку ходили легенды. В каждой части существует

своя живая достопримечательность — или чудаковатый боец, над которым подшучивают все, или такой, который ловок подшутить над каждым, или храбрец отчаянный. Бывает, что такой боец и небезупречен, и пример для подражания не во всем, но солдаты его непременно любят. Таким в памяти многих и до сей поры оставался Шахрай. Он был ранен в прошлом году под Корсунем и после этого в полк не вернулся.

— А где ж вин теперь, твий Шахрай? — спросил Опанасенко.

— Дома, в колхозе. Почти год вестей не подавал. А сегодня наших, хлопцев из разведки, вижу, говорят мне: Шахрай письмо прислал. Я забрал почитать. Ох, и чудно̀ пишет.

— В колгоспе вин, кажешь? А ну, прочитай того лыста, як оно там... Мабудь, пашут вже?

— И верно, прочти-ка! — поддержал Снегирев.

— С полным моим удовольствием! — Федьков вытащил из-за пазухи измятый, видимо побывавший уже не в одних руках, замусоленный конверт. — Я вам с выражением!

Он помолчал для солидности и начал, медленно, со смаком, вычитывая слова:

«Здравия желаю, товарищи! Пишет вам Шахрай. Прошу извинить, не писал доси. Докладываю: с госпиталя определился инвалидом второй группы. Ездовым в обоз и то комиссия не допустила, не признала годным к службе. И война еще идет, а я на гражданке, как и не был военный. Кости у меня нарушены в обеих ногах, но я без костылей, забросил их вже давно. Хожу, только танцювати не можу. Трохи привыкаю до гражданской жизни. Сперва доглядал за конями. Кони не дуже гарные, тоже вроде меня нестроевые пособраны, которые от военных остались».

— Эх, якие теперь в колгоспе кони! — вздохнул Опанасенко.

Федьков продолжал читать:

«А еще докладываю — оженился. Поклон вам передает моя дружина Мария Остаповна Шахрай. Я ее взял с артели «Червоный прапор», от нас, ежели навпростець, шесть километров. Ихний председатель не хотел ее отпускать, меня агитировал переселиться до «Червоного прапору». Но я не поддался. Живем у моего батька, после

посевной начнем лепить свою хату. Как я теперь человек проверенный, то получил в подчинение кладовую. На этом посту, как на фронте, тож глаза и уши треба. Недавно дуже подозрительны штаны у одного показались. Я зараз, как разведчик, приметил. Привел в правление, дал приказ: «Разувайся!» Он снял чеботы, из штанин жито посыпалось, свесили — восемнадцать килограмм. Вот как я разул и разоблачил. Однако извините, дорогие товарищи, за мои байки, то так, к слову. Обязательно пропишите, все ли живы и здоровы, про награды и богато ли наловили языков с той поры, как Шахрай отирается по тылам. И старые у нас командиры или новые кто? Желаю вам бить и ловить фрицев до полной победы».

Федьков дочитал письмо, аккуратно сложил.

— Вопросы есть?

— Есть! — отозвался Плоскин. — А какова собой шахраева жинка? Фотографии не прислал?

— Ладно, затребуем, для тебя персонально, — пообещал Федьков.

— Завидки на Шахрая берут! — крякнул Плоскин. — Отвоевался человек, женился.

— Что, и тебе захотелось? — спросил Федьков.

— Да я женатый, двух потомков имею... Эх, друзья мои, что за жизнь без бабы... Четвертый год как-никак.

— Терпи! — посоветовал Прохоров. — С войны вернешься — наверстаешь.

— Кто его знает. Может, там к моей уже подобрался какой-нибудь.

— А ты соседу напиши, пусть информирует, — посоветовал Федьков.

— Да, может, сосед — сам к ней! Теперь в тылу, известно, на одного восемь девок. А ежели по безмужним, вдовам считать — и того более.

— Ну, вдовы! — лицо Федькова выразило пренебрежение. — Лично меня эта категория мало интересует. Девушек сколько угодно. Но только знаете? Я решение принял: после войны год не жениться! Пока самую лучшую в Одессе не найду!

— Ще год? — скептически улыбнулся Опанасенко. — Ты ж казав — сразу после войны? Год — ни, не втерпишь! Да ты, я ж бачил, с румынкой або с мадьяркой,

яка подходяща, и то окрутывся б, коли б за так не зробыв.

— Скажешь! На кой они мне! Я женским полом, тем более иностранным, абсолютно пренебрегаю!

— Абсолютно? Эге ж, — хитровато подмигнул Опанасенко. — Ще с прошлого года то знаю. Як заночуем где по дорози, враз найдешь контакт с местным населением... Дывлюсь доси: як ты с ними договариваешься? На якой мове?

— Слышь, товарищ сержант! — Федьков перевел разговор на менее щекотливую для него тему. — А где ж наш герой Зубарь? Обратно прислать обещали, а все нет.

— Проверяют еще, наверное...

— Что его проверять? Да я за него любую гарантию дам! Я б с Зубарем в разведку — без сомнения! — В устах Федькова это была высшая аттестация.

— Да, парень стоящий, — подтвердил Снегирев.

— А ты нажми на это дело, чтоб вернули! — тотчас же попросил его Федьков. — Ты же наш партийный деятель! С начальством беседы имеешь. Майору Понедельному скажи — бойцы просят! Я сам, если увижу, скажу!

— Давай, давай, — усмехнулся Снегирев. — Уже тебе-то замполит ни в чем не откажет.

— А то? Меня майор Понедельный знает. Мы с ним в Будапеште...

Федьков прервал свою речь на полуслове:

— Комдив!

По дороге, расшвыривая колесами куски загустевшей грязи, катил знакомый всем солдатам «виллис» командира дивизии с мотающимся над кузовом прутом антенны.

«Виллис» остановился как раз напротив того места, где сидели бойцы прохоровского отделения. Тотчас же к машине быстрым шагом подошел Белых, откозырял, начал докладывать. Генерал, не дослушав его, успокоительно махнул рукой. Они о чем-то поговорили, Белых повернулся и пошел обратно. Неторопливо выбравшись из машины, генерал через дорогу направился к солдатам. Никто из находившихся поблизости полковых офицеров не последовал за ним. Все они, даже еще во многом не искушенный Галочкин, знали: комдив любит потолковать с солдатами с глазу на глаз.

Стоя поодаль и потихоньку переговариваясь, офицеры наблюдали за генералом. А он подошел к солдатам, и вот они стеснились вокруг него, так что генерала совсем не стало видно, только можно было понять, что завязался разговор.

— Значит, теперь немец покатился, говоришь? — переспрашивал тем временем генерал Плоскина, протиснувшегося к нему ближе остальных.

— До самого конца! — отвечал Плоскин, любивший перед начальством держаться гоголем. — До Берлина!

— Ишь ты какой легкий! — смерил генерал взглядом петушистую фигуру Плоскина. — Сам не покатится. Прикладом подталкивать надо. А перестанешь — покатится, да только обратно, на тебя.

— Понятно, — Плоскин не лез за словом в карман.— Это вроде как вверх бревно катить. Либо кати, либо держи, а из рук все одно не выпускай, а то пришибет.

— Понимаешь! — рассмеялся генерал. — Плотник?

— Нет, я по модельной обуви мастер.

— Ну вот, мастер, нам с тобой от Верховного командования задание: Вену брать.

— А скоро?

— Срок короткий.

— Выполним досрочно, товарищ генерал!

— Лих ты, мастер, языком тачать. А каков в бою?..

Ведя разговор, генерал почувствовал на себе чей-то особо пристальный взгляд. Присмотревшись, заметил пожилых лет солдата с плотными седоватыми усами. Не пытается протолкнуться поближе, неотрывно смотрит. Почему так пристален его взгляд? Память подсказывала: где-то приходилось встречаться. Где? Когда? Разве вспомнишь!

Генерал продолжал разговор, но его не оставляла неотвязная мысль: где же он встречался с этим молчаливым усачом? Может быть, не с ним, а с кем-то на него очень похожим? А все-таки, пожалуй, с ним? Конечно, с ним!

Когда в разговоре наступила небольшая пауза, генерал не утерпел. Поманив примеченного солдата, спросил, когда тот вышел на край образовавшегося вокруг генерала тесного кольца:

— Служишь давно?

Усатый, попытавшись придать своей мешковатой фигуре настоящую военную выправку, ответил, как отпечатал:

— Призыва тыща девятьсот двадцатого года. Рядовой боец сорок второго пехотного имени Третьего Интернационала полка!

— Сорок второго пехотного? — переспросил генерал. — А какой роты?

— Шестой роты, второго взвода, первого отделения!

— Опанасенко?!

— Так точно! — лицо усача расплылось в улыбке, которую он не смог сдержать.

— Нет, обожди, какой же рядовой?.. — генерал охватил смущенно улыбающегося Опанасенко за плечи и, выведя его на середину, размашистым движением руки показал всем. — В гражданскую войну я у него в отделении рядовым состоял.

Говорок изумления прошел среди обступивших генерала бойцов. А он продолжал, показывая на сконфуженного Опанасенко:

— Отличный отделенный был! — подмигнул солдатам: — Давал мне проборки, чтоб службу исправно нес. Я от него как-то два наряда схлопотал.

Вокруг засмеялись.

— Ведь было такое дело, товарищ отделенный командир?

— Та шо вы, товарищ генерал... — в замешательстве пробормотал Опанасенко.

— Верно, верно!.. — подтвердил генерал. Солдаты тщетно пытались сдержать улыбки и смех. Плоскин, незаметно для генерала, лукаво подмигивал Опанасенко.

— Я был первого года службы, а он, — генерал показал на Опанасенко, — второго. Так что я был перед ним совсем еще неотесаный. — Генерал посмотрел на солдат смеющимися глазами. — Товарищ Опанасенко первым начал мне военную науку преподавать. Не будь у меня хорошего отделенного — может, я дальше рядового и не ушел бы.

— Да ну як же, товарищ генерал, — вставил свое слово Опанасенко. — Я ж и грамоту знал не дуже вашего.

— Бывает, и с большой грамоты малый толк получается! — рассмеялся генерал. — Спасибо тебе, товарищ

отделенный. — Он еще раз крепко потряс руку Опанасенко. — Ну, брат, а я тебя сразу и не узнал. Меняют годы человека, а?

— А то ж... И вы не то ж... — бормотал Опанасенко, вконец смущаясь.

— В эту войну — давно служишь? — спросил генерал.

— Як нимца с Полтавщины прогнали...

— И все в нашей дивизии?

— Так точно, товарищ генерал! По фамилии я вас знал, а бачить доси не приходилось... Сегодня — в первый раз. Но в лицо сразу вас признал.

— Чего ж не сказал?

— Так як же можно...

— Ну, как служится?

— Та як усим.

— Ордена имеешь?

— Медаль тильки.

— Ранен был?

— Був, а як же...

— Все рядовым?

— А кем? Я ж теперь старый, а командир должен быть бойкий.

— Помню, помню, каким ты был... — Вдруг генерал подхватил Опанасенко под руку. — Пойдем, потолкуем...

Генерал провел Опанасенко меж расступившимися солдатами к своей машине, стоящей поодаль, и уселся с ним там на заднем сиденье. Вот в руке генерала сверкнул на солнце портсигар, он протянул его Опанасенко, тот прикурил — солдатская серая шапка-ушанка и генеральская фуражка на миг сблизились.

Сидели рядом, не спеша покуривали, о чем-то разговаривали — два старых однополчанина. А снова рассевшиеся на обочине солдаты поглядывали на них, толковали меж собой:

— Ну, всё! В генеральскую машину Опанасенко забрался, не иначе комдив его себе в ординарцы возьмет...

— Не захочет Опанасенко в придурки...

Федьков, подмигивая Прохорову, посмеивался:

— Теперь — во с каким начальством у Опанасенко блат! Ты, товарищ сержант, с ним поосторожнее... Гля-

дишь, вернется сейчас в должности и в звании, скомандует: «Сержант Прохоров, ко мне, бегом!»

— Ладно, годи, годи, — спокойно отвечал Прохоров. — Опанасенко был солдатом и останется им, как ты — есть балабола и ею пребудешь.

— И всегда-то ты на меня, товарищ сержант! — с притворной обидой вздохнул Федьков. — Вот попрошу Трофима Сидорыча, чтоб при следующем разговоре с генералом жалобу на тебя подал!

— И то... — с шутливой опаской сказал Прохоров.

Опанасенко и генералу не пришлось беседовать долго: к машине треща подлетел мотоцикл. С него соскочил офицер, начал что-то докладывать.

Солдаты видели: генерал, жестом прервав доклад офицера, протягивает руку Опанасенко, тот торопливо выбирается из машины — генеральский шофер уже завел мотор.

Машина рванулась, следом за ней застрекотал мотоцикл.

Опанасенко вернулся смущенный и вместе с тем важный, молча сел. Вокруг него мгновенно собрались солдаты, посыпались расспросы, и шутливые и серьезные:

— Тебя генерал к себе берет?

— Опанасенко, ты бы отпуск просил!

— Зачем отпуск? Скоро отвоюемся. Лучше бы насчет орденка намекнул!

— Слышь, Трохим, а за что ты ему два наряда влепил?

Опанасенко было и приятно и неловко. Он отмалчивался. Постепенно вопросы и советы перестали сыпаться. Возле Опанасенко остались только товарищи по отделению. Он о чем-то сосредоточенно размышлял. Потом задумчиво проговорил:

— От же как бывает! — усмехнулся в усы. — За одной дивчиной ухаживали, когда в лагерях под Кременчугом стояли.

— Ну, и кто у кого отбил? — поинтересовался Федьков.

— Та мы ж по-доброму. За меня пошла, як отслужився. То ж Докия моя.

— Силен! — восхитился Федьков, — генерала, а! А что — он за то не в обиде на тебя?

— Яка ж теперь обида... Сколько рокив прошло. У него теперь вже сыны — лейтенант и капитан. — Опанасенко улыбнулся. — Но вспоминал все ж! Спытывал про Докию, привет наказал передать.

Больше про свой разговор с генералом Опанасенко ничего не рассказал. Да и не до того уже было.

По-мальчишески звонко и по-командирски строго скомандовал лейтенант Галочкин:

— Взвод, становись!

* * *

В середине дня солдат, шагавших все тем же степным проселком, нагнали обозные повозки. Бересов с утра, когда полковые тылы собрались двигаться вслед за наступающей пехотой, приказал свалить с повозок все, кроме боеприпасов, и посадить на повозки стрелковые подразделения, чтобы они могли быстрее догнать врага.

Обрадовавшиеся солдаты быстро, на ходу рассаживались, укладывали оружие, порядком уже намявшее плечи. Заполненные повозки набирали ход и рысью проезжали вперед.

Снегирев, Федьков и Плоскин ехали на одной повозке.

Кони бежали рысцой, из-под колес взлетали комья подсыхающей грязи, щелкали по бортам повозки, по голенищам. Кругом серебрилась под высоким солнцем слегка волнистая равнина — степь без конца и края. Только изредка по сторонам виднелись еще по-зимнему серые сады да белели возле них невысокие, просторно расставленные деревенские постройки.

— Красота! — Федьков вскинул на уровне носа большой палец правой руки — это означало его полнейшее восхищение. — Вот так бы до Берлина. Да баян бы еще! Я б сыграл!

Плоскин усомнился:

— А ты баян в руке-то держал?

— Я? — Федьков иронически прищурился. — Да я этих баянов — имел! Трофейных! Живьем баянистов с инструментом брал. Не верите? Слово Федькова. Захвачу фрица вместе с музыкой, доведу до своей передовой и велю: играй марш! Так на капэ и заявлюсь.

— Что-то я ни разу такой музыки не слыхивал, — продолжал сомневаться Плоскин. — А ты, Григорь Михалыч, слыхал?

— Не приводилось.

— Еще услышите! — пообещал Федьков.— Я же тогда не в вашей роте был. Будет случай — сыграю.

— А ты и в самом деле умеешь? — Плоскин все еще сомневался. — Или только при помощи пленных фрицев?

— Что мне фрицы! — Федьков посмотрел важно. — У меня, дорогой товарищ Плоскин, музыкальное образование — Одесская государственная филармония!

— Филармония? — Плоскин на миг призадумался. — Обожди! Я ж знаю! У нас в Ярославле тоже есть. В филармонии только заявки на концерты принимают. Там музыке не учат.

— Много ты понимаешь! — нашелся Федьков.— Я там у одного руководящего товарища, у композитора, индивидуально обучался. Я сольно пел! Эх, бывало нажму на все клапаны... — Федьков руками сделал движение, как бы растягивая меха незримого баяна, бойко запел:

Где тебя я видел? В Курске? В Черновицах?
В Киеве? — Припомнить не могу...
Голубые очи, черные ресницы —
Этот образ в сердце берегу...

Подмигнул, развел руками, пошевелил пальцами, как бы перебирая залихватски лады:

Как по имени, как по отчеству —
Я скажу откровенно — не знаю.
Но мне встретиться с тобой хочется,
Незнакомка моя дорогая...

— Глядите, глядите! — вдруг прервал Федьков песню. — Воды сколько! Как море у нас в Одессе.

Снегирев приподнялся:

— Балатон!

— Тот самый? — восхитился Плоскин. — Тот самый, вокруг которого все бои идут?

— Тот самый...

Слева от дороги, по которой катились повозки, почти от самой колеи, далеко вниз уходила круча, с оползнями глины, с торчащими кое-где прутьями, а у ее подножия, на многие километры, до самой дальней дали, насколько хватал глаз, смыкаясь там с голубым небом, сверкала

под полуденным солнцем масса воды — спокойной, словно налитой в гигантскую, с необозримыми краями чашу. Вблизи берега над серебристо-голубоватой рябью белыми искрами промелькнуло несколько чаек.

Федьков соскочил с повозки, побежал к обрыву.

— Куда ты? — крикнул ему вдогон Снегирев.

— Балатонской водички попить! — Федьков скрылся под обрывом, только кусты протрещали.

Плоскин тоже занес было ногу, чтобы спрыгнуть, но раздумал:

— Обратно в гору лезть... Пускай Федьков. Ему везде первому надо. — Спросил Снегирева: — Теперь что, половину Венгрии еще пройти осталось?

— Меньше! Километров сто еще.

— А там — и войне капут!

— Не сделаешь ей капут — сама не скапутится. Она живучая, стерва. Как матерый волк. — Снегирев улыбнулся. — Вот у нас однажды случай был. Под конец уборки. Я председателя тогда замещал. Под вечер както сижу в его кабинете, сводку сочиняю. А больше во всей конторе никого нет. Клава, счетоводка, вышла куда-то. Заявляется наш колхозный шофер, Дурылин Васька, — порожнем с элеватора вернулся. Говорит: «Выдь, погляди, что я привез!» Выхожу, смотрю — в кузове у него волк лежит, здоровущий. Васька объясняет: «Я его в степи заметил, не утерпел — за ним!» Степи-то у нас ровные, где хошь езжай. «Гонял, гонял, — Васька рассказывает, — да и настиг, сшиб передним скатом!» Поругал я его за машину. Васька выслушал, говорит: «Я волка покуда здесь оставлю, надо машину в гараж ввести. В бухгалтерию положу, Клавку пугнуть. А потом заберу». Ладно. Ушел я опять в председательскую. Прошло немного — как заорет кто-то возле бухгалтерии! Нет, не Клавкин голос. Выглянул я — Васька! Стоит бледный, дверь в бухгалтерии подпирает. «Чего ты?» — спрашиваю. «Ходит!» — «Кто ходит?» — «Он!» — «Кто он?» — «Волк!» — «Ты же его задавил?» — «Задавил, а он ходит! Ожил!» Пришлось у сторожа берданку брать да того волка стрелять в дому, через окошко...

Запыхавшийся Федьков догнал повозку, вскарабкался на ходу.

— Ну как? — спросил его Снегирев. — Отведал балатонской водицы?

— Ну ее! — отмахнулся Федьков. — Там у самого берега гитлеряки дохлые, кони ихние побитые. Бой был, кто-то раньше нас сюда поспел, фрицев с дороги под обрыв посшибал.

— Ничего, — утешил Снегирев. — Обратно пойдем — будет и в Балатоне для нас чистá вода.

* * *

К исходу дня полк прошел по проселочным дорогам на северо-запад более двух десятков километров, но так и не вступил в соприкосновение с противником: тот продолжал непрерывно отходить.

Перед закатом колонну полка нагнали танки. Ревя и лязгая, они мчались мимо, оставляя на еще сырой земле глубокие рубчатые следы. Не без зависти смотрели солдаты с повозок на автоматчиков-десантников, облепивших башни.

Дольше всех глядел вслед промчавшимся танкам Снегирев: где-то на таком же — сын, Семен...

Вскоре было приказано спешиться. С проселка свернули в степь. Несколько километров, рассредоточившись, шли то по сыроватым еще, вязким пашням, то по сухой упругой прошлогодней дернине. Уже темнело, когда впереди, на фоне золотисто-желтого закатного неба, четко, как вырезанные из черной бумаги, обозначились остроугольные крыши. Остановились: из селения, показавшегося впереди, вернулась разведка. Офицеры, собравшись в кучку, о чем-то переговаривались. Уже было известно: в селении противника нет. Меж солдатами прошел слушок, что марш продолжится и ночью, пока не догонят врага. Последовала команда строиться. Бересов не любил помпы, но ему нравилось проходить полком населенные пункты в строгом порядке, так, чтобы и видом внушать уважение иностранцам.

Выстроенные по четыре, выдерживая равнение, роты двинулись к селу. Отделение сержанта Прохорова шло в голове колонны.

Вот уже и окраину видно — чуть призолоченные закатом белые стены домов, ограды. А что это за хибарки на отлете у оврага? Небрежно слепленные, небеленые, кое-как крытые соломой, так не похожие на обычно добротные дома венгерских сел.

Пестро одетые женщины в длинных юбках мелькали возле лачужек, сбегались в кучки. Полуголые ребятишки, босоногие, несмотря на холодную еще пору, носились повсюду — то мчались к дороге, то обратно.

Солдаты на чужой стороне привыкли: входишь в село — безлюдье или настороженные взоры. Здесь встреча начиналась не так.

От хибарок к дороге, напрямик через овраг, на дне которого еще серел снег, бежала женщина. Черные растрепанные волосы развевались за спиной.

— Цыганка! — воскликнул Плоскин, шагавший с края. Он еще хотел сказать что-то, но не успел — подбежавшая старуха с морщинистым коричневым лицом, держа в руке трубку, грудью навалилась на него, стиснула его вместе со всем снаряжением в объятиях и, крича что-то, вкатила ему крепкий поцелуй, так, что у него даже шапка свалилась. Не выпуская обалдевшего Плоскина из объятий, старуха лепила ему поцелуй за поцелуем. Он остановился, остолбенев, на него напирали идущие сзади, движение колонны утратило свой четкий ритм. . . .

Наконец старая цыганка оторвалась от Плоскина. По ее лицу обильно катились слезы, но оно сияло. Размахивая руками — в одной по-прежнему была зажата трубка — и что-то восторженно крича, старуха побежала обратно к лачугам, возле которых толпились ее соплеменники.

— Вторая рота! — долетел сзади рассерженный голос капитана Яковенко. — Что стали?

— Гарна дивчина встретила! — пояснил кто-то.

Плоскин поднял поданную ему кем-то шапку, нахлобучил. Сбившиеся с шага ряды, на ходу выравниваясь, снова входили в ритм марша.

— Ай да Плоскин! — с восторгом проговорил Федьков. — Завидую! Какая дева лобзаньем одарила! И почему тебе так повезло?

— Та може, она рыжих любит? — высказал предположение Опанасенко, шедший с Плоскиным рядом, и удивился: — Як то цыганское племя здесь выжило? Их же Гитлер, катюга, начисто изничтожил. У нас на Полтавщине так, сам бачил: и цыган, и евреев — всех, даже детишек, под корень...

— Смотрите, смотрите! — показал пришедший в себя Плоскин. — Оркестр!

Цыганка, уже добежавшая до лачуг, металась среди обступивших ее соплеменников, всплескивая руками, что-то объясняя. К дороге спешили несколько цыган — кто в долгополом черном сюртуке, кто в распоясанной яркой рубахе. Некоторые тащили скрипки. Впереди, размахивая смычком, словно шпагой в атаке, мчался неимоверно длинный, худой, небритый цыган, прижав маленькую скрипочку к боку. Поминутно оборачиваясь, он кричал что-то следовавшим за ним. Позади всех, охватив руками огромный контрабас, едва поспевал мальчишка, босой, в мешковатом, с чужого плеча, желтом клетчатом пиджаке с подвернутыми рукавами. Но вот длинный цыган остановился, подождал, пока с ним поравняются остальные. Вот уже все музыканты выстроились в ряд, на фланге — мальчишка с контрабасом. Длинный цыган воинственно взмахнул смычком. Оркестр заиграл знакомое. Проходя мимо оркестрантов, солдаты удивлялись:

— Вот наша «Катюша». Всему свету известна!

«Катюша» позади звучала не утихая. Колонна втянулась в проулок, вышла на улицу. Никого из местных жителей не было видно — село словно вымерло. На стене крайнего дома чернели огромные, аккуратно выписанные буквы «Sieg oder Sibirien!» [1].

На следующем доме еще более огромная надпись, сделанная той же краской и так же аккуратно, но русскими буквами, грозила: «Красноармейцы! Остановитесь! Впереди вас ждет только смерть!»

Село было длинное, нескончаемое. Оно казалось нескончаемым еще и потому, что солдаты вступали в него уже уставшими после целого дня марша: в конце похода километр всегда длиннее, чем в начале.

В центре села, возле старинного костела, сложенного из мрачного серого камня, с редкими окошками-щелями, остановились.

Солдаты сидели, прислонившись спинами к каменной ограде, поглядывали через дорогу на костел, на бе-

---

[1] «Победа или Сибирь!» — лозунг, которым гитлеровские пропагандисты пытались в последние дни войны укрепить дух своих солдат.

левшие близ его стен свежеоструганные могильные кресты со свастикой посредине и колючими готическими надписями, переговаривались:

— Боев тут не было, а покойники есть. Наверное, сюда как в тыл их свозили.

— Тыл, да только теперь не его, а наш.

— А гляньте, у них и мертвяки воруют: вон на могиле цветки в горшках. Из какого-нибудь дома сперто...

Из-за угла вышел невысокого роста сухонький старичок в черном пальто и в черной шляпе, из-под которой виднелись длинные седые волосы. В руке он держал заступ.

— Поп! — определил Плоскин.

— Сторож! — возразил Федьков. — Станет тебе поп за лопату браться.

Стороной обойдя солдат, старичок подошел к могиле, на которой стояли два горшка с цветами, прислонил заступ к кресту, взял в каждую руку по горшку и понес их прочь. Немного погодя вернулся, взялся за лопату и стал выкапывать крест со свастикой. Работал он старательно, но медленно, с частыми передышками.

Федьков подошел к старику, движением руки отстранил его:

— Дайкось, папаша! — поплевал на ладони, ухватился за середину креста, где свастика, легко выдернул его, бросил прочь. Старик что-то просяще проговорил, показывая на остальные кресты, на себя, на Федькова, и тот, переходя вместе со стариком от одного креста к другому, вмиг повыдергал их все. Сняв шляпу и церемонно прикладывая ее к груди, старик благодарно смотрел на Федькова, улыбался, быстро говорил что-то.

— Ладно, папаша! Теперь гут будет! — Федьков похлопал старика по плечу: — Чисто!

— Гут, гут! — закивал старик, обрадовавшийся, что нашлось хотя бы одно, правда, ни русское ни венгерское слово, которое понимают они оба. Но с особенным удовольствием повторил, очевидно, понравившееся и сразу ставшее понятным ему:

— Чьисто, чьисто!

— Ишь, как я этого старикана быстро по-нашему научил! — похвастался Федьков, вернувшись к своим.

Время шло, а бойцы все еще ждали возле костела.

Проехал мимо на своей Пуле Федосеич. Заприметив Снегирева, крикнул:

— Эй, парторг! На-ка газетку! Про вас писано.

— И в самом деле! — удивился Снегирев, взяв газету.

Бойцы потянулись к Снегиреву, заглядывая в газету:

— Неужто про нас?

— Читай, читай!

Снегирев начал громко читать, далеко от глаз отставляя газетный лист: был он по-стариковски дальнозорок. Под заголовком «Они остановили врага» на двух столбцах рассказывалось, как сражался батальон в позавчерашнем бою, упоминались и старший лейтенант Белых, и лейтенант Галочкин, и Прохоров, и Снегирев, а также офицеры и солдаты других рот. Внизу стояла подпись: «А. Карбовский».

— И когда только успели? — удивился Снегирев, дочитав.

— Чудненько! — больше всех ликовал Федьков. — Теперь вся армия про нас знает!

Радовались и остальные. Ведь еще несколько минут назад никто и не подумал бы, что они достойны похвалы за бой, в котором пришлось уступить врагу половину селения. И долго еще ходила газета по рукам. Только когда стемнело, газету вернули Снегиреву.

За черепичные крыши уже кануло солнце, разлив по небу спокойное золотисто-алое полымя — предвестник завтрашнего ясного дня. Тени домов и заборов, удлиняясь и густея, потянулись наискосок через улицу. Вырастая в ширину, смыкаясь, они всю ее затянули мягкой синеватой тканью сумерек, и на этой синеве уже хорошо заметны стали огоньки солдатских цигарок...

* * *

Капитан Гурьев, на марше находившийся в центре колонны, шел вдоль улицы, разыскивая Бересова, который должен быть где-то впереди. Гурьева беспокоила затянувшаяся остановка: разведка, вновь ушедшая вперед, почему-то долго не сообщает, что путь свободен. Может, близко противник? Не развернуть ли подразделения в боевые порядки?

Окна приземистых, толстостенных домов, притаившихся за белыми каменными заборами, были темны. Только кое-где сквозь щель прикрытого ставня или плотно задернутой занавески проскальзывал лучик света. Мимоходом взглядывал на такое окно Гурьев и невольно щемило сердце: для кого-то этот свет — свет домашнего огня, а для него — чужой. Не для него, не для его однополчан сейчас круг семьи, близость любимой... Дорогой сегодня снова донимала его досада: так и не нашел письмо. На душе его сейчас было как после сна, в котором, он знал: Лена близко, вот только увидеть ее не может...

Бересова Гурьев нашел в большом каменном доме, принадлежащем, наверное, какому-нибудь местному богатею. Возле ограды стоят несколько оседланных лошадей и всем знакомый бересовский мотоцикл. В помятой каретке дремлет водитель.

Гурьев вошел в дом. Бересов устроился, как всегда, в первой попавшейся комнате. Он сидел на широченной кровати, застланной голубым атласным покрывалом. На тумбочке горела большая керосиновая лампа. Розовый абажур, снятый с нее, лежал на полу. На коленях Бересов держал сложенную гармошкой карту, вынутую из планшетки, что-то рассматривал и помечал на ней карандашом.

— А, генеральный штаб! — поднял он голову от карты, увидев Гурьева. — Где пропадаешь?

— Я же в середине колонны. Думал — вот-вот дальше пойдем.

— Нет, повремени... Разведчики только что донесение прислали — противник, похоже, решил подзадержаться вот здесь, за селом, — Бересов показал карандашом на карте.

— Обычный заслон, для прикрытия... Дать по нему из минометов и дальше.

— Обожди, не торопись. Я комдиву по рации докладывал. Сам так предлагал. А он приказал: развернуться, стоять, продолжать разведку.

— А не уйдут немцы опять потихоньку, как от канала?

— Ну, если наши «глаза и уши» опять прохлопают, я им... — Бересов угрожающе шевельнул косматыми бровями. Видя, что Гурьев хочет что-то возразить, сказал: —

Наша задача — нависать над противником. А главный удар по нему танки нанесут, которые нас обогнали. Так вот: передний край за окраиной, — Бересов показал по карте. — Фланги на месте уточни с комбатами. В батальоны — телефонную связь. Мое капэ — здесь. Действуй.

Глава 2

ГОНВЕДЫ ХОТЯТ ДОМОЙ

...Только за полночь Гурьев наконец освободился от всех хлопотных дел, которые наваливаются на пэнша, стоит только полку остановиться.

Все, что требовалось уточнить, проверить, доложить, — уточнено, проверено, доложено. Боевые порядки развернуты, ведется наблюдение и разведка. Пока что и пэнша может позволить себе отдохнуть.

В большом, покинутом хозяевами доме, занятом под командный пункт полка, во всех комнатах расположился штабной люд — связные, телефонисты, автоматчики комендантского взвода. Гурьев устроился в проходной комнатушке за кухней. Тускло мерцала прилепленная к подоконнику свечка, где-то раздобытая связными. Почти всю комнатушку занимала нескладная деревянная кровать, застланная двумя перинами. В изголовье уже стоял ящик полевого телефона — это было наибольшее бытовое удобство, какого мог желать Гурьев. Он сел на кровать и снял сапоги, поставив их так, чтобы в случае чего можно было моментально обуться.

Уже собрался лечь, но в это время вошел майор Понедельный.

— Не спишь еще, штаб?

— Штабу спать не положено... — Гурьев подобрал босые ноги на кровати, давая место Понедельному. — Садись!

Они давно были на «ты», с той поры, как служили вместе, когда Понедельный был еще только батальонным замполитом. Обычно не очень-то просто сближавшийся с людьми, Гурьев в ту пору легко сдружился с Понедельным. Гурьеву нравилась в Понедельном внутренняя строгая сдержанность, так противоположная го-

рячности Яковенко, умение просто и быстро располагать к себе людей. Может быть, в этом сказывался прежний житейский опыт Понедельного: до войны тот был запальщиком, а потом, по выдвижению, несколько лет председателем рабочкома на руднике близ Ижевска, где и сейчас живет его семья.

— С передовой? — спросил Понедельного Гурьев.

— Оттуда.

Понедельный присел на край кровати:

— Что нового в высших штабах? Какие указания?

— От противника не отрываться, а на него не лезть.

— Долго здесь простоим?

— Едва ли.

— Устали бойцы. Но все же поход веселей обороны... Все рады, что от канала так скоро вперед пошли.

— После канала мы все еще в подследственных значимся, — вспомнил Гурьев. — Единственное утешение — дальше фронта не пошлют.

— Что ты вздыхаешь все? — пристально посмотрел Понедельный. — Вот Яковенко тоже. Тот, правда, не вздыхает, ругается. А стоит ли? Как поговаривали в старину: бог не выдаст, свинья не съест.

— Тебе хорошо говорить...

— Хорошо! Думаешь, в случае чего с меня меньше спросили бы? Нет, брат... Когда все в порядке — могут и не вспомнить, а коли плохо — и замполит получай на полную катушку, да еще прежде прочих.

— На полную катушку пусть тот получает, кто мост без надобности взорвал.

— Ты про Неворожина? Но ведь он и в самом деле не знал, что самоходки посланы.

— Мог бы и подождать. Расхрабрился со страху. А теперь из-за него всем...

— Ну, так уж и всем! Переживаешь — и того с тебя предостаточно. А делу этому, считай, конец.

— Ты слыхал что-нибудь? — оживился Гурьев.

— Нет, просто знаю, как комдив на это дело смотрит.

— Как?

— Справедливо.

— Откуда тебе известно?

— Если он справедливый человек, как он может смотреть иначе?

Порывшись в планшете, Понедельный вытащил оттуда измятый листок:

— Я к тебе вот зачем забрел...

Гурьев глянул: машинописный текст, по-немецки.

Понедельный расправил листок:

— Нашел возле дороги, где немецкий обоз, танками раздавленный.

— Интересное что-нибудь?

— Похоже — да. Жаль, не прочту. Ты же знаешь, мой немецкий — на два с тремя минусами. В вечернем техникуме у нас на руднике проходил, да что преуспел? Вас ист дас да ауфвидерзеен. Не то, что у тебя — институт! Подсоби-ка разобрать!

— Давай! — охотно согласился Гурьев. С такими просьбами Понедельный обращался к нему уже не раз.

Подвинувшись поближе к свечке, стал разбирать текст:

— Приказ по армии...

— Читай, читай, — поторопил Понедельный.

Медленно, как умел, Гурьев переводил слово за словом:

«Солдаты армии! Теперь бои идут у границ нашего отечества. Все солдаты должны быть на переднем крае. Уклоняющихся постигнет позорная смерть. С сегодняшнего дня тыловая прифронтовая полоса будет подвергнута тщательному прочесыванию силами специальных заградительных отрядов. Те, кто к этому времени не будет находиться на переднем крае, без допроса расстреливаются. Исключение составляют только обозы, части снабжения и другие тыловые подразделения, а также лица, имеющие направление в свою часть и находящиеся на пути к ней. Те, которые не могут знать о расположении своей части, должны двигаться непосредственно на шум боя, явиться в первую же часть для участия в бою. Все удостоверения об отправке в тыл, кроме положенных командировок и перемещений, с сего дня теряют свою силу».

— Подписано: генерал Бальк, — закончил перевод Гурьев.

— Вот как приперло! — рассмеялся Понедельный. — Взлютовал его превосходительство... — Протянул руку за листком: — Дай-ка! Бойцам покажу. Чтобы знали, как арийский дух скис.

— Время позднее.

— Ничего! На переднем не спят, вот и я... А ты тут кончай переживать, «подследственный»!

Понедельный ушел.

«Не меньше, чем мне, хлопот ему, — поглядел вслед Гурьев. — Ну, пока время позволяет, — спать!» Вспомнил: «Надо предупредить связистов: будут звонки Бересову — пусть сначала вызывают меня, ему отдохнуть надо». Взял трубку, намереваясь вызвать дежурного по штабному коммутатору. Но палец, положенный на кнопку зуммера, не нажал на нее: в трубке услышал Гурьев такое, что не могло не заставить его улыбнуться.

— Когда же? — вопрошал юношеский, чуть загрубевший басок, по которому Гурьев узнал одного из полковых телефонистов. — Когда скажешь? Ведь обещала... Еще в Будапеште.

«С кем это он? — попытался догадаться Гурьев. — Девушки только на дивизионном узле есть...»

— Что ты! — отозвался рассерженный девичий голос, — вдруг кто услышит...

— Да никто, кроме меня... — стал уговаривать басок. — Сорок первый спит, сорок второй — тоже. («Вот и ошибся ты, парень», — усмехнулся Гурьев.) А больше никого на проводе нет... Так как?..

Однако девичий голос больше не отзывался.

— «Фиалка»! «Фиалка»! Почему молчишь?..

Настойчиво загудел зуммер. Видно, парень, отчаявшись, вовсю нажал кнопку. Но вот зуммер смолк, и едва слышный, нерешительный девичий голос произнес:

— Я хотела дождаться, когда война кончится... — и в этот миг снова загудел зуммер.

— Ой, да не зуммери ты, я же слышу твой вызов. Слышу!

В голосе девушки прозвучало такое, что ее собеседник мгновенно возликовал:

— Да? «Фиалка»! Да?

И в ответ смущенное:

— Разве ты не понимаешь?..

— Кто это там болтает? — прогремел чей-то начальственный голос. — «Фиалка», отставить разговоры! Почему на вызов не отвечаете?

Рассмеявшись, Гурьев положил трубку. «Ничего, парень успел понять...» Прилег на заскрипевшую кровать, закинув руки за голову: «Счастливые: слышать друг друга могут. А я... — и письмо-то не прочел, пропало... Вот что! Напишу-ка Лене, чтобы не волновалась: письмо ее получил, здоров, все хорошо... Полежу еще немножко и напишу...»

Недосыпавший уже которую ночь, он и не заметил, как закрылись глаза. Сон, непроницаемый, глубокий, как пучина, поглотил его. И только позже сквозь толщу этого сна пришли сновидения. Собственно, сначала он даже не видел ничего, а лишь чувствовал, как в нем растет и растет какая-то неясная тревога. Потом тревога эта приобрела определенность: где-то здесь, совсем близко,— Лена. Но где она? Где? Найти ее. Иначе они опять надолго расстанутся... Он увидел себя в каком-то большом, светлом, но совершенно пустом доме. Рывком открывая двери, проходит из комнаты в комнату. Где Лена? В окна бьет яркое солнце, и особенно ощутима в его ослепительном свете пустота и бесприютность огромного дома. Где Лена? Может быть, только что спустилась по лестнице, по которой сейчас подымается он? Кричит: «Лена! Лена!» Но все слабее слышит свой собственный голос. Совсем близко нарастает песня — множество голосов. Это солдаты поют что-то протяжное, но веселое. Поют громко, слаженным хором, но почему нельзя понять ни одного слова? Да ведь это не по-русски поют!

Проснулся в тревоге: на самом деле поют хором где-то очень близко, за стеной, поют на чужом языке. Пленные? Откуда? Да и не бывало так, чтобы пленные пели.

«Нет, не сон...» Открыл глаза. Кругом все по-прежнему: телефон, оплывающая свечка, завешенное дерюгой окно. Выглянул в кухню. В ней перед этим спали солдаты, но сейчас она пуста. Только измятая солома на полу да кем-то оставленный на подоконнике котелок. «Неужели наши отступили, а я остался?» — Гурьев растерянно оглянулся. За стеной многоголосо, как и во сне, громко звучала непонятная песня.

Скрипнула наружная дверь. Вошел один из связных.

— Кто там поет? — спросил Гурьев.

— Мадьяры.

— Пленные?

— Сами заявились. Целая рота, через передовую. Их только что связной из батальона привел. Мы все и побежали смотреть...

Гурьев поспешно вышел. Светало. Почти весь двор загромождали запряженные пароконные фуры военного образца на больших колесах. Возле стены дома, сбившись в тесную кучу, сидели чернявые солдаты в шинелях цвета глины и таких же шапках с большими козырьками и пели что-то протяжное, но веселое. А вокруг стояли, переговариваясь, любопытные бойцы. Один из мадьяр, не принимающий участия в общем хоре, прикуривал у бойца, стоявшего поблизости. Сизый тонкий дымок мадьярской трубочки и русской самокрутки, свиваясь в одну струю, подымался над их головами вверх — утро начиналось тихое, безветренное, дым не сразу таял в прохладном воздухе.

Не первый раз с тех пор, как полк идет по чужим землям, видит Гурьев подобное. В прошлом году, после Ясс, вот так же закуривали солдаты с отвоевавшими румынами... А все как-то непривычно — запросто смотреть на тех, которые еще вчера были обязаны убивать тебя, а ты — их...

Спустился с крыльца. Мадьяры, увидев советского офицера, перестали петь, и все как по команде встали. Сидевшие в сторонке четыре их офицера тоже поднялись, вскинули ладони к козырькам своих высоких, выдающихся углом вперед кепи. Ни один из них не имел признаков выправки, по которой угадывается старый кадровик. «Запасники, вроде меня», — решил Гурьев.

Один из офицеров с погонами старшего лейтенанта что-то сказал другому, младше чином. Тот быстрым шагом подошел к Гурьеву, козырнул и проговорил, старательно, четко произнося русские слова:

— Господин капитан! Командир седьмая рота тридцать восьмой гонведный полк старший лейтенант Фарнаи приказал доложить: в роте налично девяносто восемь солдат и четыре офицера. Просим получить ваш приказ.

«По-русски горазд!» — Гурьев не очень-то приязненно смотрел на бойко рапортующего, по погонам, кажется, прапорщика. «Пожил, видно, на нашей земле...» Спросил:

— Где оружие?

— Сложено на... как это — бричка! Подвода! — показал прапорщик на фуры. — Нас отправят на Россия?

— Зачем? Вы уже побывали там, хватит.

— Какие прикажете распоряжения?

— Пока ожидайте здесь.

Гурьев пошел в дом, к Бересову. Тот уже поднялся, собирался на передний край.

Выслушав, не очень удивился, сказал:

— Распорядись сам. Не до мадьяр мне, — и пошел.

«Морока с такой оравой! — посетовал Гурьев. — Куда их девать?» Поразмыслив, решил оружие мадьяр передать в полковой обоз, а самих отправить в штаб дивизии на их же повозках без конвоя: куда они сбегут, если сами пришли?

Выйдя вновь во двор, Гурьев послал одного из связных за начальником боепитания, а сам, подойдя к мадьярским офицерам, передал им через говорящего по-русски прапорщика свое решение. Выслушав, офицеры оживленно и с явным беспокойством о чем-то заговорили меж собой. Потом замолкли. Прапорщик сказал Гурьеву: командир роты и все офицеры настойчиво просят дать конвой. Они опасаются, как бы кто-нибудь из русских по дороге снова не забрал их в плен, не посчитавшись с тем, что они уже сдались добровольно. «А и верно, — согласился Гурьев, — известное дело — найдутся какие-нибудь ухари, начнут тыловую «ненависть к врагу» проявлять...» Пообещал:

— Хорошо, вас будут сопровождать.

«Сопровождать-то сопровождать, но кому?» Не хотелось брать людей из боевых подразделений — каждый человек в строю сейчас дорог. «А! — решил он, — хватит с них и одного сопровождающего. Лучше бы, для солидности, офицера...»

В эту минуту к Гурьеву подошел начальник полкового боепитания, или, как он для краткости именовался, начбой, — смугловатый, с тонкими усиками, кавказского обличья, капитан.

— Зачем вызывал, начальник? — спросил начбой, поздоровавшись. — Зачем рано встаешь, других тревожишь?

— Дело есть. — Гурьев, взяв капитана под руку, отвел его к крыльцу. — Видишь, мадьяры в гости пожаловали?

— Вижу. Ну и что, им бурдюк и шашлык?

— У них свой харч на повозках. Ты у них вооружение прими.

— Да что ты? — отшатнулся начбой. — На чем повезу, куда? На марше же все... Ой-ой-ой! — начбой горестно покачал головой, укоризненно поглядывая на мадьяр. — Какой недогадливый народ! Не могли винтовки куда-нибудь в поток побросать!

— Здесь тебе не Кавказ, потоков нет, — улыбнулся Гурьев. — Столько трофеев, а ты не рад.

— А что я — трофейная команда? Не возьму. Транспорта нет. Свой боеприпас бросать, да?

— Бери сколько надо мадьярских повозок. На них и отправишь в тыл.

— А ездовыми тоже мадьяр посажу? У меня людей лишних нет!

Можно было отдать начбою приказание от имени командира полка, но Гурьев не стал этого делать. Ему пришла мысль: может быть, в санчасти, которая ночью вместе с другими тыловыми подразделениями вслед за пехотой пришла в село, найдутся какие-нибудь легкораненые или не очень серьезно заболевшие, которых начсанслужбы, вняв их просьбам, не отправил в медсанбат, а оставил, как это бывает, до поправки на повозках санроты? Таких можно использовать для сопровождения — не все ли им равно, на какой повозке пробыть пару дней?

Гурьев решил сам сходить в санчасть, расположившуюся на той же улице, и договориться с начсанслужбы.

Начальник санчасти — молодой врач с угрожающей фамилией Крадожон, выслушав, сказал:

— Кто же во время наступления у меня усидит? Есть один, но и тот обратно в подразделение собирается.

— Кто это?

— Лейтенант Галочкин из первого батальона.

— Что, ранен?

— Нет, абсцесс ступни. Наверное, на канале ногу застудил, когда перебирался. Не ходить, компресс на ночь — все пройдет. Я говорю: побудьте подольше на повозке, а он ни в какую: «Как бойцы, так и я». Втолковываю: пешком вы все равно от бойцов отстанете, а то и сляжете совсем. А он — свое: во взвод! Безобразие! А если доиграется с абсцессом до того, что в лежачие

перевести придется, кому отвечать? Галочкину? Нет, Крадожону!

Гурьев спрятал улыбку: его всегда смешил бурный, но скоропроходящий гнев рачительного эскулапа.

— Где этот ослушник Галочкин сейчас?

— В соседней комнате. Я велел наложить ему мазевую повязку.

— Ходить он сможет?

— Может, но не должен. Хотя бы дня два.

— Хорошо. Когда он закончит все дела здесь, скажите, что его срочно вызывают на капэ полка. Ко мне.

— Скажу. Вы что с мадьярами его послать хотите?

— Да. Сопровождающим. Ему ходить нельзя, а сидеть — все равно на какой повозке.

— Это — не противопоказано, — согласился Крадожон.

Гурьев предупредил:

— Только не говорите Галочкину, зачем вызван.

...Опираясь на палку, прихрамывая, Галочкин шел из санчасти и клял свою опухоль. И с чего это приключилось? Нога начала побаливать еще позавчера, после того, как с плотика ухнул в холодную воду. Становилось все труднее ходить. К Ольге, хотя она и ротный санинструктор, обратиться постеснялся: станет он ей совать свою разутую ногу! И так пройдет. А вот на марше сегодня стало совсем невтерпеж. И пухнет, хоть сапог сбрось. Ольга подходила, спрашивала, почему он захромал. Ответил, что пустяки. Ночь, находясь вместе с солдатами на позиции за селом, кое-как промаялся, а чуть свет зашедший к нему Белых заставил идти в санчасть. Врач велит не натружать ступню, делать компрессы или, по вечерам, ножные ванны. Компрессы! Ванны! А если бой? Или марш? Добро бы старая рана открылась (как жаль, что такой нет!), а то какая-то опухоль, как у ревматической старухи. Если солдаты догадаются — засмеют. Да как бы чего доброго не подумали, что перед боем ловчит, «шкурку бережет». Как теперь быть? И ходить нельзя, и уходить из взвода нельзя...

Когда Галочкин явился к Гурьеву, тот сразу же сказал ему:

— Командир полка приказал поручить вам выполнение особого задания, — и пояснил, в чем будет заключаться это задание.

Дисциплинированность не позволила Галочкину отказаться, но лицо его приняло такой огорченный вид, что Гурьев счел своим долгом утешить:

— Скоро вернетесь, нас на попутных догоните. Ведь вы сейчас все равно в поход не годитесь. Не понесут же вас перед солдатами на носилках, как Карла Двенадцатого, шведского короля?

В это утро ездовые и шоферы, проезжавшие по дороге, ведущей в тылы, удивлялись, увидев на встречной повозке нашего лейтенанта, о чем-то мирно беседующего с венгерским офицером, позади — еще несколько повозок со множеством желтых шинелей, уложенных на них, а за повозками — колонну мадьярских солдат, с бодрым видом шагающих налегке, в одних мундирах. При взгляде на это мирное шествие подумывали некоторые: «А уж не кончилась ли война?»

Нет, война продолжалась. Через час после того, как мадьяры были отправлены в тыл, батальоны получили приказ Бересова снова двигаться вперед: противник, уклоняясь от боя, вновь продолжил отступление.

Исход битвы под Балатоном был решен. Контрударом советских войск было сломано правое крыло немецкого фронта, одиннадцать танковых дивизий, составлявших его остов, разгромлены.

С каждым часом все быстрее откатывались потрепанные гитлеровские войска на северо-запад, к австрийской границе. Ударные танковые соединения Третьего Украинского фронта с десантами мотопехоты, брошенные вперед по главным дорогам, на арьергарды и на фланги противника, не давали ему закрепиться, прийти в себя. Истративший силы в бесплодном наступлении, ошеломленный быстрым контрударом, враг, теперь еще больше боясь «котлов» и «мешков», спешил отойти, чтобы где-то дальше, на более выгодных для него рубежах, успеть стать в оборону.

Вопреки ожиданиям, Галочкин не вернулся ни в тот же день к вечеру, ни на следующий. Отправляя связного в штаб дивизии с очередным донесением, Гурьев послал с этим же связным записку знакомому штабному офицеру с просьбой узнать и сообщить, куда же делись лейтенант Галочкин и сопровождаемые им мадьяры. Связной вернулся, доложил: о Галочкине и мадьярах ничего не

известно. Гурьев уже каялся в своем легкомыслии: как можно было лейтенанта посылать одного? А вдруг «сопровождаемые» пристукнули его и подались по домам, не пожелав по пути «пересадки» через лагерь военнопленных?

Глава 3

ЯНОШ САМБОР

В густой синеве апрельской безлунной ночи по шпалам однопутной колеи шли три бойца. Лес по обеим сторонам пути был скрыт тьмой. Но он давал о себе знать нежным, слегка терпким ароматом недавно раскрывшихся почек, смешанным с запахом еще влажной, но хорошо прогретой за день земли.

Первым легкой, неслышной походкой шагал Федьков. Следом Снегирев, назначенный старшим, рядом с ним — Плоскин.

Сегодня их полк после короткого боя с вражеским заслоном вступил в безлюдный поселок, приютившийся меж лесистыми холмами, близ небольшой железнодорожной станции. За поселком открывалась широкая, гладкая, как стол, луговина, пересеченная извилистой, с открытыми берегами речкой. Идущий от станции железнодорожный путь тянулся через речку и луг к дальним холмам, за которыми едва заметной на фоне вечернего неба синевой проступали дальние горы. На однопролетном мосту виднелся неподвижный товарный состав с паровозом, головой в сторону противника, — неизвестно почему немцы не угнали его.

Как только первая цепь бойцов выдвинулась с окраины, спеша перейти речку, по ним из кустарника на противоположном краю луга ударили пулеметы, полетели мины. Цепь залегла.

Едва кто-либо подымался для перебежки, как противник открывал бешеный огонь. Подавить этот огонь было пока нечем: артиллерия, двигавшаяся не как пехотинцы напрямик, по холмам и лесам, а в обход, по дорогам, еще не подошла.

Начало темнеть. Предупреждая напрасные потери, Бересов распорядился прекратить попытки выйти за речку и приказал закрепляться. За последние дни, после

того, как полк на пути к австрийской границе миновал берега Балатона и, пройдя степные равнины, вступил в лесистое предгорье, это был первый случай, когда наступающие натолкнулись на серьезное сопротивление. Может быть, именно эту речушку враг избрал в качестве решающего рубежа?

Большую тревогу Бересова вызывал железнодорожный мост. Им уже не владеет противник, но он еще и не в наших руках. Надо взять! Ведь других переправ, годных для танков и артиллерии, поблизости нет. Но все подступы к мосту — под огнем. Брать его можно только ночью, когда темнота станет союзником наступающих. Однако не будет ли мост взорван врагом раньше?

Рота старшего лейтенанта Белых заняла позиции у крайних домов поселка, всего в каких-нибудь трехстах метрах перед мостом. Белых старался понять: почему противник не подорвал мост? Не успел? А может быть, в вагонах ценный груз и немцы надеются вытащить состав на свою сторону? Или берегут мост для наступления? Недаром они здесь так огрызаются...

Белых ждал темноты. Он получил приказ: разведать на участке роты брод и подступы от него к мосту. Решил сделать это лично, командирской разведкой. Ведь брать мост — в первую очередь его роте.

Когда солнце опустилось за холмы и по лугу начал стлаться туман, Белых, взяв с собой давно и пока что безуспешно напрашивающегося к нему в ординарцы Федькова, на глаза которого, по-прежнему опыту, ночью он мог надеяться больше, чем на свои, прокрался с ним вплотную к берегу речушки, говорливой, как все речки, бегущие с гор.

Над бурлящей меж камнями водой уже лежали густые тени от невысоких, но крутых берегов. Луг медленно одевался туманом. Тянуло зябкой речной сыростью. Глянув вниз с края невысокого обрыва, Белых невольно поежился: холодна вода, если лезть.

Таясь, он и Федьков двинулись вдоль берега. Там, где темная вода с журчанием кружилась меж округлых, тускло белеющих камней, прилегли. Не отыщется ли удобный брод тут?

Вдруг Федьков предупреждающе толкнул Белых под локоть, шепнул:

— Сопит!

Белых прислушался: действительно, кто-то хрипло дышит возле воды.

Затаясь, выжидали. Хриплое дыхание слышалось по-прежнему.

— Раненый! — определил Федьков. — Или пьяный. Язык нам на счастье! Берем, а?

Кивком Белых выразил согласие. Тронул Федькова за плечо — тот без слов понял, как понимал когда-то в ночных поисках.

Осторожно поползли вперед. Хриплое дыхание слышалось совсем близко. Белых чуть приподнял голову, всматриваясь: кто-то лежит ничком, ногами почти касаясь воды, протянув руки, словно цепляется за землю. Широко раскинуты полы распахнутой куртки.

По знаку Белых Федьков вскочил, и оба вмиг оказались около лежащего. Тот даже не шевельнулся. Недоуменно переглянулись: мокрая, топырящаяся брезентовая куртка-спецовка, никаких признаков оружия. Одежда невоенная. Не из местных ли кто? Белых тронул лежащего за плечо — тот только задышал еще тяжелее, простонал невнятно.

— Раненый! — убедился Федьков. — Немцы его подшибли...

— Бери! — распорядился Белых.

Перекинув автоматы за плечи, приподняли неизвестного. Он тяжело обвис на их руках. Оттащили к позициям роты. Неизвестный не приходил в себя.

Позвали Ольгу. При свете фонарика осмотрев раненого, она определила: два пулевых в спину, навылет. По телефону доложив Яковенко, Белых приказал отправить раненого в санчасть.

Белых с Федьковым вернулись к речке продолжать поиски брода. Раздевшись, Федьков несколько раз входил в воду. Оттуда выскакивал, стуча зубами, прикладывался на один глоток к фляге с согревательным и снова лез в воду, брел к противоположному берегу, тыча впереди себя жердью. Белых лежал на берегу, готовый в случае чего прикрыть Федькова огнем. Наконец брод нашли — метрах в двухстах правее моста, очертания которого теперь уже совсем скрыла густая тьма.

Отпустив Федькова, Белых пошел доложить, что брод найден. Но телефонист сказал ему, что капитан Яковенко уже дожидается на проводе.

Белых взял трубку.

— Срочное задание! — сказал Яковенко. Белых сначала решил, что Яковенко шутит: нужно найти паровоз.

Но Яковенко вовсе не шутил.

Узнав о доставленном в санчасть неизвестном, Бересов поручил Гурьеву выяснить, что это за человек. Нельзя ли от него узнать что-либо о противнике?

Полковая санчасть помещалась в одном из домиков пристанционного поселка. Уже предупрежденный, Крадожон встретил Гурьева. В комнате, тускло освещенной керосиновой лампой, на застеленной чем попало деревянной кровати лежал, запрокинув голову, раненый — грудь забинтована, синеватые от въевшейся пыли щеки, короткие усы. Большие темные руки, вытянутые вдоль тела, неподвижны, только кисть левой, свисающая с кровати, чуть подрагивает...

Гурьев шепнул Крадожону:

— Да он совсем плох!

— Много крови потерял, — пояснил тот.

Раненый шевельнулся, пытаясь привстать. Мягким и вместе с тем решительным движением Крадожон удержал его.

«Как мне его расспросить? — Гурьев был в затруднении: по-мадьярски знал всего пяток слов... — А что если он, как многие здешние, по-немецки понимает?»

Мешая известные ему мадьярские слова с немецкими, Гурьев спросил раненого, кто он. И тот в ответ заговорил на смеси немецкого и венгерского, заговорил порывисто, сбивчиво — Гурьев едва улавливал смысл. Но все-таки понял: раненый — с паровоза на мосту, кочегар, в вагонах — взрывчатка. И еще сказал раненый что-то про железную дорогу в лесу, про какой-то завод...

Кочегар говорил недолго. Бессильно откинул голову, веки сомкнулись. Крадожон шепнул Гурьеву:

— Очень тяжелое состояние.

— Может быть, отправить его сейчас же в медсанбат?

— Он нетранспортабелен.

Наскоро распрощавшись с Крадожоном, Гурьев поспешил к Бересову. Выслушав, тот встревожился:

— А, черт! Стоит немцам дать пару снарядов в эшелон — взлетит мост!

Фересов призадумался:

— Как сохранить мост? Пока темно — послать людей отцеплять вагоны, откатывать на эту сторону по одному?

— Долгая история, товарищ подполковник. Немцы непременно услышат, обстреляют.

— Верно... У артиллеристов тягач попросить?.. Но еще когда подойдут. Да и тарахтит тягач. Не успеет и к мосту приблизиться.

— А что, товарищ подполковник, если исправный паровоз поискать?

— Где? На станционных путях — голо.

— А если... на ветке, что от станции в лес ведет? Я не совсем понял, но раненый мадьяр, кажется, говорил, что оттуда они эшелон вели, и не издалека.

— Едва ли немцы оставят где исправный паровоз... Да попытка не пытка, дай задание. Ну, а машинист? В полку — не найдем. Железнодорожников-то не призывают.

— Был бы паровоз — отыщем умельца.

...И вот Снегирев, Федьков и Плоскин идут по железнодорожной ветке, отходящей в сторону от станции. Рельсы уводят их все дальше в глубь леса. Густеет тьма. Черная чаща, пахнущая молодыми почками, теснее сдвигается слева и справа.

Куда приведет путь? Он тянется по выемке. Ее откосы подымаются по сторонам все выше. Уже трудно различить, где кончаются они, где начинается ночное небо.

Прошли еще немного. Остановились: поперек выемки сереет высокая, верхнего края не видно в темноте, бетонная стена. Распахнуты створы огромных железных ворот. Меж створами огромной черной пастью зияет отверстие тоннеля — полукруглое, высотой в два человеческих роста. В него уходят, теряясь в непроницаемой темноте, рельсы.

— Вот так штука! — Федьков зажег фонарик — круг белого света упал на рельсы, метнулся вверх к бетонному своду, снова опустился. — Пещера капитана Немо!

— Погаси фонарь! — вполголоса сказал Снегирев.

— А что? Здесь фрицев нет. Что они дураки нас дожидаться? Смылись, ясно!

— Кто его знает... Погаси.

Федьков щелкнул кнопкой — светлый круг исчез, сдвинулась тьма.

— Поглядим, что дальше?

— Только без шума! — предупредил Снегирев.

— А то? — в голосе Федькова прозвучала ирония: его ли учить?

Федьков первым вступил в тоннель, держась вплотную к стене. Пахнуло холодом камня.

— Может, к самому пеклу эта дорога, для сообщения Гитлера с чертями? — храбрясь, спросил Плоскин.

— Разговоры! — сердитым шепотом оборвал Снегирев.

...Идут на ощупь.

Тоннель все круче поворачивает вправо. Впереди, едва приметный, забрезжил свет. Он все ярче. И вот, слепя глаза, засверкали яркие огни.

— Чудно́! — вполголоса проговорил Федьков. — Как у Жюль Верна.

Остановились. Переводная стрелка. Здесь тоннель, а вместе с ним и рельсовый путь раздваиваются. Тоннель, идущий влево, освещен, идущий вправо, — тонет во тьме.

Свернули в освещенный тоннель. Пройдя шагов сто, увидели на рельсах вереницу пустых железнодорожных платформ. Может быть, дальше есть и паровоз?

Пошли вдоль платформ. Десять, двадцать, тридцать... Вот и последняя. Паровоза нет. Тоннель тянется дальше. Справа в стене полукруглая арка, из нее падает яркий свет. Заглянули: сводчатый зал. В два ряда вдоль облицованных цементом стен — какие-то механизмы. В проходах — аккуратные штабеля сверкающих латунью снарядных гильз. Тоненько жужжит какая-то машинка. Вентилятор?..

— Цех!.. — осмотрелся Федьков. Снаряды делают, что-ли?

— Не взлетим? — забеспокоился Плоскин.

— Будь спокоен! — Федьков показал: — Вверх — потолок не пустит.

Еще один цех на пути. В этом от стены к стене тянутся ряды деревянных столов с закрепленными на них какими-то небольшими, замысловатого вида машинками. Вдоль столов, прилегая вплотную к ним, висит на прикрепленных к бетонному своду металлических кронштей-

нах с валиками лента конвейера. Через небольшое отверстие в дальней стене она уходит куда-то.

Но особенно разглядывать некогда. Снова идут вдоль рельсовой колеи, освещенной тусклыми потолочными лампами. Тоннель закругляется, за поворотом все явственнее голоса.

Солдаты приостановились. Настороженно выглянули из-за поворота: ютясь у стены, сидят женщины и ребятишки. Возле них наспех связанные перины, чемоданы, кастрюли, плетеные корзинки, детские коляски, загруженные узлами.

Пришедших увидели — и мгновенно оборвались разговоры, словно ветер молчания дунул. В наступившей тишине особенно громко прозвучал испуганный детский голосок. Боязливый женский шепот тотчас же погасил его.

Десятки полных тревожного ожидания глаз смотрели на бойцов.

Не по себе стало Снегиреву от множества этих недвижных, настороженных взоров, полных затаенного страха. Объяснить бы людям... Да как? Не знаешь ведь по-ихнему. Но вот Федьков приветственно пошевелил растопыренными пальцами правой руки, приподняв их вровень с головой, воскликнул:

— Салют!

По мнению Федькова, такое приветствие должны понимать на любом языке.

И действительно, сидевшие у стены зашевелились, негромко, но оживленно заговорили, некоторые встали.

Меж детьми и женщинами оказались и мужчины — в спецовках, в легких немудреных пальтецах, в затертых овчинных кожушках мадьярского покроя со шнурами поперек груди. Медленно, с прежней настороженностью поглядывая на пришедших, подымались, сходились, о чем-то переговаривались вполголоса.

Парень в долгополой серой куртке и неопределенного цвета и формы шляпе, лихо сдвинутой на затылок, выступил впереди остальных, молча и не очень-то приветливо рассматривая пришельцев. Сзади предостерегающе крикнула женщина, но парень или не расслышал, или не обратил внимания.

— А ну, потолкуй с ними! — шепнул Снегирев Федькову. Он надеялся: тот сумеет объясниться и без мадьярского языка.

— Немец есть? — спросил Федьков. — Немец тудом? [1]

Парень в шляпе развел руками, как бы извиняясь, что не понял вопроса.

— А паровоз?

Парень снова развел руками.

— Ну — локомотив, машина, ту-ту! — Федьков зашипел, словно испуская пар, завертел перед собой кулаками, изображая движение поршней и вращение колес.

Парень кивнул: понял, дескать! — и показал вдоль тоннеля.

— Где? Веди! — Федьков тронул парня за локоть, показал на себя: — Нас вели, понимаешь?

Косясь на Федькова, парень не очень охотно спустился на рельсовый путь и пошел.

Солдаты поспешили следом.

Пройдя немного, парень свернул в узкий, только двоим разминуться, проход. В конце прохода винтовая железная лестница штопором ввинчивалась вверх, в каменную толщу. Заныли под ногами гулкие решетчатые ступени. Лестница кончилась. Небольшая площадка. Наглухо закрытая железная дверь. Из-за нее доносится монотонный гул. Парень постучал. Из-за двери что-то спросили, она медленно приоткрылась. Выглянул черноусый человек, одетый в синий, слегка замасленный комбинезон. Настороженно оглядывая пришедших, посторонился, уступая им путь.

— Чудеса подземного царства! — Федьков первым протиснулся в дверь.

В небольшом, ярко освещенном, с округлыми сводами зале, наполняя его мерным шумом, работали два мощных дизеля на бетонных постаментах. Каждый из них вращал большую динамо-машину.

Пять — шесть человек в комбинезонах и рабочих куртках слитной кучкой стояли неподалеку от двери и глядели выжидающе. Провожатый что-то сказал им, показал на солдат. Люди продолжали настороженно мол-

---

[1] Понимаешь *(венг.)*.

чать, переглядывались, смотрели на вошедших по-прежнему так, словно ждали от них плохого. Но вот выступил вперед человек в почерневшей от угольной пыли брезентовой куртке с блестящими пуговицами и в форменном, похожем на старинный кивер, кепи с кокардой, изображающей крылатое колесо — эмблему железнодорожников. Невысокий, узкий в плечах, острые молодые глаза. Но виски в серебре, ниже коротко подстриженных черных с проседью усов, возле губ, — глубокие складки.

Показав на звезду на шапке Федькова, спросил:

— Oroszok?[1] Товариш?

— Ну, а кто ж? — не очень любезно ответил Федьков. — У нас господ нету.

Человек в брезентовой куртке, кажется, понял. Он доверчиво улыбнулся, произнес длинную фразу на своем языке, объясняя что-то, и воскликнул: — Привет! Спасиб! Пожалуст!

Русские слова он произносил старательно, как бы боясь ошибиться и все же сбиваясь на ударениях и окончаниях:

— Добри ден! — Показал на себя:—Та война, плен— Самара. Четыре год Россия, Самара! Пролетар! Девьятнадесят год, мадьяр совет солдат!

Снегирев показал на себя:

— И я — в девятнадцатом воевал.

— Да, да! — обрадовался человек в брезентовой куртке. — Товариш! Товариш!..

Федьков шепнул Снегиреву в ухо:

— Слышь! Все они теперь тут товарищи... А глядишь, окажутся господа.

Человек в брезентовой куртке, видимо догадываясь, о чем шепчет Федьков Снегиреву, на миг растерянно замолк, но тотчас же приложил ладонь к груди, отрекомендовался:

— Янош Самбор. Майстер машина, локомотив!

— Не врет! — Федьков показал Снегиреву на крылатое колесо на кепи Самбора: — С железной дороги он, факт.

— Спроси насчет паровоза.

Самбор понял вопрос Федькова и в ответ только развел руками: здесь, на подземных путях, не осталось ни

[1] Русские? *(венг.)*.

одного локомотива. С превеликим трудом подбирая русские слова, а больше полагаясь на жесты, Самбор объяснил: он — машинист маневрового паровоза. Вчера немцы приказали вывести нагруженный состав с завода и вести дальше. Самбор и его помощник решили бежать. Помощник замешкался, а Самбор сбежал, пробрался в лес, потом и на завод, в подземельях которого укрылись все жители поселка.

— Так ты с того самого паровоза? — кое-как разобрал Федьков сказанное Самбором. — Я же твоего напарника на своих руках нес! От речки до санчасти!

Узнав, что случилось с его помощником, Самбор очень взволновался. Еще больше коверкая русские слова, он стал расспрашивать о нем.

— Ну ладно, пошли! — прервал Снегирев, огорченный тем, что приходится возвращаться, не выполнив задания.

Увидев, что бойцы уходят, Самбор предложил вывести их кратчайшим путем. Когда он направился к двери, сзади ему негромко крикнули что-то предупреждающее. Но Самбор не остановился.

Подымались узким коридором по ступеням крутой бетонной лестницы. На одной из ступеней лежало что-то ярко-красное. Самбор нагнулся, поднял крохотный детский башмачок. Сунул его в карман, с улыбкой проговорил что-то по-своему.

Поворот, еще несколько ступеней — и лестница уперлась в наглухо закрытую железную дверь. Самбор легонько толкнул ее, она медленно открылась — и подземные запахи сырого камня и холодного железа сменил аромат молодой травы и почек: вплотную перед дверью непроницаемой стеной чернел лес.

— Спасибо! — поблагодарил Снегирев Самбора. Позвал товарищей:

— Идем!

Пошагали по едва белеющей в темноте тропе над выемкой.

Вдруг сзади послышались торопливые шаги.

— Тот старик! — удивился Федьков. — Чего ему?

— Товариш! Товариш! Várjon! [1]

---

[1] Подождите! (*венг.*).

Самбор стал торопливо объяснять, больше жестами, чем словами. Он выведет с моста эшелон, если паровоз исправен. Он не хочет, чтобы немцы взорвали эшелон и погубили бы мост, станцию и весь поселок. Самбор — старый солдат, его не испугает и стрельба!

Плоскин шепнул Снегиреву:

— Кто его знает? Свяжемся, а он нас — под монастырь...

Но Снегирев позвал Самбора:

— Идем!

* * *

Три солдата и машинист молчаливо шагали безлюдной улицей поселка. Темны были покрытые решетчатыми ставнями окна стоящих за каменными оградами домиков с белеными стенами и черепичными крышами. Можно было подумать, что в домиках в этот поздний час все безмятежно спят. Но то распахнутая калитка, то раскрытая дверь, то занавеска, белеющая через разбитое, с оторванным ставнем окно, — все это говорило: пусты в домах постели...

Когда проходили мимо домишка с двумя окнами, глядящего на улицу из густых кустов сирени, уже покрытых белыми пупышками бутонов, Самбор остановился, взволнованно заговорил, показывая на окна: сквозь щели ставней сочился свет. Это его, Самбора, дом. Невестка с внуком спрятались, как и все, в заводских подземельях, а сын убит в России. В доме свет — значит там есть кто-то. Самбор хочет заглянуть домой, всего на минутку.

— Ладно! — согласился Снегирев. — Только быстро!

— Бистро, бистро! — заверил Самбор.

— А мы, — сказал Снегирев товарищам, — закурим пока.

Но Федьков не остался со Снегиревым и Плоскиным на улице, увязался за Самбором, вытащил фонарик:

— Я ему посвечу.

И любопытно Федькову было, и бдительность хотел соблюсти.

Проходя во двор и предупредительно пропустив вперед Федькова, Самбор тщательно прикрыл за собой калитку, аккуратно заложил полусорванный кем-то засов.

Подошли к крыльцу. Федьков посветил фонариком на ступеньки. Самбор нерешительно остановился: на сту-

пеньках валялись две заношенные, черные от грязи портянки. Из-за полуоткрытой двери слышалось: тяжело скрежещет сдвигаемая мебель, что-то стукнуло, что-то упало, покатилось с жестяным перезвоном.

— Чего испугался, камрад? Идем! — Федьков носком сапога отшвырнул портянки.

Самбор в нерешительности замедлил шаги, услышав, как Федьков, войдя в дом, грозно окликнул кого-то.

В мерцании свечки, прилепленной к кухонной плите, Самбор увидел неожиданную картину. Сердито сопя, Федьков надвигался на коротконогого солдата в расстегнутом ватнике, с чубом, выбившимся из-под сдвинутой на затылок помятой ушанки. В тот миг, когда Федьков появился на пороге, чубатый шарил по кухонным полкам, сталкивая на пол, чтобы не мешались под рукой, кастрюли и банки. Услышав окрик, небрежно швырнул миску, которую держал в руке, не спеша обернулся:

— О, Федьков! Здорово! Что тебе тут?

— А тебе? — Федьков не ответил на приветствие, хотя был знаком с этим солдатом-сапером: вместе когда-то хаживали в поиск.

Чубатый показал на полки:

— Посудину ищу подходящую, чтоб обед сразу на всех брать. С ручкой...

— С ручкой? — Федьков подступил к чубатому вплотную. — А ну, давай отсюда на третьей скорости!

— Что ты мне командуешь? — набычился чубатый. — Я не твой подчиненный!

— А я не посмотрю чей! Сниму с тебя стружку.

— Но, но! — чубатый покосился на Самбора, остановившегося у порога. — Ты на меня при мадьяре не повышай голос. Не роняй авторитета!

— Ты, малая саперная, мне — про авторитет?

— Вот именно. На меня при иностранных не ори! Знать должны: любой наш — выше любого ихнего.

— Любой? — Федьков щелкнул кнопкой фонарика, направил его луч прямо в лицо чубатому, так что тот зажмурился. — К примеру ты, да? Кто это тебе такую истину открыл?

Чубатый отвернул лицо от слепящего света.

— Да погаси свою фару! Ты, я вижу, политграмоту плохо изучал.

— А ты, инженерная часть, видать, не головой изучал, а противоположным местом. — Федьков провел лучом фонаря от лица к ногам чубатого, как бы рассматривая его. — Эх ты, сухомудрый!

— Сам ты сухомудрый! И чего прицепился ко мне при мадьяре?

— Да ты знаешь, кто он такой? — Федьков показал на Самбора.

— И знать не хочу. Что на них смотреть! Ишь, посудины взять не смей! Они у нас поболе шуровали!

— «Шуровали»! — передразнил Федьков, — этот, что ли?

— А может, и этот!

— Скажешь! Этот — за нас!

— Они наговорят! — отмахнулся чубатый. — Они теперь — все за Советскую власть! Что, у него документ есть?

— Документ! Ох, гляжу я, бдительный ты с отклонением от нормы! — засмеялся Федьков. — Да он, ты знаешь? Боец гражданской войны! С нами на задание идет!

Глаза чубатого округлились от изумления:

— Да кто же его знал...

— То-то! Еще документ тебе! — Федьков скользнул взглядом по набросанной на полу посуде. — Ненависть к плошкам-ложкам проявляешь!

— Да я что...

— Ясны твои чувства! — галантным жестом показал чубатому на выход: — Ауфвидерзейн! Адью! Гуд бай! Привет саперам!

Чубатый, озираясь на Самбора, широко шагая короткими ногами, вышел за дверь.

— Это так, темный! — сказал Федьков Самбору, показывая вслед чубатому. — Документ ему!

— Документ? — несколько растерянно переспросил Самбор.

— На кой, папаша? Мы тебе и так верим! Пошли!

Самбор погасил свечку. Федьков посветил ему фонарем, пока он закрывал снаружи дверь.

От калитки окликнули:

— Федьков! Скорее!

— Сейчас! Момент! — Федьков сбежал с крыльца, пошарил лучом фонарика по земле, нашел кусочек отва-

лившейся от стены штукатурки и старательно начертил на двери дома, во всю ее ширину, три огромных буквы:

— Теперь — порядок! Гарантия! Ни один барахольщик не войдет!

Федьков применил испытанный способ. Он написал на двери: ТИФ.

* * *

Отослав Федькова и Плоскина обратно в роту, Снегирев, как было ему приказано, вместе с Самбором явился к капитану Яковенко, который находился в одном из крайних домиков поселка.

В тесной кухоньке сидел лишь дежурный телефонист. Снегирев спросил, где комбат.

— Там, — показал телефонист на дверь, ведущую в комнату. — Сам Бересов к нему пришел, и командира роты вашей вызвали.

Снегирев с Самбором прошли туда, куда показал телефонист. Вскоре Самбор вернулся один. Уселся на скамью, вытащил трубочку. Пошарил в кармане — табака не нашлось. Но трубочку не спрятал, вертел ее в пальцах.

С улицы вошел подполковник Неворожин. Он только что прибыл с артиллерией, которую ему было поручено привести. Неворожин искал командира полка.

Увидев Самбора и остановившись взглядом на его форменном кепи, Неворожин спросил телефониста:

— Язык?

— Не знаю.

— Надо знать, кто у вас тут. Порядочки! Где командир батальона? В той комнате? Командир полка у него?

Неворожин уже взялся за ручку двери, чтобы пройти в комнату, но задержал взгляд на Самборе:

— Офицер? Фашист?

— Нем фашист! — поднялся Самбор, засовывая трубочку в карман. — Майстер машина. Локомотив. Рабоч человек, пролетар.

— Все вы пролетарии! А откуда русский знаешь? В России побывал?

— Да, да! — обрадовался Самбор. — Самара! Та война!

— Та ли, эта ли — кто вас разберет!

В тесной, освещенной электрической лампочкой комнатушке, куда вошел Неворожин, сидели на краю кровати Бересов и Яковенко, у окна стоял командир второй роты старший лейтенант Белых, а у порога — солдат с седовато-черными коротко подстриженными усами. Козырнув Бересову, Неворожин сразу же хотел рапортовать, но Бересов остановил его:

— Со старшим лейтенантом кончу... — и спросил Белых: — Рвешься сам? Не пущу. Тебе задача: как только эшелон удастся сдернуть — рывком захватывай мост. К паровозу идти — чем меньше людей, тем лучше. Подбери бойцов понадежнее. Прихвати из саперного взвода одного — двух, на всякий случай, может, разминировать что придется. Бери мадьяра и действуй. А ты, — повернулся Бересов к Яковенко, — распорядись огнем прикрыть, когда надо будет.

Заметив вопросительный взгляд Неворожина, Бересов в двух словах объяснил ему, какую задачу идет выполнять Белых с помощью мадьяра машиниста.

— Но, товарищ подполковник, — лицо Неворожина приняло озабоченный вид. — У меня, если позволите, есть соображения...

— Предложение? — переспросил Бересов: он так и остался туговат на ухо после недавней контузии.

— Нет, я насчет мадьяра...

— Что?

Неворожин заговорил громче:

— Я хотел бы наедине...

— А! Сейчас! — Бересов обернулся к Белых: — Так давай, выполняй!

Белых и Снегирев вышли.

— Пойду распоряжусь. — Яковенко вышел вслед за ними.

Теперь, кроме Неворожина и Бересова, в комнате никого не было.

— Может быть, прикажете старшему лейтенанту Белых пока обождать? — намекнул Неворожин.

— Зачем? — не понял Бересов. — Время дорого.

— Нет, я вас очень прошу сначала меня выслушать.

— Ну, ладно. — Бересов приоткрыл дверь, сказал кому-то: — Догони тех, с мадьяром, пусть подождут.

— Торопливость опасна!.. — быстрым шепотом начал Неворожин.

Вошел Понедельный.

Неворожин глянул на него искоса, замолк на полуслове. После боя на канале он избегал при Понедельном разговаривать с Бересовым и вообще предпочитал с Понедельным не встречаться, как, впрочем, и с Гурьевым, и с Яковенко.

— Я вас слушаю, — напомнил Бересов.

— Позвольте обратить ваше внимание, товарищ подполковник! — набрался решимости Неворожин. — Использовать иностранное население для боевых действий, как можно!

— Какое население? — вмешался Понедельный. — Этот машинист?

— Вот именно.

— Так мне парторг роты, Снегирев, сейчас рассказал: машинист сам вызвался.

— Ну и что же? — голос Неворожина понизился до едва слышного шепота: — А какую цель этот мадьяр имеет?

— Какую? — Понедельный проговорил это с выражением явного недоумения. — Нам помочь. Да и домишки рабочие спасти...

— Не всякому иностранцу можно верить.

— Этому — можно. Боец гражданской войны.

— Гражданской? А документами подтверждает?

— Не смотрел.

— Ну вот, видите! Как же так, товарищ подполковник? В случае чего серьезно отвечать придется!

— А я всегда серьезно отвечаю! — Бересов сдвинул густые брови.

— Но откуда мы знаем, что этот мадьяр — действительно тот, за кого себя выдает? — Неворожин говорил с полной убежденностью в своей правоте.

— А вот товарищ этого мадьяра две немецкие пули получил, когда к нам бежал, — сказал Бересов.

— Да? — Неворожин несколько замялся. — Я не знал... Но я счел себя обязанным предупредить...

— Спасибо. А мадьяру этому — верю твердо.

— Надо бы все-таки проверить через соответствующие органы...

— А я проверил! — отрезал Бересов.

— Уже? Через органы? — не понял Неворожин.



— Да. Есть такие органы соответствующие: голова и сердце. Верно, замполит?

Бересов любил иногда всерьез пошутить.

* * *

Снегирев, Самбор и сапер, присланный перед выходом, лежали у береговой кромки на росистой, еще редкой и низкой траве. Куст над ними остро пах молодыми почками. Ждали Федькова, ушедшего бродом в разведку на тот берег.

Сапер держался в сторонке: это оказался тот самый чубатый солдат, с которым Федьков столкнулся в доме Самбора. Чубатый никак не ожидал, что ему снова придется быть вместе с этим мадьяром, да еще в таком рискованном деле, и был порядком смущен встречей, впрочем, как и Самбор. Перед выходом Федьков, увидав, что за сапер прислан, откровенно выразил свое неудовольствие, но вскоре примирился: «Ладно. Искал кастрюльки — поищешь мины!»

Снегирев, и в этот раз назначенный старшим, действовал сейчас так, как указал ему командир роты. Только с Федьковым и сапером — чем меньше людей, тем меньше опасность привлечь внимание противника — Снегиреву предстояло провести машиниста в голову эшелона. Возле паровоза залечь на случай, если придется прикрывать машиниста огнем. Сапер проверит, не заложены ли под рельсами мины. Машинист тем временем приведет паровоз в действие и двинет эшелон назад, с моста. Если паровоз окажется неисправным — вместе с машинистом все возвращаются, не обнаруживая себя противнику.

В двух шагах перед Снегиревым, невидимая в темноте, звонко бурлила речка. Ватник уже набух от сырости. Локти и колени все глубже уходили в податливую, мокрую почву. Холодом пронизывало все тело... «Нам-то что, а вот старику этому, — побеспокоился Снегирев, — раскашляется еще — заворачивай обратно. — И тут же усмехнулся про себя: — Он старик, а ты? Ровесники ж, считай. Он солдат, и я солдат в ту войну... Что это Федькова долго нет? Утонул, заблудился? Лягушки его съели?»

Казалось, после ухода Федькова прошло уже очень много времени.

Но вот левее, под берегом, глухо плеснула вода. Снегирев приподнялся и сразу угадал в тянущемся над водой тумане знакомую фигуру. Федьков вскарабкался на берег, улегся рядом, шепнул:

— Прохладно... Чих берет — спасу нет.

— Что на той стороне?

— Все в порядке. — Федьков, отстегнув с пояса флягу, глотнул из нее. — Прогреть серединку. А ты? — протянул Снегиреву. Тот отказался.

— Потом. Пошли?

— Эх, — потихоньку вздохнул Федьков, прицепляя флягу на место. — Раньше бывало, если речка — Шахрай здоровущий, каждого на закорках перенесет. Один он намокнет, а мы — сухие... — и легко соскользнул вниз.

...В быстрой речке, рожденной горными ключами, нестерпимо холодна вода. Когда она дошла Снегиреву до пояса, его вогнало в такую дрожь, что пришлось стиснуть зубы. Рядом брел Самбор, то и дело оступаясь на неровном каменистом дне. Следом — сапер, подымая над головой автомат: ему, при его росте, было глубже остальных.

Речку пересекли довольно быстро: стужа подгоняла. Но сразу на сухое не вышли. Федьков повел вдоль берега — обрыв невысок, однако прикрывает до плеч, как стенка траншеи.

Но вот Федьков остановился. Впереди на фоне ночного неба чернели расплывчатые прямоугольные силуэты открытых, загруженных большими ящиками платформ. Под ними едва различались сплетения мостовых балок.

Осторожно поднялись наверх.

До насыпи теперь совсем недалеко. Снегирев втянул носом прохладный воздух: пахнет шлаком, углем, мазутом. Вот и насыпь. Пригнувшись, двинулись вдоль — вровень с головой темнели вагонные колеса. В лицо Снегиреву чуть ощутимо пахнуло теплом. Ага, паровоз! Надо еще немного вперед по линии...

— На ту сторону! — подтолкнул Федькова. Тот быстро пробежал наверх, через рельсы, скрылся за насыпью. Снегирев пристроился на откосе, положив на рельс, как на упор для стрельбы, автомат, которым он на этот раз вооружился вместо своего старого карабина. Машинист ждал под насыпью, шагах в двух пониже.

Сапер скользнул мимо, шаря под рельсами, — он уже занялся своим делом.

Голова Федькова показалась с противоположной стороны:

— Можно!

...Завесив окна и двери паровозной будки двумя плащ-палатками, Самбор старательно орудовал лопатой, забрасывая уголь.

Пар в котле почти не держался: прошло около пяти часов, как в топку не было подброшено ни одной лопаты. Самбор надеялся, однако, что поднять пары удастся: самое главное — паровоз цел, не остыл. Трое русских оберегают Самбора. Возле топки быстро сохнет промокшая в реке одежда. А каково-то русским снаружи, на холодной земле?

Стрелка манометра, на которую, при тусклом свете топки, почти после каждой лопаты угля нетерпеливо поглядывал Самбор, еще и не шевельнулась. На лбу Самбора и на впалых щеках его, в багровых отсветах из топки, поблескивал пот. Он уже устал. Все труднее дышалось. Изношенное годами сердце не успевало гнать кровь. Но Самбор все бросал уголь в топку.

Лопата за лопатой, лопата за лопатой... Вот потихоньку зашумело пламя, с хрустом и треском поедая уголь. Стрелка манометра дрогнула, сдвинулась. Еще сдвинулась. Лопата за лопатой! Еще десять — двенадцать делений шкалы — и можно попробовать тронуть состав. Хорошо, что задним ходом — так легче взять с места... Еще угля! Самбор зачерпнул полную лопату. Но тут руки его дрогнули, уголь посыпался: сквозь гудение пламени донесся отчетливый звук автоматной очереди — стреляют впереди. Самбор швырнул оставшийся на лопате уголь в топку, чуточку отодвинул край плащ-палатки, вполголоса позвал:

— Товарищ!

Никто не откликнулся. Еще ближе простучала новая автоматная очередь, за ней — другая.

За минуту до того, как Самбор из паровозной будки услышал выстрелы, Снегирев уловил впереди, на насыпи, осторожный шорох.

«Идут!» — Снегирев крепче стиснул автомат. По ту сторону рельсов заерзал, задышал напряженно Федьков.

Но шороха больше не слышалось. Ничего нельзя было разглядеть впереди. Верхний край насыпи едва выделялся на фоне беззвездного, затянутого облаками неба; ниже стояла сплошная чернота.

Но вот эта чернота шевельнулась, и всего на миг перед глазами Снегирева мелькнул неясный, едва выступивший из тьмы, согнутый силуэт. Это через рельсы перемахнул Федьков, плюхнулся рядом:

— Слева! Сюда лезут, сво... — и, не договорив, ударил в темноту из автомата, быстро юркнул вдоль рельса. Переменив позицию, снова пустил очередь. Слева за насыпью, куда стрелял Федьков, в ответ в черноте ночи замелькали огоньки, о рельс перед Снегиревым звонко щелкнула пуля, взвизгнуло над головой.

«Ну, пошла игра!.. А что же сапер не стреляет?» — Снегирев дал по огонькам очередь, переполз вдоль насыпи, дал другую. Огоньки исчезли. Убежали немцы или затаились? Придержал палец на спусковом крючке: патроны следует беречь. Смолк и федьковский автомат. Вот Федьков уже снова рядом, жарко дышит в ухо:

— Теперь они с другой стороны попробуют...

— Гляди вправо и назад, а я тут!

Федьков отполз назад. Снегирев смотрел в темноту перед рельсами, прислушивался: не застучат ли позади колеса уходящего состава? Как ждал он этого!

Справа, ниже насыпи, прошуршали быстрые, но негромкие шаги, кто-то перебежал.

«Отходят!» — Снегирев резко переложил автомат в направлении шагов и нажал спуск.

Припал к земле, прислушиваясь. Немцам не они с Федьковым нужны. Эшелон нужен! Дождавшись темноты, они пробираются сейчас к нему. А там, кроме машиниста, только сапер...

Потихоньку позвал Федькова:

— Идем!

Близ паровоза раздалась длинная автоматная очередь. Сапер стреляет...

— Нажмем! — Федьков обогнал Снегирева. Поперек пути мелькают, вспыхивая и угасая, тонкие штрихи тусклого света — это по саперу стреляют из нескольких автоматов.

Неужели машинист не успеет, не сможет стронуть эшелон?

Шагах в десяти перед Снегиревым, чуть повыше насыпи, оглушительно протрещал автомат, в красноватых прерывистых отсветах выстрелов мелькнули на какой-то миг рельс, буфер, паровозное колесо.

— Эй, сапер! — негромко окликнул Снегирев, подбегая к паровозу. Ответа он не услышал: шагах в пяти позади с громким суховатым звоном по рельсам ударили пули. Снегирев бросился наземь, упер автомат в край шпалы, целясь в мелькающие среди темноты искры выстрелов. Федьков залег рядом.

— Сапер! — еще раз позвал Снегирев.

— Здесь я! — отозвался наконец тот откуда-то из-за паровоза.

Дружно застучали три автомата.

Разом — наверно, по команде — погасли светящиеся трассы вражеских пуль. И снова тьма и тишина.

— Федьков, поглядывай! — шепотом предупредил Снегирев, а сам, сменив опорожненный магазин, перебрался поближе к саперу — тот лежал, оказывается, вплотную у передних колес паровоза.

Снегирев спросил сапера:

— Паровоз цел?

— Цел, — прохрипел сапер. — Машинист ход дать обещал.

— Скоро?

— Говорит — да.

— А что ты хрипишь?

— Попали, гады, в меня...

— Стрелять можешь?

— Нечем уже.

— Залазь на паровоз!

— Нет. Три гранаты еще имею.

— А я тебе сказал — на паровоз! Напомни машинисту — как трогать начнет, чтоб мы знали, пусть гудок даст! Тогда и мы за вами.

— Да как я ему скажу? Он же по-нашему не понимает.

— Двинется — покажи, и все.

— Ладно... — сапер тяжело поднялся. Пошатываясь, побрел вдоль паровоза к будке.

Снегирев вернулся к Федькову.

При первых выстрелах бросившийся на пол будки Самбор поднялся, как только смолкла стрельба. С тре-

вожной надеждой поглядывал на манометр. Стрелка уже почти дошла до нужной черты. Попробовать? Положил руку на рычаг. Наверное, возьмет. Но как он оставит советских товарищей? Почему они не спешат к паровозу? Они же обещали! Где тот низенький, так набезобразивший в его доме и почему-то теперь приставленный его охранять солдат, который все время был возле? И почему вот уже несколько минут так тихо? Где русские? Неужели все трое убиты? Или ушли? Нет, они не оставят его одного.

Самбор начал переводить рычаг. О, если бы только взять с места!

Снаружи у подножки заскрипел гравий под чьими-то тяжелыми шагами. Русские или немцы? Самбор быстрее двинул рычаг. Нерешительно, как бы еще не веря в свою силу, всхрапнул впускаемый в цилиндр пар.

За стеной будки раздался громкий яростный крик. Самбор догадался: тот самый, низенький, русский, что все время был возле паровоза. Тотчас же громыхнул взрыв, второй, третий. Ухом старого солдата Самбор различил: три гранаты, брошенные одна за другой.. И бешеная стрекотня автоматов, хлест пуль по железу...

Самбор протянул пальцы к рукоятке гудка — и пронзительный голос паровоза поглотил все звуки вокруг. Где же, где три солдата, пришедшие сюда с ним?

Медлить нельзя! Самбор нажал на реверс. Паровоз вздрогнул, дернулся, лязгнули буфера, под проворачивающимися колесами скрежетнули рельсы. И совсем близко за дверью будки послышался задыхающийся голос. Паровоз медленно трогался с места назад, силясь сдвинуть состав. Порывисто отдернув плащ-палатку, Самбор высунулся, в тусклом отблеске пламени, падающего из топки, увидел: тот низкорослый солдат идет за паровозом, ухватившись рукой за дверной поручень, силится подтянуться, влезть — и не может.

Придерживаясь одной рукой за поручень, Самбор протянул другую солдату и втащил его по железной лесенке в будку, не удивившись даже, откуда в его старом теле взялась такая сила.

Солдат, едва оказался в будке, мешком упал навзничь на запорошенный углем железный рубчатый пол, раскинув короткие ноги. Его измятая ушанка сбилась набок, из-под нее вывалился черный чуб.

— Товариш? Hol a másik kettö[1], товариш? — спросил Самбор. Солдат, кривясь от боли, пытаясь зажать бок ладонью, хрипел что-то.

— Бистро, бистро! — Самбор, прислушиваясь к глухому звуку медленно проворачивающихся паровозных колес, поставил реверс в крайнее положение.

Паровоз, тяжело засопев, рывком дернулся назад. Звук все быстрее крутящихся колес, с тугим хрустом прижимающих рельсы, радостью отозвался в сердце Самбора: взял с места, взял!

Паровоз набирал ход. Под полом будки гулко прогудело растревоженное колесами железо: мост! Вот железное гудение оборвалось: мост пройден! Щелкают пули снаружи, но уже не страшно, словно кто-то камешки вдогонку паровозу бросает. А колеса стучат быстрее, быстрее.

В гуле движения ухо уловило тонкое сипенье: где-то пробит паропровод. Пар пока еще держится. Но еще немного, и скорость падет...

Выстрелы со стороны моста все еще слышались, но, с каждой минутой отдаляясь, звучали слабее. Плащ-палатку, закрывавшую окно будки, сорвало на быстром ходу. В черноте ночи, за окном, стелясь низко над землей, вдоль пути мелькали красные и белые огненные линии. Они наслаивались одна на другую, гасли, на их месте тотчас же вспыхивали новые. Словно кто-то лихорадочно, торопливой рукой расчерчивал тьму огнем, расчерчивал, и тотчас же ночь стирала начерченное. Тонкие шилья тусклого огня беспрерывно пронизывали темь, спеша нащупать уходящий от моста эшелон.

Дробный перестук колес возвестил о первой станционной стрелке.

Самбор уменьшил скорость на случай, если какая-нибудь стрелка впереди окажется переведенной на тупик. В окне мелькали темные контуры приземистых станционных пакгаузов, столбы, семафоры без огней. Состав еще несколько раз громыхнул колесами по стрелкам, и вот снова рельсы под полом будки загудели ровно и спокойно. Мелькнул сбоку и пропал рукастый силуэт выходного семафора. Самбор перекрыл пар. Эшелон прошел

---

[1] Где двое других *(венг.)*.

еще немного и остановился. Самбор нагнулся к лежащему солдату, тронул за плечо. Тот не шевельнулся.

Выглянул из будки, прислушался. Кругом было темно и тихо. Только устало дышал локомотив да где-то с тоненьким свистом выходил из пробитого пулей отверстия пар.

— Товариш! — закричал в темноту.

И тотчас же в ответ гаркнул кто-то с передней площадки. Тот, молодой солдат, с фонариком! А где же другой, усатый, старший?

* * *

Посасывая полупотухшую трубку, Бересов сидел за покрытым пестрой клеенкой столом, над которым ярко горела лампочка — электростанция подземного завода, дающая ток поселку, продолжала работать.

Из первого батальона только что доложили по телефону, что эшелон проследовал от моста, а рота старшего лейтенанта Белых, поддержанная огнем минометов, уже перебралась на ту сторону и закрепляется, ведя перестрелку с противником — теперь уже незачем таиться.

Бересов был доволен: удалось задуманное, спасен мост и поселок. Но докладывать командиру дивизии он не спешил. Еще неизвестно, как окончательно обернется дело. Вот закрепится Белых, тогда. Пока что Бересов распорядился, чтобы к нему прислали машиниста-мадьяра и солдат, сумевших-таки увести эшелон.

Долго ждать ему не пришлось.

Вошел Снегирев — в потемневшем от влаги ватнике, местами измазанном мокрой глиной, из рукава, разорванного, наверное, пулей, белеет подкладка.

— Молодцы! — Бересов шагнул к Снегиреву. — Молодцы! Такое дело сладили!

— Едва успели... — негромко проговорил Снегирев, смущенный похвалой.

— Чего? — переспросил Бересов: слух его все еще не восстановился.

— Едва успели, — повторил Снегирев громче. — Немцы почти к самому паровозу прорвались. Ладно, что сапер гранатами их отогнал.

— Сапер? Как его фамилия?

— Запамятовал я. Он же к нам только перед самым выходом пришел.

— К награде его представлю.

— К награде? — Снегирев сунул руку в карман ватника, вытащил оттуда помятую солдатскую книжку и медаль «За отвагу» на затертой серой ленточке, положил все это на стол. — Вот, сапера этого.

Бересов взял солдатскую книжку, раскрыл, посмотрел:

— Старослужащий... Из Тамбовской области. — Положил книжку снова рядом с медалью. — Н-да... — и сказал решительно: — Представлю посмертно к ордену Отечественной. Орден — не медаль, можно семье послать на хранение. Не в утешение, так в память.

Помолчал, в минутном раздумье склонив крупную голову.

— Где мадьяр-то? Зови.

Самбор был еще на пороге, а Бересов уже тянул ему ладонь.

— Спасибо!

Черная от угольной пыли рука старого машиниста и рука подполковника соединились в крепком пожатии.

— Мадьяр — oroszok — barátaink! [1] На герман! — проговорил машинист. — На Гитлер! На Хорти! Mi és ti! [2]

— Правильно, правильно!.. Вот что, друг! — Бересов обернулся к столу и вдруг, взяв лежавшую там медаль погибшего сапера, решительным движением прицепил ее на грудь Самбору, к его брезентовой куртке.

Самбор остолбенел от неожиданности. Только губы напряженно подрагивали — видно, хотел что-то сказать, да забыл в эту минуту все русские слова.

Улыбаясь, Бересов поправил медаль на груди машиниста:

— Носи! Полное право имеешь! — Потом распорядился: — Снегирев! Пусть его кто-нибудь к нашему канцеляристу проводит, чтоб тот справку о награждении выдал. По всей форме.

Снегирев и Самбор вышли. В передней комнате, где у раскаленной плиты двое связных, пользуясь свободным временем, пекли на огромной сковородке блины, сидел и сушился Федьков, давая связным советы по технологии

---

[1] Русские — друзья! *(венг.)*.
[2] Мы и вы! *(венг.)*.

блинного дела. Когда Снегирев несколько минут назад входил к Бересову, плита еще не топилась, а блины печь связные и не собирались. Снегирев спросил Федькова:

— Подсох?

Федьков, как обмокшими крыльями, пошевелил полами расстегнутого ватника:

— В процессе...

— И то ладно. Сходи-ка с товарищем машинистом к писарям. — Снегирев объяснил, зачем это нужно.

Федьков поднялся с неохотой.

— Эх, из меня не вся влажность извлечена. Да и с блинков пробу не снял...

Однако отнекиваться не стал, ухватил пальцами со сковородки первый поспевший блин, толстый, большой, помахал им:

— Ну, камрад мадьяр, пошли! — и, скомкав, сунул блин в рот, кивнув связным: — Спасибо, блиноделы! Продолжайте в том же духе.

Все трое вышли на улицу. Уже белел рассвет. Снегирев отправился в роту, наказав Федькову возвращаться побыстрее.

— В момент обернусь! — заверил Федьков. — Завтрак на меня не берите, я сам.

Однако Федькову к завтраку пришлось опоздать.

* * *

Возвращаясь в свой взвод, Снегирев шагал безлюдной улицей поселка. Он прошел ее уже почти всю, как вдруг услышал сзади торопливый топот сапог по каменистой дороге — кто-то догонял его. Оглянувшись, не сразу поверил своим глазам:

— Зубарь! Неужто ты?

— Я! — Сияющий, запыхавшийся Зубарь поравнялся со Снегиревым. — Я ж вас через всю улицу узнал! А вы что весь мокрый?

— В речке купался. — Снегирев рассказал про подземный завод и мост.

— Вот здорово! — позавидовал Зубарь. — Жалко, меня не было... У нас все живы?

«У нас» он произнес так, как будто провоевал вместе со Снегиревым и его товарищами не один день.

— Все целые. А вот ты куда задевался? Мы тебя давно ждем. Справлялись не раз. Да ты в полном солдатском виде!

— А как же! Выдали все. — Зубарь не без любования посмотрел на свою новенькую, еще с нераспустившимися складками шинель. — И сапоги, и гимнастерка, и брюки. Не то что те, полосатые! Каждый насмешки строил.

— Ты когда заявился?

— Да только сейчас. Повозки с боеприпасами шли, так я с ними.

— Что же ты пропадал целую неделю?

— Проверку проходил. А потом дожидался, куда отошлют. Я как просился обратно к вам! Сначала не хотели, а потом все-таки дали направление: иди, раз тебя просят! Я только что из штаба полка. Велели прямо в батальон. Я, знаете, даже и не надеялся, что к вам вернусь. Спасибо, капитан из особого отдела помог.

Зубарь рассказал о своей встрече с «боровком» и о том, как начальник «боровка», капитан, вернувшись, разобрался во всем, «боровка» крепко отругал, а Зубаря, расспросив подробно, направил в штаб дивизии, в резервное подразделение.

— Ну, теперь все в порядке у тебя! — Снегирев еще раз оглядел Зубаря. — Теперь ты боец по всей форме.

— А что с того? — губы Зубаря вдруг вздрогнули, как от вспомнившейся обиды. — Вернусь с войны — и опять найдется кто-нибудь, скажет, как тот писарь: у фашистов был.

— Наплюешь такому в глаза, и всё.

— А если такой при власти?

— Так ведь он при власти, а не она при нем.

— Это верно... — согласился Зубарь, но в голосе его звучало сомнение, и Снегирев, чувствуя это, положил ему руку на плечо.

— Выбрось из головы ту заботу! Она же вроде камешка, что за голенище заскочил: мал, а обезножить может. Вытряхни ее из души! Забудь!

— Да как забыть? — голос Зубаря вновь дрогнул. — Я из концлагеря два побега имею, в штрафлаге сидел, в гестапо меня чуть не прикончили, к своим под пулями перебежал, а свои и не поверили... Это — страшней всего!

— А кто же не поверил? Я? Или сержант Прохоров? Или еще из солдат кто? Да сам замполит, майор Понедельный, за тебя хлопотал, и мы все просили. Один тот боровок тебе не поверил? Так не в нем же вся сила!

* * *

Как только Федьков с Самбором вышли на улицу, тот попросил отвести его в лазарет, проведать раненого кочегара: Самбор очень беспокоился о своем товарище. Федьков охотно согласился.

Самбор вошел и медленным движением снял свое форменное кепи, опустил седую голову. Стоял молча, глядя на неподвижное тело, лежащее на кровати.

— Внутреннее кровоизлияние, — негромко сказал Крадожон Федькову. — Сделали все что могли. Вы сумеете объяснить это ему? — он глазами показал на окаменело стоящего машиниста.

Но то, что тот сейчас видел, уже не требовало пояснений.

Постояв минуту-другую, Самбор подошел к покойному, коснулся пальцами его скрещенных рук и, обернувшись к Федькову и Крадожону, проговорил что-то на своем языке — в его голосе чувствовались и сдерживаемые слезы, и суровая гордость.

«Жил как мирный человек, умер как солдат», — так сказал Самбор о покойном. Ни Федьков, ни Крадожон не знали мадьярского языка. Но чувства старика были им понятны.

Ни слова не промолвив более, вышел, как был, с обнаженной головой.

Расспрашивая встречавшихся солдат, Федьков привел Самбора в полковую канцелярию. Несмотря на ранний час, там кипела работа: стучала пишущая машинка, шелестели бумаги — писаря спешили, пользуясь остановкой, привести в порядок запущенные за время наступления дела.

Начальник канцелярии, пожилой лейтенант с полковничьей осанкой, выслушав Федькова, спокойно сказал:

— Не положено.

Федьков вспыхнул и хотел в ответ, не считаясь с субординацией, «выдать», как он был способен, что-нибудь такое, отчего начальник канцелярии сразу бы оживился. Но сдержался. Однако мгновенно сочинил:

— Командир полка приказал вам немедленно явиться!

— Мне? — лейтенант с выражением неудовольствия на лице начал надевать ватник. Федьков стоял, ждал, изредка бросая Самбору взгляд, означавший: «Ничего, все будет в порядке!»

— Чего вы дожидаетесь? — раздраженно спросил лейтенант. — Я сам к командиру полка дорогу найду.

Федьков ничего не ответил. Он все-таки выждал, пока лейтенант направился к двери, и только тогда позвал Самбора.

К дому, где находился Бересов, все трое подошли одновременно, но у крыльца Федьков обогнал лейтенанта и, оставив Самбора у двери, юркнул в нее.

Войдя к Бересову, Федьков молниеносно доложил ему, что начальник канцелярии машинисту справки о награждении не выдает.

— А ну, позови мне этого начальника!

— Идет. Я уже вызвал.

— Ты? — удивился Бересов. — Ну, ну...

Вошел начальник канцелярии. Федьков смирненько отодвинулся.

— Обожди там! — приказал Бересов Федькову. Тот вышел с удовольствием: раз «батя» выпроваживает, значит, чтобы этому начканцу сказать кое-что без стеснения.

— Что мудрите? — Бересов остановился против канцеляриста, сердито сдвигая широкие брови. — Я, как командир полка, имею право награждать!

— Да. Но, во-первых, — тихо, однако настойчиво возразил канцелярист, — по инструкции полагается наградной знак умершего сдавать по акту, а для вновь награжденного следует затребовать другой. Кроме того, командиру части не предоставлено право награждать лиц, не числящихся в списках данной части. Тем более — иностранцев.

— Эх вы! — поморщился Бересов. — Люди проявляют героизм, а вы — бюрократизм!

— Товарищ подполковник! Но ведь правило!..

— Правило! — перебил Бересов. — Человек жизни не жалел, а вы справку жалеете! Выдать!

Начканц в нерешительности переступил с ноги на ногу.

— Ну? — спросил Бересов.

— Слушаюсь... Но это нарушение... Прошу дать письменное распоряжение.

— Вот волокитство! — пробурчал Бересов. — Ну, да не вами заведено... Дайте, на чем писать.

Лейтенант услужливо протянул блокнот и авторучку. Бересов присел к столу, порывисто, так, что перо с треском зарывалось в бумагу, набросал несколько слов, размашисто расписался.

После ухода начальника канцелярии Бересов стал собираться на свой наблюдательный пункт. Уже светало. Пока есть время, надо хорошенько просмотреть передний край. За ночь подошла и встала на огневые артиллерия. Вот-вот должны, как обещано, подоспеть танки. Командир дивизии еще с вечера предупредил: полку быть готовым к наступлению.

Он уже выходил, когда явился Гурьев и доложил: кочегар в санчасти умер.

— Похоронить его вместе с тем сапером, — распорядился Бересов. — На здешнем кладбище, с воинскими почестями, под салют!

Глава 4

ВСТРЕЧА НА ПОЛЯНКЕ

Сдвинув с головы чуть отсыревшую за ночь плащпалатку, Белых открыл глаза. С удовольствием потянул носом прохладный утренний воздух, пахнущий лесной свежестью и чуть-чуть талым снегом, который здесь, в чаще, может быть, и сохранился еще где-нибудь под толстым слоем прошлогодней листвы. Тишина какая... Непривычно. И можно еще полежать, спешить некуда...

С той ночи, когда был перегнан на нашу сторону начиненный взрывчаткой эшелон, прошло несколько дней. Противника, при поддержке артиллерии, отбросили от речки, и, вслед за подоспевшими танками пройдя сбереженный мост, полк снова двинулся вперед, ведя с ходу короткие бои. Но скоро всю дивизию отвели на несколько километров за передний край: происходила, как это бывает перед каждым новым наступательным рывком, перегруппировка частей.

Невольной передышке все были рады: почти две недели — то бой, то марш. Люди устали от непрерывного

напряжения и радовались самому простому, но такому редкому на фронте: отсутствию опасности, тишине, возможности выспаться.

Белых лежал, не спеша подыматься. Еще рано. Солнце, наверное, только всходит, за деревьями его не видать. Весь лес еще в тенях, а небо над верхушками еще не одетых в листву деревьев уже ясное-ясное, бледно-голубое — день начинается погожий. Поблизости, под белоствольными, такими родными на вид березками, на светло-коричневом толстом ковре прошлогодней листвы, уже просушенной весенним теплом, еще спят, укрывшись шинелями и плащ-палатками, солдаты. Вот только одному из них, молодому, не спится что-то: вылез из-под шинельки, сидит, поглядывает на лес, улыбается чему-то. Не замечает, конечно, что командир роты наблюдает за ним. Да это ведь Зубарь, новенький, из взвода Галочкина! Наверно, и в самом деле хороший парнишка, если за него Снегирев и Понедельного и Бересова просил... А куда же Галочкин запропал? Солдаты про него спрашивают, значит, полюбили... Честный он, ни за кого не прячется. Честный — это и значит смелый. Что он последнее время какой-то странноватый? Заговоришь с ним — то со слова собьется, то вспыхнет. Какие к тому причины?.. Уж не Ольга ли тут виновата?..

Зачем в такую рань поднялся? Прикрыл глаза. Незаметно подкралась легкая дремота.

Очнулся вновь от ощущения тепла на щеке, и сразу зажмурился от яркого света.

Поднялся, с удовольствием подставляя лицо солнцу, ласково щекочущему щеки и лоб. Постоял так, не надевая шапки. Чуть ощутимый теплый ветерок шевелил волосы нежно и робко.

Бойцы подымались, побрякивали котелками, собираясь к завтраку. За ближними кустами, где стояли кухни, уже слышались голоса.

Стоял, соображая, что необходимо сделать? Неотложного ничего как будто нет. Пройти по расположению роты, проверить порядок? Так ли нужно это сейчас?..

На войне, как и многие, он отвык отдыхать. Отвык от мысли, что может выпасть и в самом деле свободный день или хотя бы час. Все время кажется: что-то упущено, что-то не сделано. Это ощущение могла вытеснить только сильная, валящая с ног усталость. Как только

усталость проходила, оно возвращалось вновь. Вот и сейчас...

Прошел по взводам, дал несколько распоряжений старшине. Потом заглянул к Яковенко узнать, не будет ли каких указаний. Тот усадил завтракать, уверив, что сегодня не предполагается ничего особенного. Белых решил сходить в тылы — они за рощицей, на хуторке. Надо подносившиеся сапоги сменить да в военторге купить кое-какой мелочи.

После завтрака, получив разрешение Яковенко отлучиться, Белых отправился в тылы. Там сделал все дела и даже побывал в гостях: его зазвал командир химвзвода, не дурак выпить. У химика нашлось великолепное вино, как он уверял, «из подвалов замка самого Хорти». Никита с удовольствием осушил стакан-другой.

Обратно он отправился почти в полдень. Пошел через рощицу уже не тропкой, как в первый раз, а напрямик — так, казалось ему, короче. В голове слегка шумело. На сердце было весело — и от выпитого вина, и от яркого солнца, и от молодой рощицы. Вокруг все было так хорошо, так тихо и спокойно, ничто в этот час не напоминало о войне, хотелось брести так долго-долго... В этот час, свободный от обычных служебных забот, Никита словно впервые заметил, как красит весна все вокруг.

Тонкие деревца еще не выпустили листьев, но на ветвях уже набухли почки, похожие на толстые, коричневато-зеленые капли. Оттого что на деревьях еще нет зелени, а почти отвесно падающие лучи высокого солнца пронизывают всю рощу насквозь, всегда темные стволы молодых дубков и буков выглядели светлыми, ветви — необычно тонкими, вся роща — светящейся, прозрачной.

Брел неторопливо, радуясь еще непривычному теплу весеннего дня, лесной тиши, которая, в отличие от тишины переднего края, не настораживает, а успокаивает. Был рад и тому, что сейчас один. Обычно он не испытывал потребности в одиночестве. За время войны привык находиться все время на людях, среди товарищей, но когда — это бывало так редко! — случайно оставался один, замечал, как хорошо, и необходимо даже время от времени остаться самому с собой, со своими думами.

Вот и весна пришла, неужели и в самом деле последняя весна войны? Неужто уже в этом году он вернется домой? Но почему обо всем, оставленном там, даже

о Наташе, думается уже не так остро, не так больно, как прежде? Иной раз кажется — и не было ничего. Приучаешься на фронте жить только сегодняшним. Выдался спокойный денек, когда по тебе не стреляют, — и доволен; удалось выспаться, побриться смог, не пропустив срока, — рад. Самому простому радуешься, чего в обычной жизни и не замечал. Это, наверное, всегда так, когда человек лишен многого. Меньше имеешь — меньшим и доволен... Едва ли! Нет, хочется полной жизни, настоящего счастья! А какое оно будет?

Мысли пробегали, не хотелось их задерживать. Приятно просто вот так брести неторопливо, прислушиваться, как звонко шуршат под ногами прошлогодние листья, пышным слоем устилающие землю, вдыхать запахи нагретых солнцем почек, древесной коры, глядеть, как уже по-весеннему резво перепархивают с ветки на ветку, почти не пугаясь идущего человека, какие-то маленькие серенькие птахи. А вот где-то в глубине рощи прозвучало несмелое:

— Ку-ку... — и смолкло.

Шел, не разбирая пути, напрямик через кусты. О сапоги задевали тонкие прутики краснотала, он легко отодвигал рукой склонявшиеся перед ним гибкие черные ветки орешника. Встретилась верба — на ходу отломил ее коричневую веточку с серебристыми барашками, поднес к щеке — барашки щекотнули ее, словно мягкие ласковые лапки.

Шагах в пяти перед собой вдруг увидел на ветвях густого орешника что-то белое. «Что это?» — осторожно отвел рукой прильнувшую к поясу ветвь и в нерешительности остановился: небольшая прогалинка меж кустов, и там на расстеленном по сухой листве ватнике — Ольга, лицом к небу, закинув за голову руки, босиком, в распоясанной гимнастерке с расстегнутым воротом. Глаза закрыты — не то задремала, пригревшись, не то просто зажмурилась от солнца; оно озолотило всю прогалинку, и даже темные волосы Ольги, пронизанные его лучами, кажутся золотистыми. Из-под юбки армейского цвета виднеются круглые, словно выточенные из светлого дерева, коленки. Лежит, вытянув босые ноги, они касаются сухих листьев, меж которыми кое-где подымаются едва заметные тонкие зеленые стрелки ранних трав. У ног Ольги, в конце прогалинки, в тени куста, колдо-

бина, наполненная водой, до того прозрачной, что кажется — это налита не вода, а чистый лесной прохладный воздух. Над колдобиной, на ветвях орешника, развешаны какие-то тряпочки, платочки.

Боясь пошевелиться, стоял, не мог оторвать взгляда от спокойного лица Ольги, отдающегося нежной солнечной ласке, от всей ее некрупной, но такой крепкой и вместе с тем по-девичьи тонкой фигуры, четко врисованной в рамку желтовато-бурых, позолоченных солнцем сухих листьев. Маленькие, узкие, странно белые на коричневых листьях ступни Ольги, плотно сдвинутые одна к одной, протянуты к колдобине, отражающей эмалево-голубое небо, — словно кусок этого лазурного апрельского неба лежит у ее ног. А возле этого лежащего на земле неба стоят аккуратно сдвинутые солдатские сапоги.

Хотел повернуться и уйти так, чтобы Ольга и не заметила его, не подумала бы, что он нарочно подглядывает. Хотел уйти, а что-то удерживало. Так простоял несколько секунд, а казалось — уже давно, может, целый час, и каждая секунда отягощает его вину, вину его перед Ольгой, ему самому непонятную. А в чем, собственно, вина? В том, что подглядывает, как мальчишка? Или в чем-то большем? Ах, да что там!.. Ведь знает, как она рада будет, если он подойдет. Может быть, и вида не подаст, а рада будет. Как по-необычному красива она сейчас, когда уверена, что одна, что на нее никто не смотрит. Подойти к ней? Нет, нет!

Не в силах оторвать глаз от Ольги, сделал шаг назад. Бесшумно ходить умел, а тут не получилось, хрустнул какой-то сучок под ногой. Она вздрогнула, открыла глаза. Никита замер.

— Ой, это вы!

Быстро села, подобрав под себя ноги. Провела рукой по растрепавшимся волосам, поправила гребенку.

— Вот не ожидала, что кто-нибудь здесь... Я в самую чащу забралась, — Ольга улыбнулась ему, как улыбалась обычно, — чуть-чуть шевельнув губами, больше, чем губы, улыбались глаза. В них сквозь видимое смущение он прочел радость. Ее Ольга не смогла, не сумела, да, может быть, и не старалась скрыть. И ему тоже стало радостно, хотя и неловко, и вместе с тем — просто и хорошо. Хотелось быть с ней, не раздумывая ни о чем,

словно несло его к ней теплым сильным потоком, преодолеть который он был не в силах, да и не хотел.

— Не ожидали? — переступив с ноги на ногу, проговорил Никита, удивляясь собственному голосу: почему он так робко звучит? Справляясь со смущением, улыбнулся: — Извините, помешал...

Не ответила ничего, ее губы замерли в растерянно-радостной улыбке. Все старалась застегнуть ворот гимнастерки и никак не могла попасть пуговкой в петлю.

Чувствуя, как тугими, все усиливающимися ударами бьет кровь в сердце, он сделал еще шаг и остановился. Теперь он был к ней совсем близко. Так близко, что можно коснуться, если протянуть руку. Хотелось сказать ей то значительное, что мысленно говорил уже не раз, но вместо этого спросил:

— Хозяйственными делами занялись? — спросил, как ему показалось, чужим, фальшивым голосом.

— Я уже кончила, — она быстрым взглядом окинула развешанное на ветвях. — Вот жду, пока высохнет. — Привстала, помяла в руке край платочка, висевшего на ближней ветке. — Нет, сырое еще. — Снова села, сдвинув колени и охватив их руками.

Голос ее звучал сейчас не так, как обычно, когда они разговаривали при других или даже наедине. Был он сейчас какой-то другой, доверчивый, домашний.

А в нем как-то странно совмещались и неловкость, и чувство необычной простоты и легкости, которого раньше никогда не было при встречах с Ольгой. Простоты и легкости, как будто уже давно-давно они всё знают друг о друге, как будто уже все сказано между ними, все ясно. А может быть, так оно и есть?

Присел рядом:

— Хорошо здесь...

— Да... — Ольга подняла лицо вверх, пожмурилась от солнышка. — У нас, на Волге, наверное, уже ледоход. Люблю. Мы один раз всем классом с уроков сбежали смотреть...

— А у нас, наверное, еще не тронулась река. Наша сибирская весна поздняя.

Ольга открыла глаза:

— Теперь уже холода больше не будет. Как быстро весна идет, да? Скоро листья уж. Знаете, — улыбнулась она как-то по-особому доверчиво, — на войне многого не

замечаешь. Помню, первую весну на фронте я только под конец увидала. В госпитале тогда работала, раненых много поступало, бои шли. Как-то поздно сменялась, вышла на улицу — кругом госпиталя сад, ночь лунная — и удивляюсь: почему в прошлые ночи, совсем недавно, в саду светлее было, а сейчас — тень под деревьями, такая густая... Оказывается — все деревья уже в листве...

Никита, слушая, осторожно, словно боясь вспугнуть, чуть скосив глаза, глядел на нее. Ему был виден только профиль, тонкий, но с резко и круто очерченными линиями губ и подбородка, с высоким открытым лбом, над которым пушились легкие волосы, не примятые сейчас солдатской шапкой. Наверное почувствовав его взгляд, повернула к нему лицо, он увидел ее темные глаза — вот такая темная стоит вода в таежных озерах весной, и кажутся они от нее — бездонными, и манит такая вода, и отпугивает...

— Вы в тылах были? — спросила она совсем не в тон тому, о чем говорила только что.

— Да... — Никита догадался, что она спрашивает его совсем не об этом. — Сегодня вроде выходного, — проговорил он, понимая, что и он говорит ей совсем не то, что произносил вслух, догадываясь, что подразумеваемый, тайный смысл его слов, наверное, понятен и радостен ей. Он едва сдержал в себе желание прикоснуться к ее руке, которая вот совсем рядом, только пошевельнуть пальцами. Какая-то новая сегодня Ольга. Новая ли? Они вместе больше года! Но всегда между ними стояла какая-то преграда. А сегодня — нет. Какая она сейчас? Простая, близкая... Теплый могучий поток снова подхватил его. «Встать и уйти!» — холодной струей промелькнуло в разгоряченной голове. «Вот посижу еще минутку и скажу, что мне пора, и пойду».

«Уходи», — как заклинание от неминуемой беды твердил себе, но вставать медлил. Только минуточку еще посидит... Так хорошо быть рядом с ней, смотреть на нее. Какое у нее лицо! Совсем не такое суровое, как тогда, на канале... Будто она и сейчас еще девочка-десятиклассница. Вот только вместо косичек с бантами — короткие пряди бесхитростной прически. А губы и щеки — по-детски нежные, словно и не обдуты они ветром фронтовых дорог.

— Какой вы странный сегодня... — Большие карие глаза внимательно заглянули в глаза Никиты. — О чем задумались?

— Да так, ни о чем, — ответил поспешно. — Хорошо здесь. Тихо. Отвыкли мы от тишины.

— Да, — вздохнула она. — Даже странно, — кругом никого нет, только деревья... Можно на солнышке греться. И никто тебя не позовет... Привыкли мы — на службе сам себе ни минуты не принадлежишь. Всегда можешь понадобиться. Я даже собралась идти, не досушивши. Вас увидела — обрадовалась.

— Обрадовались?

— Ну... — запнулась она, — конечно. Раз вы гуляете, значит, все спокойно, можно еще здесь побыть.

— А я, как вас увидел, хотел уйти потихоньку... чтоб не напугать.

— Уйти? — рассмеялась она. — Значит, вы меня испугались, не я вас.

— А что нам друг друга бояться?..

— Ой, кто это? — перебила она.

— Где?

— Там, за кустами!

Никита повернулся, присматриваясь. Меж голых прутьев, бугорчатых от еще не распустившихся почек, мелькнуло что-то серое, подпрыгивающее. Исчезло. Улыбнулся:

— Заяц! Видите, куда поскакал: в тыл, хитрец... Линяют они теперь. Этот — уже в летней обмундировке. Серый.

— Прямо на нас бежал!

— А он нас не заметил. Мы тихо сидели. А вот вы испугались зайца!

— Нет, что вы! — рассмеялась Ольга, и снова взгляд его столкнулся с ее взглядом — и словно самого себя увидел он, как никогда прежде ясно, в ее глубоких темных глазах.

Отворачиваясь, она смущенно повела плечом — под солдатской гимнастеркой на миг отчетливо обрисовалась ее маленькая острая грудь. Ольга сцепила пальцы обеих рук на своих тесно сдвинутых, приподнятых коленях, прильнула к ним щекой. Уже не в первый раз заметил он у нее такое движение. Наверное, детская еще привычка сидеть вот так, сдвинув колени.

— Сейчас на зайцев охота воспрещена — весь боеприпас для противника предназначен, вот они и бегают невозбранно, — пошутил Никита.

— Вы ведь, кажется, охотник?

— Есть немножко, любил по тайге с ружьишком побродить. Лет с одиннадцати пристрастился.

— Не понимаю, что за удовольствие — убивать? — тряхнула головой, отбрасывая темные пряди, сползшие на ее высокий, слегка выпуклый лоб.

Подобрав валявшийся поблизости прутик, задумчиво стала ворошить пересохшие скрутившиеся листья возле ног, молчала.

Молчал и Никита. Как это он раньше никогда не чувствовал, что с ней может быть так хорошо? Почему он это понял только сегодня — ни с кем, никогда, нигде не было ему так хорошо, как с ней. Вот так сидеть и молчать под теплым солнышком, украдкой поглядывая на край ее чуть разрумяненной щеки и прядку волос, насквозь просвечиваемую солнцем.

— Смотрите-ка, опять заяц бежит! — прошептал он, уловив ухом еле слышный звук.

— Тот самый? — затая дыхание, она стала вглядываться туда, куда смотрел сейчас он.

— Нет, другой. Но по той же дорожке. Тсс! — прошептал Никита, тронув Ольгу за плечо. Его охватил охотничий азарт. — На нас идет!

Замерев, оба следили: второй заяц, неторопливо подбрасывая кажущиеся неуклюже длинными задние ноги, бежал спокойно, словно уверенный, что ему в этом тихом солнечном лесу не может грозить никакая опасность. Он пробегал точно по следу, оставленному первым зайцем, в стороне от кустиков, за которыми сидели Никита и Ольга. Поравнявшись с кустиками, заяц вдруг остановился, припал к земле, тотчас же встал столбиком, торчком подняв уши.

— Нас заметил, — шепнул Никита. — Сейчас рванет...

Но заяц все сидел неподвижно, как бы прислушиваясь. Сквозь еще безлиственные кусты он хорошо был виден — крупный, с круглыми, выпуклыми настороженными глазами. На его серой шкуре местами еще белела зимняя, неслинявшая шерсть.

— Какой красивый! — зачарованно шепнула она, не сводя глаз с замершего зверя. И попросила совсем по-детски: — Хочу такого зайку!

А заяц все стоял столбиком, словно выжидая: что же будет дальше?

— Эх! — чуть слышно выдохнул Никита, и его правая рука потянулась к кобуре.

— Нет, нет!

Горячие тонкие пальцы легли ему на запястье. Она при этом невольно наклонилась к нему, нечаянно их щеки чуть соприкоснулись, Никита безотчетно продлил это соприкосновение. Она не отстранилась, и Никита на миг забыл и о зайце и обо всем остальном на свете...

Ольга резко отодвинулась, но руки их остались вместе. Заяц, очевидно испуганный ее движением, хлопнул задними ногами, так, что несколько коричневых листьев взметнулось, — и умчался.

— Я вам категорически запрещаю стрелять в зайцев, товарищ старший лейтенант! — ее голос был нарочито строг, но в легкой улыбке чуть-чуть изгибались совсем близко от его глаз ее полные, но маленькие и четко очерченные, чуть оттопыренные губы.

— Слушаюсь, не открывать огня! — шутливо-исполнительным тоном ответил он, уже почти не слыша собственных слов — так сильно шумел все тот же поток, неудержимо влекущий его. — Пусть зайчики бегают.

— То-то! — улыбнулась Ольга. — Оказывается, вы добрый... А в прошлом году, когда в полк прибыла, вы мне таким злым показались. Под Корсунем мы познакомились, на марше, помните?

— Помню...

— Обиделась тогда. Ведь вы подумали: я — как некоторые...

— Я ж не знал, какая вы...

— А теперь — знаете?

— Да.

— Какая?

— Ну... какую я знаю, — он посмотрел ей прямо в глаза.

Ольга смущенно опустила ресницы и тотчас же подняла их. Они вновь встретились взглядом. Совсем-совсем близко перед своим лицом он видел сейчас ее глаза — большие, темные, полные и пытливой радости,

и нескрываемого ожидания, и затаенного опасения, ее чуть полураскрытые губы, уловил ее легкое дыхание на своих, словно пересохших от жажды, губах — все в ее лице казалось ему в эту минуту прекрасным, и, кроме нее, в эту минуту не существовало для него никого и ничего. Движимый неодолимым, темнящим разум желанием, он придвинулся к ней. Последним, уже полубезвольным, движением она сделала слабую попытку отстраниться — он удержал ее. Сквозь ткань гимнастерки почувствовал ладонью упругость и теплоту маленького девического плеча. Хотел отнять руку, а рука не послушалась. Плечо, дрогнув, медленно подалось под его жаркой ладонью. Ольга робко и доверчиво прошептала что-то.

Сильным, но бережным движением он привлек ее к себе.

...Он шагал напрямик через кусты, не обходя их. Под ногами трещали ломкие сухие ветки, шуршала прошлогодняя листва — он не замечал и не слышал ничего. Уже далеко ушел от того места, где осталась она, но до предельности ясно виделось ему все, что было только что: большие, полные и безграничного доверия, и нежности, и сдерживаемого испуга глаза, ее пылающие щеки, легкие волосы, спутавшиеся над крутым лбом, нежная голубоватая жилка на шее, видной в расстегнутом воротнике гимнастерки. Ее подрагивающие губы, бешеный бой сердца, кровь, стучащая в голову, и торопливые руки, не слушающиеся разума... А потом он сидел рядом с ней, и она, укрыв лицо меж согнутых рук, лежала на сбившемся ватнике, и на затылке ее, запутавшись в волосах, жалко торчала коричневая гребенка. Переполненный непривычной, новой для него нежностью к ней, он пытался сказать ей что-то такое, что извинило бы его и успокоило ее, но так и не мог сообразить, что же сказать сейчас, после того, когда они стали так близки. Он назвал ее на «ты» впервые за все полтора года, с тех пор как они знают друг друга. Назвал — но она не откликнулась так, как откликалась только что. Позвал еще, не зная, впрочем, что скажет ей дальше. «Уходите!» — чуть повернув лицо, еле слышно вдруг прошептала она, гребенка с ее головы свалилась, она не заметила. «Уходите! Сейчас же!» — повторила она громче. Он молча встал, испытывая при этом неловкость и некоторое облегчение, тягостное облегчение: ему самому хотелось уйти, но

вместе с тем жаль было оставить ее, было стыдно бежать, не сказав ей ни слова, да он и не хотел бежать, наоборот, он должен остаться с ней, остаться насовсем... А теперь она как бы отпускает, прогоняет его. Но почему? Зачем? Он поднялся. Постоял. Вполголоса позвал, впервые так, как раньше звал только мысленно:

— Оля!

Она не откликнулась. Он медленно пошел.

Шагал, а в сердце все еще бурлило недавнее... Да ведь это счастье! Если нет настоящего — с этим кончается все. Если есть настоящее — только начинается. У них — так. Он понял это, и она, конечно, тоже поняла? Счастье, которое так давно с ним. Давно и навсегда. А если нет? Ну что ж? Война. Завтра, может, ни тебя, ни ее не станет. Но из-за этого держать ли сердце в узде? И нечего переживать!

«Врешь! — с внезапной злостью оборвал себя. — Нечего? Жил — никому не врал. А теперь — и себе, и Наташе, и всем? Делать вид, что ничего не было и нет, что все по-прежнему? А зачем?»

Не выбирая пути, шагал напролом по кустам, подминая тонкие, с зелеными почками прутья.

Глава 5

ПРИГОВОР ПРИВЕДЕН В ИСПОЛНЕНИЕ

Белых брел рощей. Пора возвращаться в роту. Но хочется побыть одному, подумать, как же теперь. Прийти сейчас, забраться в свой шалаш...

Но только показался в расположении роты, как подбежал связной:

— Товарищ старший лейтенант! Вас комбат требует!

Яковенко, едва Белых явился, набросился на него:

— Гуляешь? Не знаешь, что у тебя в роте творится? Почему мне не доложил?

— О чем?

— О чрезвычайном происшествии! Позор какой: твой боец — самострел!

— Самострел? — Белых изумился до крайности. — Я ничего не знаю...

— Хорош командир роты! Не знает! А командир полка мне сейчас раздолб устроил. За тебя и за себя!

— Да что за самострел? Ничего такого у меня не было.

— Не было? А солдат Плоскин в твоей роте служил?

— Плоскин? То какой же Плоскин?.. А! — припомнил Белых. — Это же во взводе Галочкина! Рыжий такой... Почему «служил», он, по-моему, и сейчас в роте.

— По-твоему! А мне вот командир полка сообщил: рядовой моего батальона и твоей роты Плоскин изобличен в членовредительстве и арестован. Подлец, батальон опозорил! Что батальон? Весь полк! — Яковенко передохнул, сказал доверительно: — Вересов мне по этому вопросу такое выложил! По первому разряду — экстра. Нет такой прочности бумаги, чтобы описать.

— Постой... постой! Нет, Плоскин — в роте же!

— В роте? А ты точно знаешь?

— Да я его сейчас вызову.

— А ну, зови!

Связного послали за Плоскиным. Тот явился.

— Действительно — Плоскин? — спросил Яковенко у Белых.

— Он самый, — подтвердил тот.

— Чудеса какие-то! — Яковенко оглядывал вытянувшегося перед ним Плоскина, словно не верил своим глазам. — Да он ли это?

— Почему же не он? — только пожал плечами Белых. — Я своих солдат наперечет знаю.

— Обождите здесь, — предупредил Яковенко. — Я пойду позвоню Вересову, доложу.

Яковенко вернулся быстро:

— Подполковник велел бойца к нему прислать. Сам разобраться хочет.

Перед уходом Плоскин забежал в свое отделение — наказать, чтобы не забыли оставить для него обед, а заодно и поделиться новостью: его срочно вызывает сам командир полка.

— Так уж и сам командир полка? — усомнились товарищи.

— Значит, нужен я ему! — важно ответил Плоскин. — Может, какое особое задание даст.

Вернулся Плоскин только к вечеру — товарищи уже решили, что его и впрямь послали куда-нибудь далеко. Вопреки ожиданиям, на расспросы ответил необычно для него кратко:

— Вызывали по лично касаемому делу.

И больше от него ничего не добились.

Никто из товарищей Плоскина так и не узнал, что он успел побывать не только на командном пункте полка, но и в тылах дивизии, куда его направили сразу же, как только он явился к Бересову.

В штабе дивизии Плоскина провели к сидевшему в отдельной комнате капитану — тому самому, у которого в свое время был Зубарь.

— Вашу солдатскую книжку! — потребовал капитан, как только Плоскин доложил о себе.

— Нету... — промолвил Плоскин.

— Потеряли?

— Кажись...

— Где?

— А кто его знает... Мало ли в бою-то...

Капитан поискал среди бумаг на столе:

— Ваша?

Передал Плоскину помятую книжечку в серой обложке. Тот глянул — изумился:

— Моя...

— Вы ее никому не передавали?

— Нет...

Капитан встал, подошел к двери, приоткрыл, позвал кого-то. На пороге появился белобрысый, остриженный под машинку сержант, щегольские погоны его нескладно топорщились на линялой хлопчатобумажной гимнастерке.

— Плоскина! — приказал капитан.

Сержант скрылся за дверью.

«Плоскина? Какого еще Плоскина? — недоумевал Плоскин. — Я же здесь...»

Дверь растворилась — через нее, сопровождаемый сержантом, держащим руку на своем брезентовом солдатском поясе так, словно на нем имеется кобура, вошел заросший щетиной человек в распоясанной шинели, с забинтованной рукой, висящей на перевязи. Плоскин глянул на него — чуть не подскочил: тот! Тот, которого он вел и не довел в то утро!

— Вам, товарищ Плоскин, не знаком этот человек? — спросил капитан.

— Еще бы не знаком! — Плоскин едва сдержал себя на месте. — У, гадюка! Живой! Попользовался, что меня снарядом шибануло! Он! Убежал!

— От кого убежал? — еще не понимал капитан.

— От меня! Когда я его под конвоем вел. Немецкий подосланный это. Мы его поймали, когда на канале бой начинался, ночью поймали.

— Вот как! Значит, не просто самострел? — Капитан посмотрел на арестованного. — Ясно.

Изобличенный пробормотал что-то неразборчивое — губы не слушались его.

— Увести! — приказал капитан сержанту, — потом с ним... — А Плоскину предложил: — Ну, а вы расскажите мне все толком.

Расспросив Плоскина, капитан написал какую-то записку, вложил ее в конверт, заклеил:

— Передайте вашему заместителю командира полка по политической части.

«Про меня? — опасливо подумал Плоскин. — Ну, выдаст мне замполит морали по полной норме...»

Прочитав врученное Плоскиным письмо, майор Понедельный сказал:

— Как я и предполагал... Так вот, товарищ Плоскин. Мне говорили — вы смелый солдат. А оказывается, признаться в своей оплошности и то струсили. Молчали, пока вас не спросили.

Плоскин и не пытался оправдываться. Помаргивая от смущения, слушал майора, говорившего, что от утайки недалеко до лжи, от лжи — до измены. Слушая, удивлялся: откуда майор о нем знает почти все — и как служит, и как в партию собирается, и за что сержант взыскивал...

Под конец майор, вначале говоривший довольно строго, подобрел:

— Ну, идите. Надеюсь, больше вам краснеть ни перед кем не придется?

— Так ведь все узнают... — шептал Плоскин. — Стыдить будут, смеяться... Товарищ майор! Не говорите никому, а? А я обещаю... что все как положено... Только не говорите.

— Экий вы чувствительный! — рассмеялся замполит. — Ну, ладно, про себя переживайте, и то дело. Так уж и быть, не скажу.

* * *

В конце дня Бересову стало известно, что фальшивый «Плоскин» приговорен трибуналом к расстрелу и что командир дивизии приказал приговор привести в исполнение перед строем бересовского полка. Бересов решил немедленно звонить командиру дивизии, просить, чтобы расстрел изменника был проведен где-нибудь в другом месте: преступник — не из его полка, такие церемонии проводятся в назидание, а разве бойцы его полка нуждаются в таком назидании больше, чем бойцы других частей?

Неожиданно его намерению воспротивился Понедельный:

— Что в этом для нас позорного? Предателя наши поймали? Пусть и увидят его конец!

Однако Бересов, который обычно с мнением Понедельного весьма считался, все-таки генералу позвонил. Тот с доводами Бересова не согласился. Бересов не удержался, спросил с давно таимой горечью:

— Не потому ли нам такая милость, что в подозрении мы?

— В каком подозрении? — не сразу догадался генерал. — А, насчет расследования? То — своим чередом.

Своего распоряжения, к огорчению Бересова, генерал так и не отменил.

Но обида Бересова ему была понятна, и потому сразу же после разговора с ним он приказал соединить себя с прокурором дивизии, спросил:

— Расследование по бересовскому полку скоро закончите?

— Следователь уже оформил материал, — ответил прокурор. — Сейчас я знакомлюсь, сегодня представлю заключение вам.

Вечером того же дня генерал, получив от прокурора довольно объемистую папку с материалами следствия, уединился и, приказав не тревожить себя ни по каким делам, кроме особо срочных, занялся ею.

Первым долгом генерал прочел подшитое в конце папки заключение прокуратуры. Оно гласило, что произ-

веденным дознанием не установлено преступного нарушения устава в период боя на канале кем-либо из офицеров полка.

Оставалось наложить резолюцию. В армейской газете о тех, кто оборонял канал, написано, как о героях. Начполитотдела прав, что надо на этих людей не протоколы допросов писать, а наградные листы. Прокурорское заключение особых сомнений не вызывает.

Но генерал не имел обыкновения бездумно полагаться на представляемые ему готовые заключения. Вспомнил: «А взрыв моста?»

Стал листать опросные листы. Неворожин. Докладная, показания: дал приказ взорвать мост потому, что был уверен — противник уже выходит на него. Из написанного Неворожиным следует, что виновны командир батальона капитан Яковенко, не организовавший обороны моста, и помначштаба капитан Гурьев, своевременно не доложивший, что на помощь идут самоходки.

Кто же на самом деле виноват? Гурьев, что промедлил, или Неворожин, что поспешил? Вот показания радистов, связного, который по поручению капитана Гурьева ходил разыскивать Неворожина. Жаль, что нет показаний неизвестно куда девшегося ефрейтора-сапера, которому Неворожин отдавал приказ о взрыве. Второй сапер, солдат, ничего определенного не показал: сидел в окопе, не видел, подошли немцы к мосту или нет. А какой вывод делает следователь? Неворожин не был своевременно информирован о самоходках в силу обстоятельств. По букве закона судить его не за что. А по совести? Судит ли сам себя? Надо, чтобы судил. Кажется, Бересов уже дал Неворожину это понять. Недаром тот на днях зондировал в отделе кадров, нельзя ли куда-нибудь перевестись. Нет, пусть служит в полку!

Лист за листом просматривал генерал. Гурьев, этот пэнша, как будто толковый штабной офицер. Но, судя по тому, что о нем показывает Неворожин, пэнша на сей раз допустил оплошность. Что он пишет в своих показаниях? Оправдывается сам и обвиняет Неворожина, как тот его? Нет, ни оправданий, ни обвинений. Только факты. Мост был взорван раньше, чем связной доложил, что Неворожин найден, и раньше, чем Гурьев мог бы предупредить Неворожина о подходе самоходок. Напрасно Неворожин Гурьева обвиняет... Дальше. По-

недельный, замполит. Этот майор, как и пэнша, тоже, кажется, раньше служил в батальоне Яковенко? Не выгораживает ли он комбата? Что Понедельный пишет? Бойцы дрались, как львы, когда кончались патроны — вступали врукопашную. Командиры взводов, командиры рот и командир батальона отводили людей назад только тогда, когда оставаться на прежних рубежах было явно бессмысленно. Ну что ж, этому замполиту можно верить. Не по донесениям, не по докладам все видел — сам на передовой весь бой находился... Начполитотдела об этом майоре хорошо отзывается... А вот — показания Яковенко. Ого: «Признаю себя виновным, что вверенный мне батальон отдал противнику занимаемый в начале боя рубеж». Со злости, наверное, написал. Горяч! А того не написал, что больше половины бойцов пролило свою кровь на том рубеже. Чудо, что с оставшимися удержался на канале. Нет, товарищ комбат, ты себя виновным признаешь — признавай. А я тебя не признаю! Кончено дело!

Не колеблясь более, генерал размашисто написал поперек прокурорского заключения: «Согласен». Взял телефонную трубку — сообщитьココ Бересову, что «дело» завершено и сдается в архив, чему генерал был рад не меньше Бересова и других: ведь неприятности подчиненных комдива были не в меньшей мере и его личными неприятностями.

* * *

Утром следующего дня весь полк был построен на прилегающем к роще лугу в трехстороннее каре, обращенное фронтом внутрь, — сверху это казалось бы огромной буквой «П», написанной серым на ярко-зеленом.

Солдатам еще не объявили, для чего их построили. Все с любопытством смотрели на середину, где, переговариваясь, стояли несколько офицеров — своих, полковых и незнакомых. В свободной от строя стороне большого прямоугольника, образованного шеренгами, трое солдат торопливо что-то рыли. Выброшенная лопатами свежая земля четко чернела среди молодой, только еще подымающейся травы.

Но вот офицеры, разговаривавшие посередине, поспешно разошлись, каждый встал в строй.

Раздалась громкая команда:

— Смирно!

Ряды, чуть шелохнувшись, замерли.

На середину вышел капитан. Плоскин, стоявший во второй шеренге, вытянул шею, присмотрелся, узнал: тот, к которому его посылали вчера. Узнал капитана и Зубарь.

Следом за капитаном два автоматчика вели кого-то с непокрытой головой, в неподпоясанной гимнастерке, руки повисли вдоль тела, на одной из них белел бинт. Плоскин вздрогнул: это тот, кто пытался прикрыться его именем! Тот, которого он упустил... Скосив глаза, взглянул на лица товарищей: и они узнали? Кажется, еще нет. Хоть бы не догадались, что это тот самый. Сдержал ли майор Понедельный свое слово? Как будто сдержал. А то начали бы расспрашивать да корить — и без того от стыда хоть в землю заройся... Стараясь выглядеть невозмутимым, смотрел на изменника, безвольно бредущего меж конвойными.

Капитан подал знак автоматчикам, они остановились так, чтобы всем виден был тот, кого они привели, остолбенело стоящий лицом к середине строя.

Вышел и остановился рядом с капитаном незнакомый офицер, что-то сказал капитану, тот утвердительно кивнул. Офицер вытащил из планшета небольшой листок бумаги, начал читать по нему вслух. Он произносил слова во весь голос, но пространство заглушало их, не все они были понятны. Плоскин, вытягивая шею, привставал на носках, чтобы лучше видеть, слушал: «Военный трибунал дивизии... за измену Родине... согласно статье... высшей мере...»

Офицер сложил листок, сунул его в сумку, отошел в сторону. Капитан скомандовал приговоренному:

— Кругом!

Осужденный как-то машинально, словно не он уже управлял своими движениями, повернулся лицом к яме, черневшей шагах в тридцати перед ним. Он, очевидно, впервые увидел ее в этот миг — пошатнулся, оглянулся на капитана.

— Шагом марш! — скомандовал тот и сделал знак автоматчикам. Те вскинули приклады к плечам, готовые стрелять.

Изменник сделал шаг, второй — но, взмахнув руками, повернулся лицом к бойцам, упал на колени:

— Товарищи! Родные! Простите! Ноги вам целовать буду! Велите всё!.. Искуплю! — и, упав лицом в землю, задергался, но тотчас же снова поднялся, пополз на коленях, отчаянно выкрикивая: — Товарищи! Родненькие!

Каменно молчал строй.

Капитан махнул рукой замешкавшимся автоматчикам. Те попытались поднять приговоренного, он валился навзничь: ноги уже не держали его. Автоматчики подхватили его под руки, потащили к яме. Ноги изменника волочились по земле, он продолжал бессвязно кричать что-то. Капитан, быстрыми шагами шедший следом, выдернул из кобуры пистолет, выстрелил изменнику в затылок. Тот, сразу онемев, обмяк. Автоматчики дотащили тело до ямы, сбросили в нее. Один из них дал туда короткую очередь.

Наперебой зазвучали торопливые команды. Колыхнулись шеренги. Дружно, в едином ритме, затопали сотни ног. Подразделение за подразделением стали расходиться.

Плоскин на ходу оглянулся. На пустом уже поле чернела еще не зарытая яма. К ней шли три солдата с лопатами.

Глава 6

ТРУБКА

Миновало уже несколько дней, как Галочкин отправился сопровождать в штаб дивизии добровольно сдавшуюся в плен мадьярскую роту. Предполагалось, что он вернется в тот же день. Но полк, наступая, прошел уже не один десяток километров, а Галочкин все еще не появлялся. Гурьев неоднократно справлялся о нем в штабе дивизии. Отвечали: отправлен сопровождать сдавшихся дальше в тыл. Узнать что-либо, кроме этого, Гурьев не смог. Яковенко при каждом разговоре допекал Гурьева: «Куда ты задевал моего офицера?» Да и Белых при встречах сетовал: «Взвод без командира!» Гурьеву уже и от Root Бересова попало, что отправил строевого офицера неведомо куда.

А тем временем Галочкин, уже за много километров от своего полка, все еще держал путь в тыл. В штаб дивизии он явился уже не с сорока сдавшимися в плен мадьярами, как в начале пути, а более чем с сотней: завидев солдат в желтых мундирах, вольным строем шагающих прочь от фронта, выходили на дорогу и другие такие же, во время отступления попрятавшиеся в придорожных перелесках, по хуторам и селам, и до поры боявшиеся показаться: россказней о «зверствах большевиков» они наслушались предостаточно. Но уже один вид таких же, как они, гонведов, спокойно идущих в сопровождении всего-навсего одного русского, обнадеживал их.

В штабе дивизии к сотне мадьяр, приведенных Галочкиным, добавили еще почти столько же, сдавшихся в плен другим частям. Галочкину, как он ни протестовал, выдали предписание и приказали отправляться с мадьярами и повозками, на которые были погружены их личные вещи, дальше в армейские тылы на пункт сбора пленных.

Галочкин ехал на передней повозке. На нее часто подсаживался старший лейтенант Фарнаи, командир роты. Сначала показавшийся Галочкину настороженным, скрытным, он оказался очень общительным, все время завязывал разговор, хотя по-русски говорить и не умел. Из тех весьма немногих русских слов, которые знал старший лейтенант, наиболее правильно он произносил ругательные — в этом имел, вероятно, практику. Самые крепкие выражения адресовал Гитлеру, Хорти, Салаши, фашистам вообще. Этим он быстро расположил Галочкина к себе. Да и сам Фарнаи, как был убежден Галочкин, сразу проникся симпатией к нему. Даже подарил в первый же день пути свою узорчатую резную трубку черного дерева. Галочкин бережно спрятал ее в карман. Его радовал подарок, хотя он не умел и не любил курить, только для солидности держал при себе табак. Но он мечтал: вернувшись к своим, вытащит эту расчудесную трубку, набьет табаком, важно задымит. А когда на необыкновенную трубку все обратят внимание, станут расспрашивать, откуда она у него, ответит небрежно: «Один мадьярский офицер подарил».

Разговаривать с Фарнаи помогал прапорщик Мадараш, который с первого дня пути с рвением стал испол-

нять при Галочкине обязанности толмача — из всех мадьяр Мадараш единственный умел изъясняться по-русски, хотя и не совсем правильно, но уверенно.

Через Мадараша старший лейтенант Фарнаи особенно настойчиво допытывался, даст ли ему русское командование документ, удостоверяющий, что он добровольно перешел на сторону советских войск и привел с собой роту солдат в полном вооружении. Дадут ли ему возможность внести свой вклад в дело войны с врагами Венгрии — он хочет вступить в новую венгерскую армию, которая, как он слышал, уже формируется демократическим правительством на освобожденной территории. Галочкин уверенно отвечал, что документ, конечно, дадут и что такие убежденные антифашисты, как Фарнаи, безусловно, нужны новой Венгрии.

Всячески старался завоевать расположение Галочкина и прапорщик Мадараш. Почти все время он ехал с ним на одной повозке и без умолку расспрашивал или рассказывал что-нибудь — длинно, с подробностями, оживленно жестикулируя.

В начале знакомства Галочкин отнесся к Мадарашу гораздо настороженнее, чем к Фарнаи: прапорщик говорит по-русски. А кому же из оккупантов русским языком больше пользоваться приходилось? Карателям, комендантам, жандармам!

Но Мадараш, наверное почувствовав подозрения Галочкина, постарался рассеять их, объяснив: его часть долго находилась в России, он любил разговаривать с хозяином, у которого квартировал, и так научился русскому языку. Мадараш всячески старался показать: он весьма доволен, что они держат путь на восток. Этот путь для Мадараша, как и для многих в колонне, — путь не только в плен, но и домой: его семья живет в Восточной Венгрии, возле Ньиредьхазы, в небольшом городке, где Мадараш до войны занимался адвокатурой. Он надеется, что скоро будет среди родных.

Как выяснилось из обстоятельных рассказов Мадараша, в их роте многие родом из восточных областей. Они не захотели отступать вместе с немецкой армией, опасаясь, что линия фронта отрежет их от родных мест. С тех пор как их полк идет по родной венгерской земле, рота и без потерь тает с катастрофической быстротой. Многие дезертировали еще зимой, после того, как стало

известно, что бои идут под Будапештом, а Хорти — уже не правитель. В те дни распространился слух: Хорти решил прекратить войну, за это Гитлер лишил его власти. Рассказывали, что гестаповцы ворвались во дворец Хорти в то время, когда правитель находился в ванне, не дали ему даже одеться, замотали в ковер, завязали и увезли неизвестно куда. Мадараш, похоже, жалел Хорти; он считал, что при Хорти Венгрия как-никак, а все-таки была самостоятельным государством, не то что при Салаши.

Галочкин из вежливости не стал спорить и высказывать своего мнения о Хорти, к которому резонно относился не лучше, чем к Гитлеру. Он держался дипломатично, старался больше слушать, чем говорить. А Мадараш продолжал свои рассказы.

Когда полк был уже недалеко от Будапешта, поступил приказ привести всех к присяге на верность новому правителю. Полк построили, скомандовали: «К молитве!» Командир полка, громко читая присягу, велел всем повторять ее слова. Повторял и Мадараш. Но думал про себя: «Черта с два пойду я погибать за какого-то майора Салаши!» После этой присяги усилились разговоры тайком: надо кончать воевать, пока не поздно — капитулировать!

Полку повезло — он не попал в будапештское кольцо. Когда Будапешт пал и полк повели дальше на запад, за Дунай, случаи дезертирства еще более участились. Командир полка, венгерский граф с немецкой фамилией, на солдатской крови заработавший за войну полковничий чин и не один орден, а теперь боявшийся, что и заслуги не спасут его от гнева начальства, если полк развалится, самыми свирепыми мерами пытался пресечь дезертирство.

Мадараш, волнуясь, словно заново переживая виденное, рассказывал Галочкину с подробностями, как рассказывал обо всем. В одном из сел остановились на привал. Солдаты разошлись по дворам. Но внезапно прозвучал сигнал сбора. Полк выстроили в каре на площади. На середину вывели плачущего парня в деревенской овчинной куртке и форменных солдатских брюках. Полковник показал на него: «Глядите, венгры! Перед вами — предатель нации, дезертир, бросивший в грязь мундир гонведа! Наглец еще изворачивается. Уверяет, что он —

житель этого села, требует вызвать свидетелей! Никакой канители! Он будет немедленно расстрелян. Такая позорная участь постигнет каждого, кто нарушит свою присягу нашему вождю Салаши, богом посланному Венгрии в час трудного испытания! Кто согласен расстрелять этого негодяя?»

Два унтера услужливо подняли руки, но больше не поднялась ни одна рука.

Полковник рассвирепел: «Подлые трусы! Значит, вы все заодно с ним? Я спрашиваю: кто из вас расстреляет этого врага венгерского государства?»

Наконец над рядами замаячила одинокая рука.

«Вот истинный сын нации! — обрадовался полковник. — Выйди вперед, мой друг».

Из рядов выступил солдат: «Разрешите сказать, господин полковник!»

«Говори, мой друг!»

Солдат показал на плачущего «предателя нации»: «На нем мои штаны, господин полковник. Я променял ему запасные на буханку хлеба и кусок сала. Накажите меня — проел казенное обмундирование, но этого парня не казните. Он ни в чем не виноват».

«Он дезертир!»

«Нет, господин полковник! Он здешний, из крайнего двора. Как я ему променял, так он и надел. При мне еще. У него рваные были...»

Полковник заревел: «Молчать! В строй, кругом, марш!»

А потом два унтера по приказу полковника отвели паренька к стене ближнего сарая, велели повернуться лицом к ней и уложили двумя пулями.

— Я хотел брать пистолет, стрелять полковника! — воскликнул Мадараш в конце рассказа. Галочкин едва сдержал улыбку: в воинственность Мадараша он не очень-то верил.

— Я слышал от своих, — сказал он Мадарашу, — мадьярские солдаты еще недавно были упорны в бою, сдачу в плен считали позором. Как же это вы все решили в плен сдаваться?

Мадараш объяснил: после боев под Балатоном поступил приказ отходить на запад, к австрийской границе. Никому не хотелось покидать родную землю. Вспомнили: в старину гонведы, как в те времена называлось народ-

ное ополчение, брали оружие лишь тогда, когда враг вторгался на их родную землю, и никогда не воевали за ее пределами. Полк комплектовался в Брашове, в роте было много трансильванских мадьяр, русин, словаков. Из их родных мест еще прошлой осенью ушла война, и каждый из них стремился теперь домой. Не хотели уходить с венгерской земли и некоторые из офицеров. Все больше в роте стали поговаривать: нельзя давать немцам уводить себя с родины. Кое-кто даже предлагал повернуть оружие против немцев.

— Почему же не повернули? — спросил Мадараша Галочкин.

— Не имели приказ.

— А без приказа?

— Нет возможно. Как это?.. Обещание, присяга... Да! Клятва!

— Но в плен-то сдаться вам присяга не помешала? Нарушили ее, и всё.

— Нет, нет! — запротестовал Мадараш. — Наше сдавание в плен — обоснован юридически!

— Как?

— Я вам буду объяснение, господин лейтенант! Мы давали клятва правитель Унгария адмирал Хорти. Хорти сам делал отказ от клятва, которую дал, когда становил себя правитель. Поэтому наша клятва Хорти — что? Фикция! Как это лучше говорить по-русски? Вот: нет того, кому клятва, — нет клятва. Клятва тому, кого нет, — есть юридически нонсенс. Клятва Са́лаши? Кто такой Са́лаши? Фе! Са́лаши нет право брать клятва! Клятва Са́лаши нет сила закон!

— Выходит, могли вы против немцев выступить.

— О нет, господин лейтенант! Юридически нет! Как это по-русски? Свобода от клятв есть свобода не воевать. Но воевать против другой противник? Где приказ? — Мадараш развел руками. — Нет приказ.

— Подумаешь! Дали бы сами приказ солдатам!

— О, господин лейтенант! Сначала надо приказ, как это... для вся армия! А его может дать государство, власть. В Унгарии на сегодня где власть?

— Как — где? У вас еще зимой новое правительство создано. В Дебрецене.

— Но, господин лейтенант! Как это сказать по-русски? — Мадараш изложил свои доводы так: по его мне-

нию, дебреценское правительство образовано не в соответствии с существующим законом о государственном устройстве Венгрии. В нем представлено население только восточной части страны. И вообще армия от этого правительства не получала приказа.

— Что же оно, через фронт вам приказ даст?

«Мастер этот адвокат на отговорки!» — Галочкин не вытерпел:

— Вы просто не хотите воевать против фашистов! Вот и находите причины.

— Я... как это? Самое общее, вообще — не хочу война! — ответил Мадараш. — Война — как это по-русски? Фе! Нет хорошо, да! Противно христиан мораль.

— Я, может быть, не знаю, что такое христианская мораль. Но знаю — фашизм всякой морали противен! И поэтому надо его истребить до конца!

— Я... понимать ваше чувство, господин лейтенант. Но война... это игра со смерть, каждый человек — как это? Только проиграть? Фе! Нет! Важен голова на плечи! Политика — мне мало интерес!

— Э, что мне с вами толковать! — окончательно потерял свою «дипломатичность» Галочкин.

Мадараш окончательно пал в его глазах: то, что Галочкину понятно, этому прапорщику, хотя он и университет окончил, — нет! И вообще — любит петлять этот краснобай. То ли дело старший лейтенант Фарнаи! Прямой, решительный. Роту привел, Гитлера, Хорти, Салаши кроет, воевать против фашистов прямо-таки рвется. А этот — ни рыба ни мясо, одним словом, гнилая буржуазная интеллигенция...

Мадараш, после того как его оборвал Галочкин, долго хранил молчание — не то обиделся, не то перепугался, что рассердил русского лейтенанта. Но потом снова разговорился, стал по-прежнему многословным и продолжил свой рассказ о том, как созрело у него и у других решение кончить воевать.

Заодно с офицерами роты, рассказывал Мадараш, был и ее прежний командир — кадровый капитан, прошедший с ними на восток до реки Дон и обратно до Балатона, капитан, которого теперешний командир, старший лейтенант Фарнаи, служивший прежде где-то в другой части, сменил совсем недавно, причем его появлению

предшествовали неожиданные и тяжелые для многих в роте события.

Кто-то донес командиру полка о ведущихся в роте разговорах про сдачу в плен. Полковник, и без того злой — на каждой вечерней поверке не досчитывалось нескольких солдат, — рассвирепел. Он не ограничился внушением капитану или смещением его, а передал дело военно-полевому суду. Капитана приговорили к повешению.

После казни капитана полковник выступил перед строем с речью, которую Мадараш передал Галочкину примерно так: «Вы прохвосты! Если в моем полку останется хотя бы одна-разъединственная трансильванская курва, я заставлю ее воевать. За попытку удрать, даже за помысел об этом, офицера прикажу вешать, солдата — четвертовать!»

Но эта речь имела совсем не те результаты, на которые надеялся полковник. Офицеры роты, все, кроме вновь назначенного командира ее, такие же резервисты, как и Мадараш, втайне переговорив между собой, решили на марше, в ночное время, выбрав удобный момент, незаметно вывести роту из полковой колонны, выждать в укромном месте, а когда приблизятся русские — сдаться им. Сначала хотели сделать это без ведома командира роты: еще не знают, можно ли ему довериться. Тем более, он с первого же дня показал себя очень строгим, беспощадным к малейшим проявлениям недисциплинированности. Говорили, что в роту специально назначен такой командир, чтобы держать ее в железном кулаке.

Но совершенно неожиданно новый командир вызвал к себе всех офицеров и сказал: «Мне известно, что вы готовите. Я присоединяюсь к вам».

Задуманное осуществилось. Из роты только один солдат не согласился сдаваться и ушел вслед за полком.

— Что, хотел еще повоевать? Фашист какой-нибудь? — спросил Галочкин.

— Нет, — простой гонвед, ординарец казненного капитана. Воевал с ним вся война. Не пошел в плен — почему? Клятва: убить полковник! За капитана, месть!

Слушая бесконечные речи Мадараша, в которых чуть не каждая фраза оканчивалась восклицанием, Галочкин уже решил, что именно способность к красноречию определила профессию Мадараша. Однако из дальнейших

откровений Мадараша узнал: тот стал адвокатом вовсе не по призванию. Служению Фемиде он посвятил себя лишь по настоянию отца, пожелавшего, чтобы сын имел доходную профессию.

Мадараш доверительно поведал Галочкину, что намерен после войны еще некоторое время заниматься адвокатурой, чтобы скопить денег, а потом окончательно бросит сутяжные дела, купит земли и начнет ее возделывать. Мадараш допытывался у Галочкина: не известно ли господину лейтенанту, как поступят русские с землей крупных землевладельцев? Отдадут в колхозы или продадут желающим, лучше бы в кредит и по сходной цене.

Галочкин спросил, сколько земли Мадарашу надо? Тот ответил, чем больше, тем лучше. «Но ведь большой участок вы не сможете обработать?» — «Зачем сам? — удивился Мадараш. — Дать работа людям, они — благодарность». — «Значит, хотите быть эксплуататором?» Мадараш возмутился: «О нет! Я — демократ!»

Мадараш не поверил Галочкину, когда тот в ответ на расспросы высказал мнение, что, по всей вероятности, землей будут распоряжаться местные власти, так же как и в пройденной советскими войсками Румынии. «Нет!» — твердил Мадараш. «Почему? — не соглашался Галочкин.— Для нас что румыны, что вы — одинаковы».— «Нет, нет! — стоял на своем Мадараш. — Русские, румыны — старый союз: на турок война, на кайзера война, эта война. Унгария, Россия — всегда война! Сорок восемь год, Кошут! Русская армия отнимал наш свобод!» — «Так это когда было! — возразил Галочкин. — При Николае Первом. А сейчас-то у нас Советская власть».

Но Мадараш только качал головой с сомнением, и Галочкина охватила досада: вот чудак, все законы знает, а простых вещей, в которых любой боец разбирается, понять не может! И чему его только учили в университете?

Галочкин после этого оставил попытки просвещать прапорщика, лишь слушал его.

В разговорах с Мадарашем незаметно проходили километры пути. Медленно, чтобы не отстали идущие сзади гонведы, тащились повозки, нагруженные солдатскими ранцами. Тихие и спокойные тянулись мимо поля, кое-где на пригретых солнцем пригорках уже зеленела молодая трава. По шоссе о бок колонны то и дело пробе-

гали грузовики. Навстречу — нагруженные ящиками с боеприпасами, мешками с продуктами, в обгон — пустые, только иной раз в кузове мелькнут серые шинели, белые бинты, послышится веселый окрик:

— Эй, камрад! Домой давай! — и откликнется кто-либо из гонведов:

— Давай! Давай! — уже запомнилось им и полюбилось это ходовое русское словцо.

Все чаще навстречу — грузовики, спешащие к передовой. И каждый раз, как они, обдав ветерком, проносятся мимо повозки, сжимается сердце Галочкина. Машины на фронт спешат, однополчане воюют, взвод там — неизвестно как, а он вот уже который день слушает бесконечные речи прапорщика Мадараша и плетется в тыл. А тут еще опухоль на ноге проходит так медленно...

Когда же наконец он доведет мадьяр до места?

* * *

Кончался день. До городка, конечного пункта пути, оставалось еще десятка два километров. В попутной усадьбе, близ которой стояло множество скирд обмолоченной соломы, Галочкин решил сделать остановку на ночлег, тем более, что здесь же остановились и какие-то едущие в сторону фронта обозники.

Наблюдая за тем, как его «опекаемые» устраиваются на ночь, зарываясь в солому под скирдами, Галочкин заметил, что к гонведам подошел старик в кожушке и порыжелой шляпе, по виду батрак или небогатый крестьянин, и о чем-то расспрашивает их.

— Что ему? — спросил Галочкин Мадараша, стоявшего рядом.

Мадараш поговорил со стариком и перевел: старик говорит, что поблизости от усадьбы прячется несколько гонведов, бежавших из своих частей. По домам они идти боятся и попросили старика разузнать, не случится ли с ними худого, если они сдадутся в плен.

— Скажите, пусть позовет! — распорядился Галочкин. — Не первое нам пополнение по пути...

Старик резво зашагал куда-то за скирды.

Вскоре он вернулся, привел семерых мадьярских солдат. Исполнительный Мадараш, спрашивая фамилии, стал заносить их в общий список. В это время подошел стар-

ший лейтенант Фарнаи. Галочкин при этом невольно обратил внимание: один из вновь явившихся при появлении старшего лейтенанта резко изменился в лице. Его взгляд беспокойно перебегал то на Фарнаи, то на Галочкина.

Мадараш переписал всех, кого привел старик, и они присоединились к остальным. Галочкин отправился в усадьбу, где устроились обозники, — он хотел заночевать среди своих.

Пройдя совсем немного, он услышал позади торопливые шаги. Кто-то догонял. Обернулся: тот самый гонвед, который так странно встревожился, увидев Фарнаи.

Гонвед вытянулся и прерывающимся от волнения голосом стал что-то говорить.

— Минутку! — остановил его Галочкин, не понявший, конечно, ни одного слова. — Сейчас я позову толмача, вашего толмача.

— Толмач? Tiszt? [1] — переспросил гонвед как-то нерешительно.

— Ну, конечно, толмач. — Галочкин глазами поискал Мадараша, подозвал, попросил: — Узнайте, что хочет этот солдат?

Мадараш перевел:

— Этот гонвед — сказать только вам, господин лейтенант. Он — как это?.. баста, отказ сказать мне.

— Что, не доверяет? — рассмеялся Галочкин.— Подумаешь, военная тайна! — показал гонведу на Мадараша: — Говори ему все, как мне!

Галочкин и не заметил, как около них оказался Фарнаи. А может быть, он уже был поблизости и слышал разговор?

При виде Фарнаи гонвед словно окаменел. Какие-то секунды оба молча смотрели друг другу в глаза. Знакомы, что ли?

Отрывисто, раздраженным голосом, Фарнаи что-то приказал гонведу. Тот, бросив на Галочкина выразительный, как бы зовущий на помощь взгляд, кругом, по-строевому, повернулся и, вжав голову в плечи, пошел обратно.

— Что ему все-таки надо было, этому солдату? — спросил Галочкин у Мадараша.

---

[1] Офицер? *(венг.)*.

Фарнаи что-то быстро проговорил Мадарашу.

— Гонвед — своя просьба. Он хотел быть не как все гонвед. Старший лейтенант Фарнаи приказал быть как все, — поспешно перевел Мадараш Галочкину.

— Да в чем дело-то? — ничего не понял Галочкин.

Мадараш только руками развел.

— Пусть потерпит, пока на место придем!

Наказав Мадарашу утром разыскать его среди ночующих обозников и разбудить, Галочкин пошел в усадьбу.

Мадараш явился еще затемно.

— Почему так рано? — спросил недовольный Галочкин.

— Старший лейтенант Фарнаи сказал: так есть ваш приказ, господин лейтенант.

— Мой приказ? Но вы же знаете — все приказы я отдаю через вас. Вы что-то напутали. Ложитесь спать!

— Люди уже стоят строй, господин лейтенант!

— Ну, раз так, то выступаем. — Галочкин, чертыхаясь про себя, начал осторожно натягивать сапог на больную ногу. — Идите, я сейчас.

Когда он подошел к уже приготовившейся выступить колонне и порядка ради спросил Мадараша, все ли налицо, тот доложил:

— Нет один.

— Кто?

— Гонвед, который хотел конфиденциально разговор с вами.

— Куда он мог пропасть? — удивился Галочкин. — Зачем ему бежать, если он, как и все, сам пришел в плен?

* * *

Галочкин шагал по улице небольшого городка, где располагались тыловые учреждения армии, в которую входили его полк и дивизия. Он только что получил в штабе армии бумагу, удостоверяющую, что данное ему поручение выполнено, и направлялся искать попутную машину, на которой можно вернуться в полк.

Лицо Галочкина пылало. Он лихорадочно шарил в глубине брючного кармана. А, вот она! Выхватил из кармана резную трубку, подарок Фарнаи, с силой бросил наземь, ударил по ней каблуком, трубка хряснула. Не

глядя на нее, зашагал дальше, зашагал поспешно, словно пытался как можно быстрее уйти от стыда, жгущего щеки. Ругал себя:

— Так опростоволоситься! Простак! Развесил уши! Стыд! Какой шляпой оказался!

Час назад, когда Галочкин привел к штабу армии мадьяр, к нему тотчас же подошли майор и капитан и, спросив, кто из мадьярских офицеров старший, пригласили Фарнаи пойти с ними.

Уже все формальности по приему мадьяр были закончены, а Фарнаи не возвращался.

Галочкин, которому хотелось по-дружески попрощаться с ним, решил его разыскать.

У входа в здание штаба он встретился с тем капитаном, который вместе с майором увел Фарнаи. На вопрос о Фарнаи капитан как-то странно посмотрел и позвал Галочкина с собой. Он привел его в комнату, где сидел за столом и что-то писал уже знакомый ему майор.

Словно зная, что хочет спросить Галочкин, майор сказал, пристально поглядев на него:

— Старший лейтенант Фарнаи — не старший лейтенант. И не Фарнаи, а Бикач, подполковник военной жандармерии, матерый палач и каратель. Он загубил много жизней и у нас, и в Венгрии. Этого зверя опознал мадьярский солдат, раньше служивший писарем в комендатуре.

Галочкин даже заикнулся от изумления и только теперь осенившей его догадки:

— К... какой солдат?

— Тот, который подходил к вам на привале и к которому вы отнеслись так невнимательно — больше поверили этому Бикачу, чем ему. Но нам солдат сообщил то, что не сумел сказать вам.

— Как?.. Ведь солдат сбежал?..

— И не думал.

Майор задал Галочкину несколько вопросов, касающихся Фарнаи-Бикача. Потом, видя, как ошарашен Галочкин всем случившимся, объяснил ему: Бикач, узнав солдата и боясь, что тот выдаст, выследил его ночью, когда солдат, как и другие, спал под скирдой. Бикач ударил его чем-то тяжелым по голове и, посчитав убитым, затолкал в солому, а сам поспешил побыстрее уйти от места своего преступления — вот почему он поднял

всех для продолжения пути так рано. К счастью, удар Бикача оказался не смертельным. Солдат через некоторое время, когда все уже ушли, придя в чувство, с разбитой головой, выбрался из соломы на дорогу. Но там снова потерял сознание. Его подобрали на проходивший с передовой порожний грузовик и доставили в госпиталь — поэтому он и оказался в городке раньше, чем туда явился с подопечными мадьярами Галочкин. В госпитале солдат, очнувшись, попросил переводчика и рассказал все.

— Вот видите, лейтенант, — сказал майор в заключение. — Этот бандит Бикач, которого вы знали под именем Фарнаи, и ловок, и смел. Не прятался, хотя и рисковал. Сам к нам шел, в доверие втереться. А этот простак прапорщик Мадараш и вы в этом чуть ли не помогли Бикачу. Наука вам на будущее!

Пораженный Галочкин не помнил, как он расстался с майором, как очутился на улице. И первое, что сделал, как только немного пришел в себя, — расправился с дареной трубкой, как будто она одна была виновата во всем.

Глава 7

В ХОЗЯЙСТВЕ МОРОКИНА

Полный тыловых учреждений городок, стоящий на большой проезжей военной дороге, был оживлен и вместе с тем по-особенному спокоен, как бывает тих и спокоен всякий населенный пункт, в котором уже не чувствуется непосредственной близости передовой.

Галочкину такая оживленность и вместе с тем тишина казались равно странными. Идя по широкой, до лоска накатанной автомобильными колесами дороге, вдоль которой тянулись аккуратные белые домики, крытые красной черепицей, он, стараясь отвлечься от душевных угрызений, которые одолевали его после разговора с майором, с любопытством посматривал по сторонам.

Во дворах и садах, под деревьями — «виллисы», обшарпанные трофейные лимузины и автобусы, крытые грузовики. По дороге встречается много военных. Меж ними сразу приметны тыловики — правый погон не смят, как у каждого на передовой, где спят не раздеваясь.

Среди встречных — немало девушек. Вспомнил: и Ольга раньше служила в армейском госпитале. Останься она там — могла бы сейчас встретиться ему на улице... Но ведь тогда они не были бы даже знакомы. А если бы сейчас встретились?.. И Галочкин, внимательным взглядом окидывая каждую попадавшуюся ему сейчас на дороге девушку, невольно искал в ней какого-нибудь внешнего сходства с Ольгой.

Встречные солдаты отдавали честь — и это тоже было непривычным: на передовой обычно обходятся без этого.

У одного из солдат Галочкин спросил, как пройти к складам, около которых грузятся машины, приходящие из частей. Откозыряв и вытянув руки по швам, солдат оглядел незнакомого офицера подозрительным взглядом, ответил:

— Не могу знать.

То же ответил и второй, а третий предложил:

— Я вас провожу, вам там скажут, — и повел его к дому, к которому со всех концов, по деревьям, крышам и заборам, тянулись провода. Часовой-автоматчик не пустил Галочкина дальше калитки, вызвал офицера. Тот долго проверял документы Галочкина, наконец возвратил их, объяснил: склады в конце городка, идти туда этой же улицей.

Направившись по указанному пути, Галочкин подумал: где-то здесь же должна находиться редакция армейской газеты, в которой работает старший лейтенант Карбовский. Он ведь приглашал. Зайти, повидаться? Не ради стихов, а просто так. Да, кстати, Карбовский ездит по частям, он, возможно, недавно был в полку, знает, по какому направлению вернее догонять.

Ну и ловок этот старший лейтенант! Как он сразу стихи углядел! До него никто и заподозрить не мог... А Карбовский нашел и для газеты забрал, и почему-то даже те, что посвящены ей...

А что, если и в самом деле напечатают, она прочтет и догадается? Нет, нет! Ей ни в коем случае не следует знать. Он же уверен: она любит старшего лейтенанта Белых. А ему — где до старшего лейтенанта! Нет, пусть она лучше и не подозревает... Надо постараться, чтоб было так. Только вот сердце не сдержать — что ни делай с собой... Да, где же редакция?

Местоположение редакции не оказалось предметом строгой военной тайны. Первый же встречный солдат объяснил: дойти до угла, на нем указка, она прямо на редакцию направит.

На углу висела нацеленная в переулок тупоносая деревянная стрела с аккуратной надписью: «Хозяйство Морокина». Галочкин направился туда, куда она показывала, и вскоре увидел большой казенного вида дом.

Толкнул тяжелую до половины застекленную дверь, вошел в просторную переднюю. Где-то за стеной монотонно стучала пишущая машинка.

Нерешительно приоткрыв дверь, ведущую в глубь дома, Галочкин шагнул через порог в огромную комнату, всю сплошь заставленную столами. Их было, наверное, штук пятнадцать. Тут можно было увидеть и массивный письменный с резьбой по краям, и некрашеный кухонный, и маленький, крытый зеленым сукном, карточный, и полированный красного дерева туалетный столик, и даже просто снарядные ящики, поставленные один на другой и покрытые газетой. Столов было множество, но за ними не было видно никого, да никто за ними, надо полагать, и не сиживал, все они имели необжитый вид: не лежало на них никаких бумаг и даже стулья имелись не возле каждого.

Галочкин остановился, недоуменно оглядываясь: есть ли тут хоть один живой человек? Но вот заметил — в самом дальнем углу, у окна, за одним из столов сидит, уткнувшись в бумаги, капитан — взлохмаченный, давно не бритый. Не замечая вошедшего, перекладывает узкие, длинные полосы бумаги, на одной стороне которых сереет напечатанный текст, мерит их узенькой железной линеечкой, отбрасывая в сторону, что-то подсчитывает вполголоса, снова перекладывая полоски, снова мерит их, решительно черкая по ним толстым, как палка, карандашом, недовольно бурча что-то себе под нос, — похоже, у капитана не ладится дело.

— Где я могу найти старшего лейтенанта Карбовского? — спросил Галочкин.

Капитан отложил в сторону серые полоски:

— А у вас что, материал? Можете сдать мне.

— Нет, мне лично...

— А! У Карбовского в каждом полку дружки. Сей-

час... — капитан крикнул, взглянув куда-то за спину Галочкина:

— Алексей! К тебе!

Галочкин обернулся — перед ним стоял улыбающийся Карбовский:

— Оказывается, не только мы к вам ездим. Какими судьбами?

Галочкин объяснил. Однако о своей оплошности с Бикачем не упомянул: стыдно.

— Пошли ко мне!

Подхватив Галочкина под руку, Карбовский повлек его в маленькую комнатушечку, где, занимая ее почти всю, стояла широкая полированного дерева кровать, застланная плащ-палаткой. На спинке кровати, под висящей на стене большой застекленной литографией, изображающей Иисуса с пылающим сердцем, висела расстегнутая полевая сумка, а на кровати лежали авторучка и раскрытый блокнот.

— Отписываюсь, — сказал Карбовский, — час всего как с передовой.

— В нашем полку не были?

— Нет, в другую дивизию ездил. Но про ваших знаю. — Карбовский сказал, где следует искать полк. — Присаживайтесь. — И сам сел на край кровати. — Хотите вина? Настоящая бычья кровь[1], из графских подвалов. У артиллеристов был — они, как уезжали, целую канистру преподнесли. — Он сунул руку под кровать, выволок оттуда тяжелый плоский железный бак с плотно завинченной горловиной, качнул его:

— Встречи ради распочнем?

— Можно...

Карбовский взял с подоконника, на котором в беспорядке стояла разная посуда, два стакана, посмотрел их на свет — чистые ли, отвинтил горловину канистры и стал наливать вино. Густое, темно-красное, оно текло медленной тяжелой струей. Подал стакан Галочкину, взял свой.

— Ну — за встречу и успех!

Выпили.

— Какова бычья кровушка? — спросил Карбовский.

— Хороша.

---

[1] Сорт венгерского вина.

Карбовский налил по второй, лукаво подмигнул:

— Вот бы Морокин нас сейчас увидал!

— А кто это — Морокин?

— Светило армейской печати, временно исполняющее обязанности редактора нашей газеты. Старого от нас перевели, а нового еще не прислали. Ждем не дождемся.

— Что — строгий ваш начальник?

— Ого!.. Ну как, новых стихов не написали?

— Нет еще... — Галочкин смущенно потупил глаза. — Так, в голове бродят. А на бумагу — не брал пока.

— «Долго ходишь размусоленный от брожения?» Так-так... Из тех, что я у вас выцарапал, отобрал пару, дал нашему на просмотр.

— Ну, и что он?

— Просматривает все. Да мы сейчас узнаем. Пошли!

Карбовский привел Галочкина опять в большую комнату с множеством столов, где в одиночестве все трудился взлохмаченный капитан.

— Почему здесь так много столов? — вполголоса спросил Галочкин Карбовского.

— Приказано. Чтобы учреждение было.

— Это у вас столько сотрудников, сколько здесь столов?

— Примерно.

— И все тут сидят и пишут?

— Никто. Наш брат все больше в частях. Мебель это так, для благолепия.

— Ты что, опять сарказмом заблистал? — спросил Карбовского капитан, не переставая шелестеть своими полосками. — Уж не бычья ли кровь в тебе заговорила?

— О, ты прозорлив! — похвалил капитана Карбовский. — Прости, что я нарушил данную тебе клятву и наклонил фиал раньше, чем ты сдал номер.

— Не прощу! — сделав свирепое лицо, ответил капитан. — Ты не уйдешь от расплаты.

— Я не уйду, я уеду обратно в дивизию. Да, кстати! В завтрашний номер ты не даешь стихи?

— Тебе не надоело повторяться? — капитан спрашивал самым серьезным, даже мрачным тоном, но в зрачках его играла усмешка. — Ты спрашиваешь меня об этом каждый раз. Неужели не знаешь, что наш ио признает стихи только в праздничных номерах и только те, которые мы перепечатываем из отрывного календаря.

— Да, всё, что в отрывном календаре, — это бесспорная классика, а классиков и наш отринуть не в силах. Но ты знаешь, вот есть поэт, — Карбовский показал на Галочкина, и тот мгновенно покраснел. — Поэт из стрелкового полка. Он, правда, еще не дослужился до отрывного календаря. Но, тем не менее, есть надежды.

— Не теряйте, не теряйте... — проговорил капитан, снова колдуя над бумажными полосками железной линеечкой. — Это лирические, что ли? — капитан откинул линеечкой опустившуюся почти на глаза прядь. — Как же, напоминал. Сказано: обождите.

— Вот всегда так... — недовольно проговорил Карбовский.

— Да ты спроси сам, — посоветовал капитан. — Скажи: автор здесь, волнуется.

— Не надо ничего! — поспешил сказать Галочкин. Ему было неловко: вдруг он и его стихи стали не только в центре внимания, но и предметом каких-то трений. — Я же не настаиваю, чтобы печатали. Кому они нужны?

— Вы думаете — только вам? — сказал Карбовский. Спросил капитана: — Где Морокин?

— На передовой, — капитан показал на закрытую дверь за своей спиной. — С раннего утра никого пускать не велел, пока передовицу не напишет.

— Пока не напишет? — Карбовский с досадой посмотрел на дверь. — Э, такое дело до ночи. Сколько ему там еще осталось?

— Сие тайна великая есть, — капитан пожал плечами. — Сходи, сам узнай.

— Так велено же не пущать?

Карбовский еще раз посмотрел на закрытую дверь.

— Да уж ладно, дерзнем...—Он поманил Галочкина, постучал в дверь. Ответа не последовало. Карбовский постучал сильнее. Дверь немного приоткрылась, из нее выглянула жидковолосая, но старательно приглаженная голова с оттопыренными, тонкими, просвечивающими насквозь ушами и узким, остреньким подбородком, выглядящим несколько странно в сочетании с широкими, даже полными, но морщинистыми и дряблыми щеками, хотя обладатель их и не выглядел очень уж пожилым. Сквозь толстые, плотно насаженные роговые очки обладатель приглаженной головы недовольно посмотрел на Карбовского, но, искоса глянув на Галочкина и, видимо

угадав в нем человека с переднего края, сразу спрятал раздраженность под выражением официальной приветливости. Спросил, шевельнув тонкими, слегка вытянутыми в рюмочку губами:

— Что у вас, товарищ Карбовский?

— Я вам давно уже передал стихи. Вот — автор. Он сейчас уезжает в свою часть. Будем давать?

— Стихи? — Морокин пожевал губами. — Я сейчас заканчиваю передовую... Я же просил, — Морокин сделал упор на слове «просил». — Я же просил меня не отрывать. Но поскольку лейтенант с передовой, — Морокин внимательно и неторопливо ощупал Галочкина взглядом, словно удостоверялся, так ли это, — поскольку с передовой, то мы будем оперативны. Обождите, я сейчас закончу и выйду! — Морокин скрылся за дверью, очевидно, там была его святая святых.

— Эх! — вздохнул Карбовский. — Садись, лейтенант! — внезапно перейдя на ты, предложил он Галочкину.

Прошла минута, другая — Морокин не показывался. Карбовский нетерпеливо побарабанил пальцами по столу. Взлохмаченный капитан глянул на Карбовского и Галочкина, усмехнулся:

— Плохое ваше дело.

— Вдохновение нашло? — Карбовский кивнул на закрытую дверь.

— Вот именно. И даже курице, на миг хотя бы, известно наслаждение полета!..

Галочкин уже успел заметить, что капитан питает слабость к афоризмам.

— Заголовок-то придумал уже? — Карбовский снова показал на дверь морокинской комнаты.

— Придумает! — ответил капитан, — все подшивки, какие есть, к себе забрал. Теперь быстро. Цитаты машинистка сама перепечатает, он только бумажки заложит.

Галочкин видел, что Карбовский уже начинает терять терпение. Но вот дверь из таинственной комнаты, где уединялся Морокин, открылась, и вышел он сам, неся в одной руке несколько аккуратно сложенных, густо исписанных листков бумаги, а в другой — несколько брошюр. Под мышкой он держал обтрепанные, свернутые

в толстую трубку — так свертывают тюфяки — подшивки газет.

— Я сдаю передовую на машинку. Сейчас отпечатают, а вы просмотрите, — сказал Морокин капитану и прошествовал мимо. Через минуту он вернулся — его руки уже были свободны — и пригласил Карбовского: — Прошу.

Галочкин хотел было остаться и подождать, но Карбовский молча повлек его за собой, очевидно надеясь, что присутствие Галочкина облегчит и ускорит дело.

Комната Морокина в первую же минуту поразила Галочкина тем, что она никак не напоминала обычного походного пристанища. Здесь все было основательно, добротно, прочно — похоже, что хозяин этой комнаты занимает ее уже несколько лет и никуда не собирается перебираться, хотя редакция, как и всё в армии, постоянно кочует.

Чинно были расставлены письменный стол с мраморным чернильным прибором, продолговатый, крытый алым сукном, примыкающий к письменному стол побольше — специально для заседаний, два ряда стульев возле, даже электрическая лампа с абажуром высилась на письменном столе, хотя электропроводки в доме Галочкин не заметил.

Морокин уселся за стол, спросил Карбовского:

— Вы мне стихи по боевой подготовке сдавали? Или по партийной жизни? По какому отделу?

— Стихи вообще. Лирические...

— А... Лирические у меня особо. Вот. — Морокин порылся в стопке аккуратно сложенных на краю стола одинаковых папок, вытащил нужную. — Ну-с, посмотрим. — Раскрыл папку, протянул ее Карбовскому. — Которые здесь? — Милостиво кивнул: — Да вы садитесь, товарищи!

Карбовский, быстро перебрав листы в папке, взял два из них, выложил на стол:

— Вот.

— Сейчас мы оперативно... — Морокин поправил очки, взял в правую руку толстый красный карандаш и молча начал читать. Лишь тонкие губы его да извилистые морщины возле них пошевеливались.

По мере того как Морокин читал, его карандаш ритмично то подымался, то опускался, словно клюв, и на

полях, рядом со строчками стихов, появлялись изогнутые, похожие на яростно извивающихся толстых красных червей вопросительные знаки. Чем больше их замечал Галочкин, краем глаза следивший за Морокиным, тем больше его охватывало желание незаметно подняться и уйти — шут с ними, со стихами, зачем ему выслушивать неприятные вещи! Да и вообще он никого не просил, чтобы его стихи печатали. Этот Морокин своим карандашом их, как скальпелем, полосует. Наверное, и в самом деле стихи скверные, а Карбовский их хвалил так, по доброте... Галочкин уже клял себя: достаточно было бы повидаться с Карбовским и уйти, незачем было показываться такому строгому редактору. Ишь как крестит красным, словно кровью брызжет.

Наконец Морокин отложил карандаш и поднял лицо. Оно выражало снисходительное сочувствие. Он посмотрел на Галочкина, на Карбовского:

— Это, к сожалению, печатать невозможно.

— Почему? — надвинулся на Морокина Карбовский. — Это же хорошие стихи.

— Да, довольно литературно, — согласился Морокин. — Но для нашей газеты не годится. Солдату бодрая шутка нужна, а здесь любовная печаль.

Галочкин вспыхнул от смущения, ему хотелось убежать...

— Что ж, по-вашему, бойцу один барабанный бой надобен? — не сдавался Карбовский. — Ведь печатают же в военных газетах лирические стихи, например — Симонова.

— То в центральной печати, и то Симонов! А то у нас, и то лейтенант, — Морокин бросил взгляд на Галочкина. — И вообще! — голос Морокина приобрел оттенок категоричности:

— Вы, товарищ Карбовский, говорите, что хорошие? Но посмотрите, какие здесь выражения! — Морокин сунул пальцем в красную отметку на краю одного из листков и прочел, нарочито четко выговаривая слова:

...И на походе, и в бою
Я руку чувствую твою...

Морокин выдержал паузу, наблюдая, какой эффект произвело прочитанное им. Потом воскликнул:

— Это что же такое получается, товарищи? Автор, он же герой стихотворения, — Морокин при этом поглядел на Галочкина, — под ручку с девушкой, выходит, воюет. У вас что, в подразделении девушки есть, товарищ лейтенант? — вдруг спросил он, вперив в Галочкина взор. Тот до ушей залился краской.

— Что? — спросил Морокин и перенес взгляд на Карбовского, видимо ожидая его возражений. — Вы опять, как всегда, будете говорить, что здесь литературная специфика? Знаю, знаю, — взмахнул Морокин карандашом, как палицей. — Но образ должен быть предельно ясен!.. А тут что налицо? Или — вот еще:

...За все, во что веришь, что сызмала чтишь,
В чем жизнь и стремленья твои,
Коль надо — и на смерть пойдешь, полетишь
На крыльях большой любви...

— Узко, узко, товарищи! Что же, бойца только любовь к женщине вдохновляет? А где же советский патриотизм?

— Да это же вполне патриотичные строки! — воскликнул Карбовский.

— А вы мне это докажите! — размеренно проговорил Морокин. Карбовский развел руками:

— Вам? Не берусь...

— А я отвечаю за газету и не берусь печатать такое. Мы можем давать только безупречно выдержанный материал. Предложите что-нибудь более проверенное.

— Более проверенное? Но ведь и более проверенное вы не хотите давать!

— Что, например?

— А вот это! Давно у вас лежит.

Карбовский вынул из папки листок, протянул Морокину.

— Это? — Морокин осторожно, двумя пальцами, как берут что-то опасное, взял листок, прочел вслух:

Я избил бы поэта, что где-то далече
В теплой комнате виршами врет дотемна,
Будто мы произносим красивые речи
И в атаке любимых твердим имена.
Ради самой любимой и самой красивой...

— Эко! — поперхнулся Морокин и, словно не желая того, проглотил одну — другую строку. Пожевал губами, продолжал:

...Никакою меня не загнали бы силой —
Слава богу, еще не свихнулся с ума.
Да и много потерь по просторам сожженным,
И не на день суровое дело войны,
И не все мы, по чести, верны нашим женам,
И женаты не все, и не все влюблены...

— И это вы предлагаете? — не дочитал Морокин. — Но ведь это же безнравственно, товарищ Карбовский! Вы оправдываете распущенность: «Не все верны!» Нет, печать должна воспитывать в воинах высокие моральные качества!

— Позвольте!.. — перебил Карбовский. — Это было опубликовано в газете нашего фронта. Я предлагал лишь перепечатать его в подборке. И притом, вы же не дочитали до конца, вот:

...Сквозь разящий металл, через братьев упавших,
Не за тенью любви, не за скарб, не за дом —
За народ, за отечество вольное наше...
Что под пули? В костер, если надо, войдем!..

— Ну и что же? — Морокин остался непоколебим. — Конец выдержанный, я возражений не имею. А насчет женщин — категорически возражаю. Может быть, только конец напечатать?

— Из стиха, что из песни, слова выкидывать нельзя, товарищ майор. Да и зачем? Во фронтовой газете все целиком было опубликовано.

— Ну и что же, что было! — Морокин откинулся к спинке стула, глянул поучающе. — Я думаю, что работник, допустивший это, получил соответствующее взыскание и мы, видимо, получим в связи с этим указание и предупреждение. В печати не должно быть ничего, вызывающего хотя бы малейшее сомнение. В печати допустимы только предельно ясные, железные формулировки.

Карбовский бросил на Галочкина взгляд, как бы говорящий: «Вот ведь как, а?» — Встал:

— Разрешите идти?

— Да, пожалуйста! Надеюсь, вы со мной согласитесь? — Голос Морокина полон был сознания собственной правоты.

— Нет, не соглашусь! — отрезал Карбовский.

Карбовский и Галочкин вышли из кабинета в большую комнату.

— Ну как? — спросил капитан. — Доказали свою правоту?

— Разве докажешь старухе, что бога нет? — с огорчением махнул рукой Карбовский.

— Раскритиковал, значит?

— Чтобы так раскритиковать, большого ума иметь не надо. То есть надо иметь умец кое-какой, но не такой, чтобы уж очень. Верно, лейтенант?

Галочкин промолчал. Его смущало, что при нем, постороннем и к тому же младшем по званию, Карбовский и капитан так открыто посмеиваются над своим начальником, а больше всего смущало то, что столько разговоров из-за его стихов, написанных им только для себя и, как он был уверен, не таких хороших, чтобы их можно было печатать. Знал бы, что так получится, нипочем бы не дал тогда их Карбовскому.

— Я вот, знаешь, что думаю? — Карбовский нагнулся к капитану и снизил голос, оглядываясь на дверь морокинского кабинета. — Подберу как-нибудь стихи самых знаменитых наших поэтов, про войну, но такие, каких наш наверняка не читал, и дам ему на утверждение.

— Эксперимент, видимо, будет удачный! — рассмеялся капитан. — Но не советую тебе его производить.

— Почему?

— А потому, что, как известно, шутить над дураком, стыдить лжеца и спорить с женщиной — избави бог от этих трех несчастий. И от четвертого — разъяснять известному нам лицу, каковы его умственные способности... Я вот, — капитан показал на лежащие перед ним листки с отпечатанным на машинке текстом, — мог бы ему это на примере сочиненной им передовицы сделать. Да что дразнить быка? Допишу за него сам, потихоньку.

— Ты для него удобный, — с чуть заметной усмешечкой посмотрел на капитана Карбовский.

Дверь редакторского кабинета открылась, в ней показался Морокин. Спросил капитана:

— Передовая отпечатана?

— Да.

— Вы просмотрели?

— Просмотрел.

— Ну, как по строкажу?

— В самый раз, на две колонки.

— Ну, а по содержанию? — Морокин спросил это таким легким, слегка фамильярным тоном, как бы желая показать, что может запросто советоваться с подчиненными. — Боевито?

— Вполне! Нацелена в духе. Вот только цитат многовато.

— А вы, чтобы в глаза не бросалось, раскавычьте! Ну, и что там еще... Потом мне покажете.

Морокин повернулся и скрылся за дверями своего кабинета.

— Раскавычьте! — засмеялся капитан. — Раззаплатьте. Да разве это передовая статья?

Капитан помахал листками:

— Умные мысли, а в какой форме? Такая передовица похожа на красивую женщину в затрепанном халате.

— Давай, давай, раскавычивай! — шутливо-серьезным тоном сказал капитану Карбовский. — Такая твоя должность. Да смотри, чтобы чисто было, чтобы комар под автора носа не подточил. А не то начальство взыщет и заставит тебя самого еще раз заново писать.

— О-хо-хо! — вздохнул капитан, — глядишь, и заставит. Да рече Екклезиаст: притесняя других, мудрый становится глупым...

— Ты это шефу скажи!

— Посоветуешь! Сам скажи.

— Ну, раскавычивай, Екклезиаст!

Карбовский тронул Галочкина за локоть:

— Пошли.

Он снова привел Галочкина в свою комнатушку.

— Заберите мои стихи! — попросил Галочкин. — Все равно же ваш начальник не пропустит. Мне даже неловко, что на вас он из-за меня...

— Ну, какое там из-за вас!..

Карбовский не стал объяснять, что его отношения с Морокиным, довольно натянутые всегда, были основательно испорчены еще до появления Галочкина и по более серьезному поводу. Возвратясь из Бересовского полка, принявшего на себя в бою на канале самый сильный на всем участке армии удар врага, Карбовский написал и сдал в очередной номер корреспонденцию об особо отличившихся людях этого полка. Но уже после набора Морокин приказал этот материал снять: ему стало известно о производимом в полку расследовании

обстоятельств отступления. Карбовский бурно запротестовал: «Герои остаются героями!» Но Морокин стоял на своем: «Результаты следствия еще не известны, мы не можем популяризировать в печати лиц, которых, не исключено, привлекут к ответственности». Карбовский пытался убедить Морокина. Но тот оставался непоколебим: «Это часть, в которой производится следствие! Мы не можем брать ее в качестве положительного примера». Карбовский не сдался. Он тотчас же пошел к члену Военного совета, объяснил все, тот позвонил начальнику политотдела дивизии и после разговора с ним окончательно убедился, что Карбовский прав. Член Военного совета дал указание материал Карбовского незамедлительно печатать. Морокину ничего не оставалось, как исполнить. Но «зуб» на Карбовского он имел теперь крепкий: Карбовский явился причиной, что член Военного совета выразил ему неудовольствие! Это опасно: вдруг не утвердят в должности редактора? А он так ждет, что утвердят, а не пришлют нового.

Спор о стихах Галочкина был лишь малой каплей масла в разгоревшийся огонь, которому, видимо, не суждено теперь погаснуть, пока Карбовский и Морокин служат вместе.

Карбовский предложил Галочкину немножко обождать, пока допишет корреспонденцию, которую должен сдать. После этого он хотел угостить Галочкина обедом и потолковать с ним о том о сем. Но Галочкин торопился. Он попрощался, пригласил:

— Будете у нас — прямо в нашу роту.

— Непременно, — пообещал Карбовский. — И будьте уверены: я еще раз атакую начальство, а добьюсь, чтобы ваши стихи напечатали. Номер получите — ей пошлите.

— Да кому же...

Карбовский лукаво глянул Галочкину в глаза:

— Не алейте, красна девица!

И вот снова Галочкин идет по улице городка.

И рад, что повидал Карбовского, и неловко: вроде только из-за своих стихов и приходил. Карбовский хороший парень, но все же зачем, зачем черт дернул тогда показывать ему книжку. Несолидно, все-таки лейтенант, командир взвода — и стихи! А тут еще редактор этот, сухоеда. Нет, всё. Теперь — никому. Хотя бы не напечатали! Чтоб никто про них и не знал. Тем более — она.

Глава 8

НА ОБРАТНОМ ПУТИ

Галочкин продолжал путь к складам, где надеялся найти попутную машину. Когда он проходил мимо железной решетчатой ограды большого дома, за которой прохаживались, белея бинтами, солдаты в темных халатах и в шинелях внакидку, его окликнули.

Один из раненых — молодой, скуластый, нерусского обличья, в распахнутой, надетой прямо на белье шинели с саперными топориками и ефрейторскими лычками на погонах, с толстой белой гипсовой «куклой», по локоть скрывающей руку, прильнул к железным прутьям. Лицо его светилось радостью.

— Вы из нашего полка, товарищ лейтенант? Я вас сразу признал!

Галочкин присмотрелся: ефрейтор незнакомый. Но однополчанина увидеть — всегда приятно.

— Давно из полка, товарищ лейтенант?

— Дня четыре.

— А я здесь скоро две недели. На канале возле моста четырнадцатого марта ранило. Где наши?

— Уезжал — в наступлении были. — Галочкин назвал населенный пункт. — А сейчас — не знаю, где и догоню.

— Так вы — обратно в полк? Да? — обрадовался ефрейтор. — А я подумал — тоже раненый, в наш госпиталь идете...

Ефрейтор вынул из кармана кисет, положил его на свою гипсовку, ловко, одной здоровой рукой — видно, уже приноровился, — помогая губами, свернул цигарку, протянул меж прутьев решетки:

— Огонька не найдется ли, товарищ лейтенант?

— Найдется. — Галочкин дал прикурить.

Деликатно пуская дымок в сторону, ефрейтор посетовал:

— Эх, своих до конца войны, однако, не догоню?.. — Доверительно глянул на Галочкина чуть раскосыми, прищуренными глазами: — Я, когда в прошлом году первый раз в госпиталь попал, рад был: сестра все подаст, ешь, спи, тепло, чисто, лечись тихонько, воевать успеешь. Сейчас — ой, досадно, что сюда попал... Хочется на кончик войны своим глазом глянуть!

— Ничего, еще глянете.

— Ну, что вы, товарищ лейтенант! Неужели война не кончится, пока я тут?

— Не знаю. Всякое может быть...

— Нет, не скоро отсюда меня... — ефрейтор шевельнул загипсованной рукой.

Узнав, что в госпитале есть еще несколько однополчан, и попросив передать им привет, Галочкин собрался идти дальше, но тут ефрейтор воскликнул:

— Маленько забыл! У меня письмо!

— Какое?

— Капитану Гурьеву. Ну, тому, что комбатом был, а теперь в штабе, знаете?

— Еще бы, знаю. От кого письмо?

— Из дому, наверно.

— Как оно к вам попало?

— Я у моста был, мимо раненые шли. Остановились закурить. Один говорит: «Ты, сапер, к штабу близко — капитану письмо отдай; в траншее мы подобрали, нераспечатанное. Потерял, наверно». Я письмо взял, а капитана не видел. Потом подполковник Неворожин меня ругал, я мост рвал, потом под снаряд попал. В госпиталь приехал, письмо вспомнил. Возьмете для капитана?

— Что ж, пожалуй.

— Один момент, принесу!

Через три — четыре минуты ефрейтор вернулся, передал Галочкину изрядно помятый толстый конверт.

— Вот. Передайте. Капитан целый?

— Ничего — жив, здоров. — Галочкин спрятал письмо в планшетку.

— Я капитана давно знаю, — улыбнулся ефрейтор, — еще когда он комбатом был.

С попутной машиной Галочкину не повезло: протолкался возле складов несколько часов и нашел машину только под конец дня. Мало того — проехав километров пятнадцать, шофер, стараясь разминуться со встречной колонной грузовиков, угодил в кювет. Два раза водители проезжавших мимо машин, внимая призывам незадачливого шофера, пытались вытащить тяжело нагруженную трехтонку из глубокой канавы, но не смогли. Шофер попросил их передать, чтобы выслали тягач. Надвигалась ночь. До ближнего на пути городка оставалось еще километров восемь. Галочкин и его попутчики — три сер-

жанта-артиллериста, возвращавшиеся в свою часть из госпиталя, решили дойти до городка пешком и там заночевать.

До городка они добрались, когда уже совсем стемнело. От длительной ходьбы нога Галочкина, почти совсем зажившая, разболелась снова.

Стали искать ночлег. Встретившийся солдат посоветовал:

— В отель идите. Дальше по улице, на вывеске — гусар верхом на бочке.

Отель нашли довольно скоро. Это громкое название носил одноэтажный домишко, глядевший на улицу шестью окнами и стеклянной дверью с примечательной вывеской над ней и надписями по сторонам, «Sör» и «Bor», что по-мадьярски означает вино и пиво.

Один из сержантов заглянул за разбитые стекла двери:

— Ни бору ни сору.

Вошли во двор. Навстречу выбежал мадьяр — юркий, худосочный, с приветливой улыбкой и настороженными, шмыгающими глазами — хозяин отеля.

По-русски он не знал ни слова, но что нужен ночлег — понял. Сержантов устроил в боковой комнатушке. Галочкин хотел остаться с ними, но хозяин настойчиво приглашал идти с собой. Галочкин сообразил — хозяин предлагает место получше. Ну что ж...

Держа в руке зажженную керосиновую лампу, хозяин узеньким коридорчиком провел его в предназначенную ему комнату, поставил лампу и, откланявшись, вышел.

Сев на широченную, застеленную пышной периной, но без одеяла кровать, Галочкин огляделся: маленькая комнатушка, плотно завешенное единственное окно, небольшой столик у стены, на котором стоит лампа, в одном углу на табуретке — таз и кувшин для умывания, в другом — огромный шкаф для одежды — полураскрытый, пустой. В комнате пахнет чем-то кислым.

Ногу бы попарить — мозжит, сапог от сырости набух... С беспокойством через голенище ощупал больную ногу. Как бы опухоль не разрослась. Скандал ведь: ходить не сможет. А как же взвод?

...А все ведь с Ольги началось. Доложила командиру роты и тот приказал идти.

Что-то она делает сейчас? Может быть, пока он здесь прохлаждается, рота ведет бой и Ольга — под огнем?

А что если бы сейчас они встретились — вот здесь, на путевом ночлеге, случайно? Возможно же такое... Например, пошлют ее раненых сопровождать. И вдруг — входит она, тоже в полк возвращается... Даже зажмурил глаза, представив себе такую картину. Ругнул себя: «Ну, зафантазировал!» Нога ныла все больше. Сбросил шинель, стянул сапоги. Босиком было приятно. Надо бы все-таки погреть ногу на ночь. Теплой водой.

Расстегнув ворот гимнастерки, ступая на носках — пол был холодный, — приоткрыл дверь, позвал:

— Хозяин! — и снова сел на кровать.

Хозяин не замедлил явиться.

Галочкин сказал ему, что требуется таз горячей воды, но хозяин не понял.

«Как бы ему объяснить?»

Показав на разутые ноги, обвел руками большой круг: нужен таз! Сблизив растопыренные пальцы обеих рук, пошевелил ими вращательно, стараясь изобразить, что нужна именно горячая вода, снова показал на ноги, похлопал ладонью по постели — дескать, перед сном.

Внимательно следивший за жестами Галочкина, хозяин напряженно морщил лоб и таращил глаза, стараясь сообразить: чего требует русский офицер?

Галочкин показал еще раз.

Хозяин переминался по-прежнему с непонимающим видом. Галочкин вышел из терпения.

— Воды горячей мне! Где у вас кухня? Я сам возьму, коли не понимаете! — и потянулся к сапогу. Хозяин умоляюще взмахнул руками.

— Момент, момент! — и скрылся за дверью.

«Понял!» — обрадовался Галочкин. Проверил, закрывается ли дверь изнутри, снял гимнастерку, положил на всякий случай кобуру с ремнем под подушку и с удовольствием вытянулся на кровати, закинув руки за голову. После целого дня пути усталость чувствовалась во всем теле, подкрадывался сон, но Галочкин не поддавался ему: надо все-таки дождаться обещанной хозяином горячей воды.

Он прикрыл глаза, и снова вернулась наивная мечта: вдруг слышит — кто-то входит, открывает глаза и видит: Ольга!

Улыбнулся: «А ты вот босиком валяешься»...

За приоткрытой дверью послышался приглушенный шепот. «Воду принесли», — Галочкин открыл глаза. В недоумении приподнялся: у порога, плотно закрыв за собой дверь, стояла полнотелая блондинка с пышно взбитыми волосами. В руках у нее не было ни таза ни кувшина. Старательно улыбаясь ярко накрашенными губами, она, молча, с деловитой торопливостью, расстегивала пальто, из-под которого пестрело яркое платье.

«Что за черт? — изумился Галочкин. — Я же воды просил...»

— Чего вам? — сердито спросил он, подымаясь и спуская ноги с кровати. Блондинка, улыбаясь еще усиленнее, играя глазами, заговорила, показывая то на себя, то на Галочкина. Он шагнул к порогу, намереваясь позвать хозяина. Блондинка, бросая на Галочкина взоры, полные недоумения, пятилась к двери. Раскрыла ее задом, скользнула в коридор. Тотчас же вместо нее появился хозяин. Прикладывая ладони к груди, беспрестанно кланяясь, он затараторил. Галочкин догадался: просит извинить.

— Воды мне теплой, для ног, смекаешь? Воды! — старался втолковать хозяину. — Гретой!

— Грета? — переспросил хозяин. — Гретхен? — Улыбаясь, проговорил какую-то длинную фразу. — Момент!

«Дошло наконец-таки!» — обрадовался Галочкин. — Ну давай, давай! А то уже спать пора. Шлафен, понимаешь?

— Шлафен, шлафен! — понимающе закивал хозяин. Это слово, одно из незабытых Галочкиным со школьных времен немецких слов, хозяин, видно, понял сразу. И, продолжая кланяться, исчез за дверью.

«То-то! — Галочкин присел на кровать. Смех и злость разбирали его. — Фу ты, черт! Вот так договорились! Почему хозяин эту пышнотелесую прислал? Уж не потому ли, что я ему руками всё круги делал: дескать, таз давай! Ну, да ладно, сейчас в самом деле воды принесет, усвоил, кажется...»

Снова за дверью послышались приглушенные, о чем-то переговаривающиеся голоса.

«Несут!»

Но в комнату, сопровождаемая сзади напутственным шепотом оставшегося за порогом хозяина, вошла другая женщина — однако и эта без таза в руках, жгуче-черно-

волосая, стройная, в ярком, в алых и желтых цветах, длинном халате, обнажающем ее тонкие красивые руки. Полуобернувшись, прикрыла дверь, слегка улыбнулась, непринужденно подошла к растерявшемуся Галочкину, села на кровать рядом, поглядывая на него выжидающим, манящим взглядом. Все это она делала с грациозной естественностью, и Галочкин, совсем не искушенный в подобных встречах, усомнился: неужели так искренне она может улыбаться любому?

Эту женщину он не мог прогнать так грубо, как ее предшественницу. Он не мог спрятать своего взгляда от ее зовущих глаз, но не мог и смотреть в них. Растерявшись окончательно, вскочил, нагнулся к валявшимся сапогам. Женщина о чем-то спросила, в ее голосе прозвучала ирония. Легонько стукнули каблуки туфель — она тоже встала. Галочкин, напялив сапоги на босу ногу, без портянок, подошел к двери, крикнул в коридор:

— Хозяин! Корчмарь!

Тот появился мигом.

— Пусть она уйдет! — Галочкин показал на женщину, стоявшую за его спиной и со слегка презрительной улыбкой знаками выражавшую хозяину свое недоумение.

Придерживая полу халата тонкими пальцами с кроваво-красными ногтями, окинув Галочкина удивленно-насмешливым взглядом, женщина проскользнула мимо в дверь, пожав плечами и бросив какое-то резкое, полное сарказма слово. Галочкин так и не понял, относится это слово к хозяину или к нему самому.

Разводя руками, хозяин что-то стал объяснять, но скоро пришел в отчаяние, видя, что Галочкин не понимает. Кое-как по жестам хозяина Галочкин все же наконец уразумел, что тот, к величайшему своему сожалению, не может сейчас предложить других дам.

— А ну тебя к лешему! — вышел из терпения Галочкин. — Я тебе одно, а ты мне — другое. Гутен нахт — и захлопнул перед носом изумленного хозяина дверь.

Через полчаса он уже спал сном праведника. Боль в ноге, наверное, от досады прошла.

* * *

К середине следующего дня, пересаживаясь с одной попутной машины на другую, где пешком, где на подвернувшейся по дороге повозке, Галочкин догнал полк на

марше. Пока ехал от армейских тылов, после нескольких дней затишья всё снова пришло в движение. Фронт шел к Вене.

Галочкин догнал своих в ту минуту, когда полковая колонна только что остановилась на короткий привал. Повозки и пушки стояли у края каменистой дороги, вившейся вдоль подножий невысоких, но крутых, с торчащими кое-где из земли серыми камнями холмов, одетых густым, начинающим зеленеть кустарником. С радостно бьющимся сердцем шел Галочкин вдоль колонны, то и дело замечая знакомые лица и поминутно отвечая на приветствия. Он хотел как можно скорее добраться до своей роты, которая, как сказали ему, находится в голове колонны, но шел медленно, всматриваясь во всех, мимо кого проходил: хотел прежде всего найти капитана Гурьева, чтобы передать тому бумагу, подтверждающую, что все мадьяры доставлены по назначению, и письмо. Было приятно, что он сможет так обрадовать Гурьева. Ведь, может быть, тот и в самом деле потерял письмо непрочитанным? Слышал Галочкин от кого-то из офицеров, что у Гурьева хорошая, любящая жена, что пишет ему она часто. Счастливый! Его любят, ждут. Наверное, это очень большое счастье — знать, что тебя любят и ждут.

Наконец увидал капитана: тот сидел в сторонке от других и читал газету. Поздоровавшись, Галочкин передал письмо. Лицо капитана осветилось радостью.

— Никак не надеялся уж, что найдется, — глядя на Галочкина счастливыми глазами, проговорил он, вертя письмо в пальцах, словно не зная, что делать: читать сразу или подождать, пока Галочкин отойдет. Доверительно улыбнулся: — А я жене, пусть не расстраивается, написал, что, мол, получил, все в порядке... Спасибо!

На ходу разрывая конверт, отошел в сторону.

Только сейчас Галочкин спохватился, что не доложил о выполнении поручения и не передал справки — и удивился, как это и капитан, такой памятливый и аккуратный, не вспомнил. Ладно уж. Можно подождать.

Стоял, наблюдая издали, как капитан достает из конверта листки — с сияющим и в то же время глубоко сосредоточенным лицом. Вот письмо какое большое! Эх, если бы и ему такие кто-нибудь писал...

На фронте Галочкин получал письма только от матери. Правда, еще курсантом завел переписку с девушкой из Казани со швейной фабрики: первое ее письмо с фотокарточкой и обратным адресом нашел в кармане шинели, которую ему выдали в училище. На письме значился адрес: «Фронтовику, который будет носить эту шинель». Отправительница, видимо, рассчитывала, что шинель попадет непременно фронтовику. Галочкин написал ей, не сообщая, что он еще не на фронте, а в училище — адрес училища был номерной, как у фронтовой части, и девушка не догадалась бы, где на самом деле находится ее новый знакомый. Она быстро ответила ему, он — снова ей. Но вскоре переписка прекратилась: надо было описывать фронтовое житье, а врать Галочкин не смог бы.

Да и несерьезным казалось это заочное знакомство: может быть, эта девушка в каждую ею сшитую шинель письма вкладывает...

Слегка удивился Галочкин, увидев на лице капитана растерянность. Вот перевернул листок, перечитывает вновь. Как изменился вдруг! Словно заболел.

С удивлением и участием следил за Гурьевым. Похоже, тот не замечает сейчас ничего вокруг. Вложил письмо в конверт, спрятал. Смотрит на дорогу, а глаза невидящие...

Движимый безотчетным порывом, Галочкин хотел спросить: «Неприятные новости?» — но постеснялся и, не зная, как поступить, сказал:

— Вот справка из штаба армии, насчет мадьяр.

Ни слова не ответив, Гурьев сунул поданную ему бумажку в планшетку, туда же затолкал топырящееся наспех уложенными листками письмо.

— Разрешите к себе в подразделение? — спросил Галочкин.

— Да, да, пожалуйста,—рассеянно обронил Гурьев.— Спасибо вам...

Галочкин молча повернулся и пошел. На ходу оглянулся. Капитан Гурьев стоял, глядя в землю. Его лицо было тяжко-неподвижно, словно окованное.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



Когда распускаются листья



Глава I

ПЛОСКИН ХОЧЕТ ЖИТЬ

Словно десять бичей разом щелкнули слева — очередь немецкого пулемета хлестнула шагах в трех от Плоскина. «Пропал!» Прижался лбом к прохладной травянистой земле. Стихло. Бичи хлещут дальше, стороной, вот и не слышны...

— Вперед! — негромко выкрикнул позади Прохоров. Справа протопали сапоги — кто-то из отделения первым начал перебежку. Плоскин глянул: Снегирев. А остальные? Тоже поднялись, спешат. Успеть, пока снова не резнет очередью пристрелявшийся немецкий пулеметчик. «Подымайся!» — скомандовал себе Плоскин. Но почему на этот раз так трудно заставить себя оторваться от земли?

В разноголосице стрельбы снова стучит впереди тот пулемет. «Не упусти секунду для перебежки», — подталкивал Плоскин самого себя. Ум торопил, а тело медлило. Чуть приподнялся, но тотчас же бросился наземь: провизжала пуля, как ему показалось, едва не задев... Распластался на земле: «Не выпустит меня. Заметил. Доканает!»

Страх придавливал к земле холодной рукой. А он снова и снова загадывал: «Секундочку пережду — и вперед». Но словно два разных Плоскина спорили сейчас в нем. Один хотел подняться. Другой — отговаривал:

«А если убьет?» — «Не убило же, сколько боев прошел!» — «Но война кончается, поберегусь — выживу наверняка. Может, всего несколько дней до мира осталось». — «И в эти дни кому-то рисковать». — «Да почему обязательно мне?» — «А чем ты лучше других?»

Пулеметная стукотня утихла.

Чуть приподняв голову, огляделся. Слева, из жиденького кустика, покрытого крохотными молодыми листочками, выглядывают упершиеся носками в землю кирзовые, заляпанные засохшей грязью сапоги. «Кто-то из нашей роты...» — Плоскина передернуло. Может, скоро и его окостеневшие ноги будут вот так торчать из куста...

Где бы получше укрыться? Шагах в трех справа виднелась рытвинка — как раз одному спрятаться.

Впереди снова застучал пулемет. Плоскин боком скатился в примеченную рытвинку — здесь-то наверняка не зацепит. Поклялся себе: «Кончит стрелять — догоню своих».

Но пулемет не умолкал. Потрескивали кусты, прошиваемые очередями. И Плоскин лежал и ждал.

А товарищи его тем временем были уже в нескольких сотнях шагов впереди. Лейтенант Галочкин смелыми бросками вел взвод на сближение с противником. Перед новым броском отделение Прохорова залегло на краю широкого, раскинутого меж холмами поля, на котором кое-где топырился реденький кустарник.

Первым обнаружил, что Плоскина нет, Снегирев, рядом с которым Плоскин держался с самого начала боя. Забеспокоился: «Куда он делся? Ранило? Убило? Как это я не заметил?»...

Вот и сержант хватился, крикнул Снегиреву:

— Плоскина не видал?

А Плоскин тем временем лежал еще все в той же облюбованной им рытвинке и по звукам выстрелов старался определить: не опасно ли теперь подняться?

Немецкий пулемет, секунду-другую помолчав, вновь озлобленно долбил, словно угрожал: «Попробуй, сунься!» И Плоскину казалось: только выгляни — ударит непременно по нему.

Два Плоскина в нем продолжали препираться:

«Долежишься — своих потеряешь. Дезертир!» — «Ну уж и дезертир...» — «А чем ты лучше?» Перед глазами Плоскина на миг встало недавнее: неподвижные ряды,

перед ними — бледный человек в распоясанной гимнастерке, его негромкий, срывающийся крик: «Простите, товарищи!» И каменное молчание строя.

«Так то же предатель, фашистам служил, а я — бил их три года!» — «Все равно!»

Некогда было товарищам разыскивать Плоскина — спешили вперед. Знали: совсем недалеко, за холмами, — ведущее на Вену шоссе, к которому надо пробиться.

В разгар боя, под огнем, у бойца одна думка: как бы зазря не пропасть да дело свое сделать. Прочим мыслям и хода в голову нет. Каждый думал только о том, что нужно сделать в ближайшие секунды: вскочить, перебежать дальше — ни мгновением раньше, но и ни мгновением позже, как только уйдет в сторону очередь вражеского пулемета.

Но Снегирева нет-нет, да и покалывала другая тревожная мысль: не нарочно ли Плоскин отстал? Еще несколько недель назад она не могла бы возникнуть. А если бы и возникла — Снегирев, с гневом на себя, отогнал бы ее.

С недавней поры, с боя перед каналом, приметил Снегирев в Плоскине то, что давало ему основания для такого сомнения. Все более тревожился он. И не только просто, как товарищ Плоскина. Два месяца назад, под Будапештом, дал рекомендацию Плоскину — значит, отвечает за него. Перед совестью своей партийной отвечает.

А Плоскин все еще лежал в рытвинке.

Уже не пуль сейчас опасался: они летят поверху, не заденут. Боялся сейчас того, от чего ни в каком укрытии не спасешься. «Как бы не заметил кто со стороны — лежит солдат, чего выжидает? Ох, нехорошо получается...» — и все боязливее поглядывал в стороны и назад: не видит ли кто? Ведь за стрелковой цепью, из которой он выпал, как ослабевшее звено, идет командир роты, а потом — командир батальона со связными. Наткнутся, спросят: «Почему здесь?» Что ответишь? Стыдоба!.. Он зажмурился, представив себе почти мальчишеское, но по-командирски строгое лицо лейтенанта Галочкина. Но с еще большим страхом и стыдом представил себе, как держит ответ перед товарищами. Скажет, горячась, не умеющий в слове сдерживаться Прохоров: «Сукин ты сын. А мы-то тревожились, не убит

ли!» Осмеет Федьков: «Что, желтой крови пустил?» А Снегирев?.. Не простит ему. Пока никто не догадался — догнать!

Плоскин подхватил автомат, медленно поднялся. Только сейчас почувствовал на коленях, локтях, груди земляную сырость — в рытвинке, под жухлой прошлогодней травой, сквозь которую пока что не пробились молодые побеги, было еще холодно и мокро.

Выбрался наверх. Удивился: по нему не стреляют! Побежал полем, сначала от куста к кусту, припадая к земле, потом напрямик. Где сейчас рота? Отделение где? Может быть, уже свернули куда-нибудь? Что тогда?

Скверное дело! Отбился — осиротел...

Бежал во всю прыть, держа автомат на весу, не замечая, что поблизости нет-нет, да и свистнет пуля, правда, лениво, на излете. Но ведь и такая может уложить... Пробегая, заметил лежащего ничком солдата — нелепо завернут на спину ватник, откатилась в сторону шапка. Плоскин приостановился, заглянул в лицо, уже по-неживому белое. Солдат оказался незнакомый.

Чем дальше, тем гуще становился кустарник и все труднее было рассмотреть, есть ли в нем кто-нибудь. Впереди, теперь уже громче, вновь застучал пулемет. «Тот самый, что по нас стрелял?»—не без страха прислушался Плоскин.

Кусты уже сплошной зарослью. Быстро не побежишь. Ничего не видно вокруг...

Растерянно остановился: «Где же наше отделение?»

Плотной, в рост человека, стеной со всех сторон обступали кусты орешника. За частой сетью черных ветвей, усеянных набухающими почками, а кое-где уже выбросивших листики, невозможно было ничего разглядеть. Есть ли кто-нибудь из своих поблизости? Привстал на цыпочки, чтобы лучше видеть. Где-то в сторонке просвистела пуля, вторая. Присел: «Неужели по мне?» Устыдясь испуга, снова приподнялся. «Где же наши?»

Впереди над орешником виднелись теперь уже близкие, покрытые малорослым леском холмы. Где-то возле них слышалась негромкая, разнобойная стрельба, в которой временами отчетливо различались длинные очереди немецких пулеметов. Где-то там же гулко бухнули несколько разрывов. Похоже — гранаты... «Наверное, наши

там!» — Плоскин напрямую, ломая орешник, побежал на звуки боя.

А орешник казался бесконечным... «Отстал, не найдешь своих», — колотилась в сердце тревога. Задыхаясь от быстрого шага, отшвыривал, не останавливаясь, длинные цепкие ветви.

Догнал какого-то солдата, который, пригнувшись, тащил на спине минометную плиту.

— Слышь! — переводя дух, окликнул Плоскин, — нашей роты не видал?

Солдат присел, сбросил плиту наземь, отер залитое потом лицо:

— А тебе какую роту надо?

— Вторую, первого батальона!

— Эва! А мы — третьего.

Плоскина бросило в жар: «Куда меня занесло?»

— А где наши, не слыхал?

— Кто его знает...

В смятении Плоскин поспешил дальше.

Тем временем его отделение давно уже миновало заросли орешника: взвод лейтенанта Галочкина первым вышел к шоссе. Подтянулись к шоссе и другие подразделения.

Воспользовавшись тем, что батальонные минометчики заставили наконец замолчать пулеметы противника, бойцы броском пересекли шоссе и залегли сразу же за ним в ложбинке между холмами. Здесь был указанный рубеж. Отсюда батальон должен был атаковать немецкие позиции, расположенные перед ним, на склонах пологих высот. За высоткой, как говорили, совсем близок Дунай.

Едва шоссе, за которое так упорно уже несколько дней цеплялся противник, осталось за спиной бойцов, вражеский огонь затих. Наступила передышка, может быть, недолгая, но передышка.

Немало поплутав по кустам близ шоссе, Плоскин наткнулся наконец на знакомого солдата-связиста, тянувшего провод, и тот показал, где примерно должна быть рота.

И вот Плоскин нашел свое отделение. Еще не увидев товарищей, скрытых кустарником, он услыхал их голоса и, оробев, замедлил шаги.

Затая дыхание, не замечая, что шапка сбита на бок, присел за кустом, не решаясь сразу подойти. Осторожно

глядел сквозь ветви. Его товарищи только что окопались — наскоро, неглубоко. Лежат, перебрасываются словами. Что-то рассказывает Федьков. Плоскин прислушался:

— Клянусь Одессой, правда! Сегодня орлов своих из разведки повидал, они от пленного узнали. Помните, у немцев, которые на канале на нас лезли, — у каждого на рукаве: «Адольф». Дивизия имени Гитлера. Он разозлился на фрицев, что канал форсировать не смогли, надписи эти отобрать приказал. Ну, а фрицы обиделись, сложили все железные кресты, у кого есть, в ночной горшок и фюреру отправили!..

Плоскин слушал и будто не слышал: не до федьковских баек ему сейчас. «Что отвечу, если спросят?» И не решался показаться.

Но не стоять же так... Хуже, если увидят.

Набравшись духа, шагнул... Первым увидел его Прохоров, быстро махнул:

— Ложись! Немец смотрит!

Плоскин послушно плюхнулся наземь, подполз к Прохорову. Тот спросил:

— Где пропадал?

— Накрыло меня... — не придумал, как сказать иначе. — Догонял, заплутался.

— Заплутался! Первый день воюешь, что ли? А мы сочли — срезало тебя... Жалели. Давай, окапывайся! — Прохоров показал: — Вон, за кустом, рядом со Снегиревым.

— Здоров? — спросил Снегирев, когда Плоскин, молча, пряча глаза, лег рядом и стал отстегивать лопатку.

— Здоров, — тихо ответил Плоскин. Помолчав, добавил: — Отбился я...

Он чувствовал на себе спрашивающий взгляд Снегирева и не в силах был глянуть тому в глаза.

— Так, понятно...

В этих казалось бы ничего не выражающих снегиревских словах услышал Плоскин суровое осуждение — и сжался, как от удара. Не замечал: вместо того, чтобы вытащить лопатку из расстегнутого чехла, вновь застегивает его. «Не надо было сейчас Снегиреву на глаза показываться», — шепнул в нем тот, второй из двух Плоскиных, хитроватый. Другой, совестливый, подтолкнул:

«Виноват — признайся!» Но язык не поворачивался. Тот, хитроватый, снова шепнул: «А может, Снегирев и не догадывается, почему ты отстал? Поверит, как сержант поверил...»

— Верни рекомендацию!

Плоскин замер, ошарашенный.

— Ну?

— Григорий Михалыч...

— Верни!

Дрожащей рукой Плоскин ощупал нагрудный карман гимнастерки, где хранил документы, отстегнул пуговку. На миг задержал пальцы, с робкой надеждой взглянул на Снегирева, — а тот смотрел неумолимо, его тяжелая рука, протянутая к Плоскину, ждала. Непослушными пальцами Плоскин нащупал аккуратно сложенный листок, неловко, путаясь в кармане, вытащил его, сунул Снегиреву.

Тот, сдвинув брови, сжал листок пальцами обеих рук, как бы намереваясь разорвать. Но не разорвал. Сложил и спрятал.

— Ладно, что принять тебя не успели. А то как бы исключать не пришлось.

— Зачем ты... Я оправдаю... — забормотал Плоскин. — Оправдаю, только... Оправдаю... — снова и снова повторял он, не находя других, более убедительных слов. — Только не рассказывай никому...

— Спросят — сам расскажешь.

— Григорий Михалыч!

— Чего там! Я тебе верил, ты меня подвел.

— Григорий Михалыч! Да вот, пропади я! Слово даю.

— Слово? Ты дело дай.

— Увидишь! — Плоскин говорил шепотом, чтобы его не слышали другие солдаты, лежавшие поблизости. — Увидишь, я себя покажу. Только не срами меня.

— Ладно!—прервал Снегирев.—Сам себя не осрами.

У Плоскина немножко отлегло от сердца: «Никому не скажет». Но скреблась опасливая мысль: «Нет, скажет, в случае чего... чуть только повод дай...»

— Ну, что глазами хлопаешь? — Снегирев вприщур посмотрел на Плоскина. — Слышал я, как ты сержанту объяснялся... Пока будем считать, что так оно и есть.

— Спасибо... — прошептал Плоскин и ретиво взялся за лопатку — земля так и полетела из-под нее.

* * *

Как это часто случается в бою, команда — снова вперед — последовала вскоре после того, как солдаты успели окопаться. Плоскин, начавший свою работу позже всех, даже и закончить ее не успел. Один за другим бойцы подымались из своих ямок и, согнувшись, быстрым шагом шли дальше меж кустами. Без сожаления оставляли они только что отрытые окопчики, не жалко было затраченного труда — ведь наступают. Другое дело, когда отходить приходится. Горько тогда: работал, а зря.

Рота старшего лейтенанта Белых, растянувшись редкой цепью по кустарнику, медленно двигалась лощиной меж двумя продолговатыми холмами. Со стороны противника вот уже несколько минут не слышалось ни одного выстрела. Это успокаивало и вместе с тем тревожило, как всегда тревожит в бою тишина: где враг, что готовит?

Чем дальше шли, тем больше редел кустарник. Наконец впереди открылось ровное поле, уже подернутое едва заметным зеленоватым налетом: из земли, хорошо прогретой солнцем за последние дни, дружно подымались первые весенние травы. Еще редки и слабы были всходы. Но теперь глазу виднее были уже они, а не мертвые, посеревшие стебли прошлогодних трав.

Едва первые из бойцов показались на открытом месте, по ним издали ударил пулемет. Бойцы отбежали обратно к кустам, залегли.

Галочкин и на этот раз со своим взводом сумел продвинуться дальше других подразделений. Отделение Прохорова оказалось совсем близко к немецкому пулемету: он стрелял со склона холма, из блиндажа, спрятанного под широким раскидистым кустом.

Пулемет слал очередь за очередью, пули секли землю вдоль края кустарника, не только взводу Галочкина, но и всей роте преграждая путь. Стоило приподняться кому-нибудь, стоило нечаянно качнуть ветку — пулемет начинал старательно бить по этому месту. Галочкин не решался поднять солдат для нового броска: он берег их. Да и Белых велел ему пока повременить.

Раздосадованный Белых еще не решил, что предпринять. Приказать Галочкину рывком преодолеть простреливаемое пространство? Не успеет, пулемет срежет. По-

просить артиллеристов подавить? Слишком близко, своих разрывами накроет. Остается одно: справиться самим.

Белых дал Галочкину приказ подавить пулемет силами его взвода.

Два взводных «дегтярева» и одна оказавшаяся поблизости бронебойка по указанию Галочкина открыли огонь по пулемету, чтобы заставить его замолчать хотя бы на время. Галочкин послал к Прохорову связного с приказом уничтожить пулемет гранатами. Галочкин надеялся: Прохоров со своими бойцами сумеет.

Прохоров решил: кто-нибудь один пробирается к пулемету с гранатами, другие прикрывают огнем. Кому поручить? Федькову бы, да жаль его только что послали к командиру роты — на время боя связным.

Словно угадывая мысли Прохорова, Снегирев, лежавший рядом, спросил:

— Мне, что ль?

Его слова заглушил резкий треск: пролетели ветки, сшибленные пулеметной очередью. Крохотная тонкая красноватая веточка ударилась об руку Снегирева и повисла, прилепившись к ней клейкой почкой. Снегирев стряхнул ее. За кустами кто-то громко ойкнул — видно, пуля свое нашла. Снегирев приподнялся...

— Обожди! — остановил его Прохоров. — Тут попроворнее тебя нужен. — Секунду подумал, позвал: — Зубарь!

— Я! — быстро работая локтями и коленями, подполз Зубарь.

— По кустам, в обход слева, к пулемету! Противотанковой гранатой его. Понял?

— Понял.

— Действуй. Огнем прикроем. Еще одну противотанковую на всякий случай у кого-нибудь возьми. Вон, у Плоскина.

— Слушаюсь.

Зубарь перебежал поближе к Плоскину. Оттуда прокричал:

— Товарищ сержант!

— В чем дело?

— Плоскин не дает!

— Почему?

— Самому, говорит, надо.

— Плоскин! — крикнул Прохоров. — Отдать гранату!

— Товарищ сержант! — взмолился Плоскин. — А я что, хуже?

Прохоров удивился: ай да Плоскин, сам вызывается! На миг призадумался: а и в самом деле, Плоскин Зубаря опытнее... Правда, сегодня растерялся. Но что с того?

Скомандовал:

— Зубарь, отставить! Делай, Плоскин!

Зубарь неохотно выполнил приказание. А Плоскин, рассовав по карманам гранаты, работая локтями, пополз через кусты к высотке.

По немецкому пулемету на высотке непрерывно стреляли два «дегтярева». Гулко, с длинными паузами между выстрелами, била бронебойка. Но пулемет не умолкал.

Прошло минут десять. За это время, по расчету Прохорова, Плоскину надо бы успеть по кустарникам обойти пулеметное гнездо...

Дойдет ли? Не лучше ли было бы все же послать Зубаря? Прохоров подосадовал на себя: заколебался, изменил решение, а теперь — время без пользы потрачено и, глядишь, все равно Зубаря посылать...

Росла и тревога Снегирева. Не напрасно ли поверил Плоскину?

Прошло еще минут пять. Пулемет не умолкал. Прохоров послал Зубаря.

С тревогой смотрел Снегирев туда, где начинались кусты, за которыми только что скрылся Зубарь. Не оплошает ли парень? Сноровку солдатскую уже приобрел, а выдержки маловато еще. Все свою честность доказать рвется. Горяч. Сам пулю манит...

Выругал себя: «Да что ты его раньше времени хоронишь? Помогать ему сейчас надо!»

Вполголоса предложил Прохорову:

— Может, двинем все разом? Кому-нибудь да удастся.

— Нет, — не согласился сержант. — Если можно сделать, так и один сделает! Незачем всеми рисковать.

А пулемет с холма все слал короткие частые очереди. Его злую скороговорку не могли заглушить ни гулкие выстрелы бронебойки, ни отрывистые строчки двух «дегтяревых», стреляющих по нему. Вскоре один из «дегтяревых» замолк: немецкий пулеметчик вывел из строя весь расчет. Галочкин не находил себе места, он готов

был сам ринуться к пулемету с гранатой в руке. Но быть храбрым — проще, чем командовать. Ждал, что вот-вот получит нахлобучку от Белых. Еще бы! Вся рота по-прежнему лежит в кустарнике — ни шагу вперед проклятый немецкий «станкач» не дает сделать. А чем возьмешь его? Под толстый накат, в амбразуру, — попробуй, попади.

А Белых и не думал торопить Галочкина. Он выжидал. Выдержки у него было больше, чем у Галочкина. И в бойцов Галочкина, да и в него самого он, может быть, верил больше, чем сам Галочкин.

Но рвал и метал Яковенко: левый фланг батальона застрял, вся рота Белых лежит!

Всерьез начинал беспокоиться Βересов. Его командный пункт находился еще позади шоссе, на вершине одного из холмов. Оттуда видно: батальон Яковенко, наступающий в центре, отстал от фланговых батальонов. Противник, если предпримет контратаку, может разорвать боевые порядки полка надвое. У немцев за спиной километрах в двух Дунай. Они все силы напрягут, чтобы не быть сброшенными в него. Местность — за них, как и тогда, под Балатоном. Там ровная степь наступать им помогала, здесь высоты — обороняться. Каждую минуту жди контратаки... Наблюдатели уже докладывают, что на стороне противника замечены перебежки. Надо успеть взять высоту с пулеметом. Время не ждет... На чашу весов боя, кроме силы врага, уже ложится его инициатива. Вот-вот весы качнутся в его сторону...

...У Белых давно уже за пазухой ватника лежит заряженная ракетница. По зеленой ракете все взводы должны подняться для атаки. Ракеты ждет Βересов, ждет комбат. Ждут солдаты. Одним нажимом курка ракетницы можно бросить на весы боя их силы и жизни. Сделать это сейчас, хотя немецкий пулемет на высоте еще жив? Сумеет ли Галочкин со своими бойцами подавить его? Ждать? Но уходит время — уходит инициатива.

Негромкий взрыв, донесшийся с высотки, положил конец колебаниям Белых: немецкий пулемет смолк. Ага, не подвел Галочкин! Белых поднял ракетницу над головой и нажал курок. Зеленая искрящаяся звезда вспыхнула в голубом полуденном небе. Ее увидели во всех ротах и взводах.

Отделение Прохорова первым, пробираясь через кусты, покрывающие склон, миновало его. Теперь наступать было легче: под гору... За отделением устремился весь взвод Галочкина, за взводом — рота.

Немецкие пехотинцы, еще недавно сами готовившиеся атаковать, в беспорядке побежали от высоты к небольшому лесочку. Вскоре все они скрылись за деревьями; только несколько, настигнутых пулями, остались лежать на поле озими, открывшемся за высоткой. На яркой зелени его особенно странно выглядели темные недвижные тела.

Рота Белых получила направление несколько левее леса.

Отделение Прохорова, растянувшись редкой цепочкой, скорым шагом шло по озими. Солдатские сапоги втаптывали в грязь нежные, похожие на светло-зеленые шелковинки, всходы. Но молодые стебли уже обрели силу за эти весенние дни и, пружиня, словно силясь вновь выпрямиться, поднимались от земли.

Поле кончилось. Далеко вправо, уже почти позади, осталась высота, перед которой еще недавно лежали под огнем. Теперь только далеко слева изредка бухают приглушенные расстоянием разрывы да доносятся негромкие, все более редкие выстрелы.

Шли хотя и без дороги через вновь начавшийся кустарник, а легко — куда и усталь девается, когда открыт путь!

Снегирев на ходу все посматривал то назад, то в стороны — ждал, не догонят ли Плоскин и Зубарь... Неужели остались возле подорванного кем-то из них пулеметного гнезда? Нет времени ждать, нет времени узнать — вперед, вперед!..

Идущих стрелков постепенно догоняли и пристраивались к ним те, кому во время боя положено было находиться позади: телефонисты, минометчики, связные. Вернулся Федьков. Прохоров спрашивал каждого о Плоскине и Зубаре, но никто ничего толком не мог сказать. Среди подобранных санитарами раненых ни Плоскина, ни Зубаря, кажется, нет.

Снегирев, который ясно представлял себе, как опасно было дело, на которое пошли Плоскин и Зубарь, почти не надеялся, что они уцелели. И щемило сердце: вот люди, вместе воевали — и нет их... Зубарь молоденький

совсем, мать-то все ждет, поди. Так вот и сына, Семена, Зубарю ровесника, ждет мать, а дождется ли? И Плоскин — кто знал, что здесь его судьба?..

— Дунай! — крикнул кто-то впереди.

Кустарник кончился. С невысокого, но обрывистого берега открылся сверкающий на весеннем солнце простор реки, за ним, в синей дымке, едва заметный холмистый противоположный берег. Радостно смотрели бойцы на блистающую массу бегущей воды, слышали глуховатое бормотание быстрой дунайской волны у подножия глинистой кручи, вдыхали влажный воздух, приятно освежающий грудь. Речной прохладный ветерок овевал разгоряченные боем лица... Снимали шапки, вытирали потные лбы. Смотрели на противоположный берег, так хорошо видный в этот ясный день начала апреля. Пытались разглядеть округлые горбы его высот, покрытые лесом, издалека кажущимся серым, беловатые смутные пятна береговых скал, темные вертикальные полосы прибрежных ущелий... Вот и снова Дунай. Сколько раз приходилось встречаться с ним на долгом, через три страны, ратном пути!.. Впервые увидели его в палящий августовский полдень прошлого года, когда покончили с «котлом» возле Ясс и, пройдя раскаленные от зноя степи Измаильщины, через Дунай шагнули за рубеж. С той поры не раз встречались с Дунаем — воды его шли навстречу, но с осени надолго расстались с ним: лег полку путь на север, в горы Словакии.

А зимой, в лютую стужу, полк из Словакии внезапно, на автомашинах, перебросили в придунайский городок южнее Будапешта, чтобы поставить в оборону: шло сражение за Будапешт, ожидалось немецкое контрнаступление.

Крут в поворотах Дунай, как крута военная судьба. Две недели назад, когда дрались возле канала, был Дунай позади, а сейчас — впереди. Идя все на запад, шли от Дуная — к Дунаю пришли, и сколько раз еще путь солдата сойдется с путем великой реки?

А может быть, теперь и не придется с ним расставаться — крепко связана на этом фронте судьба солдата с Дунаем: на Дунае стоят освобожденные им Белград и Будапешт, на Дунае и третья столица, Вена, и уже на нее нацелена стрела наступления.

И уже шел разговор: прямиком на Вену маршрут! Кто-то уверял, что видел, как по шоссе, которое только что пересекли, уже промчались танки — пробивать дорогу на австрийскую столицу. Далеко ли до нее? В офицерских планшетах еще не лежали карты, на которых значилась бы Вена. Но уже на всех картах-двухкилометровках, которыми руководствовались офицеры в сегодняшнем бою, дороги, обрывавшиеся у западного обреза, имели обозначение: «На Вену».

Где-то совсем далеко, слева, еще погромыхивал, затихая, бой. Но батальон, видно, отвоевался пока: поступил приказ разобраться по подразделениям и двигаться вдоль берега влево, на запад.

Тесной вереницей шли по тропке, вьющейся меж кустов над кручей. Снегирев молча шел вслед за Прохоровым впереди остальных. Перебирал в памяти все сегодняшнее: бой, исчезновение и возвращение Плоскина, разговор с ним и уход его на высоту... И, мучимый возникшим сомнением, спрашивал себя: да ладно ли обошелся с Плоскиным?

Громкие возгласы удивления, послышавшиеся сзади, нарушили раздумье Снегирева. Он обернулся: среди бойцов шагает Зубарь!

— А Плоскин? — с надеждой спросил у Зубаря, когда тот поравнялся с ним.

— Там остался...

— Убит?

Снегирев еще надеялся, что ответ услышит не утвердительный.

— Убит, — ответил Зубарь.

Не хотелось верить Снегиреву. Неужели правда?

А Зубарь, все еще возбужденный, рассказывал:

— Срезало его. Он же раньше... Я пока добирался — и меня пулеметчик заметил. Как начал крыть! — Зубарь снял шапку, показал: — Во! — шапка была разорвана, в дыре белела ватная подкладка. — Навылет!..

— Толком расскажи! — прервал Прохоров, приблизившись к Зубарю, — а не про шапку.

Лицо Зубаря залилось краской смущения: он подумал, что его могут посчитать за хвастуна. И торопясь, стал объяснять:

— Пулемет строчит, а я перебежками, по кустам, в гору. Половину пробежал — выше голо, кусты кончились.

Я прилег под крайним примериться, как дальше, гляжу, с другой стороны куста — Плоскин. Спрашивает: «Ты чего?» Я сказал. Он говорит: «Поперед меня не суйся! Не выйдет у меня — тогда пойдешь!» Отполз он в сторону, и тут пулемет очередь кончил. Он вскочил — и к блиндажу с противотанковой. Пулемет — по нему! Успел Плоскин — кинул. Прямо под накат. Аж бревна дыбом, завалило блиндаж и пулемет. А Плоскина — назад отбросило, покатило с горы, в кусты. Я — к нему. А он не дышит...

— Может, живой, замлел только? — спросил, все еще надеясь, Снегирев.

— Насмерть! — подтвердил Зубарь. — Я смотрел. В крови весь, ватник посеченный пулями, а может, от своей гранаты... Я документы забрал и скорее за вами, отстать боялся.— Подал Прохорову тощую бумажную пачечку. — Возьмите, товарищ сержант.

Прохоров на ходу просмотрел: солдатская книжка, та самая, которую после ее пропажи Плоскину вернули в особом отделе, пара старых справок, измятая фотография: жена Плоскина, женщина могучего вида, и двое очень похожих на него ребят.

Глянув на фотографию, Прохоров показал ее все еще подавленно молчавшему Снегиреву:

— Отошлем с письмом. И в артель ту напишем, где работал. А вот это — тебе? — Прохоров передал Снегиреву лежавшую в книжке Плоскина аккуратно сложенную, но порядком измятую четвертушку бумаги. Снегирев взял, посмотрел — и крепче сжал пальцы, чтобы не выронить листок. Это было давно знакомое ему заявление: «Прошу принять меня в ряды большевиков. Обязуюсь сражаться с фашизмом, как сражаются коммунисты, не щадя жизни. Прилагаю две рекомендации».

Не замедляя шага, Снегирев достал из кармана отобранную у Плоскина рекомендацию, сложил ее вместе с заявлением, которое теперь уже никогда не придется рассматривать, спрятал.

«Две рекомендации... Одна моя, вторую у Прохорова он хотел попросить, да не решился...»

А идущие рядом говорили о Плоскине:

— Добрый вояка був, — припомнил Опанасенко.

— Жалко, не довоевал...

И всем вспомнилось, каким хорошим товарищем был Плоскин, и словно забылось все то, чем, случалось, попрекали его.

А Снегирев все так же молча шел, слушал и все больше казнился: «Обидел я его, недоверием обидел. А он — на смерть пошел, доказать: не такой, каким посчитал его я, когда рекомендацию отнял». Казнился — и старался оправдаться перед собой: «Ну, а не отними я — набрался бы он духу к тому пулемету под пули кинуться?» Но все больнее было от мысли, что не держи Плоскин на него обиды, может, действовал бы толковее, и дело бы сделал, и жив бы остался...

Глава 2

В АВСТРИЙСКОМ ГОРОДКЕ

В полдень, идя все время вдоль берега, вступили в маленький городок, прилепившийся над крутой, поросшей лесом горой, вплотную подступившей к Дунаю.

Это был городок, похожий на множество других чужеземных городков, пройденных в походах: светлые каменные, крытые красной черепицей аккуратные домики, высокий шпиль кирхи, многочисленные лавчонки. Но вывески были на немецком языке — значит, уже Австрия. Где миновали границу, как она была обозначена — бойцы на походе и не приметили.

Противник поспешно отходил, боясь, что его отрежут, прижмут к реке: по шоссе, ведущему к Вене, вдоль Дуная, наши танки вырвались далеко вперед.

Еще по пути к городку меж солдатами прошел слух, что уже начались бои в самой Вене.

Этот слух был правдой.

С конца марта гитлеровцы были вынуждены прекратить близ Балатона бесплодные атаки, пожравшие все их резервы. Под ударами советских войск они начали поспешный отход, чтобы спасти свою балатонскую группировку от угрозы окружения, но авангардные части Третьего Украинского фронта с нарастающей быстротой продвигались следом, почти не давая противнику передышки, сбивая его с рубежей, на которых он пытался остановиться. Частью сил войска фронта вышли к Дунаю за-

паднее Будапешта, возле города Комаром, прижали там несколько вражеских соединений к Дунаю и разгромили их с помощью подоспевших кораблей Краснознаменной Дунайской флотилии.

Двигаясь вдоль Дуная, войска Третьего Украинского фронта выбили гитлеровцев из последних удерживаемых ими на этом направлении венгерских городов Дьер и Шопрон. Освобождение Венгрии было завершено. Начиналось освобождение Австрии. Соединения Третьего Украинского фронта пересекли австро-венгерскую границу, обошли лежавшее поперек пути озеро Нойзидлер-зее, на водный рубеж которого гитлеровцы возлагали такие большие надежды, и по нескольким дорогам одновременно вышли к Вене, завязали бои в ее предместьях. Одновременно к Вене приближались, наступая по чехословацкой территории вдоль противоположного, северного, берега Дуная, войска Второго Украинского фронта.

Первый австрийский городок, в который этим днем вступили солдаты бересовского полка, изумил их малолюдьем. Редко-редко меж оконными занавесками покажется любопытно-настороженное лицо или стоящий за каменной оградой человек приветственно приподымет шляпу, завидев бойцов. А в центре, где дома побогаче, словно вымерло все. Плотно закрыты калитки, наглухо задернуты в окнах портьеры.

Пройдя почти весь городок, остановились на короткий перекур. Снегирев решил зайти напиться в ближайший дом, над которым, как и над немногими другими, белел флажок. Калитка оказалась запертой. Снегирев постучал, подождал — никто не показался.

— С фрицами убежали! — подошел Зубарь. — Все они нас тут боятся! — Протянул руку за калитку, нащупал засов, поднял. Вошли во двор. Сарайчик, крохотный садик под окнами, отгороженный невысокой деревянной решеткой, веревки для белья, протянутые через весь двор. Снегирев огляделся:

— Не буржуи здесь, однако...

— Все заодно... Что австрийцы, что немцы. — Зубарь посмотрел вокруг недобрым взглядом. — Такие небуржуи нас по двадцать марок покупали.

Он поднялся на крылечко. Дверь оказалась закрытой. Подергал ручку, собрался рвануть.

— Пойдем, сынок. Ну их! — остановил его Снегирев.

— А может, там кто спрятался? — Зубарь, постучав кулаком по двери, нарочито сердито крикнул:

— Öffnen Sie! Schnell! [1]

Дверь медленно приоткрылась. На пороге показалась женщина. Побледневшая, она смотрела налитыми страхом глазами. Из-за ее спины испуганно выглядывал мальчик лет четырех.

— Wir kapitulieren! [2] — поспешно проговорила женщина.

— Ruhe, Sie! [3] — блистая своим знанием немецкого языка, прикрикнул Зубарь. — Wir wollen trinken. Wo ist hier Wasser? [4].

Но женщина твердила, отведенными назад руками закрывая ребенка:

— Wir kapitulieren! — и в глазах ее стоял застывший страх.

— Что это она талдычит? — спросил Снегирев.

— Капитулирует! — Зубарь недобро усмехнулся: — Небось, своим не советовала капитулировать! Посылок просила.—Он сделал движение, собираясь оттеснить женщину с порога. Та ухватилась за ребенка.

— Да ну ее! — тронул Зубаря за рукав Снегирев. — Что с бабой воевать?

Выйдя на улицу, они увидели только что подъехавшего верхом на Пуле Федосеича. Из-за пазухи его ватника торчали какие-то большие свернутые листы.

— Эй, Федосеич! — спрашивали солдаты. — Письма есть?

— Не почту привез. — Федосеич говорил важно: — Правительственное...

Покряхтывая, слез с Пули, вытащил из кармана вареную картофелину, стал шоркать ею по шероховатому камню ограды, оставляя на нем белесые полосы крахмала. Вытащил из-за пазухи лист, ловко пришлепнул его на помазанное картошкой место, пригладил ладонью:

— Читайте! — взобрался в седло и потрусил дальше. Все сгрудились возле наклеенного на стену листа, на ко-

---

[1] Откройте! Быстро! *(нем.)*.
[2] Мы капитулируем! *(нем.)*.
[3] Спокойно, вы! *(нем.)*.
[4] Мы хотим пить. Где здесь вода? *(нем.)*.

тором с одной стороны виден был немецкий текст, с другой — русский.

Солдаты читали:

«Заявление советского правительства об Австрии.

Громя немецко-фашистские войска и преследуя их, Красная Армия вступила в пределы Австрии...

Советское правительство не преследует цели приобретения какой-либо части австрийской территории или изменения социального строя Австрии... Оно будет содействовать ликвидации режима немецко-фашистских оккупантов и восстановлению в Австрии демократических порядков и учреждений.

Верховным Главнокомандованием Красной Армии дан приказ советским войскам оказать свое содействие в этом деле австрийскому населению».

— Бачьте, як получается! — дочитав, задумчиво покачал головой Опанасенко. — С кем ни бьемось — уси под конец друзьями выходят: румыны, мадьяры, австрийцы. До Неметчины дойдем — мабудь, и немцы то ж?

— Ну, насчет немцев, извиняюсь! — перебил Федьков. — Они вон его, — Федьков показал на Зубаря, — за человека не считали, а он их за друзей признáет? Верно, Зубарь?

Зубарь промолчал. А Снегирев посоветовал Федькову:

— Ты зайди напиться, как мы зашли, увидишь, к кому тут ненависть проявлять.

С той окраины городка, которую миновали перед привалом, донесся сначала негромкий, но с каждой секундой нарастающий могучий гул. Отчетливее слышалось утробное гудение моторов и звонкое громыханье гусениц. Солдаты замолчали, прислушиваясь.

Из-за угла показался головной танк. Крышки его люков были откинуты, над башней торчала голова в ребристом черном шлеме. Танк прогромыхал мимо, скрылся за поворотом. За головным, держа небольшой интервал, прошел второй, третий, четвертый... Побелевшие от пыли, заляпанные почти до башен уже подсохшей на броне грязью весенних дорог, покачиваясь на перекатывающихся по каткам гусеницах, тяжелые машины, устремив вперед длинные стволы пушек, нескончаемой чередой шли и шли мимо. Колонне, казалось, не будет конца.

Все вокруг было наполнено тяжелым, поглощающим все остальные звуки гулом.

Утром пехотинцы открыли дорогу танкистам, отбросив противника от шоссе. Теперь танки по шоссе стремились вперед — в свою очередь пробивать дорогу пехоте.

Колонна танков все шла и шла — и конца ей не было видно.

Но вот машины стали замедлять ход и останавливаться. Одна из них, с крупной надписью на башне: «Челябинский колхозник», остановилась посреди улицы близ солдат. От нее несло запахом разогретого масла, железа, пыли.

— Земляки мои, — показал Прохоров на надпись, — челябинские! Наверное, наш завод и делал.

Из башни высунулся парень в низко надвинутом на глаза шлеме. Его лицо казалось смугловатым, как всегда у танкистов, проводящих много часов под броней.

— Здорово, пехота! — танкист спрыгнул на землю.

— Куда вас? — спросил Прохоров.

— На Вену. А вас?

— И нас туда. Подвезешь?

— Это можно! — танкист улыбнулся, зубы на темном лице показались изумительно белыми. — Закурить есть?

Снегирев вытащил кисет:

— Танкистам — пожалуйста!

Парень в шлеме запустил пальцы в кисет, захватил добрую щепоть, с видом знатока нюхнул, крикнул кому-то в машине:

— Эй, Сема! Пехота вырви-глазом угощает.

— Иду! — Из башни вылез еще один танкист, с сержантскими лычками на погонах. Кисет выпал из дрогнувшей руки Снегирева, махорка просыпалась на землю. Во втором танкисте Снегирев узнал сына. Бросился, обхватил за плечи, легонько отстранил, чтобы лучше разглядеть.

— Жив, сынок?

— Батя...

Смотрели друг другу в глаза и не могли насмотреться. А кругом грудились пехотинцы, танкисты, вылезшие из других машин, слышалось:

— Эй, на триста тринадцатом! Что там у вас?

— Снегирев отца повстречал.

— Как воюешь-то? — тем временем спрашивал Снегирев сына, любуясь им: уходил Григорий Михайлович на войну — Сеньке девятнадцати не исполнилось, только что курсы трактористов кончил. С тех пор и не виделись... А теперь — гляди! Сержант, усы лезут, две медали, орден.

Кто-то кричал веселым голосом:

— Старшина, тащи канистру.

— Давай, давай, старшина! — подхватывали другие голоса; непонятно, какого старшину звали: танкисты — своего или пехотинцы — своего.

— Давай! По этому случаю — положено!

Парни в комбинезонах протискивались к Снегиреву, хлопали по плечу, поздравляли со встречей. Расступились, пропуская совсем молоденького, моложе Семена, лейтенанта с бронзовыми танками на погонах.

— Спасибо за сына! — пожал лейтенант руку Снегиреву, обернулся, подмигнул кому-то из своих:

— А и в самом деле, кликни-ка старшину!

Но тут донеслось:

— По машинам!

— Пора, батя!

Семен вспрыгнул на броню, нырнул в башню. Напоследок махнул оттуда отцу рукой, что-то прокричал — в громе моторов Снегирев не разобрал что. И вот, взлязгнув гусеницами, танк, качнувшись, пошел...

В последний миг, провожая машину сына взглядом, Снегирев успел разглядеть ее номер, крупными цифрами белевший на башне: «313».

Скрылся в дальнем конце улицы последний танк — и затих машинный гром. А Снегирев еще долго стоял и смотрел вслед.

Глава 3

ПИСЬМО

Идя по шоссе, ведущему к Вене, полковая колонна в сумерки втянулась в селение. Поступил приказ остановиться, развернуть батальоны за селением фронтом на запад. Командный пункт полка разместился в центре, в пустой школе. Гурьев быстро закончил дела. Мог бы уже отдыхать. Мог — и не мог. Не до отдыха, не до сна. Ни

покоя, ни места... С того дня, как получил привезенное лейтенантом Галочкиным письмо, он продолжал жить словно в плотном, душном тумане. Выполнял обязанности, разговаривал, даже шутил при случае, но все это механически, ничем не загораясь, не радуясь ничему.

Таким он был себе противен: для всех эти дни полны радостных ожиданий, а он ходит пришибленный и ничего не желает, кроме одного: чтобы написанное Леной оказалось неправдой. Так нельзя жить.

Лена сообщила: больше не может оставаться его женой. Пусть он знает сейчас. Так честнее.

А он все еще не мог поверить. Перечитывал письмо, все пытался найти в нем другой, не такой ужасный смысл. Уже наизусть помнил строки: «Все эти годы мне так не хватало тебя... Но вот на районном совещании я неожиданно встретила Федора. Из армии уволен по ранению, прислан в этот район, директор десятилетки, одинок, что-то случилось у него с женой. Я не видела его восемь лет. Увидела — и вернулось то, о чем ты знал давно. Ждала, что пройдет. Не проходит.

Не знаю, что будет со мной. Но знаю — остаться с тобой не смогу. Что долг ради долга, долг без чувства? Понимаю, как нужны тебе в боях спокойствие духа и твердость. Но не могу обманывать тебя. Склеенная чашка не долго живет... Знаю: ты не слабый человек, сумеешь поступить здраво. Прости, если сможешь».

Когда Гурьев прочел письмо впервые — торопливо, перескакивая со строчки на строчку, но уже с первых слов поняв, о чем говорит оно, — его охватило отчаяние. Он знал Лену. Нет, это у нее не минутная блажь, не временное смятение чувств...

Восемь лет назад на одном курсе учились трое закадычных, еще со школы, друзей — он, Лена и Федор. Он знал — Лена любит Федора. И кто виноват в том, что он за эти годы не сумел сделать так, чтобы она забыла того бесповоротно?

Что ж, она права, не желая лгать. Но нет! Нет! Неужели это окончательно?.. Наверное, так смертельно раненный упорно верит, что останется жив... Пытался обнадежить сéбя: склеенная чашка? Склеенная чашка два века живет! Потом его охватил гнев. Всю войну она была его душевным тылом, и вот — удар в спину! Решил ответить письмом, полным горьких упреков. Но разду-

мал. Только умея справедливо оправдать, можно справедливо осудить. В чем упрекать ее? В том, что сказала правду?

А может быть, это, вопреки всему, неправда? Кто любит, тот продолжает надеяться, пока любит...

В тот первый, самый ужасный день казалось ему: сломан, смят... На марше забрался в штабную фуру, под брезентовый полог. Лежал с закрытыми глазами, покачивалась фура, постукивали колеса, покрикивал на лошадей впереди, за пологом, ездовой, но все эти звуки и ощущения доходили словно через какую-то толщу — как будто с той минуты, как получил письмо, слышать, осязать стал, словно после сильной контузии, очень плохо. Временами вспыхивало желание: «Выйди на люди, возьми себя в руки». Вспыхивало и гасло, затопленное непривычным и поэтому пугающим безразличием ко всему. Язвил над собой: «В старинных романах такому герою с горя положено под пули лезть. Что ж: помначштаба с разбитым сердцем уединился под сень повозки, а затем, когда начался бой, забыл про свои обязанности и неизвестно зачем ушел в наступающую цепь. Смешно и глупо!..»

В школе, где разместился штаб, было многолюдно. А так хотелось побыть одному...

Ища укромного уголка, он, посвечивая фонариком, шел коридором, заглядывая в классы. Всюду на ночь располагались связные, ординарцы, автоматчики комендантского взвода, укладывались меж раздвинутыми партами. Чьи-то портянки проветривались на отодвинутой в угол классной доске, на которой еще сохранились аккуратно выписанные крупными буквами немецкие слова, — и вспомнилась Гурьеву школа, в которой он работал до войны вместе с Леной. «Скоро экзамены...» — и еще сильнее защемило сердце.

Наконец отыскал комнатушку, где не было ни души, самую дальнюю. Только повалился ничком на стоявшую в углу ободранную кушетку — услышал шаги. Несет кого-то! Но увидев, что человек, показавшийся на пороге с мерцающей стеариновой трофейной плошкой в руке, — Понедельный, Гурьев охотно поднялся. Несмотря на то, что Понедельный уже с год был выше Гурьева по должности, званию и являлся в известной мере его начальником, между ними сохранились прежние дружеские отно-

шения с той поры, когда они служили в батальоне Яковенко и оба были еще старшими лейтенантами.

Понедельный поставил плошку на пол, присел на край кушетки:

— Э, капитан! Ты что, не заболел ли?

— Нет...

— Приглядываюсь я — ты эти дни какой-то словно из воды вынутый. Что с тобой?

— Ничего. Просто так. Спать приходится мало.

— Да и мне тоже.

— Отвоюемся — отоспимся на покое.

— На покое? — рассмеялся Понедельный. — После войны новые заботы покоя не дадут.

— Ты уже и об этом думаешь?

— А как же?

— Что же, на то ты и руководящий товарищ.

— Думаешь, только руководящие о том мыслят? Любой — поговори-ка по душам!

— Знаю, не просвещай. Сколько недоделано, недолюблено... На четыре года всей жизни тормоз дан.

— Тормоз? Война — и вперед толчок.

— Вперед?

— Вот именно. — Понедельный говорил как бы шутя, но с серьезной убежденностью. — Она приучает людей, особенно на фронте, — «от каждого по способностям». До «каждому по потребности» легче будет доходить.

— В этом ты прав, пожалуй, — согласился Гурьев. — Но про потери не забывай.

— Что ж? Отвоюемся — все восстановим.

— Я не про те потери...

— А про какие?

— Про духовные. Победа — она и в этом далась не без утрат.

— Как это понимать?

— А вот так: кому война сознание вперед подвинула, а кому — назад. Ты ведь в тылу с начала войны не бывал? А я в прошлом году по госпиталям да по резервам месяцев пять томился. Насмотрелся в городах... До войны столько и не видано было, сколько теперь жулья разного поразвелось, спекулянтов, хапуг. И еще — антисемитизм, национализм всякий выползли, как старые клопы из щели, церковники свои длани к душам все бой-

чее тянут, знахарей разных развелось... А сколько людишек под лозунгом «война все спишет» орудует, сколько душ опустошенных? А сколько безнадзорных растет, из которых еще неизвестно что получится — строители коммунизма или бандюги. Вот... — Гурьев оборвал речь на полуслове: он хотел сослаться на прежние письма Лены, в которых та не раз жаловалась, что в школе стало много «трудновоспитуемых», но не сделал этого — само имя ее произносить больно.

— Э, брат, ты сегодня что-то особо мрачно настроен! — Понедельный пристально посмотрел на Гурьева. — Говоришь, в тылу всякая нечисть развелась? Верю. Она и на фронте есть. Но разве ты не видел в городах-то, как там сейчас на производстве люди работают? И не рубля ради, не ради пайка. Мне-то наши с рудника пишут, знаю. А в деревне? Спроси-ка у солдата, что ему из колхоза жена пишет. Такого геройства, геройства женского, мы до войны и представить себе не смогли бы. А в позапрошлом году, помнишь, по Брянским лесам проходили, через партизанский край? Весь народ там, от старого до малого, против оккупантов поднялся. И не только за свою избу, за свое село. Да и не за Россию вообще, а за советскую. А сколько людей на фронт рвется? Вот взять у Яковенко в батальоне парнишка этот, к нам перебежавший, ну, Зубарь. Я с ним толковал. К такому никакая нечисть не пристанет ни сейчас, ни после войны. А сколько таких, как этот паренек? Миллионы — и на фронте и в тылу. А насчет дряни — мало ли в половодье река дряни несет? А все-таки — вода чистой станет.

— Пока дождешься... А пить-то надо?

— Надо. Отвоюемся — не станем на бережку дожидаться, пока пронесет. Про то я с самого начала тебе и сказал, про беспокойство! — Понедельный загорелся, как часто загорался он в споре. Даже при неярком, идущем снизу свете плошки было видно, как порозовели его щеки и лоб и еще отчетливее затемнели на них многочисленные рябинки.

— Конечно, бурьян, который кое у кого в душах за войну вырос, выдирать надо. Но я тебе так скажу: подняла война людей, народ наш. Крепче сделала, чище. Вот только надо, чтобы и молодые, которые сейчас еще под стол пешком ходят, поняли бы, когда вырастут, чем война для душ людских была.

— Жаль, некоторые образованные взрослые сейчас не понимают...

Какая-то особенная горечь этих слов Гурьева насторожила Понедельного. Что с ним? Почему так изменился в последнее время? По службе как будто все в порядке, не болен. Дома что-нибудь стряслось или просто затосковал?

Понедельный попытался вызвать Гурьева на откровенность, но это ему не удалось. Что ж, насильно в душу не полезешь.. Понедельный замолчал.

— Не хочешь ли отдохнуть? — предложил ему Гурьев. — В этом закутке никто тебя не найдет, места на кушетке хватит.

— Нет, — отказался Понедельный. — Я ведь к тебе, собственно, на минутку, по делу. Принимай назначение.

— Какое?

— Парторгом штабной организации. Временно хотя бы. Прежнего-то — в госпиталь вчера отправили.

— Парторгом? Слушай, это же невозможно! Какой из меня парторг? Это же начальников воспитывать?!

— Положим, не одних начальников. А другие штабисты, писаря, комендантский взвод?

— Нет, нет! Не могу я...

— Тебе ведь известно, — голос Понедельного зазвучал несколько настоятельнее, — на фронте парторгов не выбирают, их назначают. Так что тебе самоотвод не поможет. Принимай партийное хозяйство. — Он вытащил из своего планшета бумаги. — Вот тебе список, ведомость на членские взносы. На походе — какие собрания? На ходу работу веди. Главное, чтоб каждый свое дело хорошо делал. И еще — насчет панибратства. А то некоторые штабные офицеры с писарями, с ординарцами очень уж по-приятельски. Не поймешь, где начальник, где подчиненный.

— Не знаю, с чего и начать...

— С самого простого. Членскими взносами займись...

— Взносами?

— А это не мелочь! Я давно приметил: кто эту обязанность не блюдет, тот и в более важном свою партийность забыть способен.

— Думаешь, по ведомости можно сознательность подсчитать?

— Нет, зачем же? Михаил Иванович Калинин говорил: бывает — человек все партийные формальности выполняет, а все же не коммунист он, а дуб. Но ты непременно посмотри по ведомости, кто задолжал. Я кое-кому сегодня напоминал уже.

— Что поделаешь!.. — Гурьев нехотя перелистал ведомость. — Конечно, должность почетная, только мне и без нее...

— Тошно? — Понедельный сделал еще одну попытку: — Все-таки скажи, почему ты такой последнее время? Из дому что?

— Нет, нет, все в порядке...

— Не врешь ли?.. — Понедельный вприщур пытливо посмотрел. Гурьев молчал. Понедельный поднялся. — Ну, я пошел. Так действуй, товарищ парторг. В случае чего — не стесняйся ко мне обращаться.

Понедельный ушел. Гурьев запрятал принятое партийное «хозяйство» в сумку, дунул на забытую замполитом плошку, прилег на кушетку. Может быть, надо было рассказать обо всем Понедельному? Нет, нет...

Полежал немного, встал. В темной этой комнате, одному — еще невыносимее. Да от своего горя — куда уйдешь? Вышел во двор. Было уже совсем темно. Синий, густой, плотный и вместе с тем прозрачный весенний вечер лежал над землей. Тихо. Переговаривались ездовые да пофыркивали лошади — и похоже было, что просто остановился на ночлег проезжий обоз. Но за воротами была другая, уже не напоминающая мирную жизнь картина: прохаживался часовой, к ограде было привязано несколько верховых коней.

Выйдя за калитку, остановился. Невтерпеж так... Пойти к Яковенко, все же поделиться?

Вернулся в дом, предупредил дежурного телефониста, где в случае чего искать, и отправился.

Шел — и хотелось, чтобы сейчас не тихая, без выстрела, ночь стояла. Дела хотелось, боя, опасности. Придавленный, смятый, жаждал найти что-то, могущее расправить его.

Но куда уйдешь от боли, если она внутри?

Возле крайнего дома, где расположился Яковенко, в темноте пошевеливались кое-где красные точки цигарок, слышался негромкий разговор. Ночи стояли уже теплые, и уже не все старались на ночь устроиться под крышей,



как еще несколько дней назад. Гурьев спросил, где командир батальона. Ему показали.

Яковенко, в расстегнутой гимнастерке, без ремня, сидел, покуривая, на широченной кровати под висящими на стене громадными, в красках, изображениями Иисуса с пылающим сердцем и Мадонны, держащей младенца на руках. Возле на тумбочке горела с чуть прикрученным фитилем большая керосиновая лампа.

— Что, опять поверять? — спросил Яковенко. — Вот штабная душа, неймется тебе...

— Я — просто так...

— Ну что ж, рад! Подзаправишься?

— Спасибо, не хочу. — Гурьев вспомнил: он сегодня не только не ужинал, но и не обедал. Однако мысль о еде вызвала лишь отвращение. Повторил: — Нет, нет, не хочу.

— Ну как знаешь. — Яковенко посмотрел вопрошающе: — А чарку не опрокинешь? Тут мои хлопцы в господском подвале доброе вино разведали.

— Что-то не манит...

Помолчали. Гурьев не торопился говорить. Успокаивало уже само сознание, что рядом есть человек, которому можно выложить все.

— Что нового? — спросил Яковенко.

— Ничего особенного. Постоим ночь да пойдем дальше.

— Все идем да идем. Почта никак не догонит.

— А что? От Зины письма ждешь?

— Жду, брат! Важных сообщений.

— Скоро она тебя порадует! — Гурьев невольно позавидовал: у его друга в личной жизни все так хорошо. В прошлом году Яковенко встретил в полку санинструктора Зину, раньше служившую в госпитале, где он лечился, — еще там начался их роман. Яковенко и Зина поженились по всем правилам, с оформлением приказа по полку. Месяца два назад, после будапештских боев, Зина уехала в долгосрочный отпуск — приспело время рожать.

— Удивляюсь, как это ты ее отправить сумел! — вспомнил Гурьев. — Хотели же до конца войны дотерпеть!

— Помаялся я с ней! — рассмеялся Яковенко, так и не замечая еще состояния Гурьева, как могут счастли-

вые люди не замечать, что другие несчастны. — Ты же знаешь, с моей Зиночкой — только из пушки спорить. Характер! Все надеялась — учтет Гитлер ее положение, пораньше капитулирует. Едва уговорил...

— А тебе, — серьезным тоном сказал Гурьев, — надо было сразу применить власть старшего: поставил бы ее во фронт и приказал, как капитан сержанту: отбыть, родить, об исполнении донести!

Удивился себе: как он сейчас, в его положении может вот так балагурить...

— Попробуй. Сам перед ней сержантом станешь... — отшутился Яковенко. — Закурим? Мне старшина какого-то особенного добыл.

— Пожалуй...

Гурьев присел на край кровати рядом с Яковенко. Закурил. Молчал, пуская тонкую струйку дыма... Хотелось рассказать товарищу о своей беде — хотелось, но вместе с тем что-то удерживало. Доверчивость странным образом сочеталась в Гурьеве с замкнутостью. Только что он шутил, смеялся, но словно делал все это за него какой-то другой, специально для внешнего вида существующий человек, а настоящий, внутренний Гурьев, которого, как полагал он, не замечает никто, оставался в стороне...

— Ты что какой-то разморенный? — заприметил наконец Яковенко.

— Да ничего, так... — Гурьев помял затухшую папироску. — Дай-ка огня.

— С начальством не поладил? — уже по-серьезному озабоченный спросил Яковенко.

— Не то, брат, не то, — через силу улыбнулся Гурьев. И вдруг, как-то совсем неожиданно для себя, отстегнул пуговку грудного кармана, вытащил аккуратно сложенные, но уже порядочно помятые листки письма и молча протянул их товарищу.

Яковенко придвинулся поближе к лампе и стал читать. Гурьев следил за ним, уже мучимый сожалением: зачем отдал? Ну чем он поможет?

— Да, дела... — сложил Яковенко прочитанные страницы. И вдруг выругался — крепко, замысловато, со всем мастерством херсонского портовика, каким был до войны. Положил руку на плечо, заглянул в глаза:

— Не знал я, что твоя — такая... — Тут Яковенко застопорил, чтобы не сказать лишнего. — Я ж ее, как богиню, чтил! А она предательство учинила. Слушай! — он еще плотнее подвинулся к Гурьеву, его глаза блеснули в свете лампы. — Мы ей сейчас такой ответ напишем, всем полком, чтоб ее стыд до косточек проел! Она по телеграфу у тебя прощения запросит!

— По телеграфу? — скупо улыбнулся Гурьев. — На полевую почту телеграммы не принимают, знаешь. И вообще — зря кипишь.

— Ну, нет! Пусть поймет, как такое подносить! Это же как в спину стрелять! Неужели не понимает она, с высшим образованием!

— Что ты расшумелся! Правду сказала не таясь, и за то ей спасибо.

— Спасибо, спасибо! — передразнил Яковенко. — Эх ты, интеллигенция! Нет. Тебе надо на нее плюнуть и забыть! А тому, дружку-то прежнему, напиши покрепче! Фронтовик он? Совесть должен иметь!

— Писать ему? Что я, проситель?

— Верно! — быстро согласился Яковенко. — А вот ей — непременно, чтоб катилась. Напиши, что ты себе получше найдешь!

— Да ну тебя! — Гурьев спрятал письмо. Его коробила та прямолинейность, с которой Яковенко пытается решать все, и он снова пожалел: зачем показал письмо? Но на сердце вместе с тем становилось все-таки легче, словно передал другу часть душевного бремени.

— Что же ты ей напишешь? — спросил Яковенко.

— А пока ничего.

— Хочешь на после войны отложить?

— Может быть.

— Э, нет! — Снова загорячился Яковенко. — Война идет, а жизнь — тоже! Я с Зиной, знаешь, как объяснение имел насчет того, чтоб пожениться? Ее в медсанбат перевели, а я еще в госпитале, выздоравливающий. Думаю: потеряешь время — ее потеряешь. Раздобыл обмундирование и потихоньку — из палаты, на попутную машину. Являюсь — а там бой идет. В медсанбате раненых полно, у Зины руки в крови, одного за другим обрабатывает, только бинты трещат. Спрашивает: «Зачем приехал?» — «Ответ узнать, ты же обещала». Разозлилась: «Нашел время!» — «А ты ответь!» — «Не до того,

уезжай». — «Нет, говорю, хоть сутки около тебя простою, а дождусь!» А тут и сестры и раненые глядят на нас, что за разговор? Она как полоснет меня глазищами: «Согласна! Черт настырный!» Все, точка. А то, может, я бы и по сей день ждал. И ты своего не жди. Рубай сразу. Главное — гордости больше! Напиши ей: все, амба, сам того давно хотел.

— Зачем же врать?

— Ты и не ври. А вышибай клин клином! За кем-нибудь из полковой санчасти приударь! Тебе же близко. Или вот у нас, за Ольгой, во второй роте. Хороша!

— Посоветуешь!

— А что? Дело. Она не занята.

— Да почем ты знаешь? — Гурьев не мог не улыбнуться такой уверенности.

— Знаю! За ней все офицеры ухаживают, даже из других батальонов пробовали, а она — ни с кем. Хоть и болтают, что с Белых.

— Нет, брат, мне сейчас не до амуров.

— Ты что, со своей думаешь наладить?

— Не знаю... Меня это как молотом по башке. Написать? Но какими уговорами поможешь?..

— Да... — сказал Яковенко. — А ведь ты-то... Мы все на тебя дивовались. На формировке, на отдыхе другой — к какой-нибудь местной бабочке или по санитарной части. Да и в здешних краях такая брюнеточка иной раз встретится!.. А ты все как святой монах. Вроде и не замечаешь, что женский пол иной раз довольно близко существует.

— Э, брось про это! У меня сейчас на сердце волки воют.

— Повоют да перестанут. Пройдет, друг, все пройдет! Все волки сыты будут. Веришь? — снова попытался утешить Яковенко. Не дождавшись ответа, открыл тумбочку: в ней стояло ведро. Нашарив кружку, зачерпнул: — Хвати-ка, чтоб душа отмякла.

Гурьев хлебнул — и не почувствовал ни запаха вина, ни вкуса, ни крепости. Не допил, отставил кружку.

— Я пойду, пожалуй.

— Ночуй у меня? Начальство хватится — скажем: по передовой ходит.

— Нет, пора.

Гурьев надвинул шапку, взялся за ручку двери:

— Слушай, ты только никому...

— Будь покоен!

После ухода Гурьева Яковенко никак не мог улечься.

«Вот ведь как бывает, — размышлял, меряя комнату шагами из угла в угол. — Жили люди сколько, разлуку терпели годами, я-то завидовал: вот где настоящая любовь, и вдруг — раз! — все убито. Неужели такое ничем не предотвратишь, как стихийное бедствие? Нет, у меня с Зиной так не может получиться. Теперь ты от меня, голубушка, никуда не денешься. А впрочем...» Но Яковенко тут же отогнал свои сомнения. Он был так счастлив с Зиной, что мог представить только самое радостное: как сразу же после окончания войны приезжает он к Зине, в дом ее родителей, куда она уехала сейчас. Не захотела же ближе — к его старикам в Херсон, сибирячка упрямая. Где этот ихний Нарым? Туда, пожалуй, месяц добираться... Откроет он дверь, а навстречу — Зина, впереди нее — сын бежит, обязательно сын, в короткой рубашке. Нет, он еще бегать не научится к тому времени, как кончится война...

Да, у него впереди все ясно и хорошо. А вот у Гурьева... Да как она могла!

От злости, от обиды за товарища у Яковенко даже в горле пересохло. Он подошел к тумбочке, зачерпнул из ведра кружкой, выпил всю ее крупными глотками — вино было легкое, приятное, чуть вязавшее язык: «Нет, я его дражайшей Леночке все-таки напишу. От имени всех!»

Он деловито уселся на кровать, вытащил из планшетки блокнот.

Яковенко писал не задумываясь, и на бумагу под его торопливым карандашом ложились самые обидные слова, какие он знал, самые гневные и грубые выражения, с которыми он еще никогда ни к одной женщине не обращался, хотя вообще-то и не отличался особой деликатностью.

Исписав одну страничку и решив, что длинное письмо — слишком большая честь, он поставил точку. А как подписать? Хорошо, если бы, кроме него, подписали и остальные офицеры, товарищи Гурьева по прежней совместной службе в батальоне. Вот Понедельный, например. Нет, не подпишет. Скажет: в таких выражениях — не полагается. Еще и мораль прочтет... А какие

же ей выражения?.. Вот если бы еще и Бересов руку приложил! Но Гурьев просил ничего никому не говорить. Только ему, как другу, доверил...

Не размышляя особенно долго, Яковенко подписал:

«По поручению боевых товарищей вашего мужа — капитан Яковенко». То, что его никто не уполномачивал, Яковенко не смущало. Он уже стал складывать свое послание конвертом-треугольничком, но тут его взяло некоторое сомнение: «А не зря ли ты в чужие дела полез? Семейная жизнь — это, брат, не «батальон, стройся!» По себе знаешь... Но должна же она почувствовать! Впрочем, что значит «должна»? Какие тут долги? Есть любовь — есть и долг. А нет — на чем долгу держаться? Да взять мою Зину, например. Разве ее в чем одолеешь, если сама не захочет? Ах, Зина, Зина!» — Яковенко на миг унесся в недавнее, когда он мог всегда увидеть Зину в ее роте, а вечером, если не было боя или похода, она хоть на часок, да прибегала к нему. Вот и в этот вечер, наверное, была бы здесь. А как, одобрила бы Зина то, что он пишет? Пожалуй, воспротивилась бы! И в самом деле — выругаешь в письме жену Гурьева, а она подумает, что муж всем на нее жалуется... Нет, по-другому надо написать, пусть почувствует его гордость, поплачет! Пусть совестью помучится!

Он долго ходил по комнате, морща в раздумье лоб, наконец остановился. Порвал на мелкие клочки готовое письмо, присел к тумбочке и вновь взялся за карандаш.

Тем временем Гурьев не спеша шел обратно на полковой командный пункт по темной, притихшей улице, вдоль смутно белеющей во мраке ночи невысокой каменной ограды, за которой чернели контуры деревьев. Нежный запах молодой листвы напоминал о том, что в разгаре весна. А где-то совсем близко, у забора, в траве, так дружно подымающейся в последние дни, слышался какой-то писк, возня — шла там своя, ночная зверушечья жизнь. Кто-то, маленький, с кем-то дрался насмерть, кто-то пожирал кого-то. Гурьев слышал все это и будто не слышал — словно надрывные, печальные колокола звенели в нем, и этот монотонный, сжимающий сердце звон заглушал все звуки внешнего мира. «Неужели все это правда?» — в который уже раз за эти дни спрашивал себя.

Едва вошел в помещение командного пункта, как дежурный телефонист сказал:

— Только что спрашивал командир первого батальона.

Гурьев удивился и велел соединить его с Яковенко.

— Какой адрес у твоей жены? — услышал он, взяв трубку.

— Зачем тебе?

— Письмо посылаю.

— Ах, оставь!

Положил трубку. Прошел в свою темную комнатушку, повалился на кушетку, жалобно провизжавшую какой-то поломанной пружиной. Что там Яковенко вздумал! Ничего не нужно. Ничто не поможет.

Он много раз повторял себе все это за последние дни и часы. Но в глубине души еще жил, жил росточек надежды... Гордость и любовь все эти дни боролись в нем. Осудить Лену, как ее осуждает Яковенко, как осудит, пожалуй, и любой другой из его полковых друзей? Но ведь и ей тяжело...

Тяжело? Вот теперь, в этот ночной час, когда он терзается тут, она, может быть... Он в лютой тоске стиснул зубы, зажмурил глаза, но видел, видел перед собой помноженное памятью на воображение: выбившаяся на лоб Лены летучая прядь, затененные ресницами глаза, доверчиво-счастливо полураскрытые губы и родинка, та знакомая, когда-то — да и сейчас! — такая милая родинка на плече, белеющем в полумраке... И все это сейчас, может быть, видит другой, видит так, как видел когда-то он...

В запутанный клубок скручивались мысли.

Пытался логично, здраво рассудить, успокоить себя, примириться со свершившимся. Но никакая логика не помогла утихомирить боль. Повидать бы сейчас ее, удостовериться своими глазами... Случись, случись чудо: вот она вошла, кладет ему на лоб легкую, теплую руку...

Кто-то осторожно тронул его за плечо. Он рывком поднял голову — возле кушетки стоял человек. В темноте едва различался его силуэт, но Гурьев уже угадал: Яковенко. Спросил:

— Что ты?

— Знаешь, — голос Яковенко звучал несколько нерешительно. — Я твоей жинке все же написал. Дай адрес.

— Покажи письмо.

— Смотри, какой цензор! Темно, все равно не увидишь.

Гурьев зажег фонарик. Дрожащий беловатый круг света скользнул по стене.

— Показывай.

— Да стоит ли? — Яковенко явно медлил. — Что, разве написать не имею права?

— Имеешь. Кто не имеет?.. Так тебе только адрес надо? Мог бы и у канцеляристов узнать.

— Ну вот, злишься... Ладно, читай!

Яковенко протянул Гурьеву листок. Тот осветил его фонариком.

— Ну как, крепко? — спросил Яковенко, когда Гурьев дочитал.

— Крепко. Не пойму только: зачем врать? — Гурьев щелкнул кнопкой, фонарик погас. Яковенко слышал, как прошуршала в кулаке Гурьева сминаемая бумага.

— Смотри, что выдумал! Я, получив ее письмо, под машину бросился?..

— Не бросился, а попал...

— Все равно. И что я отправлен в тяжелом состоянии в госпиталь, и что в кармане моем найдено ее письмо, дескать, понимай — ты виновата. Шутовство все это!

— Я же как друг тебе помочь хочу!

— Чем? Думаешь разжалобить ее? А что она обо мне подумает, когда узнает, что я жив-здоров и ни под какие машины не кидался?

— Пусть она сейчас попереживает, а там — видно будет. Я бы ее пронял!

— Вот и пронимай Зину, если понадобится. А я сам как-нибудь разберусь.

— Ну и шут с тобой!

— Постой, постой! — хотел удержать товарища Гурьев. Но дверь за Яковенко уже захлопнулась. — Вот порох! — Гурьев устало опустился на кушетку, она тоскливо простонала пружинами.

В кулаке все еще сжимал взятое у Яковенко письмо. Сунул в карман: «Сожгу, как бы не прочел кто. Засмеют...»

Из соседней комнаты его кликнул телефонист: вызывает подполковник Неворожин.

«Зачем я ему в такую пору понадобился?» — слегка удивился Гурьев. Все распоряжения по службе он обычно получал непосредственно от Бересова.

Несмотря на уже довольно поздний час, Неворожин сидел за столом, застегнутый на все пуговицы, с тщательно прилаженной портупеей. Его костистое лицо, гладко причесанные серые волосы, узкие ладони с вытянутыми пальцами, лежавшие на столе, — все это выражало строгую официальность.

Войдя, Гурьев остановился у порога:

— Товарищ подполковник! По вашему приказанию явился!

— Вы теперь парторг? — спросил Неворожин.

— Да.

— Что ж вы, товарищ капитан? У меня за месяц не уплачены взносы.

— Вы могли прийти и уплатить

— Неужели? Я старше вас по званию и должности и должен ходить к вам? Так не принято в армии.

— Так принято в партии, — с неожиданной для себя резкостью ответил Гурьев. — В ней — все мы в одном звании.

— Так... Противопоставляете, значит?

— Что? — не понял Гурьев.

— Партию армии.

— Это непротивопоставимо.

— А дисциплина военная и дисциплина партийная?

— И это не одно и то же...

— Так, так! — видимо не найдя сразу слов, повторил Неворожин. — Хороший пример уважения старших вы подаете, нечего сказать! А еще парторг!

— Не понимаю...

— Вы недовольны, что я вас потревожил? — Неворожин медленным взглядом провел по Гурьеву. — Так вы примете взносы?

— Сейчас не могу. Ведомость не со мной. Завтра — пожалуйста. Если зайдете.

— Вот как?

Неворожин замолчал, неподвижным взором смотрел в глаза Гурьеву. Тот первым нарушил молчание:

— Разрешите идти?

— Идите!

Неворожин, как только Гурьев ушел, поспешил к Бересову. Именно к Бересову, а не к Понедельному, хотя того, как замполита, дело касалось больше. Но Неворожин считал Понедельного и по должности и по званию младше себя и обращаться к нему в данном случае не хотел.

Неворожин был вне себя. Как! Этот капитанишка пытается его поучать! Нет, он покажет ему его место. Довольно с ним церемониться!

Еще в мирное время, руководя областной заготовительной конторой, Неворожин привык, что «его» секретарь партийной организации относится к нему, начальнику, с тем же подобострастием, с каким Неворожин побуждал относиться к себе всех своих подчиненных и с каким он относился к своим начальникам сам.

А если партийным секретарем в его учреждении становился человек, не изъявлявший желания беспрекословно соглашаться с Неворожиным во всем, то он, опытный администратор, всегда находил способ без неприятностей для себя избавиться от такого секретаря.

Нельзя сказать, чтобы Неворожин вовсе никогда не считался ни с какими партийными работниками. Нет, он даже сейчас, на военной службе, считался с ними, но, как и всегда, только с теми, кто представлял вышестоящий орган, то есть с теми, которых следует остерегаться на случай каких-либо упущений и которые могут быть полезными, если потребуется обратиться с жалобой или просьбой. Лейтенант — инструктор политотдела, появившийся в полку, значил для него больше, чем заместитель командира полка по политчасти, свой же парторг для него был только тем, кто ставит в партбилете штамп: «уплачено».

Партийная организация при начальнике — так, по мнению Неворожина, и следует быть. Он давно был убежден: абсолютное единоначалие, безусловно, всюду — самая совершенная форма руководства. Именно единоначалием больше всего ему и понравилась военная служба, и он, чем дальше, тем больше задумывался: не остаться ли и в мирное время на ней? По его званию и должность могут дать не малую. А этот ершистый капитан! Этот пэнша! Нет, его надо заставить считаться с авто-

ритетом заместителя командира полка по строевой части.

Неворожину было невдомек, что его авторитет, как авторитет и любого начальника, может быть прочен только тогда, когда он основан на личных качествах и подкреплен «снизу», а не тогда, когда лишь «подвешен» сверху. Нельзя сказать, что Неворожин был о себе чрезмерно высокого мнения. Но он втайне считал, что его ценят меньше, чем он того заслуживает.

Когда рассерженный Неворожин пришел к Бересову, тот уже укладывался спать.

Чтобы не показать себя слишком уязвленным, Неворожин, уже входя, сделал вид, что зашел попросту узнать, что нового. И только поговорив несколько минут, будто бы между прочим пожаловался на Гурьева.

— А что тут такого? — добродушно спросил Бересов. — Взносы платить я сам всегда хожу. Так оно и полагается.

Но Неворожин стал доказывать, что дело не во взносах, а в непочтительности Гурьева.

— И вообще этот капитан зазнался, в штабе засиделся, — намекнул Неворожин под конец, — полезно бы ему опять непосредственно в строевом подразделении послужить.

Бересов, буркнув что-то неопределенное, стал разуваться. Неворожин постоял, дождался, пока Бересов снял оба сапога, в ответ так ничего и не услышал и, почтительно пожелав спокойной ночи, ушел.

Взбудораженный разговором с Неворожиным, Гурьев, вернувшись к себе, все не мог успокоиться, ворочался на своем повизгивающем ложе.

Наконец ему кое-как удалось смежить веки. Но вновь кликнул телефонист. Вызывал Бересов. Беря трубку, Гурьев подумал с уверенностью: «Пожаловался-таки Неворожин».

Однако Бересов о Неворожине даже и не упомянул. Он велел взять новые листы карты северо-западного направления, захватить шифровальщика и тотчас же явиться.

Когда Гурьев и шифровальщик вошли к Бересову, тот сидел за столом без гимнастерки, в одной нижней рубахе, попыхивая неизменной трубкой. На столе стояла тарелка с остатками тертой редьки.

— Там у радистов, — Бересов трубкой показал шифровальщику на приотворенную дверь соседней комнаты,— цифры из штадива для тебя. Расколдуй побыстрее и — сюда!

Шифровальщик вышел, довольный и гордый тем, что ему нашлась наконец настоящая работа: кодированная связь в полку применялась редко, только в особо исключительных случаях.

— Садись! — предложил Бересов Гурьеву, отодвигая тарелку с редькой на край стола. — Дело такое. Сейчас меня комдив на рацию вызывал. Намекнул: важную задачу получаем, срочную. А вот какую? Сейчас из шифровки узнаем.

Бересов опустил взгляд к развернутым на столе новым листам карты — еще топырящимся, хрустящим, не имеющим ни одной карандашной пометки, — как бы уже пытаясь разгадать, что ждет полк в ближайшие часы.

Временами он поглядывал на Гурьева, пытливо задерживая на его лице взгляд на секунду-другую. Гурьев догадывался: спросить о чем-то хочет. И не о служебном, похоже.

Оба они давно уже относились один к другому дружески, как старые боевые товарищи, но ни разу никто из них не сказал об этом другому. Они могли бы стать, пожалуй, и близкими друзьями, если бы не их положение начальника и подчиненного. Оно сохраняло между ними ту дистанцию, не переступая которую нелегко было войти в пределы откровенной, доверчивой, не зависящей ни от каких условностей дружбы. Но в душе каждый из них, может быть четко того и не осознавая, хранил к другому самое теплое чувство.

Еще разок-другой глянув на Гурьева, Бересов сделал несколько затяжек. Комната наполнилась крепким запахом дыма — Бересов всем табакам предпочитал солдатскую махру.

У Гурьева мелькнула вдруг мысль: рассказать сейчас про Лену все как есть, как рассказал Яковенко, как Понедельному хотел рассказать...

Нет! Жаловаться командиру полка на Лену? На судьбу? Смешно...

Так, молча, поглядывая друг на друга, посидели они еще, потом Бересов спросил:

— Что у тебя там с замом по строевой? Надерзил ему?

— Да, не удержался. — Гурьеву не хотелось оправдываться.

— Смотри, — спокойно, но не без упрека проговорил Бересов. — Что-то ты очень уж часто с ним схватываешься. Уважать надо. Он все-таки мой заместитель. Вот тряхнет меня еще раз ненароком где-нибудь — снова станет он тебе командир. И что вы с ним не ладите? — Бересов спрашивал, но в его прищуренных, с хитрецой глазах Гурьев угадывал: ему понятны причины. — Чтобы этих ссор больше не было! Надо думать, как воевать, а не как друг друга поддеть.

Гурьев молчал.

— С чего это у тебя? — спросил Бересов. — С того, что на штабном стуле?..

— Товарищ подполковник! — Опять, как в недавнем разговоре с Неворожиным, Гурьева подхлестнуло. Но он уже не мог остановиться. — Вы хорошо знаете: я не просился в штаб. Даже отказывался. Поскольку ваш заместитель по строевой подполковник Неворожин считает, что, если меня не будет на полковом командном пункте, исчезнут причины для моих столкновений с ним, то...

— Ну, ну, замолол! — оборвал Бересов. — Спрячь переживания, дело делай.

Вернулся шифровальщик, положил на стол аккуратно исписанный листок:

— Готово, товарищ подполковник.

Внимательно прочитав шифровку, Бересов передал ее Гурьеву.

Командир дивизии приказывал немедленно подготовить для выполнения особого задания (какого — не разъяснялось) отряд из двух групп численностью по сорок человек каждая. Предписывалось подобрать — почему-то только из умеющих плавать — самых лучших солдат, таких, которые способны хорошо действовать в рукопашном бою, выделить командирами групп самых инициативных и смелых офицеров, одному из них — поручить общее командование. Весь личный состав надлежало вооружить только автоматическим оружием, снабдить усиленным комплектом гранат и патронов, двухдневным запасом продовольствия. В состав отряда приказано было включить несколько саперов, санинструктора. Отряду к двум ча-

сам ночи прибыть в пункт, обозначенный на соответствующем квадрате карты. Бересов и Гурьев разыскали на карте указанный в шифровке пункт сосредоточения. Он находится километрах в шести от селения, на самом берегу Дуная, дороги туда не ведут.

Бересов посмотрел на часы.

— Сейчас двадцать три. Обозы все уже здесь. Люди — тоже. Успеем. Бойцов из первого батальона подберем, там народ боевой. Пусть Понедельный с Яковенко сейчас же этим займутся. Вот кого из офицеров на это дело послать?

— Пошлите меня! — вырвалось у Гурьева.

— Это почему же именно тебя? — для Бересова такая просьба оказалась неожиданной.

— Задание, видимо, серьезное. Может быть, Дунай с боем форсировать? Люди из первого батальона идут. Почти все они меня знают, я — их. Я же ими командовал.

— Ой, крутишь! — шевельнул мохнатыми бровями Бересов. — Тебе что, своей работы не хватает? А если полку в бой с утра?

— Очень прошу вас, товарищ подполковник.

— Да... — Бересов вспомнил: — Зам по строевой о том же для тебя хлопочет.

— Прошу, товарищ подполковник, удовлетворить мою просьбу, я...

— Заладил! — раздраженно обрезал Бересов.— А кто твое дело будет делать? Начальника штаба до сих пор нет, и первого помощника не будет? Да я тебя сегодня не узнаю! Лейб-гусар какой-то!

— Товарищ подполковник...

— На передовой тебе легче? Останешься на своем месте. Работать надо. Действуй. Вызывай прямо сюда Понедельного, Яковенко, всех кого надо. Помощника моего по тылу — пусть обеспечит всем, что потребуется...

В этот поздний час у многих в полку внезапно был прерван отдых, такой долгожданный после целого дня похода. Названивали телефонисты, вызывая командиров подразделений, бегали шустрые связные. Старшины и помкомвзводы ходили меж спящими солдатами, разыскивая нужных людей. К дому, в котором находился командный пункт полка, спешили вызванные Бересовым офицеры.

Глава 4

СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ

Минул час с небольшим после того, как Берeсов получил шифровку из штадива. На темной улице села послышался дружный шаг строя. Это шли бойцы, выделенные для выполнения еще никому в полку не известного задания. Вел их старший лейтенант Белых — ядро только что сформированного отряда составила его рота. Рядом с Белых шел Понедельный: вместе с ним и Яковенко они подбирали людей для дела, о котором знали пока только одно: для него нужны самые умелые, самые крепкие духом.

Сбоку колонны, около первых ее рядов, шагал Галочкин. Его взвод, в большинстве состоящий из бывалых, испытанных солдат, в состав отряда включили без особых размышлений почти весь. Но о том, посылать ли самого Галочкина, между Яковенко и Белых неожиданно разгорелся спор. Яковенко сначала хотел передать солдат Галочкина под команду какого-нибудь другого, более старшего по возрасту и имеющего больший фронтовой стаж офицера. Но Белых запротестовал. Это удивило Яковенко: он помнил, что еще не так давно, после боя на канале, Белых не очень лестно отзывался о Галочкине и называл его «зеленым» лейтенантом. Но теперь Белых говорил другое: «Когда к шоссе пробивались, Галочкин доказал — на него положиться можно». — «По одному бою доказал?» — усомнился Яковенко. «Да,— отстаивал свое Белых. — В бою человек как под микроскопом виден». — «Может быть, твой Галочкин и стал толковым командиром взвода, но, если сложная задача, справится ли?» — «Нам не высокой стратегией заниматься, а переправой, наверное, да ближним боем. На это Галочкина вполне хватит. Да и лучше, если солдаты со своим командиром останутся». Понедельный послушал-послушал и поддержал Белых. Еще на берегу канала за безрассудной мальчишеской порывистостью Галочкина разглядел он зреющее мужество, мужество не только сердца, но и разума.

Яковенко в конце концов сказал Белых: «Я бы Галочкина не взял. А ты — как хочешь. Не мне задачу выполнять, тебе».

Позади строя, как и полагается санинструктору, шла Ольга. В том, что девушку не следует посылать, и Яковенко, и Белых, и Понедельный были единодушны. В отряд был выделен, хотя он и уверял, что не умеет плавать, батальонный фельдшер, начальник Ольги. Но в самый последний момент, когда уже была дана команда назначенным в поход строиться, к Белых подошла Ольга и доложила: фельдшер внезапно заболел, вместо него готова идти она. Искать кого-нибудь другого уже не оставалось времени. «Становитесь в строй!» — нехотя сказал ей Белых. Он догадывался, что Ольга хочет разделить с ним возможные опасности, и боялся, что тревога о ней в какой-то степени может помешать ему целиком сосредоточиться на главном, на выполнении задачи, которая, судя уже по тому, что командование так держит ее в секрете, очень важная.

У Галочкина просто сердце упало, когда он увидел Ольгу среди выделенных в отряд: «Почему ее? Разве нельзя ее поберечь?» Но что он мог поделать?

Возле дома, где находился командный пункт полка, Белых остановил строй и отправился доложить Бересову. С солдатами остались Галочкин и Понедельный. Через пару минут Белых вернулся. За ним неторопливой своей походкой вышел из калитки Бересов, вслед — Гурьев и еще кое-кто из штабных офицеров. Позади всех медленно шел Неворожин. Он был обеспокоен, но не тем, чем были сейчас обеспокоены все. Собственно, он предпочел бы не показываться на улице, пока Белых со своими людьми не отправлен. Но не выйти на проводы, когда вышли все, счел рискованным: а вдруг заметят, что он как бы прячется, и догадаются почему.

Неворожин и в самом деле как бы прятался. Но об этом и не подозревал тот, кому он сейчас опасался попасть на глаза, — ефрейтор-сапер. Тот самый сапер, которому Неворожин приказал взорвать мост и у которого следователь не смог взять показаний, потому что после боя сапера в полку уже не было. Ефрейтор только сегодня вечером вернулся из госпиталя на одной из машин, привезших боеприпасы в полковые тылы. Там, в тылах, и увидел его Неворожин. Увидел — и испугался, а вдруг расскажет? Случай помог Неворожину: Бересов поручил ему проследить за снабжением отряда Белых всем необходимым и за тем, чтобы в этот отряд были выде-

лены самые лучшие саперы. Выполняя это поручение, Неворожин от командира саперного взвода узнал, что тот посылает и ефрейтора, только что вернувшегося из госпиталя, и сказал: «Хорошо. Знаю. Годится». Сейчас, когда все отправляемые были построены, Неворожин хотел убедиться, что ефрейтор среди них. Да, да, вот он в строю — невысокий, скуластое лицо. Неворожин сделал шаг назад, спрятался за другими офицерами. Скорее бы отправлялись!

Вдоль беленого каменного забора темнела плотная шеренга. Слышался приглушенный разговор.

— Смирно! — скомандовал Белых и, вскинув руку к голове, отрапортовал:

— Товарищ подполковник, сводная рота по вашему приказанию построена!

— Вольно! — тихонько сказал Бересов и медленно-медленно пошел вдоль строя, вглядываясь в смутно белеющие лица.

Приметил Снегирева:

— А, и ты тут!

— Я, товарищ подполковник!

Бересов пытливо поглядел ему в глаза:

— Куда идете — знаешь?

— Никак нет. Не объявлено.

— А как полагаешь?

— На Вену, поди.

— Угадываешь, стратег... Плавать умеешь?

— Сызмальства. А придется?

— Может быть... Ну, как настроение?

— Патронов три комплекта, энзе двойной, фляжка полная. Настроение в самый раз.

— Ну-ну... — Бересов не спеша пошел вдоль строя дальше. Восемьдесят лучших бойцов его полка стояли сейчас перед ним. Не первый раз — и последний ли? — приходится ему вот так провожать на опасное дело своих солдат. Только прежде всегда знал, на какое. От него во многом зависело, как выполнят приказ, он отвечал за их жизни. А сейчас? В чьи-то чужие руки отдает. Как распорядятся ими, с умной ли бережливостью, без неоправданного ли риска? И что предстоит? Сколько сейчас в строю здесь тех, с кем пройдено за годы войны так много...

Вот Снегирев... В июле сорок первого, когда их настигли немецкие танки, от бересовской роты остались только они вдвоем и вдвоем продолжали путь на восток. А по дороге вокруг них собирались солдаты, к ним присоединялись еще, и скоро рота, а потом и батальон, и полк стали существовать вновь. Сколько с той поры он и Снегирев отступали и наступали, на каких только фронтах не побывали — и под Старой Руссой, и под Орлом, и на Украине, и в Румынии, и под Будапештом. Все цел Снегирев... А вот из этого похода — вернется ли?.. Но что поделаешь? Командир должен посылать солдат, а они должны идти и, может быть, не возвращаться. Без этого не добыть победы...

Бересов остановился перед серединой строя, вглядываясь в неподвижные, едва различимые в темноте солдатские лица. Отступил назад, чтобы его видели и слышали все:

— Ну, друзья мои... Придется вам на этот раз повоевать не в своем полку. Не подведите. Чтобы про наш трижды орденоносный никто худого слова не сказал...

— Не скажут! — не удержался кто-то в строю.

— Так и должно. Ну, желаю вам...

Бересов был не мастер на речи. Помолчал, спросил:

— Вопросы есть?

— Разрешите, товарищ подполковник? — послышалось с левого фланга.

— Давай!

— Нас теперь насовсем из полка или как? И куда?

— Куда — и мне не сказано. Но знаю: задача вам очень важная. А в полк — вернетесь!

Радостный говорок прокатился по строю.

Дойдя до правого фланга, возле которого стояли все офицеры, Бересов тихонько спросил Понедельного:

— Скажешь что-нибудь?

Понедельный ответил не сразу. Час назад, вместе с Яковенко и Белых подбирая людей, он поговорил со многими из них, особенно с коммунистами. Дал наказ ротному парторгу Снегиреву, о чем тот должен побеседовать с солдатами после того, как станет известна боевая задача. Напомнил ему: главное, чтобы никто не поддался опасливой мыслишке: «Скоро войне конец — поберегусь».

Хотя и часто приходилось Понедельному по самой его должности замполита выступать с речами, но не очень щедр был он на них: не в многоречивости суть.

И на этот раз Понедельный сказал совсем немного:

— Как самых надежных вас посылаем. Может быть, труднее трудного вам придется, но, надеяться можно, в последний раз так трудно. Позади — Бухарест, Белград, Будапешт. Перед нами четвертая столица, Вена. За нею — победа долгожданная, к дому поворот, к мирной жизни. Ради этого стоит постараться. Успеха вам, товарищи!

— Ну, удачи! — еще раз пожелал бойцам Бересов. Повернулся к Белых, положил ему ладонь на плечо:

— Отправляйся, старшой!

Подошел к Белых Понедельный, крепко стиснул ему руку. Ничего не сказал, только пристально глянул в лицо.

Пожал ему руку и Гурьев, вполголоса напомнил:

— Дойдете до берега, вас встретят.

А Яковенко вдруг порывисто шагнул к Белых, стиснул его руку выше локтя, шепнул:

— Легкой дороги тебе!.. Сам я хотел, да не пустил меня батя... Тут, говорит, тоже воевать надо будет, не семечки щелкать.

* * *

Было уже далеко за полночь, когда Белых со своими бойцами достиг условленного места — окруженного густым лозняком одинокого домика без крыши, сгоревшего, очевидно, во время недавних боев. Здесь уже поджидал офицер связи из штаба дивизии. Вместе с ним был еще один, незнакомый. Этого офицера Белых, в темноте в первую минуту не рассмотрев, по большой кокарде на фуражке принял за летчика и удивился, что у того на шинели погоны не полевые, суконные, а золотые. Но оказалось, что это не летчик, а моряк. Офицер связи представил их друг другу, объяснил: согласно приказу командира дивизии вся сводная рота временно передается в подчинение командования Дунайской флотилии. После этого офицер связи передал Белых специально приготовленную крупномасштабную карту, сел верхом на стоявшую возле домика лошадь и, пожелав успеха, укатил.

— Что ж, идемте на корабль к командиру, он нас ждет, — пригласил моряк.

— Ладно, перекрещиваемся в морскую веру. — Белых приказал Галочкину, которого оставлял пока за себя, выставить на всякий случай охранение, остальным бойцам — отдыхать. В сопровождении Федькова, которого и на этот раз, поддавшись его настойчивым просьбам, снова взял своим связным, пошел с флотским лейтенантом.

Лейтенант довольно долго вел их по кустам. Под ногами подрагивали травянистые кочки, хлюпала вода. Наконец где-то близко послышалось журчание, пахнуло особенной, речной, прохладой. За частой сетью ветвей проступило что-то темное, невысокое, продолговатое. Белых пригляделся: приткнувшись вплотную к низкому берегу бортом, стоит небольшой военный корабль. Услышал, как под каблуками лейтенанта гулко застучали доски, и по пружинящему трапу взошел за ним на палубу.

— Теперь сюда, — уступая дорогу, показал лейтенант.

По крутой железной лесенке Белых спустился вниз и очутился в узкой каютке, похожей на ящик с косыми стенками, окрашенными в серо-голубую краску. В каюте неярко сквозь потолочный плафон толстого стекла светила электрическая лампочка. На короткой и узкой, скорее похожей на полку койке, застланной серым одеялом, сидел офицер в синем кителе с золотыми полосками на рукавах. Погоны у него были капитанские, но как его называть? Белых на минутку смешался: флотских званий он до сих пор толком не знал. Выручил лейтенант, протиснувшийся следом за ним.

— Товарищ капитан-лейтенант, — отрапортовал он. — Ваше приказание выполнено.

Капитан-лейтенант привстал, протянул руку. Белых назвал себя, доложил о людях, вооружении. Капитан-лейтенант распорядился:

— Распределите ваших людей на две равные по силам группы.

— Вместе будут действовать или порознь?

— По отдельности, но задача общая. Кто будет командовать каждой из групп?

— Кто же? Я. И обеими, и одной.

— А другой?
— Лейтенант Галочкин.
— Полагаетесь на него?
— А как же.
— Отлично. У вас есть карта района Вены?
Белых вытащил из планшета карту, полученную от офицера связи. Вена, но не вся. Только то, что возле реки. Масштаб одна двадцатипятитысячная.

— Новенькая! — взглянул капитан-лейтенант на карту.

— Только что выдали. Раньше бывало обтрепешь всю вдрызг, пока следующий лист получишь. А теперь — только успевай менять.

— У меня карта морская, у вас пехотная. Масштабы разные, но задача одна. Давайте по вашей.

Капитан-лейтенант развернул взятую у Белых карту на том квадрате, где была обозначена восточная часть Вены. Широкая голубая лента Дуная, перечерченная прямыми линиями мостов, тянулась наискось через лист. По одной стороне ее, вплотную прилегая к берегу, кучились вкривь и вкось розовые квадраты кварталов.

— Вот, смотрите, — показал капитан-лейтенант, — пять мостов в Вене через Дунай. Немцы успели взорвать все, кроме одного. Бои идут уже в городе. Но до берега нашим еще далеко. Цел вот этот мост, если нам к нему идти — второй по счету, для автотранспорта. Немцы подкрепления по нему получают. Ну, и на случай отступления берегут. А отступая — взорвут, конечно, чтобы наших за собой не пустить. Наша с вами задача, старший лейтенант, сохранить мост.

— Будем высаживаться?

— Именно. Мне приказано погрузить ваших людей и доставить их к мосту: одну группу к правобережной оконечности, другую — к левобережной. Вам задание — сбить противника с моста, вцепиться в оба его конца и держать, пока по улицам города не пробьются к вам на помощь. Предстоит высадка под обстрелом и, надо полагать, нелегкий бой. Вероятны большие потери. Впрочем, я это говорю не для того, чтобы напугать вас.

— Понятно...

Белых уже видел, как необычно трудно дело, поручаемое ему. Иметь бы больше сил... Нет, то, что людей

немного, — это удобнее. Быстрее высадятся, легче укроются. Спросил:

— Туда идти под огнем придется?

— Почти на всем протяжении. На подходе к городу противник занимает еще оба берега. Вероятен перекрестный обстрел.

— Ваши корабли бронированные?

— Броня есть. Да не как на линкоре. Кстати, — поинтересовался капитан-лейтенант, — вы знаете, что представляет собой корабль, на котором вы находитесь?

Белых смущенно улыбнулся:

— Темно, я и не разглядел. Небольшое что-то.

— Это бронекатер.

— Катер? Я видел — у вас даже пушка есть.

— Две, в танковых башнях, — уточнил капитан-лейтенант. — На носу и на корме. Кроме того, пулеметы и прочее. Даже «катюши».

— Ого! А я думал — на каких-нибудь понтонах нас будут переправлять.

— Понтоны! — усмехнулся капитан-лейтенант. — Мы с лета прошлого года, как в Дунай из моря вошли, все время с пехотой рядом. Бывает, и вперед вырываемся. Не встречались с нашими?

— Нет. Мы к Дунаю только вчера пробились. А так больше все левее его шли. Правда, зимой, когда южнее Будапешта Дунай по наплавному мосту переходили, слышал разговор, что где-то поблизости моряки. Это ваши были?

— Точно. Около южной окраины Будапешта мы действовали. Остров Чепель обстреливали, где военные заводы.

— Чепель? Так и мы поблизости воевали! — оживился Белых. — В конце января, когда немец контратаковал.

— А мы немножко раньше. Потом нас назад отвели, переправы обеспечивать. А после Будапешта под Эстергомом были, недавно вот — под Комарно, потом Братиславу пехоте брать помогали. Два дня назад австрийскую границу по реке пересекли.

— Да и мы в это же время. Вот как! Рядом. А я и не знал, что тут моряки воюют.

— Воюют, как видите... — капитан-лейтенант снова склонился над картой. — Значит, мы с вами будем дей-

ствовать так: вы погрузите своих людей на два корабля.

— А уместятся?

— Почему нет? И внизу расположим, и на палубе. Корабли емкие, хотя на вид и малы. Не то что пехоту — артиллерию возили. Кстати, каждой из ваших групп будет придано по одной противотанковой пушке. Артиллеристы должны вот-вот подойти.

— Когда размещать людей?

— Жду радиограммы. Выйти предполагаю к утру.

— Почему же не раньше, темнотой прикрыться?

— Рискованнее. Немцы ночью во все глаза глядят, а днем — вполглаза.

— На внезапность расчет?

— Да. Так больше шансов дойти без потерь. При высадке мы вас огнем поддержим. А дальше будете действовать одни.

— Понятно... Примерно, как волку в пасть кулаком.

— Пожалуй... Итак, договорились. Как только радисты примут приказ, я вам сообщу. Пусть ваши люди пока отдыхают. О полученной задаче личному составу до посадки не сообщайте, для сохранения тайны. Как кому действовать при высадке — определите уже на борту.

Белых поднялся, сложил карту, с непривычки неловко выкарабкался по крутому железному трапу из каюты наверх.

Лишь только сошел на берег, из ближнего куста поднялся дожидавшийся Федьков:

— Что, поплывем, товарищ старший лейтенант?

— Видно будет. Пошли в роту.

Федьков молча снял с плеча автомат и двинулся вперед. Зашуршал раздвигаемый лозняк. Запах распустившихся почек, нежный и вместе с тем терпкий, чуть горьковатый, ощущался очень явственно. Но присутствовало в этом запахе что-то чужое, инородное — гарью отдавало, что ли?

Когда Белых и Федьков вернулись к своим, все уже расположились на отдых, устроившись в лозняке кто где. Почти не слышалось разговоров. Местами в густой тьме маячили редкие тусклые пятнышки цигарочных огоньков.

Белых послал Федькова за Галочкиным. Когда тот явился — объяснил ему задачу, предупредив, чтобы о ней не знал пока никто, и вместе с Галочкиным стал распределять бойцов по группам. Дошла очередь до санинструктора. Белых сейчас еще больше пожалел, что не сделал всего возможного, чтобы не брать в этот опасный поход Ольгу. Идя сюда, он все-таки не предполагал, что дело, ожидающее их, сопряжено с таким риском. Но теперь уже ничего не поделаешь. Куда ее определить, чтобы ей было побезопаснее? Ему теперь по-особому бережно хотелось относиться к ней. Взять ее с собой? Но ведь он, а не Галочкин должен быть на противоположной городу оконечности моста, потому что там, пожалуй, придется потруднее: там ближе тыл немцев, они скорее смогут атаковать свежими силами. Свои из города если и придут на помощь, то, конечно, позже, чем к Галочкину. Пусть Ольга будет с Галочкиным.

Когда он сообщил Галочкину решение, по голосу его понял, как тот и встревожился, и обрадовался. И впервые по-серьезному спросил себя: а как Галочкин относится к Ольге? Что-то вроде ревности шевельнулось в душе. Но тотчас же постарался заглушить это.

Решения не изменил.

Наметив, кого из бойцов каждый берет себе, Белых и Галочкин пошли к ним — разбивать на десантные группы.

Зашуршали кусты, затрещали старые ломкие прутья под ногами подымающихся, переходящих с одного места на другое людей. Изредка звякала лопатка или фляга, шелестели ветви, слышались приглушенные голоса:

— Пулеметчики, сюда!

— Иван, диски взял?

— Фетисов! Фетисов! Где ты есть?

Но прошло несколько минут — и шум постепенно стал замолкать.

Галочкин прилег под кустом, завернувшись в плащ-палатку: с реки тянуло сыростью. Лежал, прислушивался, как в лозняке все еще переговариваются солдаты.

— Повезло нам, хлопцы. Весь полк пехом, а мы — на катере.

— На катере-то на катере...

— Ничего! На Волге да на Днепре не потопли — авось и Дунай не глыбже.

— И что это задачу не объявляют?

— Успеешь. Спи, все одно служба идет.

— И верно... — Галочкин натянул плащ-палатку на голову. — «Все сделано. Думай не думай, больше пока ничего не предугадаешь. А признаться, не ожидал, что капитан Яковенко и старший лейтенант Белых отдадут предпочтение тебе, хотя ты из офицеров в батальоне самый молодой и на фронте позже всех. Ведь горд этим, а? А что завтра? А, не так страшен черт!» Галочкин, хотя и знал уже, какое трудное и опасное дело предстоит, однако со свойственной его возрасту уверенностью полагал: все завершится благополучно. Пригревшись под плащ-палаткой, представлял: его взвод — конечно, под сильным огнем! — первым врывается на мост, дружным ударом сбрасывает с него врага прямо в воду. А затем — по радио, во всех газетах и в сводке Совинформбюро: «Беспримерную отвагу в боях за Вену проявили бойцы Н-ской части под командой лейтенанта Галочкина...»

Три недели назад, после первого своего боевого испытания на канале, Галочкин счел себя самым плохим командиром. Может быть, тогда он и был таким? Но после того? Вспомнить только недавний бой за шоссе. Теперь-то он уже твердо верил, что до конца войны наверняка сумеет отличиться и, может быть, даже получить орден, ну, хотя бы Красную Звезду. Впрочем, таких честолюбивых мыслей Галочкин стыдился и ни за что ни с кем не поделился бы ими. Даже с Карбовским, даже... с Ольгой, если бы ее отношение к нему и позволило ему быть с ней откровенным. Ольга... Зачем старший лейтенант взял ее сюда? Разве не мог подобрать другого санинструктора? Хорошо ли он к ней относится? Нет, нет! Как можно сомневаться? Упрекнул себя: «Завидуешь! Во всем старшему лейтенанту завидуешь! И орденам, и опыту, и тому, что Ольга... Неужели меж ними что-то есть? Слышал разговоры... Нет, нет! Сразу бы и сам понял! Я все в ней замечаю. А вот она меня не замечает нисколько. Один из многих лейтенантов, только и всего. Для нее разница только в том, что другие наперебой за ней ухаживают, а я нет. И разговор у нее со мной какой? Насчет потертости ног у бойцов? А захочу

сам с ней заговорить — и немею. Сердце словно обрывается, как увижу ее. С того самого зимнего вечера...»

Галочкин крепко-крепко зажмурил глаза, чтобы вновь ярко увидеть то, что до сих пор не тускнело в памяти.

Это было месяца два назад, в феврале, когда на пути от Будапешта он прямо из училища только что прибыл в полк. На Ольгу в первые дни и внимания не обращал: мало ли таких на фронте! Солдат и солдат, в шинели и ватных штанах, с задубевшим от мороза и ветра лицом. Что в ней девичьего? Гребенка, да и та под шапкой.

Как-то поздним вечером, на привале в попутном мадьярском селе, когда его взвод был назначен дежурным по комендантской службе, он шел темной улицей, проверяя, все ли в порядке. В окошко одной из хат сквозь щель в маскировке пробивался свет. Решил постучать, сделать замечание. Глянул в окно — и рука, готовая стукнуть по раме, замерла.

Через полузамерзшее стекло, как в серебристой дымке, увидел: за столом возле лампочки, наверное, в комнате одна сидит Ольга — без гимнастерки, пришивает подворотничок. Задумчиво в мягком свете лампы смугловато-матовое лицо, сосредоточенно опущены густые темные ресницы, чуть приоткрыты по-детски округлые губы. Тонкая шея оттенена коротко подстриженными черными волосами, розовеют узенькие плечи. Девочка, хрупкая девочка, а не солдат... Осторожно, чтоб не услышала, отошел от окна... С того вечера не может без нежности думать о ней.

Совсем неподалеку, по ту сторону куста, несколько минут назад был слышен ее голос. Сейчас спит, наверное. Умаялась. Целый день шли, да и ночью, притом еще — без дороги. «А все-таки лучше, что она ко мне назначена. Беречь ее буду!»

Словно на размашистой качели колыхнуло сердце.

Под плащ-палаткой стало душно, отбросил отвердевшую от ночной росы ткань — в глаза глянули звезды, мерцающие на черно-синем небе, далекие, серебристо-голубоватые. Хорошо вот так лежать, думать об Ольге, смотреть на них...

Все вокруг уже угомонилось, словно и нет сейчас здесь, в этом лозняке, десятков людей. Кажется, один он наедине с собой — он, ночь и звезды.

Тонкий осторожный звук — как будто где-то неподалеку звякнул ненароком задетый хрусталик — заставил насторожиться. Звук повторился, но на этот раз он был другим, вроде в маленький свисточек осторожно, робко свистнули. А вот снова хрусталик прозвенел. «Соловейка! — улыбнулся Галочкин. — Угомонились наши, вот он и запел. Значит, настоящая весна уже, если соловьи поют...»

Может, и нас отметит
Рок, что течет лавиной,
И на любовь ответит
Песнею соловьиной...

Был у Галочкина в начале его военной службы крохотный томик Блока, который он, отправляясь в военкомат, сунул в вещевой мешок. Давно книжечка затерялась. Но пока еще была, заглядывал часто...

Соловей становился все смелее. Свистнул, тенькнул. Пустил бойкую руладу. Потом помолчал минутку и закатил длинную заливистую трель. Где-то неподалеку ему откликнулся второй — и пошел, пошел по лозняку соловьиный пересвист.

«Как у нас в Вырице...» — вспомнилось невольно. В этом зеленом городке под Ленинградом жили они с матерью до войны — на окраине, в оставшемся по наследству от деда, отставного железнодорожника, домике, запрятанном в густом, давно задичавшем саду. В этом саду весенними вечерами буйствовали соловьи. Мальчишкой Галочкин не обращал на соловьев особенного внимания — мальчишки, как известно, не сентиментальны. А вот сейчас, на чужбине, в весеннюю ночь, припомнились родные вырицкие соловьи. Неделю назад мать — она только что вернулась в родной город из эвакуации — прислала письмо. За войну кто-то половину сада вырубил на дрова. Может быть, и соловьи в нем теперь уже не водятся?.. А вот эти австрийские по голосу такие же, как свои вырицкие. Наверное, все на свете соловьи одинаковы? Почему от их пересвиста так заходится сердце? «Хорошо, наверное, сидеть в такую ночь с той, которая всех дороже, соловьиную песню слушать...» — подумал так, и самому себя стало жаль. Ни разу еще не привелось ему испытать того, о чем мечталось... Двадцать первый год идет, а юности словно и не было — всю ее, едва начавшуюся, забрала война.

Ему было шестнадцать, когда в сорок первом вместе с матерью эвакуировались в Казахстан — сначала в Актюбинск, где издавна жила сестра матери, а потом, когда стало голоднее, переехали в один из кишлаков, где мать устроилась работать в колхозной конторе. Жалость к матери, рано овдовевшей, болезненной, робкой и никогда не умевшей постоять за себя, удерживала Галочкина возле нее, иначе он правдами и неправдами добивался бы, как некоторые его приятели, отправки на фронт, хотя и не достиг призывного возраста. В кишлаке, где они жили с матерью, успел закончить десятый класс и получил повестку о призыве, о которой втайне от матери давно мечтал: многие из его товарищей по школе уже воевали. Сначала он попал в запасной полк, потом — в училище. Закончив его, получил звание младшего лейтенанта и был отправлен в офицерский резерв, а потом на фронт. Так из мальчика почти сразу стал взрослым, офицером. Тревоги первых дней войны, эвакуация, вся полувзрослая трудная жизнь, когда надо было успевать и учиться, и заботиться о матери, и зарабатывать хлеб в колхозе, а затем военная служба — все это без остатка поглотило его едва начавшуюся юность, и не нашлось во всем этом места ни для девичьих глаз, ни для соловьев. Но, слушая соловьиные песни сейчас, в эту тихую и теплую апрельскую ночь, пахнущую речной прохладой и молодыми листьями тальника, наполнялся светлой верой: придет и к нему счастье любви... Его сердце уже сейчас открыто для этого счастья. Да разве уж так далеко оно? Ведь где-то совсем неподалеку, по ту сторону куста, меж бойцами — Ольга. Подойти сейчас к ней, к спящей, так, чтобы ни она, ни кто другой не заметил, сесть рядом, посмотреть на ее во сне по-детски простодушное лицо, такое, какое однажды на ночном привале видел близко-близко... Как, однако, заливаются соловьи! Кто их слушает сейчас, кроме него? Наверное, и она не слышит — быстро заснула, устала ведь.

Но Ольга тоже не могла сразу заснуть. Она лежала по другую сторону куста возле притихнувших бойцов и тоже слушала соловьиный пересвист. Но если Галочкин в эти минуты думал об Ольге, то у нее и мимолетной мысли не было о нем. Она и в самом деле почти не замечала этого застенчивого и, как ей до сих пор казалось, не очень расторопного лейтенанта, еще новичка на

фронте, и только удивилась как-то однажды, почему этот лейтенант, в отличие от всех знакомых ей лейтенантов, ни разу не попытался за нею приволокнуться. Нет, совсем другое было у нее сейчас в мыслях. Никита не захотел, чтобы они были вместе, назначил к Галочкину. Что ж, по-своему Никита прав. Но невыносимо будет не знать, что с ним, каково ему. Что предстоит завтра? Может быть, завтра последнее испытание? Должна же скоро кончиться война. А что потом? А она как? А вдруг...

Не впервые за эти дни ожгла тревога: а вдруг у нее будет то, что у Зины? Вдруг оно уже есть?

Она в страхе прижала пальцы к горлу, словно прислушиваясь к тому новому, что после встречи на лужайке, возможно, уже живет в ней. Не бояться бы, а радоваться этому... Но радости еще нет. И будет ли она?

«Да что я себя терзаю? — попыталась успокоиться. — Спи лучше, как все... А соловьи-то, соловьи неугомонные! Как рассвистелись, один почти над головой. Какой он! Маленький, серенький... Поймать бы. Только в руках он петь не станет... Знала бы мама, где сейчас я. Она, наверное, по-прежнему воображает, что я пребываю в санчасти, хожу в белом халате и сплю всегда в постели с двумя простынями. Ведь я сама уверяла ее в этом своими письмами. Смешная мамулька! «Не промочи ноги, ты предрасположена к ангине» — чуть не в каждом письме повторяет... А как не соглашалась сначала, чтобы я пошла на курсы медсестер! И даже отговаривала: «Ты у меня единственная». А я ответила: «И ты у меня, мама, единственная, а ведь и Родина — тоже». И тогда согласилась она. Ах, мама, мама, если бы ты знала, что я теперь уже совсем, совсем взрослая, ну, ты понимаешь, совсем... Соловьишка, кажется, чуть пониже на ветку перепрыгнул. Вот, над самым ухом посвистывает. Вскочить, схватить... Ну, спи, спи! — снова сказала она себе, — одна ты не спишь!»

Не знала, что и Никиту не берет сон, что томит его не только командирская забота и тревожное ожидание завтрашнего...

В последние дни им ни разу, словно они нарочно делали так, не пришлось встретиться с глазу на глаз, а при других оба, как бы по взаимному уговору, оберегали то тайное, что теперь связывает их. Но он не раз и не два

ловил себя на том, что по-новому, по-особенному беспокоится о ней, что ему хочется всегда быть с ней, видеть ее лицо так близко, как тогда на лужайке, держать ее руку в своей руке, что ему постоянно не хватает ее.

Но рядом с мыслями об Ольге упорно жили, все еще не хотели уходить мысли о Наташе. Однако это были уже не те, пронизанные острой тоской, что когда-то, в первые годы их разлуки. Конечно, не может он Наташу так легко из сердца выкинуть. Ведь сколько себя помнит, столько и ее... Ровесники, выросли на одной улице, сидели в одном классе. Знают друг друга по привычкам, интересам, привязанностям. Он знает волосы, глаза, губы Наташи, знает, как бьется ее сердце под его ладонью, и сотни раз, наверное, прошелся он с Наташей вечерами по улице их села. Немало ночей, бывало и до белой зорьки, просидели на лавочке у ворот или в черемуховой роще над речкой. Но что все это значит по сравнению с теми короткими, воедино с Ольгой пережитыми минутами, когда каждый из них готов был закрыть другого от смерти собой? Будь с ним на месте Ольги Наташа, увидел ли бы он когда-нибудь в ее глазах такую тревогу за себя, какую видел не однажды в глазах Ольги? Впрочем, почему он о Наташе старается думать так, словно ищет себе оправдания? Да что сейчас думать обо всем этом... Завтра бой. И не каждому суждено дожить до вечера. Может быть, и ему не суждено, и Ольге. Если бы можно было сейчас отправить ее обратно! Но поздно, поздно...

Многим в лозняке на дунайском берегу, близ сгоревшего домика, не спалось в эту ночь, полную соловьиного свиста. Томили думы о завтрашнем, неизвестном...

Не брал сон и Снегирева: чуяло сердце старого солдата — не по-обычному трудное предстоит им. Недаром майор Понедельный предупредил: с каждым нужно поговорить, как задача будет дана, к самому трудному подготовить. А сейчас, когда вот уже и мир завиднелся, ой, как помирать никому не хочется! Дома, в степи, поди, уже трактора шумят, сев начинается, если весна ранняя. А тут лежи в обнимку с братом-автоматом. Ох, и обрыдла война, до лютой тоски обрыдла! А довоевывать надо, никуда не денешься. Никуда не денешься и коли пуля тебя найдет. Ведь и самая последняя кому-то суждена...

Не каждый, однако, бередил себе в этот час душу тоской и заботой. Привалившись вплотную к Снегиреву, тоненько посвистывал во сне сквозь усы Опанасенко. Обняв автомат и надвинув на глаза шапку, крепким солдатским сном спал Прохоров, рядом с ним, свернувшись калачиком, прикорнул Зубарь... А тем временем где-то далеко отсюда, в штабе, не спящем никогда, уже зашифровывали только что подготовленный боевой приказ.

Глава 5

ВЕНСКИЙ МОСТ

Ежась от речной сырости, тесно прижавшись друг к другу, сидят бойцы на отдающей железным холодом палубе. Близко, под бортом, посвистывает вода, разрезаемая корпусом корабля.

День только начинается. Солнце еще не выглянуло, и поверхность реки кажется матово-дымчатой, выглядит хмуро, неприветливо. Бронекатер идет против течения полным ходом, разгоняя в стороны две невысокие, но крутые серые волны. Они убегают к далеким берегам и теряются где-то возле них.

От рубки, возле которой пристроились Снегирев и его товарищи, хорошо виден весь корабль — небольшой, низкобортный, строгой серо-голубой окраски, с танковой орудийной башней на носу. Ствол пушки настороженно смотрит вперед. Перед башней высоко взлетает снежно-белая пена, временами заплескивает — темные струйки воды резво бегут по натертому соляром рифленому железу палубы и, не задерживаясь на нем, подкрадываются к ногам.

На палубе не так много солдат: большинство разместились внизу. Но всем места не хватило. Да и не каждый хочет сидеть внизу.

Корабли уже около часа движутся серединой фарватера. Берега еще закрывает туман, легкой пеленой стелющийся по воде. В нем едва угадываются очертания прибрежных холмов. Сквозь покрывающие восточную часть неба облачка, легкие, продолговатые, похожие на золотисто-розоватые перья, все сильнее пробивается идущий снизу, от горизонта, солнечный свет, и они как бы тают в нем.

После того как закончили посадку, объявили, какая дана задача. Снегирев, выполняя наказ замполита, обошел всех коммунистов. Поговорил и с другими бойцами. Теперь остается одно — ждать прибытия к мосту.

«Хороший денек начинается...» Снегирев следил, как быстро светлеет поверхность воды. С минуты на минуту покажется из-за облаков солнце и заиграют на воде зайчики...

Синевато-серые прибрежные холмы видны все отчетливее. Явственнее различаются покрывающие их склоны кустарники и леса, уже одетые в листву, которая на расстоянии кажется зеленоватой дымкой.

Но не заглядывается Снегирев на зеленые берега, на золотистое небо. Присматривается к остальным кораблям. Всего их идет по реке пять. Один — ближе других, метрах в ста правее. На его палубе также видны солдаты. Они сбились в плотную кучку позади рубки. Возле кормовой башни зеленеет щит противотанковой пушки. На этом корабле, как известно, старший лейтенант Белых со своей группой — им высаживаться у правой по ходу, противоположной городу оконечности моста.

Впереди, также держась друг с другом вровень, идут еще два катера, на их палубах ни души. А совсем далеко впереди белеет бурун за кормой головного корабля...

Снегирев, как и другие, молчит: не говорлив солдат перед боем. А вот Зубарь, сидящий рядом, не утерпел. Молчал-молчал, шепнул Снегиреву, почувствовав на себе его внимательный взгляд:

— Вода, наверно, холодная еще...

— Ничего, не зима уже, — утешил Снегирев. — Постой, да ты плавать-то умеешь?

— Умею... — в глазах Зубаря мелькнуло затаенное беспокойство, он отвел их.

— Тогда будь готов, как пионер. А то ведь как еще оно выйдет...

— Мабудь, по лбу, мабудь, по потылице, — без улыбки пошутил Опанасенко.

И снова молчаливы все.

Томительно ждать. Скорее бы уж — чет или нечет... Хотелось Снегиреву успокоить себя и товарищей. Да чем? Все слова, какие надо, сказаны уже... Достал кисет, не спеша стал крутить цигарку. Глядя на него, тем же де-

лом занялись и остальные, даже некурящий Зубарь попросил на завертку.

Прохоров оторвал от сложенной газеты треугольничек для закрутки. Мельком прочел на нем что-то, усмехнулся:

— Попам-то медали выдали. За сбор средств на оборону.

— А что? — Снегирев обрадовался случаю — в разговоре, о чем бы ни велся, томительное время легче идет. — Пущай стараются. Все для фронта.

— Да я разве против? — Прохоров насыпал махорку на бумажку. — Только очень уж они свое кадило раздули. Церквей понаоткрывали. У нас вот, на Челябинском тракторном, на что сплошь безбожный народ. До войны и не слышно было, кто верующий. А сейчас, жена пишет, и у них в цеху не одна такая, которая в церковь похаживать стала. А в деревне? Наверное, и того больше.

— Что поделаешь? — сказал в ответ Снегирев. — Горя с войной много, вот и стараются некоторые у бога утешение найти, особенно женщины.

— Яки як, — не спеша вступил в разговор Опанасенко, — що до моей старой, так вона, наоборот, остатнюю веру потеряла. Сперва, в сорок першем, як немцы пришли к нам до Ярмолинец, то твердила: «За грехи господь на нас наслав, за грехи!..» А погодя, як пожили пид тим катюгой Гитлером, та як дочку нашу в Неметчину угнали, — другое казать стала: «Где он, господь-то? Куда заховався? Колы всемогущий, так чого ж сатане таку владу дал? Ну, нехай та напасть за грехи нам. Так чого ж диты неповинны страдать должны? Який же тот господь всеблагий?» Вот так поразмыслила, та и порешила: «Нема ни якого всемогущего, колы те, сатаноги с Неметчины, е!»

— Просветилась, значит? — Снегирев заклеил цигарку. — Что ж, война всем ума прибавляет. Академия!..

— Скорийше бы ту академию покончить, — вздохнул Опанасенко. — Дуже надоела...

А Прохоров вспомнил, рассмеялся:

— А вот мою тещу — не переубедишь. Тяжелого поведения женщина! Поконфликтовал я с ней в религиозном вопросе! А наипуще, когда сын родился. Подступи-

лась: «Окрещу!» — «Что ты, — говорю, — я ж партийный, на меня на заводе пальцем показывать станут!» Она — ни в какую: «Некрещеного нянчить не буду! Тайком окрещу!» Я ей ультиматум: «Окрестишь — без попа тебя похороню, с музыкой!» Сдалась.

Прохоров достал зажигалку, чиркнул, прикрывая огонек от ветра.

Закурить не успели.

— Вена! — звонко крикнул Зубарь, показав на левый по ходу корабля берег. Все взоры обратились туда. Там, у подножия холмов и на их склонах, проступали краснобелые пятна построек, они все теснее лепились вдоль реки.

Над головами шикнуло — словно кто-то огромную невидимую спичку чиркнул.

Снегирев, сжав незажженную цигарку в кулаке, припал к железу палубы.

Шикнуло еще раз.

С левого берега, оттуда, где все гуще белели дома, донеслись торопливые, негромкие на расстоянии хлопки. Снегирев различил: бьет «жеребец» — немецкая автоматическая пушка.

Палуба содрогнулась. В уши Снегирева давнул воздух.

Отрывистый, заглушивший все остальные звуки выстрел. Краем глаза Снегирев увидел: от носовой орудийной башни в сторону берега полоснуло белое пламя. Пронесся мимо и улетел сорванный ветерком, горьковатый, кисло пахнувший порохом дым.

Палуба задрожала гулко, прерывисто. Корабль прибавил ход. А над ним, не переставая, зловеще свистело, шипело, взвизгивало. Звонко ударило железом по железу. «Прямое попадание?» — приподнял голову Снегирев. Тяжело всплеснула вода под бортом, брызги ударили в глаза.

— Тонем... — вскрикнул рядом Зубарь.

— Замовчь! — оборвал его Опанасенко.

Стрельба с берега вдруг стихла так же внезапно, как началась.

Смолкла и носовая пушка. Кормовая еще стреляла, но реже, реже. Вот хлопнул ее последний выстрел. И снова стало слышно: бурлит вода вдоль борта.

«Кажись, проскочили...» — Снегирев приподнял голову, скользнул взглядом по бледному, но спокойному лицу Опанасенко, подмигнул ему:

— Живы! — обернулся, услышав, как рядом возится Зубарь: тот суетливо натягивал сапог; другая нога была еще боса.

— Ты что? — спросил Снегирев.

— Портянка подвернулась... — Зубарь поторопился надернуть сапог.

— Обе сразу? Смотри, как бы потом еще что не подвернулось.

Зубарь окончательно надел сапог, с необычной для него лихостью, которой хотел скрыть смущение, пристукнул каблуком по гулкому железу палубы. — Не подвернется...

— Сапоги-то у тебя те, которые Плоскин дал? — припомнил Снегирев.

— Те... — Зубарь погладил голенище. — Хорошие.

— Еще бы. Собственной работы. Мастер был...

Зубарь из-под опущенных ресниц просяще глянул на Снегирева. Снегирев понял этот взгляд и сказал потихоньку, чтобы слышал только Зубарь:

— Вот не подумал бы, что ты плоскинских сапог не пожалеешь.

— Плавать я не умею, — еле слышным шепотом, чтобы слышал только Снегирев, признался Зубарь. — На земле не боюсь, а тут...

— Почему же не заявил вчера, что не пловец? Каждого спрашивали.

— От своих не хотел отбиваться.

— Понятно.

Снегирев разжал кулак с давно приготовленной самокруткой.

— Закурим?

...Как только корабли вышли, командовавший ими капитан-лейтенант, тот самый, который накануне вечером ставил Белых боевую задачу, пригласил его в рубку. В ее стальной коробке было тесновато: кроме Белых и капитан-лейтенанта, здесь находились командир корабля — старший лейтенант, по виду ровесник Белых, и молчаливый черноусый старшина, стоявший у штурвала.

Капитан-лейтенант, натянув на лоб козырек черной флотской фуражки с потускневшей эмблемой, безотрывно следил за левым берегом в узкую смотровую прорезь. Когда раздались первые выстрелы вражеских пушек, он обернулся к Белых:

— Если потеряем ход — пересаживаем людей на соседний. Вы предупредили своих?

— Да. — Белых хотел спросить: «А если и соседний подобьют?» — но сдержался. Нельзя сказать, чтобы сейчас он очень боялся. Не первый бой... Но он привык переживать опасности на твердой земле, которая всегда, как родная мать, укроет и защитит. На земле многое решалось его действиями. Здесь же — ничто не зависит ни от него, ни от его солдат, пока они не почувствуют под ногами землю. А в минуту опасности ничто так не томительно, как невозможность действовать.

— Далеко еще? — чтобы хоть как-нибудь отвлечься от тревожных мыслей, спросил он.

— С час хода́.

— Пора готовить людей?

— Обождите! — капитан-лейтенант предупреждающе поднял руку. — Раньше времени наверх никого не выводить. Возможен новый обстрел, — и усмехнулся: — А мажут немцы! Не пристреляно у них, не ждали.

Протиснувшись к смотровой щели, к которой вновь прильнул капитан-лейтенант, Белых взглянул на реку.

Солнце уже показалось из-за златоперых облачков и споро взбиралось в высоту. Вода в его лучах блестела, искрилась, словно мириады крохотных зеркалец несло по волнам.

Берега сдвигались, отчетливее выступали ярко-зеленые, в листьях-обновках, прибрежные кусты. Не радовала — тревожила эта юная зелень: где в ней затаены вражеские пушки? Сейчас или через минуту ударят?

Выше и круче прибрежные холмы. На них, словно желто-бурые заплаты на зеленом бархате, квадраты виноградников. Может быть, где-нибудь там, среди еще не оживленных соками земли лоз, вражеский наблюдатель следит за идущими кораблями, передает данные на свою батарею? Но с виду берег безмятежен.

Минуло еще с полчаса. Корабли по-прежнему шли полным ходом, спеша побыстрее проскочить мимо опас-

ных берегов. Несколько раз оттуда начинали стрелять пушки, но каждый раз с опозданием, вдогонку.

Внезапность и быстрота выручали. Еще ни один катер не получил серьезного повреждения. Но кто знает, что произойдет через несколько минут? Все больше видно зданий на берегу слева. Вот на вершине прибрежного холма замаячила башня древнего замка; близ воды вперемежку с одноэтажными красноверхими деревенскими домиками то и дело возникают постройки повыше, вот уже видны заводские трубы, длинные здания фабричных корпусов, приземистые склады, серые полосы причалов... Вот на пути катеров, на сверкающей под утренним солнцем воде, снова, в который раз за последние час — два, взметнулись пенные столбы.

Капитан-лейтенант обернулся к Белых. Тот увидел, какой большой скрытой тревогой полны глаза капитан-лейтенанта, и холодок пополз в груди...

— Видите? — показал капитан-лейтенант.

Впереди, посреди реки, все яснее обрисовывалось нечто похожее на огромную, ажурного плетения арку, держащуюся на двух высоких и толстых столбах. Вправо и влево от нее к обоим берегам уходили такие же столбы. Между ними из воды местами торчало что-то бесформенное, похоже — реку на всю ее ширину, от берега до берега, пересекает гигантская баррикада из столбов, между которыми свалены в воду покареженные железные балки.

Взорванный врагом железнодорожный мост перегораживает дорогу кораблям. Удержалась на «быках» одна-единственная ферма — только в эти «ворота» можно рискнуть проскочить.

— Головной входит! — хрипловато проговорил капитан-лейтенант. — Лишь бы не минировано...

— А если минировано?

— Головной корабль дорогу проложит собой... — капитан-лейтенант снова приник к щели.

Белых, затаив дыхание, следил: головной катер далеко впереди. Он кажется лишь темной точкой, за которой кипит белая пена. Вот он уже в воротах среднего пролета. Красные и желтые огненные нити, едва заметные в ясном свете начавшегося дня, скрещиваются перед ним, расходятся, сходятся, словно кто-то с лихорадочной поспешностью плетет на пути головного огненную сеть;

нити обрываются, а вместо них протягиваются новые, новые...

Гулкий выстрел корабельной пушки вновь прокатился над рекой, заставил Белых вздрогнуть. Полыхнуло пламя перед орудийной башней соседнего бронекатера — оттуда опять открыли огонь. Как там Галочкин? Не растеряется при высадке?

Неистово задрожала под ногами палуба, взревели моторы. В рубке стало слышно, как шипит и всплескивает у бортов вода, разрезаемая корпусом корабля.

В узкую щель, из-за плеча капитан-лейтенанта, Белых, напряженно вытянувший шею, увидел: головной катер юркнул в «ворота» центрального пролета и пропал за ними в сверкающем под утренним солнцем речном просторе. Один за другим, прямо в колыхающуюся огненную сеть, вслед за головным ринулись первые два бронекатера, шедшие впереди тех, на которых находились Белых и Галочкин с их бойцами.

В рубке внезапно потемнело. Еще сильнее пахну́ло речной сыростью и машинной гарью. К реву моторов и шелесту встречной волны добавился какой-то новый шум бурлящей воды. Рулевой напряженно посунулся вперед, стискивая штурвал. Снаружи скрежетнуло железом по железу, будто огромным гвоздем по борту царапнуло вдоль всего корабля, и Белых, не в силах справиться с собой, схватился за ручку двери, ведущей на палубу. В рубке на миг стало совсем темно. С двух сторон грозно прошумела клокочущая вода. Клокотание слабело, удалялось назад, в рубку через смотровые щели снова брызнул яркий свет дня.

Белых, выпустив ручку, отошел от двери.

— Прорвались! — капитан-лейтенант обернулся, на его лбу блестели крупные капли пота. — Подходим...

Распахнув тяжелую стальную дверь, Белых шагнул на палубу, бросил взгляд назад: «ворота» среднего пролета уже позади, за пенным буруном... Возле борта фонтаном взвилась вода, рухнула на палубу.

— Приготовиться! — крикнул Белых.

Теперь впереди отчетливо виден венский мост: темно-серой громадой навис над водой на гигантских, опущенных к ней полукружиях.

Все пролеты целы. Слева от моста, тесно подступая к реке, громоздятся кварталы. Над ними, пачкая чистое

утреннее небо, клубится дым. На противоположном берегу, за ровным широким лугом, покрытым нежно-зеленой травой, сереют высокие многооконные дома, чернеют частые заводские трубы. Белых припомнил: на карте в этом месте значится пригород, промышленный район Вены. Наверное, это он и есть... Значит, налево, вон там, где сереет полоска набережной, высадится Галочкин, а на правой стороне, у зеленого луга, высаживаться самому. Телефонную связь сразу же дать через мост, с берега на берег. Есть ли на самом мосту немцы?

По бронекатерам, упорно идущим вперед, вели огонь теперь с обоих берегов, вокруг головного беспрестанно вставали высокие всплески. Враг стрелял нервически-яростно, но беспорядочно: не ждал он в это утро советские корабли здесь, почти в центре Вены, когда бои идут еще только близ окраин ее.

Головной бронекатер, первым проскочив за мост, скрылся из виду. Два катера, следовавшие за ним, тоже миновав мост, уходили дальше, вверх по реке.

Непонятное всегда кажется опасным. Врагу оставалось гадать: зачем эти маленькие корабли прорываются вверх по Дунаю, за венские мосты? И не сразу понял враг, увлеченный стрельбой по трем передним кораблям, почему два концевых, немного не дойдя до моста, вдруг резко повернули в разные стороны.

* * *

Неистово стучали вверху, на рубке, крупнокалиберные корабельные пулеметы. Звук их выстрелов поглощал все остальные звуки вокруг. Бронекатер, сбавляя ход, напряженно дрожа всем корпусом, подходил левым бортом к набережной. Прячась за выступом рубки, Снегирев ждал: когда на берег? Рядом с ним, в том же ожидании замерли Прохоров, Зубарь, Опанасенко. Печать особой отрешенности от всего, что вне боя, лежала на их лицах.

— Приготовиться к броску! — услышали все голос лейтенанта Галочкина.

Десять, пять, два шага от борта до набережной. Надвигается серая стена, исщербленная осколками. Край ее чуть выше борта. Хорошо: пуля не достанет, пока ты еще на палубе. Только ни секунды не медли! Мягкий толчок корабля — словно в сердце толкнуло. Сталь борта с глухим скрежетом царапнула о шершавый бетон.

— Вперед! — сквозь пулеметную стукотню скорее почувствовал, чем услышал, Снегирев команду лейтенанта и выбежал из-за рубки. Впереди него, низко согнувшись, спешил Прохоров. Мимо, опережая, метнулся Зубарь. Вслед, с озабоченным лицом, Опанасенко, с ним — скуластый саперный ефрейтор с двумя своими солдатами: они должны предотвратить взрыв моста, если тот заминирован.

— Давай, давай! — услышал Снегирев голос Прохорова, уже откуда-то спереди, сверху.

Ухватясь за верхний край набережной, пришедшийся на уровне плеч, Снегирев, подтянувшись, оттолкнулся ногами от палубы и боком выбросился на каменные плиты, замусоренные битым кирпичом, исковерканным кровельным железом, перепутанными рваными проводами. Перед ним мелькнул Зубарь — согнувшись, он пробежал по краю набережной, вправо, к мосту. А где Опанасенко, Прохоров?

«Не отстать, успеть проскочить. Место открытое...»

Добежать до моста Снегиреву не хватило дыхания — не молодые годы... Припал к щербатым камням мостовой — секунду-другую передохнуть. Обернулся: Опанасенко и саперы отстали?

Нет, не отстали. Вот они, и Опанасенко с ними. Следом еще бойцы, за ними — пушка-«сорокопятка», вокруг нее лепятся несколько артиллеристов — они катят пушку от берега, поперек набережной, к разбитой во многих местах красной кирпичной ограде. Втолкнули пушку за ограду, в пролом. Двое артиллеристов упали как сломанные, остались на мостовой.

Трое саперов и Опанасенко, с багровыми лицами, запыхавшиеся, поравнявшись со Снегиревым, залегли рядом.

«Побьет нас тут всех! Вперед надо...» Снегирев прикинул глазом. Впереди, поперек набережной, косо вздымалась слева направо въездная часть моста. Внизу, в ее тени, искрились тусклые огоньки, вперебой трещали выстрелы.

«Туда!» — Снегирев крикнул саперам и Опанасенко, рванулся вперед, на ходу оттягивая затвор автомата и стараясь справиться со сразу давшей себя знать одышкой.

Несколько раз мимо него вжикнули пули. Чуть не

запнулся о попавшую под ноги измятую железную бочку. Упал за нее, дал очередь по искрящимся в тени мостового настила огонькам. Передергивая затвор, увидел в нескольких шагах левее туго набитый вещмешок на чьей-то спине, торчащий из-за сваленных в кучу железных балок. Мешок медленно прополз шага два, качнулся, поднялся — стал виден хозяин мешка, Зубарь, до этого скрытый за балками.

Едва Зубарь приподнялся, как пули горохом защелкали по балкам, за которыми он только что лежал, по валяющимся на небережной железным бочкам, за одной из которых укрылся Снегирев. Щелканье оборвалось. Снегирев выглянул — Зубаря не видать. «Все, пропал сынок! А где Прохоров, Опанасенко, саперы?» Но знал — рядом все. В бою, в минуту, когда не видно товарищей, может показаться солдату, что он действует сам по себе, что он — один в поле воин. Но это — обманчивое опасение. Общей задачей накрепко соединены бойцы, даже если в иные минуты и не видят друг друга.

Снегирев поднял автомат, чтобы пустить еще одну очередь в тень, где суматошно мелькают огоньки выстрелов, и в этот миг там негромко, но сердито рявкнула граната, за ней еще. «Наши там уже!» Снегирев вскинулся и побежал, спеша преодолеть оставшиеся до моста полсотни шагов.

Однако добежать ему не удалось. Впереди по камням мостовой, стремительно приближаясь, заплясали искры, выбитые пулями, и он метнулся назад к бочкам, из которых под ударами пуль сыпалось и разлеталось что-то белое. Припал за одну из них.

Из-под моста уже не стреляли. Но немецкий пулемет стучал откуда-то слева, со стороны въезда.

Снегирев приметил: чуть позади него — саперы, шагах в пяти впереди, за одной из бочек, — Опанасенко. Окликнул:

— Трофим! Зубарь где?

Не оборачиваясь, Опанасенко показал вперед, в сторону моста.

Прячась за бочками, Снегирев подполз к Опанасенко, обернулся к саперам:

— Чего вы? Опоздаете!

— Чего? Попробуй-ка сам! — отозвался ближний из них, ефрейтор.

По камням мостовой впереди снова запрыгали искры.

«И в самом деле — не сунешься. А ждать нельзя...»

Саперам надо успеть обезвредить заряды: ведь немцы могут взорвать мост, если увидят, что теряют его. До моста лишь шагов сорок. Но из-под него очередями рубит, рубит пулемет. Обходного пути нет: справа — река, слева — дома, в них враг...

Снегирев тронул Опанасенко за плечо:

— Видишь, откуда?

Немецкий пулемет стрелял из едва приметной со стороны набережной амбразуры, темневшей на фоне серой облицовки мостового въезда.

— Давай по нему! — показал Снегирев, прицеливаясь в амбразуру.

Очереди двух автоматов слились в одну. У Снегирева кончились патроны в диске, он вставил новый, призывно помахал саперам рукой.

— Айда! — крикнул своим ефрейтор.

Саперы перебежали поближе. И снова два автомата — Снегирева и Опанасенко — ударили по амбразуре. За ближней бочкой мелькнуло перепачканное чем-то белым лицо Зубаря. Он переползал вперед.

— По амбразуре бей! — крикнул ему Снегирев.

Зубарь скрылся где-то впереди, за валяющимися бочками.

Пулемет еще стрелял. Но пулеметчик, видимо напуганный непрерывно долбящими о края амбразуры пулями — может быть, некоторые из них залетали и внутрь, — стрелял как попало, не целясь. И вдруг пулемет смолк.

— Даешь! — молодым голосом выкрикнул Опанасенко. И валко, по-стариковски, побежал к мосту.

Мимо Снегирева, вслед за Опанасенко промелькнул один сапер, второй. Третий тоже рванулся вперед, но только показался на открытом месте — повалился, дернулся, замер.

Снегирев приподнялся, но вокруг снова звонко заколотили по железу бочек пули. Невольно бросился обратно, наземь. Белый едкий порошок разлетался из бочек, запорашивая глаза, рот. Снегирев сердито отплюнулся, уперся ладонью левой руки в мостовую, выжидая, когда же наконец можно будет подняться. Но, вопя под уда-

рами пуль, все рвалось железо бочек, пылил белый порошок.

Перекрыв стук пулемета, донесся негромкий, но резкий звук, словно доской ударили о доску, — и в тот же миг пулемет замолчал.

«Сорокопятчики! Прихлопнули!»

Первым, на кого наткнулся Снегирев, вбежав под мост, был саперный ефрейтор. С багровым от напряжения лицом он стоял, упершись спиной в серую бетонную стену крайней мостовой опоры, уходившую вверх, в мрак, на широкоскулом лице его поблескивали капли пота. На плечах ефрейтора держался другой сапер, скрытый падающей сверху густой тенью, и что-то делал там, где углом смыкались настил и стена опоры.

Снегирев поспешил вдоль стены. Где товарищи? Надо штурмовать мост. Эх, отстал! И Опанасенко, наверное, тоже. Разве за молодыми угнаться?..

Над головой гулко гудело железо — то часто, то протяжно. Споткнулся, глянул: убитый немец. Перешагнул.

— Есть! Нашел! — воскликнули за спиной. Оглянулся. Оттуда, где копошился сапер, стоявший на плечах ефрейтора, падает, извиваясь, длинный ярко-желтый провод. Откуда-то снизу Снегирева окликнули:

— Григорий Михалыч!

Из узкой круглой дыры, черневшей под ногами Снегирева, высовывалась голова Зубаря. Он успел занять удобную позицию: поставленная торчком толстая железная крышка канализационной трубы служила ему щитом.

«Прилично устроился!» — хотел было сказать Снегирев, но стрельба наверху, только что притихшая, вспыхнула с новой силой. Пули залетали и сюда, вниз, щелкали о камень, с ноющим звоном ударялись над головой о стальные балки настила. За спиной Снегирева топнули о камень сапоги — это сапер, стоявший на плечах ефрейтора, спрыгнул, отбросил в сторону кусок обрезанного провода, что-то прокричал своим товарищам.

«На мост! Может, и там провода...» — Снегирев позвал Зубаря. Тот резво выбрался из своего убежища.

Вчетвером — впереди Зубарь, за ним Снегирев и саперный ефрейтор со своим бойцом — бежали вдоль въездного парапета. Пули крошили бетон. Острые каменные брызги несколько раз кольнули Снегирева в лицо, но он как бы и не почувствовал боли. Наверху, на въезде,

слышались выстрелы. Рядом вскрикнул, ругнулся один из саперов. «Ранило?» Не задерживаться! На мост, к своим!

Вот Зубарь, добежав наконец почти до начала въезда, где парапет уже низок, вспрыгнул на него, его сапоги протопали вровень с головой Снегирева. Еще две секунды — и Снегирев там, где только что пробежал Зубарь. Следом взобрался ефрейтор — последний из трех саперов: второго срезало перед этим.

На мосту клокотала рукопашная схватка. Возле массивной, уходящей высоко вверх квадратной клепаной колонны, от которой в обе стороны вдоль перил свисали огромные, шириной чуть не в метр стальные полосы, суматошились бойцы и немецкие солдаты. Рвали воздух короткие, злые, в упор очереди автоматов. Чья берет — понять было еще нельзя. Вдоль моста свистели пули: со стороны города, с берега враг вел огонь, уже не разбирая, где свои, где русские. Серединой моста, отстреливаясь на ходу, беспорядочно убегали на противоположную городу сторону гитлеровцы.

Несколько немцев, большинство в куцых черных куртках панцерных частей, прижатые к перилам, отчаянно отбивались. Этим отступать было некуда: за их спинами, меж перил, поблескивала река. С набережной, прорываясь, взбежали на мост еще несколько немцев. Вскинув автомат, Снегирев полоснул по ним, они шарахнулись: одни — обратно, другие — дальше по мосту, некоторые спрятались за стальные упоры, брызнули оттуда огнем автоматов. Снегирев успел увернуться, присел у перил, изловчился дать еще очередь. Мимо с автоматом на изготовку промчался Зубарь, локоть к локтю с ним—ефрейтор-сапер с широко раскрытым, жадно хватающим воздух ртом. Наперерез, чуть не сбив Снегирева, пробежал солдат из их взвода с «дегтяревым» в руках, с размаху упал ничком, откинул сошки пулемета, пустил длинную очередь вдоль моста, вслед убегающим немцам.

Снегирев поспешил на помощь к своим, дравшимся врукопашную с врагами, прижатыми к перилам. Кто-то, набежав, сшиб его с ног, он щекой больно ударился об асфальт. Возле глаз мелькнул рыжий немецкий сапог. Упершись локтями, Снегирев вскочил. За эти короткие секунды, пока он падал и подымался, толпа возле перил поредела. Несколько немцев, вырвавшись, убегали —

одни назад к набережной, другие — таких было больше — по мосту на противоположную сторону. Снегирев припал к автомату — дать очередь по ним, но не нажал спускового крючка: с той же стороны бегут бойцы. Те, что высадились со старшим лейтенантом Белых. Вот один на бегу наподдал сапогом подвернувшуюся немецкую каску, она проскочила меж перил и полетела в реку. Солдат сорвал с головы ушанку, перегнулся через перила, закричал:

— Эй, братва! Мост наш!

«Кому это он? А, морякам!» Снегирев увидел: по реке мчится полным ходом назад один из прорвавшихся за мост катеров. На корме клубится черный с рыжевато-белым отливом дым, в нем суетливо мелькают фигуры матросов, борющихся с огнем.

Следом из-под моста выскочил второй катер, третий...

«Куда они? — провожал Снегирев катера взглядом. — Уходят, уходят... — Хотя и понимал, что нельзя, ни минуты лишней нельзя оставаться кораблям на виду, но сжалось сердце: — Одних нас оставляют. Нет нам назад пути...»

Бойцы старшего лейтенанта Белых повернули обратно на свою сторону — на мосту им уже не осталось дела.

— Ко мне! Занимай оборону! — услышал Снегирев снизу от въезда срывающийся, как у молодого петушка, голос лейтенанта Галочкина.

Товарищей по отделению Снегирев разыскал в брошенной немцами траншее, аккуратно вырытой на газоне небольшого скверика близ моста. Она вилась меж старыми деревьями, на черных стволах которых белели свежие пулевые и осколочные раны. Бойцы, уже устроившись в траншее, смотрели в сторону многоэтажного красного дома за сквериком. В темных окнах дома посверкивали огоньки выстрелов, меж деревьями взметывались комья земли, в траншею временами падали сбитые ветки.

Прохоров указал Снегиреву его позицию — поодаль от остальных, за поворотом траншеи, рядом с саперным ефрейтором, которого лейтенант только что прислал в порядке пополнения.

«Быстро же мы мост взяли!» — изумился Снегирев, устраиваясь на указанном ему месте. Еще больше изумился бы он, узнав: с того момента, как высадились на берег, прошло более двух часов. Пулями проносятся в бою минуты...

Глава 6

УДЕРЖАТЬ!

Мост был взят. Но предстояло более трудное: удержать его. Удержать, пока к нему из города не пробьются свои.

Сколько придется держаться?

Этого не знал никто.

Нужно держаться столько, сколько необходимо.

Рассчитывать можно только на самих себя. Подкреплений не будет. Враг теперь не даст застать себя врасплох, не пропустит больше по реке ни одного корабля.

Третий час боя. На мосту пусто: бойцы укрылись, напрасно по нему железной метлой метут немецкие пулеметы, напрасно рвутся на нем мины, взбрасывая черный дым и куски разбитого асфальта.

Галочкин уже расставил бойцов по местам. Сразу после высадки, в атаке, в рукопашной схватке, он не успевал уследить, где кто. Казалось, и он и все ему подчиненные воюют каждый сам по себе. Но каждый оставался частью целого, и это целое, словно все были связаны невидимыми нитями, сохранилось и в рукопашной, рассыпавшейся на множество отдельных стычек. Галочкин собрал людей. Сам он сейчас находился среди бойцов в траншее, хотя и наметил себе командный пункт в одной из глубоких ниш, образованных мощными бетонными опорами концевого пролета. Там стоял телефонный аппарат. Связисты с риском для жизни, под огнем, успели протянуть по мосту провод на ту сторону, к Белых, и Галочкин уже передал свое первое донесение и узнал, как обстоят дела на той стороне. Группа Белых довольно быстро захватила въезд на мост — там оказалось всего несколько гитлеровцев: со стороны своего тыла враг опасности не ждал. Но после минутного замешательства он пришел в себя. Открыли огонь крупнокалиберные зенитные пулеметы, стоявшие на позициях близ моста. Пришлось залечь.

Выручили моряки с бронекатера, высадившего группу Белых и уже отвалившего от берега; корабельная пушка метко ударила по зенитным пулеметам, они замолчали. Белых со своими людьми ворвался в окопы немецких зенитчиков, выбил оттуда их и тех немцев, что прибежали

по мосту с противоположной стороны. Часть бойцов послал на мост — там, на середине, они и встретились с людьми Галочкина. Высадившиеся вместе с Белых два моряка-радиста уже установили связь со своим штабом. Белых приказал передать: противник с моста выбит, занятые позиции удерживаются. Помощи просить не стал. Говоря по телефону с Галочкиным, еще раз напомнил ему: рассчитывать только на свои силы.

Позиции бойцов Галочкина образовывали подобие полукруга, охватывающего въезд на мост и упирающегося концами в набережную. Центральной частью этого полукруга была траншея в сквере.

...Прошло еще около часа. Противник по-прежнему постреливал из большого красного дома, бросал мины. Но попыток вернуть мост пока не предпринимал. В Галочкине шевельнулась робкая надежда: не обойдется ли без вражеских атак? А там, глядишь, и подойдут из города свои. Но положение на противоположном конце моста тревожило его все более: там не утихает, а усиливается стрельба. Он хотел переговорить с Белых, но на вызов телефонист с той стороны не ответил. Может быть, там не удержатся? Противник ворвется на мост, ударит с тыла? И тогда — стой один меж двух огней...

* * *

Предвидя самое худшее, Галочкин распорядился переместить несколько бойцов так, чтобы можно было отражать атаки и со стороны моста.

Выполняя это приказание, Прохоров послал Опанасенко на правый фланг траншеи, где еще не было никого. Придя туда, Опанасенко обнаружил небольшой блиндажик с узким лазом. Заглянул: темно. Пожалел: нет в блиндаже амбразуры. Вот была бы позиция, так позиция! Пристроился возле лаза. Здесь траншея круто поворачивает, местечко, на случай обстрела, — удобное, только огорчительно: на отлете от своих... И словечком не перекинешься.

Но что же дальше-то?

Почему немцы из красного дома вдруг совсем перестали стрелять? И мин не кидают. Что замыслили?

Опанасенко сидел, поглядывал на краснеющую за черными деревьями стену дома с непроглядно-темными провалами окон. Оттуда, наверное, сейчас на него немцы

глядят... Может, уже на мушку берут?.. За спиной послышался осторожный шорох. Обернулся, обомлел: из темной дыры блиндажа выглядывает немец в распоясанной шинели. Но тотчас же от сердца отлегло: немец без оружия, показывает на себя. В плен хочет?

— Камрад! — выжидающе глядя на Опанасенко, проговорил немец. — Франс!

— А ну, хенде! — шевельнул Опанасенко автоматом. — Мне все едино, Франц ты або Ганс! Руки до горы, говорю! Хенде хох!

«Франц» скорее с недоумением, чем с испугом, вздернул руки, но снова повторил:

— Франс! Франс! — и, очевидно найдя нужные слова, заговорил поспешно: — Но алleman![1] Но герман! Републик Франс!

— Знаю я вас! — Опанасенко язвительно улыбнулся. — Бачьте, люди, як нимець на француза перекрутився! Приперло — от самого себя отрекаешься? А ну, повернись, немчура! — Похлопал «Франца» для порядка по карманам, скомандовал: — Опусти руки!

«Франц» понял, опустил. И снова упорно повторил:

— Но аллеман! Франс!

— Хватит брехать, — рассердился Опанасенко. — Шо, не бачу я, — фриц ты!

— Но фриц! Но фриц! — затряс головой странный пленный, тыча себя растопыренными пальцами обеих рук в грудь. — Жак! Жак Дадье! — и, видя, что Опанасенко все еще не верит ему, сунул пальцы за пазуху, выдернул надетый на шею шнурок — на нем оказалась крохотная бронзовая иконка, поцеловал ее, закрестился, одновременно забрасывая Опанасенко потоком горячих слов.

— Да що ты мени крестишься, я ж бога не признаю! Не поп я тоби, не исповедуйся! — Опанасенко уже склонялся поверить «Францу»: ишь, как божится. Но что делать с ним? Был бы фашист да не подыми рук — все, дело простое. А этого — куда? В тыл нет пути... И тыла, считай, нет...

Поняв сомнения Опанасенко, очевидно, по-своему, француз, произнося какие-то предупредительные фразы, распахнул шинель, вытащил какую-то бумагу, подал. Опанасенко с недоумением взял. На большом листе, от

---

[1] Не немец! *(франц.)*

давности прохудившемся на сгибах, наверху был рисунок, изображавший босую женщину, одетую в легкую одежду, с украшенным кокардой, кокетливо сдвинутым набок колпаком на голове, сидящую под сенью множества склоненных трехполосных знамен. Под рисунком — печатный текст с несколькими словами и цифрами, вписанными от руки, внизу — размашистая подпись и жирная печать.

— Свидетельство що оженився? — спросил Опанасенко.

— Аттестат! — пояснил француз.

— Ищь ты, який красивый у вас! Мабудь, гарный харч по ему дают? На довольствие до нас встать желаешь?

Француз не понял.

— Ам, ам! — потыкал Опанасенко себе пальцем в рот и показал на аттестат.

Француз не понял, поспешно воскликнул:

— Аттестат милитэр!

— Морока! — Опанасенко сунул непонятную бумагу себе за пазуху. — Кто ж вас разумиет, що по этому аттестату дают? В штабу разберутся.

— Штаб! Штаб! — понимающе закивал голозой француз и запахнул шинель, готовый идти.

— Э, погодь! Куда мне тебя вести-то, дурна голова?

Опанасенко собрался кликнуть находящегося за поворотом траншеи сержанта — доложить о французе, но вой падающей мины заставил его тотчас же броситься наземь. О шапку и плечи шмякнули тяжелые комья сырой земли, в нос шибануло едким запахом сгоревшей взрывчатки.

— Ховайся! — показал французу на блиндаж и, уже слыша вой новой мины, юркнул в лаз вслед за ним.

Сидели, прижавшись друг к другу, в тесноте блиндажа.

Мины рвались по всему скверу. Беспрерывно слышались их вкрадчиво-зловещие, с дребезжанием, глуховатые на мягкой земле газонов разрывы. Потрескивали перешибаемые осколками ветки.

В короткие перерывы между разрывами Опанасенко высовывался из блиндажа: не конец ли обстрела, не пошли ли немцы в атаку? И вот, не успел еще растаять дым от разрыва очередной мины, упавшей на газоне ша-

гах в десяти перед траншеей, как сквозь этот редеющий дым Опанасенко увидел немцев.

Быстро выбрался из блиндажа, прильнул щекой к прикладу. Немцы перебежали мостовую, они уже в сквере, мелькают за деревьями.

Стал стрелять — торопливо, но скупыми, короткими очередями. Помнил: патроны — беречь. Ага! Одного срезал! Ишь — ухватился за дерево. Качается. Упал. Еще, еще очередь, по остальным! Залегли! Хитры, черти. За стволами прячутся. Того и гляди снова подымутся. Тут ближе всего им. Эх, плохо дело, Трохим... Один ты здесь... Один, да еще француз на твою голову. Что это он высовывается?

В черноте блиндажного лаза показалось бледное, возбужденное лицо его добровольного пленника. Француз смотрел вопрошающе. Опанасенко махнул ему рукой. Француз помедлил, скрылся в блиндаже.

...Дадье забрался в самый дальний угол. В блиндаже темно, но через отверстие входа ему видна траншея и в ней русский, которому он сдался в плен. Дадье с тревогой прислушивается: не идут ли боши снова в атаку? Почему русский сразу же не отправил его, как полагается, в тыл? Вообще он странный, этот солдат. Дадье с ним говорил на языке, на котором может изъясняться только настоящий француз, а русский упорно принимал его за боша. Пришлось вытащить деву Марию Амьенскую, которой благословила его мать перед отправкой в Германию, и поклясться.

Стрельба затихает... Русский скоро отправит его в штаб, и кончено с войной. Наконец-то! Жаль, что Юзефу не удалось уйти в ту ночь и его сцапали. Здесь все получилось удачнее...

До позавчерашнего дня рота, в которой состоял Дадье, занимала позиции на окраине Вены, в обширном старинном парке. Собственно, после недавних боев от всей роты, когда пришли к городу, осталось не больше взвода. Командовал этими остатками оберштурмфюрер Баумберг — единственный уцелевший из офицеров роты. Позавчера людей Баумберга с позиций в парке сняли, вместе с несколькими другими разрозненными подразделениями повели куда-то через город. Все сильнее гремела артиллерия, и гренадеры, прислушиваясь к ней, обнадеживали себя: их отводят в тыл. Бульвары и пло-

щади центра остались позади. Гренадеры увидели перед собой набережную, мост. Перейти его — и Вена, ставшая фронтом, позади. Были среди солдат такие, которые зимой в Будапеште изведали тяжесть уличных боев и только чудом успели вырваться из котла. Еще раз попасть в такой же — не хотелось. Да и кто захочет? С чувством облегчения смотрели все на мост, к которому подошли.

Но была дана команда остановиться, рыть траншеи и строить блиндажи, уже начатые кем-то в сквере близ моста. Под вечер, закончив работы, расположились в траншее так, чтобы можно было вести огонь по выходящим к мосту улицам, если на них покажутся русские.

Когда взошло солнце, с заречной стороны пришло несколько грузовиков, набитых солдатами в черной форме панцерных частей. Машины разгрузились и укатили обратно. Панцерн-гренадеры заняли позиции позади солдат Баумберга у въезда, в прочных бетонных дотах, построенных, видимо, давно. Солдаты были недовольны: вчера их заставили рыть траншеи и строить блиндажи, а панцерн-гренадеры — пожалуйста, занимайте готовенькое!

Кто-то пустил слух: панцерн-гренадеры присланы стрелять по тем, кто вздумает бежать через мост, если русские из города прорвутся к нему. Но русских все не было. Канонада гремела где-то далеко, наверное, еще за окраинами.

И вдруг позади, около моста, вспыхнула стрельба. Солдаты растерянно озирались. Никто не понимал: в чем дело? Прямо над головой Дадье траншею перемахнул какой-то панцерн-гренадер, за ним — еще один. Они удирают? Куда? От кого?

— Русские!

— Мы отрезаны!

Паника с быстротой взрывной волны охватывала всех. По скверу, над траншеей засвистели пули.

— Стрелять! — подбежал к Дадье бледный Кассельман. — Оберштурмфюрер приказал стрелять!

— Куда? — растерянно завертел головой Дадье.

— По набережной! Там русские! — прокричал Кассельман и, как сдутый ветром, исчез.

А с набережной бежали не русские — все еще панцерн-гренадеры. Одни — через сквер к домам, другие —

среди их черных курток мелькали и зеленые шинели пехотинцев роты Дадье — наоборот, на мост. Стреляя вслед им, к мосту спешили невесть откуда взявшиеся солдаты в зеленоватых толстых куртках и серых шапках. Русские! Поднять руки? Но русские сгоряча могут и не разобраться... Дадье бросился в блиндаж. А потом, когда стрельба притихла, он выждав, выглянул и увидел вот этого солдата Красной Армии.

Но что это? Опять неистово трещат выстрелы. Боши снова атакуют? Что если они ворвутся сюда? Они убьют его! Конечно, убьют! За одно то, что русские не тронули его. О, зачем он бросил свою винтовку!

Несмотря на частый огонь из траншей, немцы лезли все напористее. Падали, срезанные пулями, на их месте тотчас же, перебегая от дерева к дереву, появлялись другие, уже различались лица...

Опанасенко едва успевал менять опорожненные диски.

Вставляя очередной магазин, бросил взгляд на француза: сидит на пороге блиндажа, охватил ладонями лицо. Ранен, что ли? Не до него! Снова прильнул глазом к прицелу.

Нет, Дадье не был ранен. Ему показалось: за толстым черным стволом мелькнуло лицо Буша. Но что если и Буш? От Буша Дадье не видел зла. Но если Бушу прикажут застрелить Дадье — тот застрелит!

По покрытию блиндажа хлестнули пули. Дадье шарахнулся. Чертовы боши! Кто из них приметил его? О, если бы сейчас у него в руках было оружие! Он стиснул кулаки. Нет сейчас для него ни покладистого Буша, ни дряхлого Шинке, ни Кассельмана и Баумберга, есть одно — сплошное, враждебное: нацисты, рабом которых он недавно был. О, как долго зрела в нем ненависть к ним! Он даже и не понимал, как велика она в нем, пока вот сейчас не оказался по эту сторону, рядом с русским!

Меж деревьями, там, где немцы, мелькнула вспышка, полетели в стороны кривые обломанные сучья.

Сзади, от набережной, хлесткий, словно удар большого бича, хлопнул громкий выстрел, за ним, почти без интервалов, — второй, третий, четвертый...

Это ударила по атакующим маленькая противотанковая пушка, которую артиллеристы выкатили из-за разбитой кирпичной ограды прямо на набережную.

Оставив на газоне несколько убитых, атакующие откатились. Но не начнут ли они через минуту новую атаку? Надо найти свое оружие! Дадье шагнул, направляясь по траншее, однако Опанасенко, набивавший патронами диск своего автомата, остановил его.

Дадье жестами объяснил, чего хочет. Но Опанасенко решительно придержал его, показал на зеленую немецкую шинель:

— Куда? Тебя же наши сразу за фрица примут!

Дадье догадался. Мгновенно сорвал с себя шапку, шинель, мундир — остался в одной рубахе.

— Ну и що? — критически посмотрел Опанасенко. — Все одно, як фриц. Надень обратно, чого ж голяком-то!

Но Дадье отрицательно затряс головой.

— Как хошь! Морока мне с тобой! — Опанасенко снова встал с автоматом на изготовку.

...Когда гитлеровцы, ошарашенные осколочными снарядами «сорокопятки», отхлынули назад, Галочкин невольным движением схватился за ракетницу, чтобы дать сигнал атаки: момент! Немцы бегут, на их плечах — ворваться в высокий красный дом, засесть там! Галочкиным в этот миг овладело такое же кружащее голову чувство, как тогда, на берегу канала, когда только майор Понедельный удержал его от рывка вперед.

Никто не удерживал его сейчас. Но он сам удержал себя. Опустил ракетницу, не выстрелив: заберешься в дом, а противник тем временем прорвется к мосту, что тогда?

Только что установившуюся тишину прорвал резкий стук пулемета. Галочкин выглянул — и сердце зашлось: по Ольге бьет! Как она на открытом месте очутилась? К раненому из окопа в окоп перебегала? Прильнула к гранитному парапетику, отделяющему набережную от сквера. Не шевелится. Убита?

Пулемет, взбив близ Ольги на газоне землю — комья ее высоко подпрыгивали вверх, — смолк. Почему она не встает? К ней, к ней! Послать кого-нибудь? Нет, сам!

Галочкин уже уперся руками в края траншеи, чтобы выскочить. «Стой! Командовать кто будет?» Гляди: справа на набережной, что там?

На правом фланге суматошно затрещали автоматы. Галочкин метнулся по траншее. «У Прохорова! Прорвались».

На правом фланге противник внезапным броском попытался пробиться к мосту вдоль набережной. Гитлеровцев там было немного, но действовали они напористо.

— За мной! — скомандовал Галочкин двум солдатам с ручным пулеметом, мимо которых пробегал по траншее. Показал: — Здесь!

«Дегтярев» ретиво застучал. Под его огнем немцы вновь скрылись. Пока передышка — узнать, что с Ольгой? Выглянул: на том месте ее нет. Отлегло от сердца: жива! Да, пока тихо, дойти до конца траншеи, посмотреть, не переставить ли туда ручной пулемет на случай новой атаки.

Когда Галочкин пришел в самый дальний край траншеи, боец Опанасенко, из отделения сержанта Прохорова, привалившись боком к земляной стенке, крутил цигарку. Рядом сидел черноволосый человек в грязной нижней рубахе и немецких солдатских штанах и старательно укладывал патроны в автоматный диск. При появлении офицера он встал, вытянув руки по швам.

— Кто это? — спросил Галочкин.

— Француз! — объяснил Опанасенко. — Добровольно сдавшийся. С продаттестатом. — Опанасенко вытащил из-за пазухи сложенный лист и торжественно подал его лейтенанту. Галочкин хотя и не знал французского, но некоторые слова в аттестате понял и по внешнему виду его довольно легко догадался, о чем в нем речь. Рассмеялся:

— По этому аттестату пайка не получишь! Это свидетельство об отличном поведении за время службы во французской армии. До войны.

— Отличник боевой и политической, от як! — воскликнул Опанасенко. — Я и бачу, що вин вроде ничего, с дисциплиной. Только почему ж Гитлеру служить стал? Часом, не власовец он французский? Только такой побоялся бы по доброй воле до нас... А этот и диски мне снаряжае...

— Под мост его отвести! — прервал Галочкин рассуждения Опанасенко.

— Пусть при мне пока, — попросил тот. — Диски снаряжать он дуже наловчился.

Дадье прислушивался, старался понять: что о нем говорят офицер и солдат? Отправят ли его в штаб, подальше от бошей?

Но офицер, поговорив с солдатом, ушел, а солдат показал Дадье на недоснаряженный диск, сказал:

— Давай! — И Дадье возобновил свою работу. Он все больше тревожился: «Может быть, русские здесь отрезаны от своих и им некуда отправить меня?» Хотел спросить солдата так ли это? Но как спросить — не знал.

Идя от Опанасенко по траншее, Галочкин совершенно неожиданно натолкнулся на куда-то спешащую Ольгу. Обрадовался: цела, не задело ее там, на краю сквера. Он не успел ей сказать и слова — зловещий ниспадающий свист заставил броситься наземь. Грохнул разрыв. Ольга, поправляя сбившуюся на бок шапку, поднялась на колени, соскребая пальцами с рукава ватника липкую желтую глину. Озабоченно взглянула на Галочкина:

— Вас не ранило? Нет? Ой, у вас всю спину подрало!

Галочкин недоуменно посмотрел через плечо назад — конечно, он ничего не разглядел.

— Осколком вот какой кусище выхватило! — Ольга протянула руку к его спине, и Галочкин теперь убедился, что и впрямь ватник позади держится необычно свободно.

— Что ж, — смущенно пошутил он, — придется акт о злодеянии фашистов писать.

— Дайте-ка, я зашью.

— Снимать надо...

— Ладно, прямо на вас прихвачу! — Ольга достала откуда-то иголку с ниткой. — Поворачивайтесь!

— Вот картина, если кто увидит... — Галочкин смутился еще более, отодвинулся. — Лучше я сниму. — Он расстегнул ремень, сбросил ватник.

— Давайте, давайте! — торопила Ольга. — А то как бы немцы опять не начали... — она решительно забрала ватник.

— Я пойду пока. — Галочкин почти всегда в присутствии Ольги приходил в состояние растерянности, а сейчас особенно. К тому же он торопился. Того и жди новой немецкой атаки.

И действительно, враг не заставил долго ждать себя...

После того как была отбита очередная вылазка противника, связной принес Галочкину аккуратно починенный ватник:

— Санинструктор велел вам отдать.

— Спасибо! — Галочкин покраснел, как будто перед ним стоял не солдат-связной, а сама Ольга.

* * *

Немецкие минометы то шквальными налетами, то методически, по одной мине через каждые несколько минут, что особенно изматывает, обстреливали позиции в сквере. То и дело стучали со стороны красного дома пулеметы, словно стальными граблями продирало газоны, покрытые реденькой, едва выглянувшей травкой.

Временами противник вдруг прекращал огонь. Эти недолгие минуты тишины не были самыми спокойными. Тишина могла предвещать новую вражескую атаку или еще более сильный обстрел. Но все же это были минуты передышки, и солдаты спешили использовать их — цигарку потянуть, словечком перекинуться.

В одну из таких передышек Снегирев и его сосед, ефрейтор-сапер, сели рядом, закурили. Снегирев, любопытствуя, спросил:

— Из каких мест будешь? Обличьем, гляжу, татарин вроде.

— Почему татарин? — рассмеялся ефрейтор. — Мордвин я. Саранск. Спичечная фабрика, слыхал? Там работал.

— Спичечных, значит, дел мастер?

— А что? Мастер! Наша саранская спичка за границу шла.

— Ишь ты!

— Хороший наш город Саранск...

— Скоро отвоюешься — и туда?

— Конечно. Мать там, брат. Я из госпиталя домой писал: пока руку лечу — война кончится, сразу приеду. Нет, рука раньше зажила. Тоже хорошо, обратно в свой полк попал.

— Попал. Враз в горячее дело.

— А какое дело без сапера? Мост спасать — сапер. Мост рвать — тоже сапер.

— Это не ты ли на канале рвал, четырнадцатого марта?

— Мы.

— Что ж вы, мать вашу этак, раньше времени? Нам вплавь пришлось перебираться, чуть не потопили... Вам бы за то морды набить!

— Зачем морды? Я сам не хотел, а мне кричат: «Рви!»

— Валишь на кого-то?

— Зачем валишь? Мне приказал...

Ухнула мина.

Снегирев инстинктивно бросился наземь, хотя беречься было уже поздно. Когда поднялся, увидел: сапер, скорчась, держится обеими руками за бок.

— Задела? — кинулся к нему Снегирев.

— Только из госпиталя, и опять... Ой, горит! — скрипнул зубами сапер, повалился, еще крепче зажимая ладонями рану.

— Ах ты, мать честна... — Снегирев посмотрел на ефрейтора озадаченно, крикнул вдоль траншеи: — Ольгу сюда!

* * *

Как-то сразу надвинулась ночь, будто она, сжалившись, торопилась дать отдых бойцам. В непроглядно-черных провалах окон красного дома все реже мельтешили искорки выстрелов. Над крышами городских зданий небо, багрово-розоватое, в колышущихся отсветах пожаров, словно подрагивало, казалось, сами крыши, черные контуры которых резко выделяются на фоне неба, пошевеливаются испуганно. Где-то за домами приглушенно погромыхивали протяжные разрывы. Бой возле моста затихал.

Галочкин, как только наступила темнота, распорядился собрать тяжелораненых под мостовой пролет, прошелся еще раз по траншее, переменил кое-кому позиции: многие за день выбыли из строя, и там, где утром стояли два — три человека, теперь остался один.

Закончив перестановку и предупредив всех, чтобы не доверялись обманчивой тишине, Галочкин направился под крайний пролет к телефону — доложить Белых о положении.

...Под сводами концевого пролета, в нишах, образованных массивными бетонными опорами, чуть белеют повязки, тусклыми алыми точками мерцают цигарки, иногда, при затяжке, в красноватом свете выступит из тьмы усталое лицо. Здесь собраны те раненые, которые уже не в силах держать оружие.

«Много же за день...» — грустью и тревогой был полон Галочкин. Когда удастся эвакуировать? А скольким

уже не нужна эвакуация? Четыре года судьба их щадила, шесть границ прошли, и вот, под конец...

«Еще один такой день — и в строю не останется, пожалуй, никого. Неужели наши не успеют пробиться?»

Разыскивая в темноте телефониста, Галочкин пробирался меж тесно сгрудившимися ранеными. Кто-то из них в темноте распознал лейтенанта, окликнул — с той непринужденностью, которая появляется у солдата, когда он уже знает, что командир более ничего ему приказывать не станет, и с той тревогой, которая свойственна раненому, уже лишенному возможности своими глазами видеть бой:

— Товарищ лейтенант, как там, на передке?

— Стоим по-прежнему, — как можно бодрее ответил Галочкин. — Немец присмирел.

— Наши близко?

— Близко. Завтра всех вас в медсанбат отправим.

— Не всех... — замаячило во тьме белое пятно повязки на голове, а лица Галочкин так и не разглядел, только по голосу догадался: солдат из пожилых. — Не всех, — повторил солдат. Белое пятно его повязки шевельнулось, он показал: у стены неподвижно лежит боец, укрытый шинелью. — Этому медсанбат уже не надобен.

— Кто? — спросил Галочкин.

— Ефрейтор, сапер, — выступила Ольга. Ее лицо едва различалось во мраке. — Осколочное...

— И никак нельзя было спасти? — Галочкин все еще не привык к тому, что рядом так просто умирают люди.

— Нет, — ответила Ольга. — Если бы можно было сразу оперировать...

По тому, как прозвучал ее голос, ему показалось, что и она взволнована тем же и так же, как и он.

Если бы можно было чем-то успокоить ее! Но чем? Он в растерянности не нашел слов. А так хотелось... Молча прошел дальше.

Дойдя до сидящего возле телефона связиста, велел тому вызвать Белых.

Коротко доложил о потерях, о том, что на исходе патроны.

— И у меня не густо, — услышал в ответ. — Пока темно, немецкие собирайте.

— Уже собираем — и патроны, и оружие.

— Хорошо... Сколько тяжелораненых?

Галочкин ответил.

— Санинструктор с ними?

— Здесь. — Галочкин подумал, что Белых спрашивает об Ольге только затем, чтобы убедиться: с ней ничего не случилось.

— Ну что ж, держись, — впервые перейдя на «ты», сказал Белых. — Буду сейчас хозяину докладывать.

— Далеко ему до нас?

— Хозяин-то у нас сейчас не свой... — в голосе Белых чуть заметно прозвучала грусть, и Галочкин понял ее: без своего полка, как без родной семьи. До окончания обороны моста —отряд в оперативном подчинении какого-то флотского начальника, фамилии, звания, должности которого ни Белых, ни Галочкин не знают. Старшему лейтенанту известен только условный номер — позывной для радиопереговоров.

«Может, старший лейтенант доложит, помощь пришлют?» — с искоркой надежды подумал Галочкин, но тотчас же эта искорка погасла.

* * *

...Как и Галочкин, Белых свою штаб-квартиру на противоположном конце моста устроил под крайним, почти наполовину нависшим над берегом, пролетом. Там находились и два временно приданных отряду моряка-радиста, державших связь со своим командованием.

Слушая, что диктует Белых, радист при свете фонарика, который держал его товарищ, писал колонку цифр, сверяясь с таблицей кода. Ни ему, ни его товарищу, ни Белых не являлась, да еще и не могла явиться мысль, что в этих бесстрастных на вид цифрах, в скупых словах зашифрованного донесения запечатлевается то, что долгие-долгие годы спустя сможет взволновать сердца. Записанные торопливой рукой дежурного радиста откроются когда-нибудь взору любознательного потомка хранимые в архивах лаконичные боевые донесения, и, может быть, они и в то далекое время вдохновят художников и поэтов...

Но то, что для будущих поколений явится эпосом, сегодня для обороняющих венский мост — только исполнение обязанностей. Только с расстояния времени те, кто

уцелеет после этого боя, сумеют посмотреть на свершенное ими. И может быть, только глазами сыновей и внуков, для которых их простая солдатская жизнь станет яркой легендой, увидят они когда-нибудь, что сделали, и удивятся искренне: «Оказывается — мы герои!» Подлинный герой узнает, что он герой, только тогда, когда ему скажут об этом; способность свершить подвиг — в естестве души человека, если он настоящий человек. И тот, кто творит подвиг, не думает о том, что он его творит, — он исполняет то, чего просто не может не исполнять...

Радист закодировал все, сообщенное ему старшим лейтенантом. «Срочно прошу подкреплений и боеприпасов», — хотел добавить в конце донесения Белых. Но удержался:

— Все. Передавайте.

Радист застучал ключом.

Невысоко над мостом проревел самолет, смолк. Белых с тайной надеждой прислушивался: вернется? Свой? Не сбросит ли патроны? Но об этом предупредили бы по радио. Да и куда сбросить? Ничтожно мал отбитый у врага клочок берега, узок мост. Груз упадет в воду или к противнику. Не станут сбрасывать...

После телефонного разговора с Белых Галочкину стало еще тревожнее. Надо собраться с мыслями, может быть, еще что-то можно сделать за ночь, чтобы увереннее встретить новый день с его новыми испытаниями? На ощупь выбрал местечко в одной из ниш опоры, где никого не оказалось, присел, опершись спиной о стену. Затылком чувствовал холод бетона, но спине под ватником было тепло. «Ольга зашивала! Где-то близко она, возле раненых. Ах не надо, не надо было ее брать. Да что все о ней! О деле думай. И нечего под мостом прохлаждаться! К бойцам!»

Галочкин, словно кто подтолкнул его, поднялся.

* * *

Перед траншеей бесформенными расплывчатыми пятнами тьмы кучились деревья сквера, а дальше сплошной сомкнутой черной стеной, похожей на стену дремучего леса, высились по-мертвому темные дома. И если бы не бледно-багровые отсветы пожаров, колыхающиеся за этой черной стеной, да не еле слышные отзвуки стрельбы,

могло бы показаться: город безлюден, покинут всеми, и только здесь, у въезда на мост, одни, как на островке, окруженном молчаливой враждебной стихией, Галочкин и его солдаты.

Тревога не давала покоя Галочкину. Он, в который уже раз, шел от бойца к бойцу, снова и снова присматриваясь, насколько все готово к бою. Спокойнее ему было здесь, с бойцами, чем там, под мостом, вдали от них.

Некоторые из солдат, завидев Галочкина, спрашивали:

— Как, товарищ лейтенант, наши скоро подойдут?

— Скоро, — неизменно отвечал Галочкин, хотя и не знал, когда же наступит это «скоро» и не наступит ли оно слишком поздно?

Галочкин очень огорчился, когда, придя на позицию отделения Прохорова, увидел, что Прохоров, тяжело дыша, полулежит, опершись плечом о стенку траншеи. Сидевший рядом с Прохоровым Снегирев поднялся, доложил, что принял командование над оставшимися от отделения людьми, так как сержант тяжело ранен.

— Куда? — спросил Галочкин, нагибаясь над Прохоровым.

— Под грудь, — с усилием ответил тот, отвернулся, сплюнул.— Кровь в нутро идет, беда...

— А перевязка?

— Сделала Ольга. Все одно идет...

— Выделите кого-нибудь, пусть под мост снесут, — сказал Галочкин Снегиреву, — там все лежачие и санинструктор.

— Не надо, товарищ лейтенант! — прохрипел Прохоров. — Все одно ведь... Пропадать, так со своими хоть.

— Ну, пропадать! — нарочито бодрым голосом проговорил Галочкин. — В медсанбат вас отправим.

— Когда там медсанбат...

— Теперь недолго, вот-вот.

— Вот-вот? — в этом вопросе Прохорова Галочкин уловил сомнение, снисходительную усмешку и почувствовал: краснеет.

— Чего там, товарищ лейтенант... Стоять придется, может, до последнего дыха, — с усилием проговорил Прохоров. — Понимаем.

Снегирев, к удивлению Галочкина, не поддержал его попыток утешить Прохорова:

— Мы уж меж собой потолковали, которые остались еще. Договорились... Так что не сомневайтесь, товарищ лейтенант.

— Хорошо, хорошо, — смущенно пробормотал Галочкин, коря себя в душе: «Кому вздумал враньем дух подымать! Они тебе сами подымут. Правдой!»

Когда Галочкин на обратном пути проходил через позицию отделения, Прохорова он там не нашел: двое выделенных Снегиревым бойцов все-таки свели его к другим раненым.

...Время шло к полуночи. Побывав на всех позициях, Галочкин вернулся под мост. Захотелось еще раз переговорить с Белых, хотя особой необходимости в том и не было. Но все-таки, когда услышишь друг друга, вроде как рядом, на душе легче...

Пробираясь к телефону в непроглядной тьме, царившей под сводом, услышал голос Ольги: она полушепотом успокаивала кого-то из раненых.

Галочкин на ощупь взял трубку, протянутую связистом. Разговаривая с Белых, старался произносить слова особенно внятно: пусть Ольга, которая, наверное, слышит все, по его словам поймет, каково положение Белых. Ведь она, надо понимать, беспокоится о нем.

Белых имел столько же бойцов, что и Галочкин. Но потерь он понес больше: вражеский обстрел был здесь сильнее. Несколько раз, наступая на позиции группы Белых от пригорода, гитлеровцы пытались прорваться к мосту. Единственную противотанковую пушку, которую, как и Галочкин, имел Белых, в середине дня безнадежно покалечило прямым попаданием тяжелой мины. Эта же мина вывела из строя весь расчет пушки. А со стороны шоссе в любую минуту можно было ждать немецкие танки. Как раз, когда позвонил Галочкин, от шоссе донесло далекий, еле слышный гул моторов. Белых приказал всем своим приготовить противотанковые гранаты и пошел к телефону. Выслушав Галочкина, он поделился с ним опасениями.

— Возьмите сорокопятку! — предложил Галочкин.

— А вы с чем останетесь?

— Нам — легче. У нас тут немцы сами нарыли-настроили, есть где отсидеться.

— Ладно, беру пушку, — не стал более отказываться Белых. — Только сумейте к нам аккуратно перекатить.

— Перекатим. Ночь поможет.

— Хорошо. Жду.

Белых слегка удивился: Галочкин так легко отдает ему единственную пушку? Известно: каждый командир, надо не надо, а уж старается придержать возле себя сил побольше. А вот в Галочкине этой хитрости нет. Простоват лейтенант. А может быть, не простоват, а просто честен? Белых поймал себя на мысли, что на месте Галочкина он, может быть, не только не предложил бы сам пушку, но, наоборот, если бы ему приказали ее отдать, стал бы всячески доказывать, что отдать никак не может... И подумав так, он взялся за трубку, чтобы сказать Галочкину: пусть пушку оставит у себя. Но положил трубку: пушка и в самом деле здесь нужнее.

Было уже далеко за полночь, когда Галочкин, дождавшись сообщения от Белых, что артиллеристы с пушкой благополучно перешли по мосту и что гул моторов на стороне противника пока стих, прикорнул возле телефониста. Пошевеливалась на сердце тревога: что принесут ближайшие часы? Но и не заметил, как его охватил непроницаемый, без сновидений, сон, такой, каким, несмотря на переживаемые волнения, может заснуть человек в юном возрасте.

Проснулся от голоса, торопливо повторявшего над самым ухом:

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!

Уже светлело небо, все вокруг было затянуто мутной дымкой — от реки подымался туман.

— Вас срочно! — телефонист вложил в ладонь Галочкина теплую, нагретую в пальцах трубку. Еще не прижав ее к уху, Галочкин понял, что хочет сообщить Белых. С того берега, особенно гулкие в предрассветный час, доносились отрывистые хлопки выстрелов противотанковой пушки и глушащие их частые раскатистые разрывы.

Глава 7

ВИНОВАТ

В тот самый утренний час, когда бронекатера направлялись к мосту, полк пошел по шоссе вдоль берега, тоже на Вену. Противник, еще накануне цеплявшийся за каждый рубеж, снова отступал. Временами вспыхивали ко-

роткие стычки с его заслонами. С ближних к шоссе холмов, с опушек придорожных рощ, уже по-летнему щедро одетых в зелень, внезапно раздавались очереди немецких пулеметов или пушечные выстрелы, и тогда двигавшиеся с полком дивизионные артиллеристы сворачивали с дороги свои грузовики с орудиями на прицепе, развертывали орудия к бою. Гремели длинноствольные семидесятишестимиллиметровые. Черные на зеленом вскипали впереди разрывы, пехота рассыпалась в цепь, держа направление на них. Противника сбивали — и снова возобновлялось прерванное движение.

И уже возникала кое у кого надежда: вот так, без особых задержек, как идем, достигнем и австрийской столицы.

Под конец дня приблизились к небольшому городку, от которого до Вены оставалось всего несколько километров. Городок, белые красноверхие домики которого отчетливо виднелись в мягком, но еще ярком свете предвечернего солнца, лежал на широкой, лишь кое-где покрытой реденькими кустарниками равнине, окруженной невысокими зелеными холмами. Разведка донесла, что перед городком — позиции противника. Бересов решил попытаться взять городок с ходу — так уже не раз удавалось. Он приказал комбатам развернуть подразделения в боевые порядки, наступать. Но вскоре по цепям наступающих противник открыл перекрестный пулеметный огонь. Сколько-нибудь существенно продвинуться не удалось. Комбаты доложили: по окраине городка — доты и траншеи полного профиля. По всей вероятности, здесь начиналась первая линия укреплений венского оборонительного обвода.

Волей-неволей Бересову пришлось отдать приказ: остановиться, окапываться. Опыт подсказывал: нужны дополнительные огневые средства, лобовым ударом одной пехоты противника с этого рубежа не собьешь.

Солнце уже склонилось к острым крышам городка, когда Гурьев пришел к Бересову, который устроил свой наблюдательный пункт на поросшей кустами вершине небольшого холма. Здесь же находились и радисты, уже установившие связь со штабом дивизии.

— Сейчас я комдиву докладывал, — сказал Бересов Гурьеву. — Обещает танки, стволов тоже подкинуть сулил. Велел приготовиться. Если немец не вздумает сам

уходить, завтра утром — артподготовка, к концу ее — танки вперед бросим, за ними — мы. Я комбатам задание дал: выбрать для танков лучшие исходные, уточнить направления, разведать проходы.

— Танки дадут во все батальоны?

— Нет. Их придет немного. Комдив предупредил: не распылять. Дам только одному батальону. Тому, где целесообразнее использовать. Тебе задание: в каждом батальоне проверь, какую дорожку для танкистов комбаты наметили. Да смотри, — Бересов хитровато подмигнул, — каждый доказывать начнет, что именно ему танки дать надо. Не поддавайся.

— Будьте покойны.

...Побывав по заданию Бересова уже в двух батальонах, Гурьев еще засветло направился в последний ему оставшийся — к Яковенко. Шел напрямую полем, один, не взяв с собой сопровождающего автоматчика, хотя противник находился совсем недалеко. За последние дни Гурьев стал как-то небрежен к собственной безопасности.

Сейчас, как только он оказался наедине с собой, вновь вернулись мысли о Лене.

Он до сих пор не ответил ей. Что ответить? Ведь она и не спрашивает ни о чем. Но хотел или не хотел, а снова и снова мысленно продолжал разговор с ней, разговор односторонний, мучительный... — и даже облегчение почувствовал, что можно этот разговор прервать, когда подошел к командному пункту батальона Яковенко, упрятанному меж двух невысоких холмов в одетом молодой листвой кустарнике.

Едва успел Гурьев появиться, как Яковенко спросил:

— Не узнал, где Белых? Куда моих людей задевали?

— Узнал. В Вене они.

— В Вене! Да как попали?

— С Дуная моряки высадили.

— Ну, а потом?

— Не знаю. Их задание было секретным. Прямой связи нет. Бересов запрашивал через комдива, тот окольным путем узнавал, чуть ли не через штаб фронта...

— Черт-те что! — рассердился Яковенко. — Забрали из батальона лучших людей, отправили невесть куда... Скорее бы в Вену пробиться: может, выручать их придется?

— Полагаешь одним своим батальоном австрийскую столицу взять?

— Столицу? Мне сначала хотя бы вот этот, будь он неладен, городочек, в который уперлись.

— Вот я насчет того и хочу с тобой потолковать.

Гурьев рассказал Яковенко о цели своего прихода.

— Танки непременно мне! — не дослушав, поспешно заявил тот. — Дадите — мигом на окраину ворвусь.

— Сначала пойдем-ка на твою передовую, прикинем.

— Стоит ли? Стемнеет вот-вот.

— Ничего, успеем сориентироваться.

— Что ориентироваться? — загорячился Яковенко. — Ты что, не веришь мне? Я сориентированный! От моего переднего края до самого города — ровный лужок. По нему танки, как по скатерке, на огневые точки выйдут — только дави!

— Все-таки поглядим.

— Ох, и придирой ты стал, как штабным заделался. Ну ладно уж, пойдем, товарищ начальник.

Результаты рекогносцировки не противоречили утверждениям Яковенко. Между передним краем батальона и городской окраиной действительно нет естественных препятствий. Но решает ли одно это, что танки надо дать именно первому батальону? Не нужнее ли они соседнему, перед которым огневых точек больше? Пожалуй, так и следует доложить командиру полка.

Гурьев поделился своими соображениями с Яковенко. Тот, как это с ним легко случалось, мгновенно «взвился».

— Эх ты, а еще друг называешься! Нет, чтоб помочь! От Яковенко — все, для Яковенко — ничего? Справится, дескать, и так? Не первый раз такое вижу. Хотите меня в черном теле держать? Ну, держите!

Гурьев попытался урезонить его, но Яковенко только пуще обиделся:

— Вижу, вижу, забывать начинаешь, как вместе шагали! К начальству приблизился? Вот Понедельный тоже из нашего батальона и повыше тебя поднялся, а не такой, как ты...

— Ну, знаешь... — Гурьев повернулся и быстро пошел. Но тут же пожалел, что так резко прервал разговор. Ведь раньше в подобных случаях он оказывался

всегда более терпелив и сдержан, чем Яковенко. Вернуться, кончить эту случайную ссору миром? А, к чему! Не все ли равно.

Одним людям горе ослабляет руки. Другим крепче стискивает кулаки — Гурьеву хотелось быть именно таким... Как хорошо бы сейчас совсем не думать ни о Яковенко, ни о себе, ни о Лене, а только о службе.

Надо так. А не получается...

Уже стемнело, когда, вернувшись к Бересову, на ночь оставшемуся на наблюдательном пункте, Гурьев доложил свои соображения: целесообразнее дать танки правофланговому батальону.

— А мне только что Яковенко звонил, — сказал Бересов, выслушав. — Доказывал: дадим танки ему — он за весь полк задачу выполнит, в этот городишко мигом ворвется. — Бересов помолчал в раздумье. — Яковенко на обещания, известно, лих. Но я в бинокль пронаблюдал. Пожалуй, на этот случай прав он?

Вопреки обыкновению, Гурьев не стал отстаивать свою точку зрения.

Его безразличие Бересов понял как согласие.

— Ну, что же. Так и порешим.

* * *

Как и обещал комдив, ночью пришли танки — пять «тридцатьчетверок» и одновременно с ними две гаубичные батареи из резерва фронта. Бересов послал танки в батальон Яковенко, на участке которого, в центре боевых порядков полка, наметил главный удар. Отправляя танки, он спросил Яковенко по телефону: «Что тебе еще нужно, чтобы сбить врага?» — «Чтобы у него, когда мои подымутся, две минуты всё молчало». — «Хорошо», — согласился Бересов и приказал артиллеристам подготовить огонь. Всю ночь на своих постах прислушивались, всматривались в тьму наблюдатели, перед немецкими позициями лазали разведчики. Бересов не хотел оставаться в дураках, как тогда, за каналом, когда противник сумел незаметно уйти.

Но опасения Бересова оказались напрасными. Враг не ушел. Уже почти некуда ему пятиться. Ему осталось либо сдаваться, либо, хотя в этом с каждым днем все менее смысла, обороняться.

В рассветный час, уже по-летнему ранний, на всем участке бересовского полка и соседних загремела артиллерия, молотя по немецким дотам и траншеям. Черный дым подымался над ними в ясное, утреннее небо, заслоняя белые домики хорошо видной с исходных позиций окраины городка. Еще не кончилась артподготовка, как в первом батальоне пошли вперед «тридцатьчетверки». Едва они вышли за передний край — Яковенко, не медля ни секунды, поднял своих пехотинцев. Начали атаку и другие батальоны.

Яковенко сдержал свое обещание: солдаты его батальона, воспользовавшись тем, что танкисты и артиллеристы заставили замолчать вражеские пулеметные гнезда, оборудованные в крайних домах городка, быстро пересекли открытое поле, лежащее перед ним, обходя еще не разбитые снарядами огневые точки, и завязали бой на окраинной улице.

— Переношу капэ к домикам! — не желая медлить, доложил Яковенко Бересову по телефону.

— Добро! — согласился тот. — А мы сейчас следом на твою свободную квартиру переселимся! — и приказал Гурьеву: — Собрать бегунков и связь! Переходим вперед.

На пути к Бересову и Гурьеву присоединился только что появившийся Неворожин. Он по-прежнему ведал тылами и резервами, но последнее время значительно чаще, чем прежде, появлялся на командном пункте полка. Причем появлялся не только затем, чтобы узнать обстановку да себя показать, как бывало.

С каждым днем все больше Неворожин старался держаться в бою около Бересова, вникать в суть его действий, с готовностью брался за выполнение любого поручения, которое тот ему давал, и всем этим стремился усиленно, как никогда раньше, завоевать благорасположение командира полка. Но Бересов с той поры, как ему стало известно, что написал Неворожин в своей докладной после боя на канале, относился к нему еще холоднее, чем прежде. Вопреки указаниям комдива, он по-прежнему старался обходиться без Неворожина, хотя в глубине души и понимал, что поступает неправильно. Об этом как-то с глазу на глаз, напрямик сказал Бересову и Понедельный, который хотя и не испытывал к Неворожину особо теплых чувств, но считал, что нельзя пренебрегать желанием человека стать лучше или, во вся-

ком случае, полезнее, чем он есть. То, что Понедельный был подчиненным Бересова, не помешало ему сказать Бересову малоприятное. Бересов сам когда-то давно, когда он убедился, что с новым замполитом сработается, попросил Понедельного: «В случае чего — рубай мне правду без стеснения. Критика — она вроде лекарства, любить ее не за что, а принимать бывает надо». Однако на этот раз сказанное Понедельным Бересова рассердило: «Ты, товарищ замполит, что, комиссар мне? Воспитываешь? А с чего Неворожину в заступники становишься?» Но все же после этого разговора Бересов стал несколько чаще давать Неворожину задания: что-нибудь в подразделениях проверить, уточнить. А тот просто жаждал поручений: ему хотелось, чтобы никто не сомневался, что он смел и честен. Он все время испытывал тайный страх: а вдруг через кого-нибудь, ну хотя бы через того скуластого ефрейтора-сапера, станет доподлинно известно, как он повел себя тогда, на канале?

Яковенко застали еще на прежнем командном пункте. Бересов потребовал, чтобы Яковенко показал ему на местности, каково сейчас положение батальона, и тщательно осмотрел в бинокль передний край: отсюда он был виден намного лучше, чем с только что оставленного Бересовым места. Тем временем связисты уже подключили линии от батальонов, и Бересов, сказав Яковенко, чтобы он минутку повременил с переходом, велел соединить себя с командиром правофлангового батальона. Положение на правом фланге все более беспокоило Бересова: наступающий там батальон, встреченный огнем еще держащегося противника, основательно отстал и от батальона Яковенко, наступающего в центре, и от левофлангового. Бересов намеревался как следует пробрать комбата, поторопить — для того и велел вызвать его к телефону. Но, выслушав, молча положил трубку.

— Так я перехожу, товарищ подполковник, — напомнил Яковенко, которому не терпелось.

— Обожди! — задержал его Бересов. — Ты знаешь, что справа делается?

— Отстали? Пускай догоняют!

— «Пускай»! Тебе известно, сколько там у немцев пулеметов понаставлено? Побольше, чем перед тобой. Не пускают они соседа.

— Ну, а я-то при чем?

— А при том! Далеко вылез, а не видишь! Противник и соседа твоего держит, и тебе, жди, во фланг ударит, как только еще дальше полезешь! Послушал я вас, куда танки дать! — С подозрением глянул на Гурьева: — Ты для дружка старался, да?

— Я не настаивал... — попытался оправдаться Гурьев, но Бересов оборвал его:

— Не настаивал! А докладывал мне как?

— Товарищ подполковник! — счел своим долгом вступиться Яковенко. — Капитан Гурьев, когда в батальоне был, мне насчет танков возражал.

— А почему мне не возразил, когда я тебя послушался?

— Я вам свои соображения изложил...

— Изложил! — Бересов, прерывая Гурьева, рубанул воздух ребром ладони. — Ты что, посторонний консультант или пэнша? Не согласен — спорь! Доказывай свою правоту. Эх ты, интеллигенция! Не узнаю тебя... — Помолчал, посопел, спросил: — С танкистами связь по радио есть?

— Да.

— Передать: пусть повернут вправо, вместе с артиллеристами, давят там огневые точки. Комбата предупредить, чтобы цели быстро показывал.

— Слушаюсь! — Гурьев старался, чтобы его голос звучал бесстрастно, хотя внутри у него все кипело. Хотелось сказать Бересову что-то в свое оправдание, но что?

Тем временем Бересов повернулся к Неворожину:

— Идите в батальон, на правый фланг. Проконтролируйте, чтобы комбат правильно использовал танки, как только они к нему придут. Когда убедитесь, что танки задачу выполнили и пехота поднялась, звоните мне.

«А мне не доверяет?» — вспыхнул Гурьев. Сдерживаясь, спросил:

— Какие еще распоряжения будут?

— Никаких! — отрезал Бересов. — Вы мне больше не нужны, товарищ капитан.

Кровь ударила Гурьеву в лицо: раз уж Бересов перешел на «вы»...

— Разрешите идти?

— Идите!

Резко, нарочито четко повернулся. Уходя, спиной чувствовал суровый взгляд Бересова, сочувственно-винова-

тый — Яковенко, торжествующий — Неворожина. С каждым шагом росла обида: «Зачем он меня так при всех?.. Пусть кто угодно слышит, даже солдаты, они поймут, но зачем при Неворожине? Тот — рад. Он ведь про каждого мысль таит: «На чем-нибудь сорвешься!» А про меня и подавно. Вот я и сорвался... Эх ты, а еще парторг штабной организации!.. Но при чем тут Неворожин? Ты не на него злись, не на Бересова — на себя!»

Пришел к радистам и телефонистам, разместившимся в ближних кустах, выполнил все порученное. Решил: «Останусь тут, раз Бересов сказал, что я ему не нужен. Пусть сам все делает». Но тут же пристыдил себя: «Иди, дело ждет! Бой сейчас, а ты — в амбицию!»

Вернулся. Бересов был уже один: перешел на новый командный пункт Яковенко, ушел с поручением Неворожин.

Увидев молча подошедшего Гурьева, Бересов сказал ворчливо:

— Где пропадаешь? Артиллерийские представители ждут. Уточни с ними порядок переноса огня по рубежам и возвращайся сюда.

Гурьев ретиво взялся за дело.

Почти весь день шел упорный бой, особенно на правом фланге, где противник держался крепче всего. Видимо, там занимали рубеж какие-то особо стойкие гитлеровцы. Приходилось по нескольку раз утюжить их траншеи танками, забрасывать гранатами блиндажи и пулеметные гнезда, драться врукопашную в тесных ходах сообщения. Только под вечер удалось, при помощи танкистов и артиллеристов, окончательно сбить противника. Батальоны — все три одновременно, но Яковенко всетаки впереди других — вошли в городок. За городком, над холмистым горизонтом, в голубом небе были видны черные горы дыма. Это был дым пожаров в Вене, в которой уже начались бои.

Глава 8

ПОСЛЕДНИЙ РЕШАЮЩИЙ

— Меня атакуют бронетранспортеры, — услышал Галочкин в мембране телефона встревоженный голос Белых. — На случай прорыва — как можно надежнее прикрой мост от себя.

Галочкин растерянно сжимал телефонную трубку, забыв ее положить... Значит, старший лейтенант не уверен, что сможет удержаться? «Прикрой». А чем? На мосту — ни одного бойца. Последних вечером снял, взамен убитых, в траншею. А оттуда кого снимешь? Что если самому? Собрать гранат — и на мост!

Галочкин положил трубку. Вокруг, под настилом, в полумраке раннего утра шевелятся фигуры раненых, тревожны их приглушенные голоса. Все прислушиваются к орудийным выстрелам, доносящимся с той стороны. .

— У кого противотанковые гранаты есть? — громко спросил Галочкин. — Сдать мне!

Молчание было ему ответом. Нет ни у кого или не хотят отдавать, берегут на самый худой конец?

Галочкин повторил свой вопрос — и снова в ответ молчание. Только чей-то приглушенный шепот...

— Не понимаете, что ли? — раздался в тишине укоряющий, с надсадой голос Прохорова. — На передовой не устоят — и нам пропадать.

— Последняя, — отозвался чей-то недовольный хриплый голос. — Гольем фрицу даваться?

Послышался шорох, чьи-то медленные шаги.

— Вот так-то! — негромко сказал Прохоров кому-то. Позвал: — Сестра! И вот эти забери.

К Галочкину подошла Ольга. Ее лицо в слабом свете только что начинающегося дня казалось матово-бледным, как и все лица вокруг. В полах шинели она несла, как крупные картофелины, несколько гранат. Осторожно выложила их.

— Больше нет. Все раненые сдали.

Галочкин удивился: «Мне не отдавали, а ей и Прохорову...» Пересчитал гранаты. Восемь. Три противотанковые, пять обыкновенных.

Ольга вытащила из кармана «лимонку», положила в общую кучу.

— И мою.

Галочкин отдал ей гранату обратно.

— Спасибо, — ответила Ольга совсем не по-военному, словно подарок от него получила. Отошла.

Стрельба на той стороне усиливалась. Может быть, немцы уже смяли Белых, ворвались на мост? Галочкин предупредил телефониста:

— Будут спрашивать — я на мосту! — и стал, торопясь, заталкивать гранаты в карманы и за пазуху.

— Товарищ лейтенант! — окликнул его Прохоров. — Зачем самому-то вам?

Тяжело дыша, волоча тело, Прохоров на руках подполз к Галочкину.

— Больной! Куда? — подбежала Ольга. — Вам нельзя подниматься!

— Извини, сестра! — просипел Прохоров, стирая ладонью пот со лба. — Слушал я тебя до поры, а сейчас — время не то. Дайте-ка пару противотанковых, товарищ лейтенант.

— Тогда я сама пойду!

Но Прохоров отстранил ее:

— Не можешь раненых оставлять! И вы, товарищ лейтенант, — здоровых. А ну, как атака? Командовать кому? — Решительным движением Прохоров сгреб к себе лежавшие гранаты, и Галочкин не решился возразить, отдал ему и те, что уже взял.

— Вы же не можете идти! — еще раз попыталась Ольга остановить Прохорова. Но тот прохрипел:

— Ничего! — Позвал кого-то: — Тимофей! Давай ко мне! Дело нашлось!

— Какое такое дело? — отозвался недовольный голос, тот самый, который сначала возражал Прохорову. — Я в грудь раненный, лежачий.

— Ну вот, и заляжем с тобой на пару. Давай.

Что-то сердито бормоча, к Прохорову мимо Галочкина протиснулся, опираясь о стену, раненый в располосованном ватнике, из-под которого белел бинт.

— Держи! — сказал Прохоров ему. — Тебе одну, мне две. И вот лимонки еще... — Спросил: — Нам на середку моста, товарищ лейтенант?

— Да, на случай, если танки или пехота...

— Ясно... Оля! — позвал Прохоров. — Подмотай-ка мне нового бинта, а то насквозь промокло.

Ольга подошла, достала из сумки непочатый бинт.

— Спасибо, Оля... Встали, Тимофей! — Прохоров поднялся и вскрикнул от боли.

— Осторожно! — подхватила его Ольга. До этого времени она помогала тяжелораненым уйти с позиции. Сейчас ей приходилось делать обратное.

Тяжело ступая, Прохоров и его товарищ, поддерживаемые с одной стороны Галочкиным, с другой Ольгой, вышли из-под настила. С трудом, часто останавливаясь, чтобы передохнуть, поднялись на мост. Здесь Галочкин показал позицию — у перил, за выступом мостового упора. Прохоров и его товарищ легли рядом, приготовили гранаты.

— Отсюда не то что из траншеи, и лежа сподручно кидать. Будьте покойны, товарищ лейтенант. Встретим фрица.

Возвращались Галочкин и Ольга вместе.

— Боюсь за Прохорова, — говорила Ольга. — Ему абсолютный покой необходим...

— Стыдно мне, — с неожиданной для самого себя откровенностью признался Галочкин. — Вроде я вместо себя раненого сунул...

— Вам стыдиться нечего! — голос Ольги был тверд. — Вы правильно сделали, и Прохоров иначе не мог.

А Галочкин смутился еще больше: вот и Ольгу он, как недавно Прохорова, слушает словно старшего. А ведь командир здесь он. Он отвечает за все!

...Светало все более. Стрельба на той стороне то затихала ненадолго, то разгоралась вновь.

Галочкин не находил себе места: по телефону тот берег не отвечает. Обрыв линии или Белых уже смят?

Наконец, не в силах более мучаться неизвестностью, он вновь вышел наверх, на мост. Широкая лента серого, кое-где выщербленного пулями асфальта, прочерченного посредине трамвайными рельсами, уходила к далекому противоположному берегу. Прохоров и его напарник с гранатами под руками лежали на том же месте. Галочкин пробрался к ним вдоль перил, прилег рядом, спросил:

— Ну, как?

— Пока не оказывает, товарищ лейтенант, — ответил Прохоров. По голосу чувствовалось, что он еще больше ослаб. — Только шальные, — Прохоров показал: там, где тянется в светлеющее небо подвешенный к упору гигантский многослойный клепаный стальной ремень, временами сухо, резко щелкает.

— Не сменить ли вас?

— А кем? — Прохоров закашлялся, сплюнул — на асфальте легло темное бурое пятно. Галочкин скосил на него глаза.

— Другие-то совсем слабые, не то что гранаты — руки не подымут. — Прохоров отер губы краем ладони, снова положил руку на гранату.

— Дотерпим... — поддержал Прохорова его товарищ. — Вот только насчет табачка бедно. Скурили.

Галочкин, путаясь в подкладке кармана, вытащил свой кисет, отдал:

— Курите.

— А вы? — задержал протянутую к кисету руку Прохоров.

— Я... — Галочкин чуть не проговорился: «Я не курю»... — Я обойдусь... — и заторопился обратно.

Вернувшись под мост, он оглядел свой крохотный резерв: два связных, телефонист... Раненые? Из них, пожалуй, в строй больше не вернешь никого.

Грохнуло наверху. Тяжкий гул прокатился по нависшей над головой громаде моста. Через две секунды — опять. Набегая один на другой, новые удары заколебали все вокруг.

«Началось. К бойцам!..» Галочкин побежал к траншее. Едва он достиг ее — одновременно в разных концах сквера затрещали выстрелы.

За деревьями вновь, как и вчера, замелькали фигуры перебегающих гитлеровцев.

...В эти же минуты на противоположном берегу, в редеющем ночном тумане на дальней стороне луга, возле домов поселка показалось несколько приземистых, юрких бронетранспортеров. Захлопала, посылая в них снаряд за снарядом, присланная Галочкиным ночью противотанковая пушка. Она стреляла удачно. Один из транспортеров накренился, встал. Удалось подбить еще один. Дымя, он стоял посреди луга — бронебойно-зажигательный снаряд угодил в мотор. Но оставшиеся три проскочили, вывалили свою живую начинку метрах в четырехстах перед мостом. Тем временем противник, видимо, заприметил позицию «сорокопятки». Крупнокалиберные пулеметы бронетранспортеров ударили по ней. Тяжелые бронебойные пули пронизывали щит, в клочья рвали резину колес, не давали артиллеристам встать к пушке.

На стороне противника в чистом утреннем небе дымно вспыхнули две зеленые ракеты — и сразу же на изумрудном лугу, ярко освещенном солнцем, возникли, словно выброшенные из земли скрытыми в ней пружинами, десятки зеленовато-серых фигур.

По команде Белых бойцы открыли дружный огонь. Бегущие к мосту гитлеровцы падали на ходу. Но уцелевшие не останавливались — оголтелые, будто в сорок первом. Встреченные огнем автоматов и затем гранатами, они все же прорвались к мосту. Под массивными сводами въезда меж железобетонными опорами закипел неравный бой. Бой лицом к лицу, быстрый и беспощадный.

В эти же самые минуты немцы начали атаку и на Галочкина. Возможно, они действовали по единому плану.

Все, кроме тяжелораненых, не способных стрелять, встали отражать атаку. Все, даже Ольга, взявшая автомат убитого бойца. Галочкин вытащил пистолет — в магазине его автомата не осталось ни одного патрона, а взять патроны у кого-нибудь он постеснялся: у каждого считанные остались...

Француз ни на шаг не отходил от Опанасенко.

Стиснув зубы, следил: несколько бошей перебежали, затаились за ближними деревьями. Лишь три — четыре секунды им надо, чтобы добежать сюда... Вот один, согнувшись, выскочил из-за расщепленного миной дерева. Еще один. Еще... Русский, который рядом, стреляет. Один немец упал, другой шарахнулся. Русский откинул автомат, метнул за бруствер гранату, еще одну. Дадье пригнулся. Поверху с пересвистом пронеслись осколки.

Выглянул. Стелется перед траншеей, быстро тая, дым. Откатились? Нет, из дыма голос. Что они кричат? А, знакомое: «Рус, сдавайс!», «Иван, иди плен!»

Дадье словно пружиной подбросило.

— Скоты! — закричал он, потрясая кулаками. — Куда вы лезете! — Он изъяснялся на немецком языке, который усвоил за годы неволи. Те, там, за деревьями, несомненно хорошо понимали его и, наверное, недоумевали: кто их так честит из траншеи? А Дадье вошел в раж: — Дерьмо! Вошеносцы! Небесные задницы! — все немецкие солдатские ругательства, которые запомнил, вываливал он сейчас на головы гитлеровцев, притаив-

шихся за деревьями. Это, надо полагать, озадачило их: неужели в траншее нет русских и ругается кто-то из своих?

Из-за ближнего дерева показалась рука в зеленом обшлаге, махнула.

— Что ты меня зовешь, брат гниды! — с новым пылом вскричал Дадье. — Плевал я на вас! Вы! Навозная жижа! Сучий помет! Дети чумной свиньи и чесоточного осла! — Дадье незаметно для самого себя перешел на родной язык.

Изумление гитлеровцев, видимо, кончилось. Кто-то из них бросил гранату, она ухнула перед самым бруствером. Дадье мгновенно присел. Увидел: и русский пригнулся. Вторая граната разорвалась чуть в стороне от русского, за поворотом траншеи. Комья глины с размаху ударились о стенку близ Дадье, влипнув, остались на ней — желтые пятна на черном.

«Все, конец!» — Дадье закрыл глаза. Но там, где немцы, разорвались одна за другой несколько гранат. Донеслись хриплые крики немцев, они быстро удалялись. Дадье открыл глаза — пожилой солдат, тот, что рядом с ним, вскинул автомат, но не выстрелил убегающим немцам вслед, только передернул затвор, выругался. «Почему он не стреляет?» — еще не понял Дадье.

Русский стоял, внимательно глядя за траншею. Дадье тоже выглянул. Несколько убитых бошей меж деревьями. Но живых не видать. Впрочем, в любую минуту они могут повторить атаку. И, наверное, повторят.

Прошло еще несколько минут. Прошло полчаса. Немцы не показывались. Но вот там, откуда появлялись они, затрещали разнобойные выстрелы. Несколько пуль, звеня, пролетело над траншеей. В дальнем конце сквера за деревьями мелькнули быстрые фигуры... «Опять идут...» Дадье глянул на русского. Почему он не собирается стрелять? Почему взял автомат за ствол, как дубину? А! У него кончились патроны. Он стоит, расправив плечи, топорщатся седые усы, серая, выпачканная в глине шапка сурово надвинута на брови.

Дадье тоже выпрямился — недостойно встречать последнюю минуту с согнутой спиной... Нет, навстречу проклятым бошам! Дадье уже уперся рукой в верхний край траншеи, но торжествующий крик русского остановил его.

— Урраа-а! — во все горло кричал Опанасенко, упоенно потрясая автоматом.

Дадье тоже закричал в восторге. Еще минуту назад готовившийся умереть, он не сразу поверил своим глазам: из-за обступивших сквер зданий, с ближней улицы бегут к мосту солдаты в зеленых ватниках, их все больше и больше. Навстречу им выскакивают бойцы из траншеи. И вот уже встречаются на истоптанном газоне, меж посеченными пулями деревьями:

— Братки! Выручили!

...Соединились!

Стрельба, вспыхнувшая несколько минут назад, быстро отдалялась от моста: противник отступал вдоль набережной, вот его уже и не видно...

Галочкин спрятал в кобуру пистолет, отер пот со лба. Сунул руку в карман, ища кисет — ему сейчас впервые захотелось закурить по-настоящему, с затяжкой, да вспомнил: «Прохорову отдал».

В траншее, в спешке не обращая внимания на хозяев, деловито устраивались незнакомые солдаты-автоматчики. Потные, разгоряченные боем. Под распахнутыми кое у кого из них ватниками белели гвардейские значки. Командир автоматчиков, капитан в кубанке, бравым видом напомнивший Галочкину капитана Яковенко, сказал ему, что гвардейцам приказано занять позицию у этого конца моста на случай, если противник вновь предпримет попытку прорваться из городских кварталов. А как поступить Галочкину? Остаться здесь вместе с гвардейцами или спешить на помощь к Белых? Галочкин стал собирать своих людей, еще способных воевать.

В это время к нему подбежал совсем юный солдат в ребрастом танкистском шлеме:

— Товарищ лейтенант! — выпалил он. — Приказано узнать: мост заминирован?

— А вы кто такие?

— Самоходчики! Вон за углом командирская машина!

— Дорогие вы мои! — Галочкин едва удержался, чтобы не стиснуть танкиста в объятиях. — Нет никаких мин! Давайте, жмите на ту сторону! Скорее! Наших там выручайте!

— Слушаюсь! Передам!

Танкист прытко побежал через сквер к домам.

И вот самоходка — серая, запыленная, прогромыхала мимо, помчалась по мосту. А следом за ней катилась вторая...

Самоходка за самоходкой взбегали, скрежеща гусеницами по раскрошенному минами асфальту, на мост и мчались на ту сторону. С надеждой глядел на них Галочкин: помогут Белых и его бойцам. Но не поздно ли?

Телефонная связь через мост так и не возобновилась. Связист, еще в начале атаки отправившийся проверять линию, не вернулся.

Галочкин решил послать кого-нибудь на ту сторону узнать, что с Белых, каковы будут распоряжения. Но раньше, чем он успел сделать это, оттуда прибежал Федьков. Он сказал, что как только самоходки появились на той стороне, атакующие немцы хлынули назад, и передал Галочкину от Белых записку.

Белых приказывал со всеми способными к бою людьми немедленно присоединиться к нему.

Галочкин быстро договорился с гвардейским капитаном, что тот поможет Ольге передать собранных под мостом раненых, а с ними заодно и единственного пленного, вернее — перебежчика-француза, всех кого куда следует, и не в силах сдерживать нетерпение первым, обгоняя своих солдат, взбежал на мост. Под ногами звенели, раскатываясь по асфальту, стреляные гильзы. «Наш мост, теперь совсем наш!»

Пробегая мимо Прохорова и его напарника, все еще лежавших на отведенной им позиции, Галочкин крикнул:

— Спасибо, друзья! Сейчас за вами санитары придут!

Но раненый, лежавший рядом с Прохоровым, каким-то растерянным движением показал на того.

— Что, плохо сержанту? — остановился Галочкин.

— Хуже не бывает, — проговорил солдат. Только сейчас Галочкин заметил: Прохоров недвижим, лицо уткнул в рукав, пальцы, стиснувшие гранату, необычайно белы.

— Все томился, — пояснил солдат, — нутро, дескать, огнем палит. Я ему: потерпи, сестра помощь окажет. А он: что могла — оказала, чего же зря... и сомлел.

Галочкин тронул Прохорова за плечо:

— Сержант! Сержант!

— Помер же! — проговорил солдат. — Помер. Как был на посту.

Спешившие вслед за Галочкиным бойцы останавливались:

— Прохоров?

— Никак кончился?..

— Эх, часа не дожил...

Напарник Прохорова, с трудом двигая рукой, порылся за пазухой, протянул Галочкину его кисет:

— Прохоров вам велел отдать.

Галочкин машинально взял кисет. Скомандовал бойцам:

— Не задерживаться. Вперед!

Глава 9

ШТУРМ ЛАССАЛЬГОФА

На противоположной стороне, у въезда, возле брошенных немецких зенитных пулеметов и вышедшей из строя, исклеванной пулями и осколками «сорокопятки», Галочкин уже не застал ни Белых, ни его людей. Только несколько тяжелораненых ждали, когда их подберут. Они сообщили: одна из наших самоходок свернула в сторону виднеющихся за лугом зданий, ведя огонь по убегающим немцам; старший лейтенант Белых с уцелевшими бойцами поспешил тоже туда, а лейтенанту Галочкину велел передать, чтоб догонял.

— Бегом! — скомандовал Галочкин. В нем все пело: вперед, вперед! И ничто уже не было страшным, все страшное оставалось позади.

Показалась катящая навстречу самоходка. Своя? Немецкая? Своя!

Самоходка поравнялась с Галочкиным. Он предупреждающе замахал рукой.

Не приглушая мотора, самоходка остановилась. Над броневым бортом показалась голова в толстом черном шлеме.

— Вы с пехотой вместе воевали? — крикнул Галочкин. — Где она?

— Из того домины фрицев выколупывают! — обернувшись, показал самоходчик.

— Что же вы-то уходите?

— Приказано на шоссе.

Грузно качнувшись, самоходка тронулась с места.

Галочкин повел бойцов в направлении дома, на который показал самоходчик.

Не совсем понимал Галочкин, почему Белых, у которого, конечно, мало людей осталось в строю и почти нет боеприпасов, вдруг погнался за противником. Галочкин еще не знал, что, как только гвардейцы-автоматчики пробились к мосту, Белых по радио получил распоряжение присоединиться к своему полку в городке, находящемся в пятнадцати километрах северо-западнее Вены, а до соединения — действовать по обстановке. Для Белых действовать по обстановке значило: без малейшего промедления бить врага там, где видишь. Окажись Галочкин на месте Белых — он поступил бы так же: враг бежит — преследуй его!

...Прошло около двух часов, как первая из самоходок промчалась по спасенному от врага мосту. Теперь уже далеко была она, как и те, что прошли за ней. Войска прорыва спешили на запад. По шоссе, ведущему от Вены, шли на больших скоростях самоходные орудия и танки, бронетранспортеры и грузовики, заполненные солдатами, тягачи с пушками на прицепе.

А близ моста, в заводском предместье, в нескольких зданиях еще оборонялись гитлеровцы, оборонялись упорно. Этих недобитых врагов нельзя было оставить без внимания: слишком близко они к мосту, который взят такой дорогой ценой. Блокировать и разгромить их было приказано подброшенным на нескольких самоходках мотострелкам. К ним присоединился и Белых, а к нему вскоре — и Галочкин. Мотострелки поделились боеприпасами.

Неприметно быстро, как всегда в бою, катилось время. Давно ли занимался рассвет? А сейчас уже полдень, в чистом, фарфоровой голубизны апрельском небе сияет солнце, пригревает сквозь ватник.

Отделение, которым теперь вместо Прохорова командовал Снегирев, заняло позицию в пивной. Солдаты шутили:

— Подходящее место для обороны: присосался к бочке — и сиди.

Но не обороняться нужно было, а наступать, выбивать противника из серого здания, высящегося шестью

этажами на противоположной стороне небольшой площади.

Широкие окна пивной, напрочь выхлестанные обстрелом — только в крайнем сохранился кусок стекла с нарисованной кружкой, увенчанной пышной пеной, — глядели прямо на занятый врагом дом, до которого через площадь было шагов двести. Посреди площади стоял, припав на переднее колесо, немецкий грузовик. Из него редкими клочьями тянулся пестрый дым — серый, черный, бурый.

Испятнанные выбоинами светлые стены, дубовая стойка, заваленная комьями обвалившейся с потолка штукатурки, пол, засыпанный битым стеклом, мраморные столики на гнутых железных ножках и круглые, одноногие, похожие на большие железные грибы табуретки, раскиданные повсюду... По углам и простенкам, за подоконниками, на полу притаились бойцы. Пробовали загородить окна столиками, укладывая их на подоконники как щиты, крышками в сторону противника, но ударил из серого дома пулемет — только мрамор брызнул.

Ожидали приказа начать штурм. Но приказ все не поступал. Оно и понятно: атаковать дом в лоб, через площадь — без пользы только людей потеряешь. Только снаряды смогут пробить бреши в заложенных кирпичом и камнем окнах дома, в которых оставлены лишь узкие щели амбразур. Но нельзя, надеясь на обещанную артиллерийскую поддержку, терять время. Обороняющийся враг может превратиться и в наступающего.

Белых, наблюдавший за противником с чердака, спустился в подвал под пивной.

Условия боя вынудили на этот раз располагаться не по-обычному. Сейчас все разместилось по вертикали — наблюдательный пункт на чердаке, передовые позиции — на первом этаже. В подвале, под крепким каменным сводом, установив меж заполнявшими почти все помещение пивными бочками телефонный аппарат, устроились связисты. Отсюда шли провода — наверх, на чердак, где стоял еще один аппарат, и к соседям-мотострелкам, имеющим радиосвязь с командованием. Белых радиосвязи уже не имел: временно прикомандированные к нему радисты-моряки ушли, как только кончился бой на мосту. В подвале находилась и только что явившаяся Ольга. Всех раненых, оставшихся у моста, она сдала, новых еще не

поступало. Белых мельком, словно крадучись, взглянул на нее — в последний раз он видел ее сутки назад, когда началась посадка на катера, — и отвернулся, хотя ему и хотелось заговорить с ней. Он заметил — она едва сдержалась, чтобы не броситься к нему. Но это заметил только он.

Федьков, с важным видом восседавший в кресле красного бархата, откуда-то притащенном в подвал, при появлении старшего лейтенанта поднялся, загремев навешанными на ремне флягами, гранатами и автоматными магазинами.

— Позови Галочкина! — приказал Белых.

Быстро вернувшись вместе с Галочкиным, Федьков снова уселся в своем роскошном кресле.

— Будем военный совет держать, — сказал Белых Галочкину. — Садись на бочку.

Галочкин сел, польщенный тем, что Белых вызвал его не только для того, чтобы, как это бывало прежде, отдать приказ, но и чтобы посоветоваться.

— Надо придумать, как побыстрее дом напротив взять, — сказал Белых.

— Пушкарей ждать не будем?

— Боюсь — прождем...

— Надо действовать! Интересно, с какой стороны немцы в доме нас не ждут?

— Если я попытаюсь провести в обход группу бойцов? — предложил Галочкин.

— Товарищ старший лейтенант! — вскочил, как на пружине, Федьков. — Я присматривал, как. Пошлете — проскочу!

— Один — что толку?

— Вдвоем, втроем! Если подходящих подобрать.

— И втроем такой домище не возьмешь.

— Не возьму, но бенц сделаю. Вы под него и штурманете.

— Бенц?.. — призадумался Белых. — Известны мне твои бенцы. — Он давно, еще с того времени, как командовал разведчиками, знал, как лих и ловок Федьков, но побаивался: не начудит ли чего опять? Белых не забывал, за что Федьков недавно изгнан Бересовым из разведки. Глаз за ним нужен, глаз...

— Разрешите, я пойду? — попросил Галочкин. Федьков с недовольством покосился на него: «Идея моя, а пойдете — вы?»

— Постой, постой!.. — остановил Галочкина Белых. — А кому бойцами командовать поручишь? — Повернулся к Федькову: — А и в самом деле! Взять тебе хлопцев половчее да поискать к тому дому тихую дорожку... — Белых поднялся с бочки: — Пошли на чердак! И ты, Федьков. Оттуда виднее. Уточним.

* * *

По распоряжению Белых Галочкин дал в подчинение Федькову трех солдат побойчее, помоложе — тот выбрал их сам, отвергнув нескольких: «Не всякая душа в разведку хороша».

Первым, на кого пал выбор, оказался Зубарь. Федьков заявил, что Зубарь потребуется ему как переводчик: а вдруг на пути попадется язык и его нужно будет допросить сразу же?

...Шли, держась вдоль стен и заборов. Пролезали в проломы, в окна — насквозь через дома.

Не везде находился укрытый от вражеского глаза путь. Некоторые проулки и дворы пробегали броском. Дважды попали под пули. У Зубаря сорвало его новенькую шапку и бросило куда-то — под огнем не до поисков. Так и шел с непокрытой головой.

Федьков рассчитывал дворами пробраться к серому дому сзади.

Как сквозь чужую внезапно прекратившуюся жизнь, шли четыре бойца через обезлюженные страхом квартиры, в которых мебель, посуда, одежда остались не стронутыми с привычных обжитых мест. Словно лишь минуту назад сидели за столом люди, пили кофе, разговаривали о своих домашних делах и вдруг, в одно мгновение, по злому волшебству войны, исчезли невесть куда. Бойцы проходили через комнаты, настороженно поглядывая по сторонам... Вот миновали аккуратную, выложенную белым кафелем кухоньку, где под солнцем, освещающим ее через большое окно с полузадернутой занавеской и с цветами на подоконнике, ослепительно блещут на полках выстроенные по ранжиру кастрюли; прошли детскую, в которой, с любопытством косясь на бойцов черным лако-

вым глазом, стоит облезлая, но не потерявшая лихого вида пестро раскрашенная деревянная лошадка, топыря наполовину выдерганный хвост; спальню, в которую свет дня едва пробивается через плотно задернутые темные занавески. У полураскрытого зеркального шкафа, возле которого на полу валялись в беспорядке платья и костюмы, Федьков нечаянно наступил на вывалившуюся из картонки серую шляпу, ловко подбросил ее носком сапога, поймал на лету:

— Велюр-экстра! Стоп, минутку... — Вынул нож, мигом отхватил у шляпы поля, прогнул вдоль нее две складки. — Чем не пилотка? — Отдал свою шапку Зубарю: — Носи, коли пострадал! — Пилотку-импровизацию лихо, набекрень, напялил на себя, мельком заглянул в зеркало шкафа: — Порядок, не жарко! Форма одежды летняя. — Подошел к окну, осторожно отведя край занавески, глянул в него, обернулся, дал знак:

— Можно! — щелкнул шпингалетом, толкнул раму ладонью. — Давай!

Выпрыгнули за Федьковым, побежали согнувшись. На пути — кирпичная, крытая черепицей ограда. Ухватившись за ее гребень, Федьков подтянулся, заглянул за нее. Брякнув автоматом по черепице, перекинулся через ограду. Все перебрались следом. Еще один двор. В него война уже заглянула разок: в стене крашенного в веселую канареечную краску домика — пролом от снаряда. На каменных плитах двора — алые брызги битого кирпича, и ветка с молодыми листочками, срезанная осколком, валяется на камнях, запорошенная кирпичной пылью, словно заляпана кровью.

Четыре бойца пробежали по плитам. Впереди над каменными оградами и черепичными крышами маячат высокие серые многооконные стены. Теперь уже близко... В конце двора, меж приземистыми кирпичными стенами — проулок. Туда! Вдоль проулка, вплотную к стенам, стоят, тесно сгрудившись, военные грузовики песочной окраски со знаком какой-то немецкой дивизии — скачущим оленем — на бортах. Все машины пусты. Два воробья, громко чирикая, прыгают по крыше кабины ближней из них...

...Осмотревшись, Федьков уже хотел шагнуть вперед, но раньше, чем он шевельнулся, оба воробья испуганно вспорхнули. «Не меня они испугались...» — Федьков обер-

нулся к товарищам, предостерегающе поднял ладонь: «Стой!»

Всматриваясь в дальний, покрытый тенью, край двора, разглядел: за брошенными грузовиками, стараясь держаться в тени между ними и стеной, крадутся двое. Кажется, они еще не замечают, что их видят. Кто такие? Федьков медленно поднял автомат. Немцы? Что-то на вид мальчишки совсем... На одном — пестрый свитер, на другом — серенький пиджачок. Но на голове переднего — немецкая каска, а у второго в руках — карабин. Дезертиры, переоделись в гражданское, а оружие не бросили?.. Тотальники? Или гитлерюгенд — добровольцы?

Зубарь, присевший справа от Федькова и тоже следивший за неизвестными, решительно прицелился.

— Обожди! — резким шепотом остановил его Федьков. — Живьем берем!

— На кой они! — недовольно прошептал Зубарь.

— Ша! — оборвал Федьков.

Два неизвестных были уже совсем близко, в двух десятках шагов. Они пока не замечали бойцов, затаившихся в тени.

— Хальт! — выскочил Федьков, наставляя автомат. — Хенде хох!

На Федькова смотрели два остолбеневших от неожиданности юнца лет по пятнадцати — шестнадцати, с широко раскрытыми в страхе глазами. Оба разом воскликнули:

— Genossen! [1]

— Тоже мне «товарищи»! — недобро усмехнулся Зубарь. — Вот такие «товарищи» за мной с собаками гонялись, когда я из лагеря бежал.

Оба юнца наперебой заговорили, пытаясь объяснить что-то. Один протягивал карабин, другой — немецкую гранату с длинной деревянной ручкой.

— Разлопотались! Все вы друзья, когда в плен попадаете! — Федьков забрал карабин и гранаты. Ткнул пальцем в грудь того, который в пестром свитере: — Эсэс? Гитлерюгенд?

— Nein! — замахали руками оба юнца.

— Добровольно воюющие? — Федьков велел Зубарю: — Ну-ка, по-немецки их расспроси!

---

[1] Товарищи! *(нем.)*

— И так ясно! — заявил Зубарь. — Притворяются. Знаю я эту породу...

— Обожди ты ненависть проявлять! Спрашивай, говорю!

— Ладно... — Зубарь подозрительно оглядел:

— Haben sie Messer? Pistolen? Granaten? [1]

— Nein, nein! — оба юнца старательно захлопали себя по карманам. Задав им несколько вопросов, Зубарь объяснил Федькову: тот, что постарше, не по возрасту высокий, в пестром свитере — Франц, другой, щуплый, в сером пиджачке — Генрих. Оба из Лассальгофа — так называется тот самый большой дом, скрытый путь к которому ищут бойцы.

— Против нас хотели воевать? — Федьков показал Францу и Генриху на взятую у них винтовку, затем на свою грудь: — Паф, паф?

— Nein! — протестующе взмахнул длинными руками Франц, выкрикнул что-то.

Зубарь перевел:

— Уверяет — против фашизма они. Отец его в концлагере. — Добавил: — Да, наверное, врет все!

— Зелены еще Федькова обмануть! — Федьков смерил юнцов недоверчивым взглядом. — Спроси-ка этих немчиков, как они сюда попали?

Зубарь задал вопрос.

— In unserem Hause — Soldaten. SS-Leute!.. [2] — Генрих показал туда, где над заборами и крышами серела громада Лассальгофа.

Перебивая товарища, горячо заговорил Франц, протягивая ладони, на которых темнели свежие мозоли.

— Что они лопочут? — спросил Зубаря Федьков.

Зубарь объяснил: когда в дом пришли военные, они всех жильцов согнали вниз, а мужчин, в том числе и этих парней, заставили работать — закладывать окна кирпичами, устраивать амбразуры.

— Они говорят: потом эсэсовский офицер дал им винтовки и приказал вместе с солдатами стоять у амбразур, а они сбежали, — пояснил Зубарь. — Но, может, их нарочно послали, в разведку?

---

[1] Есть ножи? Пистолеты? Гранаты? *(нем.)*.

[2] В нашем доме — солдаты. Эсэсовцы *(нем.)*.

Федьков пренебрежительно прищурился:

— Из них — разведчики, как из бычка ставрида!.. А ну, спроси подробнее: как удрать сумели? Ведь немцы простреливают же вокруг все.

Выслушав через Зубаря ответ, Федьков загорелся:

— Подземным водостоком? Пусть показывают!

— Заведут! — возразил Зубарь. — Разве можно немцам верить?

— А они что, немцы? Они — австрийцы, — поправил Федьков.

— Nein! — воскликнули в один голос Франц и Генрих, как только Зубарь передал им требование Федькова.

Зубарь едва успевал переводить их объяснения: они боятся возвращаться в дом, ведь теперь эсэсовцы наверняка убьют их как дезертиров.

— С собой мы их не возьмем, а где ход начинается — пусть покажут! — настаивал Федьков.

Зубарь был недоволен, что Федьков доверяется этим, как Зубарь все еще был убежден, сомнительным личностям. Он еще раз сказал Федькову об этом. Но тот ответил:

— Во всей Одессе нет такого, кто Федькова обмануть сумеет. А в Вене — и подавно.

Федьков настоял на своем. Франц и Генрих без особой, впрочем, охоты провели Федькова и его спутников в следующий двор. Там они показали на квадратное водосточное отверстие. Железная решетка, прикрывавшая его, была сдвинута набок. Лезть в отверстие они наотрез отказались.

Федьков спросил Зубаря:

— Дорогу сюда запомнил?

— Не заблужусь.

— Поспешай обратно. Открытого места берегись, где надо — дай крюк. Отведи этих к старшему лейтенанту, передай: разведываю путь, жду распоряжений, как условлено. Отведешь — мигом возвращайся к этой дырке, ожидай, когда вернемся.

* * *

Белых не очень-то склонен был верить этим двум подросткам. Повидал он таких юнцов в немецкой обмунди-

ровке: жизни за своего фюрера не пощадят. Не пустился ли враг на хитрость? Спросил Зубаря:

— Ты, гляжу, по-немецки знаешь?

— Германия обучила, товарищ старший лейтенант. В трех лагерях курс проходил.

— Расспроси-ка этих поподробнее.

— Они сами мне по дороге все рассказали. Сначала я про них думал: гитлерюгенды. Да вроде не то. Вот у этого длинного, — Зубарь показал на Франца, — отец в концлагере сидел, в Гренцлау, я тот лагерь знаю. А у этого, — он показал на щуплого Генриха, — отца фашисты убили.

— Нынче?

— Нет, еще в тридцать четвертом, когда, говорит, восстание в Вене было. В том доме, где живут, в Лассальгофе, и убили.

— Лассальгоф? Почему так называется?

— Я спрашивал. Они говорят — в Вене несколько таких больших домов было построено. Вроде рабочих кооперативных, что ли, и названы — какой в честь Маркса, какой — в честь Лассаля.

— Так, оба говорят — Гитлера не любят? Ну пусть скажут: сколько фашистов в доме, как размещены.

Франц и Генрих охотно объяснили: нацистов в Лассальгофе больше сотни, у амбразур в первом и втором этажах. В боковых стенах, меж квартирами, пробиты проходы. Что выше второго этажа — не знают: их заставили работать на втором и там же, как и других юношей из их дома, принудили взять оружие, поставили у амбразур. Всех остальных жильцов эсэсовцы еще раньше согнали вниз, в подвал.

Когда Зубарь перевел все, Белых распорядился:

— Отведи их вниз, пускай пока там пересидят.

Белых соединился по телефону с соседом — командиром мотострелков. Узнав от того, что обещанная самоходка должна вот-вот подойти, поделился с ним определившимся теперь замыслом: как только самоходка откроет огонь по первому этажу Лассальгофа, Федьков, который к тому времени проберется в дом, поднимет там шум и вызовет панику среди обороняющихся. Мотострелки и бойцы Белых броском пересекут улицу и, ата-

куя Лассальгоф с уличного фасада, ворвутся внутрь через проломы в стенах, которые проделает своими снарядами самоходка.

* * *

Когда Зубарь с запиской от Белых вернулся к отверстию водостока, Федьков и солдаты, вместе с ним спустившиеся под землю, уже поднялись обратно.

Прочитав записку, Федьков глянул на часы — до назначенного старшим лейтенантом времени начала атаки оставалось немного.

Внутрь Лассальгофа надо проникнуть не позже, чем раздастся первый выстрел самоходки. А Федьков еще не знал, как это удастся. По тоннелю водостока они только что добрались до стены дома, но в дом Федьков не пошел, чтобы раньше времени не вспугнуть врага. Теперь надо идти.

— Еще разок! — Федьков снова шагнул к люку.

...Узкая, только-только протиснуться, четырехугольная каменная труба уходила вперед, едва ощутимо спускаясь вниз. Над головами нависали покрытые пупырчатой серой плесенью каменные своды. Это был, наверное, очень старинный водосток. Под подошвами хлюпала жидкая грязь, тонким слоем покрывавшая каменные плиты дна, — похоже, в трубе никогда не просыхало. Душный затхлый воздух стеснял дыхание.

Федьков шагал уверенно: путь по водостоку они проделывали сейчас уже в третий раз: туда, обратно, теперь опять туда. Фонарика не зажигал. Далеко впереди в трубу откуда-то сверху пробивался дневной свет; тусклое белесое пятнышко с каждым шагом к нему увеличивалось в размерах, становилось ярче. Вот жижа под ногами уже заблестела, выступили на стенах теперь отчетливо видные зеленовато-черные разводы плесени на шершавом камне, свет сверху упал на руки и лицо. Федьков поднял голову: прямо над ним сквозь частую черную решетку сияло ярко-голубое небо. Донеслось несколько редких ленивых очередей — это продолжается перестрелка через улицу. Посмотрел на часы: до установленного старшим лейтенантом времени начала атаки — двадцать пять минут. Надо спешить. Сдвинуть решетку, осмотреться для верности еще? Но решетка посреди улицы, высунешься — немцы заметят...

Пошел дальше. С каждым шагом становилось темнее. Федьков не зажег фонарика даже тогда, когда темнота сгустилась настолько, что уже почти ничего нельзя было разглядеть вокруг. Временами останавливался, прислушиваясь: под землей стояла могильная тишина. Только изредка доносились выстрелы, словно где-то далеко-далеко наверху ударяли не сильно ладонью по подушке. Да позади себя Федьков слышал, как возбужденно дышит в затылок ему идущий следом Зубарь и глухо чавкают по жидкой грязи сапоги остальных.

Прошли еще под одним отверстием — на миг потные лица озарило дневным светом, процеженным сквозь железную решетку. «Еще одну улицу пересекли, — отметил Федьков. — Сейчас должна быть развилка...»

Наконец водосток раздвоился. Федьков остановился передохнуть: двигаться приходилось все время в скрюченном положении, спину ломило. С правой стороны издали крохотным пятнышком белел свет. Налево чернела непроглядная тьма. «Как только пацаны здесь не заблудились? — вспомнил Федьков двух парнишек из Лассальгофа. — Ну, да, наверное, они тут и раньше лазили, играли...» Федьков повернул налево, все еще не включая фонарика.

Теперь шли в кромешной тьме. Федьков держал палец на спуске. Тут уже близко враг. Не знают ли и немцы про эту лазейку? В случае чего здесь, в каменной кишке, ни свернуть, ни укрыться, ни отступить. Только одно останется: бой вплотную, и победит тот, кто откроет огонь первым, — в этой трубе промахнуться некуда.

...Шагали, затая дыхание. Тише звучали шаги. И когда вдруг резко брякнуло железо о камень — кто-то ненароком задел, наверное, автоматом или подвешенным к поясу патронным диском за стену, — этот звук показался ужасающе громким.

Под отверстием, которое в отличие от предыдущих не было прикрыто решеткой, ход кончился тупиком. До этого места дошли в прошлый раз. Дальше лежало неизведанное.

Подтянувшись на руках, Федьков выглянул наверх. Он увидел то же, что и в первый раз: в пяти шагах от отверстия — высокая каменная ограда. В ней, около самой земли, чернело подвальное окно — узкая горизон-

тальная щель, только-только протиснуться человеку. Не через него ли мальчишки выбрались из подвала?

Федьков нетерпеливо глянул на часы. До времени открытия огня самоходкой, указанного в записке Белых, — десять минут. Пора в дом. Лучше начать раньше, чем опоздать.

Ухватившись за края отверстия, Федьков подпрыгнул. На мгновение телом заслонил отверстие. Но вот свет снова упал на лица бойцов, стеснившихся под квадратным люком.

Поочередно выглядывая, следили за Федьковым. Ползет, прижимаясь к камням двора. Заметят ли немцы из окна дома? Секунда, другая — Федьков уже заглядывает в подвальное окно, ныряет в него, исчез...

Бежали секунды. Федьков не показывался.

Но вот в приплюснутом прямоугольнике подвального окна мелькнуло лицо. Он! Шапка на затылке, улыбается. Зовет. Зубарь первым выкарабкался наверх, пополз. Протиснулся в окно, спрыгнул. Вгляделся. В полумраке чуть белеет лицо Федькова, стоящего у стены. Последний из бойцов, боком протолкнувшись в окно, спускается в подвал.

— Тихо! — шепчет Федьков. — Автоматы к бою! — осторожно идет к противоположной стене, где за приоткрытой клепаного железа дверью зияет еще более густая подвальная тьма. Перед дверью на секунду останавливается: в незнакомом доме хуже, чем в лесу, — ни карта ни компас не помогут... И расспросить никого не расспросишь...

Послушав, Федьков просовывается в полуоткрытую дверь. Зубарь держит автомат на изготовку. Настороженно следит за Федьковым. Что они видят там, за дверью? И что можно увидеть в этой кромешной тьме?

Но вот Федьков обернулся, махнул рукой и проскользнул в дверь, ступая неслышно, словно обут не в тяжелые кирзы, а в тапочки.

Чем дальше уходили в глубь подвала, тем плотнее становилась тьма. Двигались на ощупь, держась за плечо впереди идущего. Вот Федьков остановился. Слышно, как осторожно шарит рукой по стене. Вот и боковая стена — ее ощутили кто плечом, кто рукой. Федьков, пройдя угол, все шарил и шарил по стене. Он прошел уже всю стену до конца. Снова угол. Снова стена. Те-

перь он движется назад. Неужели в этом подвале есть только одна дверь, та, через которую вошли?

Что-то тихо звякнуло под рукой Федькова. С тяжелым скрежетом, гулко отдающимся в подвальной тишине, начала отворяться невидимая дверь. И в этот момент сверху глухо, через несколько стен и перекрытий, донесся тяжкий удар: казалось, даже стены подвала дрогнули от него. Не успел он отзвучать, как стены всколыхнулись от нового удара.

— Быстрей! — вполголоса бросил Федьков, проскальзывая в скрытую во тьме дверь. — Не отставать!

Гулко затопали подошвы по каменному полу. Временами под ногами путалось какое-то тряпье, словно ухватиться хотело, остановить. Подвал был длинный, с поворотами. Зубарь, боясь отстать от Федькова, забывая остеречься, едва не расшиб лоб об угол. «Туда ли мы идем?» Вот Федьков нажал кнопку фонарика — круг света упал на пол, выхватил из тьмы кусок цементного пола, темно-серую стену, бетонный потолок, обежал вокруг. Ага, вот справа — плотно закрытая дверь. «Туда?»

Здание в третий раз вздрогнуло от удара. Где-то наверху, глухие, зачастили выстрелы. «Опаздываем!» — вздрогнуло сердце Зубаря.

Федьков припал ухом к холодному железу двери, погасил фонарик. Кажется, за ней разговаривают! Кто? Рывком распахнуть, а заперто — рвать гранатой! Но, может быть, там не солдаты, а жители дома, прячущиеся от стрельбы? Ладонью Федьков медленно нажал на дверь. Она подалась сначала с трудом, и вдруг как-то сразу вся, с резким железным скрежетом, распахнулась, лица сгрудившихся возле нее бойцов озарил неяркий, идущий снизу красноватый свет. Федьков вздернул автомат, Зубарь — тоже. Весь тесный подвал, освещенный чадящей на каменном полу плошкой, был заполнен лежащими и сидящими немецкими солдатами.

Остекленевшие от ужаса глаза. Хриплые вопли. Огромные тени, мечущиеся по низкому бетонному потолку... Федьков опустил автомат, не нажав на спуск: на всех немцах белели бинты, ни один из них не держал в руках оружия, некоторые тянули руки вверх.

— Вы, хендехохи, тихо! — предупреждающе поднял руку Федьков, блеснул глазами Зубарю: — Скажи им!

— Ruhe! Wir schießen nicht auf Verwundete! [1].

Тени на потолке перестали метаться. Но десятки глаз, устремленные на вошедших, все еще полны были страха.

Приметив в дальнем конце подвала узкую дверь с уходящими наверх, теряющимися во тьме ступенями, Федьков направился к ней, не обращая внимания на раненых немцев. Он почти достиг двери, как позади послышались крики, возня.

— Обожди! — Федьков успел удержать Зубаря, уже вскинувшего автомат.

Несколько немцев — некоторые из них не могли встать и действовали сидя — навалились на одного из своих, тот ожесточенно бился на полу. Зло ругаясь, отталкивая всех, не давался. Кто-то задел плошку — она погасла. Федьков, включив фонарь, подбежал к барахтающимся в свалке немцам.

В свете фонаря было видно: тот, на которого навалились все, упорно стараясь у него что-то отобрать, размахивает руками, истерически кричит. Видимо, его все-таки одолели. Закрыл лицо ладонями, упал ничком, зарыдал. А остальные, оставив его, отходят и отползают в стороны, возбужденно переговариваясь, бросая на бойцов взгляды, полные страха.

Кто-то чиркнул зажигалкой, вновь замерцала плошка.

— Вот чудак, фриц этот! Хотел, дурак, героем помереть! — Федьков показал бойцам на рыдающего немца отобранной у того другими немцами гранатой с длинной деревянной ручкой.

Сунув гранату за пояс, Федьков побежал по ступенькам вверх. Зубарь, не отстававший от него, крикнул ему в ухо:

— Кого за спиной оставляем? Всех их надо одной очередью!

Вверху снова громыхнуло. Навстречу по ступеням покатились куски штукатурки.

— Быстрей! — Федьков взлетал уже через две — три ступеньки сразу.

* * *

Готфрид Кассельман оставался тверд духом, как и полагается истинному сыну Великой Германии и солдату

---

[1] Спокойно! Мы не стреляем в раненых! (*нем.*).

вермахта. Военное счастье может изменять, но немецкий дух должен оставаться незыблемым и останется незыблемым, несмотря ни на что. И тем сладостнее победа, чем больше испытаний на пути к ней.

«Der Umschwung kommt!»[1] Слова этого обещания, написанные огромными буквами, видел Кассельман на заборах и стенах домов тех селений, через которые с середины марта, из-под озера Балатон, почти безостановочно отходила на запад его часть. «Поворот придет!» — так обещал фюрер. Кассельман верил фюреру и ждал поворота. Когда поворот наступит? Это знает лишь фюрер. Ходят слухи о новом секретном оружии, о таинственной резервной армии, о разрыве, назревающем между русскими и западными их союзниками, о готовящемся перевороте внутри СССР.

Не дело рядового Кассельмана определять, где слухи, где правда. Но раз об этом так много говорят, значит, есть какая-то основа для таких разговоров. Поворот придет. Но когда же, когда?

Полк Кассельмана еще две недели назад был в Венгрии, а теперь на сотню километров западнее, уже в пределах империи, в Остмарке[2]. Вчера утром, когда русские, внезапно появившиеся на набережной, атаковали их, Кассельман вместе с оберштурмфюрером и несколькими гренадерами успел перебежать по мосту на противоположный Вене берег раньше, чем русские захватили мост полностью. Оберштурмфюрер, спеша оторваться от русских, повел солдат к видневшемуся недалеко от моста предместью. Там все они попали в подчинение какому-то оберсту, их влили в подразделение, занимающее оборону в большом доме.

Сегодня утром их усадили в бронетранспортеры и бросили в атаку на русских. Уже почти удалось прорваться к мосту, но появились русские штурмовые орудия, пришлось спешно отступать. Снова было приказано занять оборону в том же большом доме на первом этаже. Солдатам указали места возле амбразур в заложенных кирпичом окнах.

---

[1] «Поворот придет!» (*нем.*).

[2] Остмарк — восточная провинция, так называли гитлеровцы захваченную ими Австрию.

Оберштурмфюрер назначил позицию и Кассельману, хотя обычно тот как ординарец находился при нем. Но оберштурмфюрер теперь и сам выглядел рядовым солдатом: на нем автомат, гранаты — и по этой причине Кассельман испытывал к нему еще большее чувство обожания: вот это настоящий боевой командир, пример подчиненным! С таким не страшно ничто! Пусть русские попробуют сунуться! Они уже попробовали и откатились, засели на противоположной стороне площади в бирхалле[1]. В этом каменном доме с прочными стенами можно продержаться долго. «Мы отсюда не уйдем», — так сказал оберштурмфюрер. До этого ни об одной оборонительной позиции он не говорил так. А если сказал сейчас, следовательно, имеет основания.

Может быть, поворот произойдет сегодня? Недаром, хотя и Вена и мост через Дунай уже в руках русских, этот дом обороняют. Конечно, неспроста оберштурмфюрер сказал: отсюда не уйдем.

Так ободрял себя Кассельман, сидя возле амбразуры, устроенной в заложенной кирпичом витрине галантерейного магазинчика на первом этаже. Вряд ли Кассельман сохранил бы спокойствие, если бы знал: под полом комнаты, в которой он находится, через подвал в эти минуты проходят русские.

Утешая себя мыслью, что самое трудное уже позади, Кассельман продолжал наблюдать за противоположной стороной улицы. Оберштурмфюрер приказал немедленно стрелять, если будет замечено хотя бы малейшее движение на стороне русских. Направо, в соседней комнате,— Буш; налево, через пролом в стене, виден ссутулившийся возле своей амбразуры Шинке. Не прозевал бы русских, старый горчичник!

— Шинке! — придавая как можно больше строгости голосу, окликнул Кассельман. — Что видите у противника?

— Благодарение господу, ничего.

— Ах, даже «благодарение господу»!

Кассельман увидел: Шинке испуганно вздернул голову. «Побаивается меня, песочница!»

За спиной Кассельмана раздались шаги. Он обернулся. Оберштурмфюрер. В низко надвинутой на лоб

---

[1] Пивная (*нем.*).

каске, с автоматом в руке. По привычке Кассельман хотел вскочить, но оберштурмфюрер остановил его.

— Глядите в оба! Русские подтянули штурмовое орудие...

Громовой удар, потрясший дом, прервал слова оберштурмфюрера. Многозначительно поглядев на Кассельмана, он положил руку ему на плечо. «Спокойно, я с вами», — прочел в его взгляде Кассельман. Второй удар — дрожь пробежала по полу. Кассельман невольно съежился, но тотчас же выпрямился вновь. В присутствии оберштурмфюрера он стыдился обнаруживать свой страх.

Громыхнуло еще дважды. Кассельман приподнял голову. Оберштурмфюрер, держа наготове автомат, смотрел в соседнюю амбразуру.

«Он первый солдат среди нас!» От близости Баумберга Кассельману стало спокойнее.

Снова громыхнуло, ближе. Кассельман выглянул в свою амбразуру. Нет, русские еще не видны. Пусть идут! Несмотря ни на что, Кассельман и оберштурмфюрер не отступят! Если такова судьба — они умрут, как рыцари Великой Германии, и она оденет на них златокованый венец вечной славы!

Снова удар — один из кирпичей, которыми заложено окно, вылетел из кладки, стукнул Кассельмана по боку. Он с опаской покосился: а если такой угодит в голову? Но почему именно Готфрид Кассельман должен погибнуть, а не кто-либо другой? Судьба должна сберечь его, он необходим отечеству. И не к чему думать о смерти! Бог сохранит его! Он вернется после войны с повышением в чине, не исключено — с железным крестом. Кто из его сверстников сможет похвастать этим? Отец, старый ветеран национал-социализма, будет гордиться своим Готфридом!

Удар — и облако известковой пыли, ворвавшееся через пролом из той комнаты, где сидел Шинке, все закрыло перед глазами Кассельмана. Что там, рухнул потолок? Не угодит ли следующий снаряд сюда? О, неужели расставаться с жизнью в семнадцать лет?

Пыль в закрытом со всех сторон помещении рассеивалась медленно.

— Кассельман!

— Я здесь, господин оберштурмфюрер!

— У вас есть запасные магазины к шмайссеру? [1]

— Так точно, два.

— Дайте мне один.

— Слушаюсь.

Кассельман с готовностью исполнил приказание.

Пыль уже почти осела, когда по всему фасаду затрещали выстрелы. «Русские!» — Кассельман просунул ствол автомата в амбразуру, но в это время его оглушило совсем близким разрывом. Что-то тяжелое, кажется камень, сильно ударило в плечо — он упал и выронил автомат. Пыль, смешанная с дымом, ела глаза. Кассельман, зажмурившись, глотнул воздух и чуть не поперхнулся — жгучий пороховой дым и горячая пыль резали глотку. Шаря на полу в поисках автомата, с похолодевшим сердцем услышал близкое русское «ура». «Почему не стреляет никто? Почему не стреляет оберштурмфюрер? Он убит?»

Нашарив автомат, Кассельман придвинулся к амбразуре. Снаружи перед ней еще колыхался, тая, дым. Увидел: пересекая площадь, к дому бегут русские. Кассельман выставил шмайссер в амбразуру и, торопливо целясь, начал стрелять. Но русские продолжали бежать через площадь.

Как быстро кончились патроны в магазине! Да почему же рядом не стреляет никто? Где оберштурмфюрер? Выдергивая из чехла запасной магазин, Кассельман посмотрел туда, где только что находился Баумберг. Куда он делся? Может быть, он там, где Шинке? Бросил быстрый взгляд в пролом. Там, где сидел Шинке, никого не видно. Краснеет на полу битый кирпич около замурованного окна, у которого еще недавно находился Шинке. На месте узкой щели амбразуры зияет большая дыра, о ее края громко щелкают залетающие пули — каждый такой щелчок холодом отдается в сердце Кассельмана... Дрожащими руками вставил новый магазин. В края его амбразуры ударило несколько пуль. Нет, Готфрид Кассельман не трус! Просунул ствол шмайссера в амбразуру и стал ловить на мушку русских, бегущих к дому через площадь. Пусть видит оберштурмфюрер, как он разит русских!

---

[1] Шмайссер — система немецкого автомата.

Пот заливал глаза. Руки тряслись. «Неужели, кроме меня, уже никто не стреляет?» — при этой мысли похолодела спина. Несколько русских пробежали под самой стеной, наискосок мимо амбразуры. Закусив губу и сдерживая дрожь пальцев, Кассельман нажал на спуск. Один из русских упал, пополз назад, остальные скрылись из поля зрения. «Вот тебе еще!» — он выпустил остаток магазина по отползающему раненому. Тот, упираясь в землю обеими руками и волоча ноги, сделал рывок, другой, попытался приподняться и упал лицом в камни мостовой. Серая смятая шапка свалилась с его головы и откатилась в сторону.

Кассельман лихорадочно нажимал на спусковой крючок. «Стрелять, стрелять, стрелять — в этом твое спасение!» — твердил себе. Вставил последний снаряженный магазин... Патронов возле много, два ящика, но нет времени заряжать, русские вот-вот ворвутся в дом! «Стрелять, стрелять! Экономней!» — твердил себе, а дрожащий палец, не слушаясь, жал и жал на спусковой крючок. Вот еще трое русских выбежали из бирхалле. Черт побери, их из амбразуры уже не видно — влево куда-то метнулись. «Да почему же по ним, кроме меня, не стреляет никто? Почему не стреляет оберштурмфюрер? Ждет, чтобы разить русских в упор? Но уже пора, пора! Я же отдал ему снаряженный магазин... Что за выстрелы и крики позади, за стеной? Неужели русские зашли с тыла?»

На миг Кассельман отвернулся от амбразуры и снова припал к ней: русские уже в десятке шагов, промелькнули мимо амбразуры. Вот еще один! С сумкой на боку. Офицер! Затаив дыхание, Кассельман старательно взял подбегающего на прицел, стараясь придать руке твердость, нажал на спуск. «Оберштурмфюрер видит: я убил советского офицера!..»

Это было последнее, что Кассельман успел подумать, прежде чем перестал думать вообще...

— Этот гад лейтенанта срезал! — прокричал, пробегая мимо Кассельмана, сваленного автоматной очередью в упор, боец с черными, в проседи усами, первым ворвавшийся в комнату, через развороченную снарядом стену.

— Эх! — с ненавистью взглянул на запрокинувшегося лицом вверх Кассельмана второй, пониже ростом, стари-

ковского вида. А первый уже устремился в распахнутые двери, ведущие в глубь дома. За дверями вился синий, смешанный с пылью дым, слышались крики, выстрелы.

Уже из-за дверей раздался голос первого:

— Трофим! Сюда!

Минут пять назад еще можно было определить, где русские, где немцы. Но сейчас все перемешалось. Бой гремел по всем этажам огромного Лассальгофа. На лестничных клетках, в спальнях, кухнях, ванных — всюду трещали выстрелы, взрывались гранаты, клубилась пыль обрушивающейся штукатурки. Бой дробился на множество отдельных схваток лицом к лицу, на множество неожиданных, молниеносных столкновений.

Снегирев и Опанасенко, ворвавшиеся в здание через пролом, пробежали несколько помещений. Казалось удивительным, что они, проникшие в дом одними из первых, не встречают врагов. Но вот через ход, проделанный в стене между соседними квартирами, Снегирев, от которого отстал запыхавшийся Опанасенко, вбежал в комнату, за стеной которой совсем уже близко, гулко, взахлеб били автоматы.

Стволом автомата Снегирев отмахнул в сторону полусорванную, косо висящую портьеру. В тесной прихожей четверо гитлеровцев, стоя спиной к нему, прижимаясь к стене, исступленно строчили в распахнутую дверь, ведущую наружу.

Снегирев вскинул автомат.

Чтобы израсходовать все три десятка патронов в магазине, нужно лишь пять — шесть секунд. Не больше этого длилась и схватка в прихожей. Когда автомат Снегирева, выбросив последнюю стреляную гильзу, смолк, все было кончено.

— Трофим! Рядом в комнатах смотри! — крикнул Снегирев, быстро вставляя запасный магазин.

Заглянули в крохотную кухоньку, в небольшую столовую, в ванную. Никого. Опанасенко дернул ручку двери клозета.

— Мабудь, там який оборонився?

Дверь не подалась. Опанасенко дернул сильнее — и отскочил в сторону, с его плеча слетел сорванный пулей погон: через дверь изнутри выстрелили. Он ткнул автоматом наискось в дверь клозета, дал короткую оче-

редь. Отбежав на середину прихожей, выстрелил в изрешеченную дверь еще.

— Для пущей верности.

Уже без опаски подергал за ручку — клозет не открывался.

— Капут, — и поспешил за Снегиревым.

В дверях, ведущих из квартиры на лестницу, они неожиданно столкнулись с обсыпанным штукатуркой невысоким бойцом в лихо сбитой набок, странно торчащей колом серой пилотке, из-под которой выбивался желтоватый, запорошенный штукатуркой чуб. Под распахнутым на груди ватником посвечивали медали. Федьков! Из-за его спины выглядывал Зубарь и еще два бойца.

— А, товарищ командир отделения! — лицо Федькова при виде Снегирева расплылось в улыбке. — И ты, Трофим Сидорыч! Вы как сюда попали?

— А ты как? — спросил Снегирев. — И пилотку уже раздобыл?

— Велюр-экстра! — с важностью поправил свой головной убор Федьков. — А попал сюда не так, как вы. Через подземное царство! Сумейте-ка!

— Где уж нам! — улыбнулся Снегирев. А Опанасенко добавил:

— Ишь, який наипервейший! Ты сумей напрямки, когда по тебе очередями полощут.

— Что ни говори, а мы сюда — раньше! — в голосе Федькова звучало превосходство.

— Ну, конечно, впереди Федькова и оказаться невозможно, — в дверях остановился иронически улыбающийся Белых. Все взоры обратились на него.

И только сейчас все услышали, что в доме стоит тишина.

Глава 10

КРЫЛЬЯ

Когда стало ясно, что с противником в доме покончено, Снегирев и Опанасенко вернулись подобрать тело Галочкина к пролому, через который они ворвались в здание.

— Похороним нашего лейтенанта сами, пока вперед не ушли, — беспокоился Снегирев. — А то похоронщики

зароют где ни попадя... Вот и Плоскина, и Прохорова — где теперь могилы найдешь?

Не спеша шли снова по тем комнатам, через которые совсем недавно пробегали, распаленные боем.

— Да, погано война шуткует, — сокрушался Опанасенко. — Не трогала нашего лейтенанта, а чуток до конца осталось — срезала.

— На полминутку раньше нам в дом проскочить бы,— посетовал Снегирев, — успели бы того фрица свалить, не ссек бы он лейтенанта. Эх, промешкали мы. Никак этого себе не прощу... — Остановился: — Здесь!

Возле узкой амбразуры — в нее снаружи тянулся веселый золотистый солнечный лучик, в котором густо искрилась все еще не осевшая пыль,— лежал, раскинув уже закостеневшие руки, немец — тот самый, который стрелял по лейтенанту из амбразуры и которого несколькими секундами позже очередью в упор свалил Снегирев. Солнечный луч пересекал тело убитого, словно разрубал его пополам. Снегирев глянул на лицо немца, белевшее в тени, — остроносое, по-мертвецки белое, с раскинутыми по замусоренному штукатуркой и битым кирпичом полу длинными светлыми волосами. Проговорил в сердцах:

— Совсем еще сопляк! А такого человека у нас отнял!

— Может, не этот? — усомнился Опанасенко.

— Этот!.. Мы под стенку подбежали, а он по лейтенанту из окошка...

Перешагнув через распластанный труп, прошли пробитым в стене проходом в соседнее помещение и уже знакомым проломом выбрались на улицу. На ней, как и в доме, стояла тишина, словно и не гремел здесь полчаса назад лютый бой. Чернел железный скелет начисто выгоревшего немецкого грузовика. Пересекая улицу, неторопливо шагали куда-то вереницей незнакомые минометчики со стволами и плитами на плечах. Прошумела за углом автомашина. Посреди мостовой лежали ничком два убитых бойца, их еще не успели подобрать.

— Где же лейтенант? — удивился Снегирев, остановившись возле пролома, из которого они только что вышли. — Здесь он упал, как сейчас помню.

— Ни, не здесь! — возразил Опанасенко. — Здесь его немец из амбразуры полоснул, а он еще шагов пять, в этот самый пролом вбег.

— Может, санитары подобрали его?

— Ни. Им живых бы успеть...

— Слышь! — окликнул Снегирев проходящего мимо знакомого солдата из их взвода. — Не видал, похоронщики еще не приходили?

— Нет. А тебе зачем? Ты ж еще живой! — солдат ухмыльнулся.

— Я-то живой, а вот лейтенант наш на этом самом месте убит.

— Галочкин? Какое — убит! Жив! В санчасти он.

— Не врешь?

— Чего врать? — обиделся солдат. — Мы ж тоже интересуемся. Которые раненых относили, сказывали — там он!

— Живой... — лицо Снегирева посветлело. — А что, — поглядел он на изумленного Опанасенко повеселевшими глазами. — Пойдем, поглядим сами, пока время позволяет? Проведаем.

— Эй, друг! А где санчасть-то?

— Вон там, во дворе! — солдат показал на угловой дом.

Возле дверей санчасти сидели, прислонясь к стене, легкораненые. Их свежие, только что наложенные повязки сияли ослепительной белизной.

— Наш лейтенант здесь? — спросил Снегирев.

— Галочкин-то? Был, — ответил один из раненых.

— Как был?

— Увезли его сейчас. Машину пригоняли специально. Старший лейтенант Белых достал.

— Живого увезли?

— Живого.

— Точно?

— Спроси сам, — раненый показал на дверь.

Снегирев поднялся на крыльцо.

— Куда? — остановил его на пороге усатый санитар.

— Про лейтенанта Галочкина узнать...

— Все про Галочкина спрашивают! Хоть объявление вешай! Сколько раз сказано: отправлен в госпиталь! Множественное сквозное пулевое ранение с повреждением верхушки правого легкого, я сам карточку заполнял!

— Жить-то будет?

— Медицина постарается.

— А кто здесь есть из медперсонала?

— Я.

— Ты?

— А кого тебе еще представить? Ну, санинструктор ваш ротный тут пока.

— Позови.

— Некогда ей. Раненых обрабатывает.

— Что ты встал, как охранник? — рассердился Снегирев. — Позови, тебе говорят.

— Вот прицепился... — проворчал санитар. — Ладно, сейчас. — Он ушел в дом, и через минуту к Снегиреву вышла Ольга — без ватника, с засученными рукавами гимнастерки, в руке она держала еще не развернутый бинт.

— Ну что? — спросила, узнав Снегирева. — Лейтенант Галочкин? В очень тяжелом состоянии, — голос ее звучал устало и грустно. — Сделают все, что можно.

— Жить будет?

— Будем надеяться...

— Спасибо, Олечка, — медленно проговорил Снегирев и, повернувшись, стал спускаться с крыльца, возле которого его ждал Опанасенко. Ольга хотела уже уйти обратно в дом, где ее ждали необработанные раненые, но задержалась, увидев, что от ворот к дому идет какой-то незнакомый офицер. Она старалась угадать: кто это, что ему здесь надо? Может быть, ранен, на перевязку? Офицер поднялся по ступенькам, сказал:

— Из армейской газеты. Старший лейтенант Карбовский. Мне нужен лейтенант Галочкин. Мне сказали, что он ранен и доставлен к вам.

— Галочкина уже отправили в тыл.

— Опасное ранение?

— Да. Командование специально дало машину. Две пули в грудь навылет. Успел потерять много крови.

— Вот что... — старший лейтенант помолчал в раздумье. — Его в армейский госпиталь отправили? Мне надо отыскать его.

— Взять материал? — спросила Ольга. — Ему сейчас не до корреспондентов. — Она почти с неприязнью смотрела на старшего лейтенанта, и он, очевидно почувствовав это, поспешил объяснить:

— Я не стал бы тревожить раненого расспросами. Мне просто хочется увидеть его.

— Вы с ним знакомы?



— Да, — легкая улыбка чуть тронула его губы, и по этому едва заметному движению Ольга поняла: этот человек знает Галочкина и относится к нему очень, очень хорошо. Может быть, они даже друзья?

— Вы бывали у нас в полку? — спросила Ольга, надеясь подтвердить свою догадку.

— Да. И Галочкин бывал у нас в редакции.

— Разве он писал вам что-нибудь?

— Писал.

— Вот как? — Ольга удивленно подняла брови. — Я газету вашу всегда читаю, но ни разу не видела подписи лейтенанта Галочкина.

— А теперь бы встретили. Вот, — Карбовский расстегнул полевую сумку, вынул несколько свежих, похрустывающих номеров армейской газеты. Один из них дал ей, другие спрятал обратно.

— Стихи? — удивилась Ольга. — Вот никак не думала...

— Он держал в секрете. — Карбовский улыбнулся. — Не хотел, чтобы подпись его стояла.

Ольга пробежала глазами по заголовку, по столбику стихотворных строчек под ним — и щеки ее вспыхнули. Стараясь подавить смущение, спросила:

— Можно взять? Нам этот номер еще не привозили.

— Возьмите... Я сюда ехал — думал, самого Галочкина обрадую, а оказалось — вот оно как...

— Спасибо за газету, товарищ старший лейтенант. Я пойду. Меня раненые ждут... — Посоветовала: — Вы, когда в редакцию вернетесь, сможете Галочкина в госпитале разыскать. Это ведь тоже в армейских тылах? Его из медсанбата наверняка туда отправят. Наверное, уже отправили.

— Верно! Как я не догадался! Разыщу!

— Прошу — передайте ему привет от... — Ольга на какую-то долю секунды замялась, — от всех нас. Скажите — все ждут его обратно. Солдаты приходят, спрашивают. У нас лейтенант Галочкин недавно, а бойцы его полюбили.

— Его нельзя не любить... — серьезно проговорил Карбовский. — Так я узнаю, — и пошел.

Переступив порог, Ольга остановилась в полутемной передней квартиры, во всех комнатах которой лежали и сидели раненые — одни уже подготовленные к отправке,

другие — еще ожидающие своей очереди. Украдкой от себя — ведь ее ожидало неотложное дело! — заглянула в газету, торопливо, перескакивая со строчки на строчку, читала вновь:

...Ты служишь со мной в роте одной,
Тебя все сестрой зовут...

Сомнений нет, это — о ней, о ней!.. И дальше, дальше:

...И я, в каком бы ни был бою,
В какой бы огонь ни шел —
Чувствовать буду руку твою
И будет мне хорошо.

И вот в самом конце:

...За все, чем дышал, что любишь и чтишь,
В чем жизнь и стремленья твои,
На бой, пусть и на смерть, пойдешь, полетишь
На крыльях большой любви...

Шаги, раздавшиеся на крыльце, заставили ее вздрогнуть. По ступеням подымался раненый. Был он в одном сапоге, за разутой ногой волочилась распустившаяся портянка, вся в бурых кровяных пятнах.

Ольга поспешно сложила газету, сунула в карман гимнастерки.

Привычно делала свое обычное дело. Но руки двигались автоматически — мыслями была она далеко от того, что делала сейчас.

Галочкин, Галочкин... Вот он, оказывается, какой... А она и не замечала. Да и до того ли было? Тревога о Никите заполняла ее всю... Вот и вчера... Птицей выпорхнула бы из-под моста, через Дунай полетела бы к нему.

И сегодня — там, в подвале пивной, увидела его — словно невесомой стала от радости: жив он, невредим. А какая тяжесть спала с нее полчаса назад, когда кончился штурм дома и она увидела Никиту, вышедшего оттуда без единой царапины. Он прошел с бойцами мимо, и она отвернулась, чтобы никто не заметил ее счастливого лица. А зачем нужно скрывать? От кого? Разве в такой радости есть стыдное? Разве следует стыдиться, когда ты словно на крыльях? Крылья, крылья... «На крыльях большой любви» — так кончаются стихи Галочкина... Полчаса назад он был жив. А сейчас?

...Полчаса назад, ища раненых, Ольга вслед за бойцами вбежала с улицы в ближний пролом.

...Стрельба и разрывы гранат слышатся уже где-то далеко внутри здания. Полутьма. Солнце косой полосой золотой пыли падает в пролом. Никого. Гулко отдаются меж стен выстрелы. Где свои? Где немцы? Неподалеку от пролома лежит кто-то, вытянув руки к стене, будто искал и не успел найти в ней опоры. Испачканная в штукатурке полевая сумка с перекрутившимся ремнем — торчком меж острых, иззубренных кирпичей. «Наш, офицер! Может быть, еще живой?» Охватила пальцами запястье — рука теплая, пульс еще есть! Куда ранен? Осторожно повернула, глянула в бледное, с сомкнутыми веками лицо. Галочкин!

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!

Молчит. Расстегнула ему ремень, ватник — тот самый ватник, который зашивала вчера, — гимнастерка на груди мокрая, теплая, липкая. Сколько крови потерял! Скорее бинт! Набухшая кровью одежда расстегивается с трудом, пуговицы никак не хотят выходить из петель... Рванула пряжку санитарной сумки, вытащила ножницы, одним махом разрезала гимнастерку, рубашку. Теплая кровь Галочкина стыла на ее пальцах. Две пули в грудь! Сунула руку ему за спину. Как горячо его тело! И на спине — кровь... Сквозные ранения. Поддерживая тяжелое, жаркое, безвольное тело одной рукой, другой вытащила из сумки перевязочный пакет...

Закончила перевязку — Галочкин так и не пришел в себя... Проходившие мимо солдаты, помогли перенести его в эту квартиру, где теперь медпункт.

Ей надо было снова спешить в дом напротив — там, может быть, остались неподобранные раненые, там она нужнее. Уже собралась идти, но Галочкин, так и не открыв глаз, что-то зашептал. Его губы двигались с трудом, он никак не мог вытолкнуть слова отяжелевшим языком. «Бредит...» — Желая успокоить, положила пальцы на кисть его руки.

Он, может быть, пожатием ее пальцев поднятый из темных глубин забытья, открыл глаза, их взгляды встретились. Всего какой-то миг это длилось — снова сомкнулись веки Галочкина. Но в его наполненном болью, физической болью, взгляде успела увидеть она, сквозь эту боль, как короткий проблеск, и другое, совсем другое,

обращенное только к ней, то, что она никогда прежде не замечала в нем. Так вот почему он не мог держаться с ней запросто, разговаривать, шутить, пытаться поволочиться, как все другие...

Галочкин, Галочкин... Но что он ей? Лейтенант, которого она не замечала. Почему она должна теперь думать о нем больше? Однако в ней не проходило, а росло не до конца осознанное, но щемящее чувство какой-то большой своей ошибки, ошибки непоправимой, непонятной вины перед Галочкиным, вины, может быть, прежде всего в том, что она не видела раньше в нем того, что увидела сейчас. Ну, а что если бы и увидела раньше? Разве лучше стало бы для Галочкина, для нее, для Никиты, разве изменилось бы что-нибудь в ее отношении к ним обоим?

Неведомым прежде смятением полнилось ее сердце.

Глава 11

КАК УЙТИ?

Газеты, издаваемые для солдат вермахта, старались объяснить, что продолжающееся последние недели отступление — только к лучшему: выпрямляется линия фронта, сокращаются коммуникации, имперское правительство избавляется от заботы о населении оставляемых иностранных территорий, и, соответственно, все это оборачивается своей невыгодной стороной к русским, к их союзникам.

Буш не привык, да не очень и старался разбираться в политике и стратегии. Война может пойти и так и этак, а у того, кто до последнего ее дня обязан быть под пулями, при любых условиях всегда сохраняется возможность получить одну из них. Невольно вспомнишь Шехтера, который незадолго до своего исчезновения говорил: «Для каждого из нас заготовлен березовый крест».

Но все же после того, как было без боя оставлено взятое такой дорогой ценой венгерское местечко на канале и начался продолжающийся почти беспрерывно в течение месяца отход за озеро Балатон, к австрийской границе, до Вены и далее, Буш стал втайне верить, что лично для него обстоятельства идут к лучшему, то есть — к концу войны, и каждый благополучно прожи-

тый день прибавляет шансы уцелеть. Как бы ни кончалось, скорее бы кончалось.

Года четыре назад и позже, в первые месяцы восточной кампании, Буш, хотя Шехтер и успел посеять в нем немало сомнений, еще верил в высокую миссию германского солдата, призванного покончить с послеверсальской несправедливостью, в скорую победу империи, в то, что скоро все немцы будут жить лучше, и, как многие, гордился, что страну за страной проходит как победитель. Но теперь, на девятом году службы, проведя почти семь лет либо на передовых позициях, либо на лазаретных койках, он не хотел ни славы, ни обещанных будущим победителям благ. Хотелось одного: кончить воевать. Жизнь до военной службы — тягостная, полунищая жизнь работника в чужом имении, жизнь, которую он в те поры нередко тайком проклинал, даже такая теперь казалась ему лучше его фронтовой жизни. По крайней мере в него тогда не стреляли. Нет, он обойдется как-нибудь без тридцати гектаров украинского чернозема, обещанных фюрером каждому солдату восточного похода. Целым выскочить из лап войны — единственное, чего он жаждет...

Эти мысли снова вернулись к нему сейчас, когда он стоял, втиснувшись в узкую щель между высоким стальным сейфом и стеной в комнате первого этажа, где прежде помещалась какая-то контора.

Всего час назад в этой комнате Буш стрелял из окна по русским. Сейчас он выжидал. Выжидал, когда можно будет, не попадаясь русским на глаза, выбраться отсюда. По доносившимся до него звукам старался определить: что происходит поблизости?

Стрельба и крики, наполнявшие все здание, постепенно отдалялись от той комнаты, где он запрятался; выстрелы редели, затихали. Вот уже и не слышно совсем. Гулкие, но неразборчивые доносятся перекликающиеся голоса. Русские осматривают все закоулки дома. Увидят — пристрелят, и рук поднять не успеешь... Да и не может он сдаваться в плен. Что станет тогда с женой и сыном? Он наизусть помнит предупреждение, под которым его, как и каждого гренадера, заставили расписаться недавно: «Я поставлен командованием в известность, что в случае моего перехода на сторону русских все мои родные — отец, мать, жена, дети и внуки — будут расстреляны».

Кто-то идет!

Буш замер: за стеной, в соседней комнате, хрустели под ногами битые стекла, штукатурка. Сюда? Нет, шаги тише, замолкли совсем...

Стало жарко. Провел рукой по лбу — на ладони и пальцах остались черные полосы пота, смешанного с грязью. О, как давно он в этой грязи, фронтовой грязи, с ног до головы. Грязь военных дорог, цепкая тина болот, вязкая глина траншей... Наверное, на всю жизнь, всего, насквозь пропитала тебя солдатская грязь. Черт побери, сейчас апрель, нежный месяц весны. Где-то уже зеленеют луга, прокладывает первую борозду пахарь... А твой удел — сидеть в этом закутке и гадать: удастся ли удрать, не пристукнет ли, увидав, какой-нибудь русский? Удастся ли вернуться в беленький домик на дальней ферме имения баронессы фон Хоссбах, где ждут мужа и отца Эльза и Ганс? Гансу теперь уже почти десять. О, судьба солдата! Сын почти не знает отца. За эти десять лет ты виделся с ним лишь в краткие дни нечастых отпусков. А последнее время и отпуска отменены... Если посчастливится благополучно пересидеть здесь и выбраться отсюда, когда и как удастся попасть домой? Если рассчитать примерно... Вена уже взята русскими. Они под Берлином. Англичане и американцы вступили в Германию. В ближайшие месяцы все кончится. Только бы уцелеть...

Может быть, все-таки сдаться? Кто может донести, что ты сделал это добровольно? Тебя просто сочтут пропавшим без вести. Ты даже не нарушишь устава.. Ведь в нем сказано: сдача в плен допустима, если исчерпаны все возможности сопротивления. Ты точно выполнил свои обязанности. Ты оставался, как прикованный, на своей позиции в этой комнате у амбразуры, стрелял до последнего патрона. Ты оставался, наверное, последним на своем посту, когда остальных, находившихся у соседних амбразур, уже не стало слышно. Где Кассельман, Шинке, где сам оберштурмфюрер Баумберг? Может быть, он нарочно, оставил тебя, как самого надежного, чтобы ты прикрывал огнем отход остальных? Оставил на верную гибель, ничего не сказав? О, конечно, оберштурмфюрер уверен, что кто-кто, а Буш-то без приказа не покинет своей позиции. Да, и не покинул! Но и Бушу надоело подставлять свой лоб под пули...

Еще раз тщательно прислушавшись и убедившись, что поблизости никого нет, Буш, покрепче взяв свою винтовку, в которой действительно не оставалось уже ни единого патрона, осторожно выбрался из своего убежища и огляделся.

В помещении стояла полутьма — свет дня проникал только через узкую амбразуру, сделанную в замурованном окне. Письменные столы, вплотную сдвинутые в угол, напоминали толстоногих зверей, испуганно сбившихся в кучу.

Перешагивая через наваленную разломанную мебель, Буш прошел в следующую комнату. Здесь, как он помнит, находился Кассельман. Да вот и он! Лежит у стены. Мертв. Буш даже остолбенел: «Вот уж не ожидал... Почему Кассельман не ушел вместе с оберштурмфюрером?»

Побрел дальше по пустым комнатам, пахнущим пылью и остывшим пороховым дымом. Где-то далеко пощелкивали одинокие выстрелы. Дойдя вдоль всего фасада до угла, решил больше не блуждать по пустому дому, а выйти во двор — оттуда виднее. Пройдя через спальню, где на двух широких, сдвинутых вместе кроватях поблескивали рассыпанные патроны, он отодвинул полуоборванную, едва держащуюся портьеру, выглянул в прихожую. На полу, грудой, один на другом, лежали трупы в обсыпанных штукатуркой мундирах. Стены прихожей были изрешечены осколками и пулями. «И ты мог быть сейчас здесь, среди этих...» — Буш пробежал взглядом по неестественно белым лицам убитых, словно ища среди них самого себя. Осторожно переступил через лежавшее возле выходной двери тело, вышел на лестницу и медленно стал спускаться по ней. Стреляные гильзы, подвертываясь под ноги, позвякивая, катились вниз, прыгали со ступеньки на ступеньку.

Никого не встретив и на лестнице, Буш дошел до выхода. Двор перед ним походил на ущелье — со всех сторон его ограждали высокие серые стены с множеством окон, в которых не осталось почти ни одного целого стекла, выше голубело чистое весеннее небо. Буш постоял в подъезде, выжидая. Русские ушли дальше? А может быть, отступили?

Осторожно вышел во двор и стал пробираться через него, на всякий случай держась вплотную к стене. На

пути наткнулся еще на одного убитого: Шинке! Пожалел: «Эх, старина, и тебя нашла русская пуля!»

Не знал Буш, что не русской пулей уложен Шинке.

* * *

...Когда вблизи Шинке в стену ударил снаряд и все вокруг содрогнулось, Шинке сказал себе: «Пришел мой смертный час! Следующий снаряд обязательно в меня!» Но следующий не ударил в Шинке. Следующего снаряда вообще не было: русские прекратили артиллерийский обстрел, потому что пошли в атаку. Шинке не был искушен в военном деле, он всего два месяца, как надел мундир, но понимал: если атака русских будет отражена, их штурмовое орудие опять начнет обстреливать дом. А это — верный конец. Разумнее отступить, пока не поздно. Но без приказа?.. Оберштурмфюрер в соседней комнате. Когда пришли сюда, он объявил всем: «Расстреляю того, кто побежит!» Трудно выбирать, что лучше — пуля в затылок или пуля в лоб?

Выстрелы слышались уже в доме. Левее, в соседней комнате, где, как знал Шинке, находится Кассельман, протрещал автомат, кто-то вскрикнул, протопали сапоги. Русские! Ноги сами, помимо воли Шинке, подняли его и понесли прочь. Он не успел опомниться, как очутился во дворе. Шарахнулся к стенке, побежал вдоль нее, прижимая к груди тяжелую, оттягивающую руки винтовку. Скорее отсюда, пока по нему не стреляют!

Задыхаясь от бега — все его многочисленные болезни сразу напомнили о себе, — Шинке пробежал через двор, прошмыгнул в какую-то арку, очутился на втором дворе. Сюда стрельба доносилась лишь едва-едва. Может быть, он найдет солдат своей роты? Не один он такой догадливый. Если они побежали, то в том же направлении и, наверное, порезвее, чем он! Однако необходимо хотя бы минуту передохнуть — ноги подкашиваются. Прислонился спиной к стене, опустил веки. Фу, как бешено бьется старое, изношенное сердце...

— Шинке! — услышал он сердитый окрик. Открыл глаза. Перед ним стоял оберштурмфюрер Баумберг с автоматом на весу: — Вы почему здесь?

— Я... я... — Шинке не знал, что ответить.

— Предатель! Дезертир! — срывающимся голосом закричал Баумберг. — Из-за вас, таких, все к дьяволу!

Шинке не успел и слова сказать в свое оправдание.

Не взглянув на застреленного, Баумберг торопливо побежал дальше, в глубь двора.

Выстрелы, звучавшие сзади, внутри дома, как бы подталкивали его в спину. Баумберг был молод, и ему не требовалось таких частых передышек, как дряхлому Шинке. Только тогда, когда высокий серый дом остался позади и Баумберг увидел, что находится в безлюдном и тихом переулке, он замедлил шаги.

Он не жалел, что погорячился и расстрелял Шинке. Он поступил так, как считал себя вправе поступить. Дезертир и трус получил по заслугам — о чем тут сожалеть? Сейчас надо соображать, что делать дальше. Обороняться в доме стало бессмысленно с той минуты, как штурмовое орудие русских открыло по окнам огонь. От роты, судя по всему, не осталось ничего — разве еще какой-нибудь презренный трус вроде этого Шинке успел удрать...

Баумберг пробирался дворами, переулками, стараясь держаться так, чтобы стрельба слышалась все время за спиной. Иногда ему попадались спешащие в том же направлении, что и он, солдаты и офицеры. Скоро улицы городка остались позади. Баумберг, присоединившиеся к нему два унтера и несколько солдат, старавшиеся держаться поближе к офицеру, в котором они видели олицетворение порядка и дисциплины, миновав последний переулок, добрались до окраины. Впереди лежали зеленые холмы с бурыми пятнами виноградников на склонах. Баумберг повел увязавшихся за ним унтеров и солдат меж холмами, по кустарникам. Чем дальше, тем больше людей собиралось вокруг него. Из отрывочных разговоров, которые он слышал, можно было понять: все опасаются того же, что и он — котла. Кто-то уверял: русские танки уже впереди, надо идти не параллельно ведущему на запад шоссе, а в сторону, в горы.

Давно за холмами позади скрылся городок. Лишь изредка оттуда доносились глуховатые раскаты. Там, очевидно, продолжался бой, но по сторонам и впереди было тихо. Баумберг предполагал, что отступление приняло уже массовый характер, и поэтому не чувствовал себя

виноватым в оставлении порученного ему участка обороны без приказа. В конце концов он не просто беглец. С ним несколько солдат, все они с оружием. При первой возможности он избавится от этой разношерстной публики, примкнувшей к нему, и примет то назначение, которое ему дадут...

* * *

А в это время Буш, блуждавший по дворам огромного дома, увидав убитого Шинке, поспешно просунулся в ближнее подвальное окно и спустился вниз.

Подвал был темен. Пахло затхлостью, сырым камнем. Буш шел на ощупь, стараясь не производить шума, дабы не привлечь к себе внимания. Запнулся в темноте обо что-то. Нащупал подсумок, в нем туго лежат патроны. Кто-то из своих бросил. Взял подсумок, на всякий случай зарядил винтовку. Пошел дальше.

Несколько раз встречались тяжелые, обитые железом двери, ведущие из одной части подвала в другую. Подойдя к очередной из таких дверей, Буш услышал за ней негромкий разговор. Русские?

Прислушался. За плотно прикрытой дверью глуховато звучали слова:

— В сорок первом я был помолвлен, и моя невеста гордилась, что станет женой эсэсовца. Но когда я в этом году приехал в отпуск, она сказала: «С эсэсовцем я не могу связать своей судьбы».

Свои...

Буш потянул дверь... В тусклом свете коптилки — зеленые мундиры, белые повязки...

Едва он показался в двери, как лежавший возле нее на полу раненый с забинтованной ногой приподнялся, закричал хрипло:

— Уходи! Здесь только раненые. Ты — с оружием! Уже приходили русские! Если они увидят... Уходи!

— Уходи! — подхватили остальные. — Тут только раненые. Уходи!

Бушу не осталось ничего, как попятиться в дверь, через которую он вошел. Растерянный, он брел по пустым полутемным подвалам. Натолкнулся на еще одну железную дверь. Осторожно приоткрыл: скудно озаренные ка-

ким-то светильником своды, под ними плотно сбившейся массой женщины, дети, старики, старухи — с узлами, детскими колясочками, кастрюлями, перинами. Десятки испуганных глаз остановились: что сулит это появление солдата с винтовкой?

Не успел Буш еще и рта открыть, как женщина в накинутом на плечи одеяле, с грудным ребенком на руках, быстро оглядев Буша испуганными глазами, выкрикнула:

— Уйдите! Уйдите! Вы хотите, чтобы и в нас стреляли русские? Они уже были здесь!

«Черт!» — Буш сделал шаг назад, за дверь, — и снова очутился в пустом темном подвале. Куда деваться?

Нерешительно побрел куда-то в сторону. Увидел впереди едва брезжущий свет. Окно. Узкое, как амбразура, под самым потолком. Ухватившись руками за край подоконника подтянулся, выглянул. Окно близ самой мостовой, прямо перед ним — узкий переулок. На той стороне иссеченная осколками каменная ограда, полураскрытая железная решетчатая калитка.

Где-то далеко позади Буша, гулко отдаваясь под сводами подвала, прозвучали приближающиеся голоса. Кто может говорить здесь сейчас так громко и уверенно? Только русские!

Подпрыгнув, Буш вылез в окно и побежал через переулок. За спиной, откуда-то сверху, хлестнул выстрел. Но Буш уже вбежал в калитку, каменная ограда скрыла его.

Довольно долго плутал он по пустым дворам, прислушиваясь ко все более редким выстрелам, прежде чем определил, какого направления следует держаться. В конце концов благополучно выбрался из городка и оказался в зеленой кленовой рощице. В роще стоял тяжелый трупный запах. Кое-где среди яркой молодой зелени, по которой безмятежно перепрыгивали птички, чернели воронки, валялись брошенные каски, распотрошенные ранцы, разорванные картонные коробки из-под винтовочных патронов. Прикинув по солнцу, где запад, Буш, торопясь, пошел через рощу. Его все более пугало то, что, выбравшись из подвала, он не встретил ни одного живого человека. Уж не опередили ли его наступающие русские?

Но он еще надеялся догнать своих.

Глава 12

В ВЕНЕ

Никто в полку не надеялся, что Вену возьмут быстро: еще свежи были в памяти затяжные бои за Будапешт. А за Вену враг будет цепляться еще упорнее.

Пятый день, как на венских улицах идут бои. Полкココресова, продолжая наступать вслед за танками, достиг предместья, где по правому берегу Дуная тянутся здания складов, превращенные противником в укрепления. Второй день полк ведет здесь бой, с помощью танкистов, самоходчиков и саперов выковыривая врага из этих укреплений.

Трудно приходится: улицы и переулки перегорожены добротными, заблаговременно сооруженными баррикадами из камня и железных балок; перед баррикадами — надолбы, противотанковые и противопехотные мины, из подвальных окон, из амбразур, пробитых в каменных оградах, стреляют фаустники, автоматчики, снайперы. Прежде чем продвинуться хотя бы на несколько шагов — нужно послать несколько снарядов. Батальоны продвигаются медленно, потери велики...

Но сегодня с утра все повернулось иначе. Еще вчера яростно оборонявшиеся немцы начали откатываться, оставляя одну огневую точку за другой. Пехотинцы, сначала медленно продвигавшиеся по прибрежным улицам вслед за танками, пройдя предместье, забирались на броню: было приказано не отставать от танкистов. К полудню бойцы вместе с танкистами достигли южной окраины Вены и расстались с ними: танки срочно понадобились где-то в другом месте, да в них здесь уже и не было нужды — пока шел бой в предместье, другие части, действовавшие на южной окраине города, вынудили врага оставить ее.

Бересов намерен был продвигаться прибрежными кварталами к мосту, на помощь Белых, но комдив, которому он доложил об этом по радио, приказал остановиться, привести подразделения в порядок и до получения новой задачи заняться «прочесыванием» на ближних улицах: не исключено, что кое-где в домах еще прячутся недобитые фашисты. Отдавая эти распоряжения, комдив

объяснил Боресову: Вена уже взята, штурмовые части вошли в нее и с запада, совершив стремительный обходной маневр через знаменитый Венский лес.

На узкой уличке, в старинном доме с затейливыми лепными украшениями Бересов устроил свою временную резиденцию.

Едва успев обосноваться в доме, в богатой квартире, где все носило следы поспешного бегства хозяев, Гурьев, что называется «по уши», погрузился в дела: кроме обычных обязанностей пэнша, пришлось на этот раз выполнять и совсем непривычные. Бойцы, занимавшиеся «проческой» ближних домов, приводили разных людей: то немецких солдат, не успевших уйти со своими и прятавшихся где-нибудь в подвале, то русских людей, бывших в немецких лагерях, на подневольных работах. Многие посетители приходили сами, с совершенно неожиданными просьбами. Четыре солдата-мадьяра выпрашивали охранный документ: боялись по дороге домой попасть в русский плен; возбужденные светловолосые пареньки с красно-бело-красными нарукавными повязками цвета австрийского флага и немецкими винтовками пригнали бледного эсэсовского унтера; явились молодой парижанин и еще более молодая харьковчанка, обеспокоенные, как бы поскорее оформить свой давно уже состоявшийся брак и опасающиеся, как бы их не разлучили. Ворвался взъерошенный человек с рюкзаком в руке, одетый сразу в два, один на другом, пиджака. Жестикулируя, начал жаловаться на что-то. Не очень сильный в немецком языке, Гурьев с трудом понял: этот человек, спасаясь от тотальной мобилизации, дал объявление в газету о своей смерти в результате бомбежки, а сам скрылся. Сейчас он вернулся, но люди, вселенные в его квартиру из разбомбленного дома, не впускают его на том основании, что он — покойник. Затем явился тощий, желчного вида владелец расположенного вблизи отеля, стал клянчить бумагу, которая воспрепятствовала бы занимать под военные нужды его заведение. Во время утомительного разговора с владельцем отеля, нудно, со слезой в голосе, повторявшим свою просьбу, к Гурьеву неожиданно заглянул Бересов. Поинтересовался, что надо просителю, посоветовал:

— В шею этого надоеду!

Гурьев с радостью последовал совету, правда, в бо-

лее деликатной форме. Владелец отеля, громко сетуя, удалился.

Появлению Бересова Гурьев был рад: значит, тот перестал на него сердиться, если зашел вот так запросто, как бывало и раньше, а не вызвал к себе.

Опустившись рядом с Гурьевым в широкое кресло, с которого лоскутьями свисала кем-то изрезанная гобеленовая обивка, Бересов проговорил с усмешкой, показав глазами на дверь, за которой только что скрылся владелец отеля:

— Ишь, расплакался, хрен сушеный! Думает, несчастнее его за всю войну никого нет! Поиспытал бы то, что наши люди испытали..

— Кишка не выдержит. Тонка, — улыбнулся Гурьев.

— Верно. Где европейской кишке против нашей, — шевельнул кустистой бровью Бересов. — Так вот. Подполковник Неворожин пока с тылами, а ты управляйся тут. К маршу подразделения готовь. А я к комдиву, вызывает. Он уже здесь, в городе.

— Про Белых узнать бы, что с ним... Яковенко все время спрашивает.

— Непременно узнаю, — пообещал Бересов. — Сам не меньше Яковенко беспокоюсь, — и поднялся, покосившись на драный гобелен кресла.

Вслед Бересову Гурьев посмотрел с завистью: поедет к командиру дивизии, по пути Вену посмотрит. А тут сиди в четырех стенах, разбирайся со всякими делами. Но уж такова доля помначштаба...

Намереваясь послать несколько распоряжений командирам батальонов, Гурьев вышел в соседнюю комнату, где расположились полковые радисты и связные. Сердце дрогнуло, когда увидел сидящего в углу Федосеича: «Отдать письмо для Лены? А может быть, она другое написала?»

Еще колеблясь, подошел к Федосеичу, тот поднял глаза от пачки писем, которую перебирал:

— Вам нет, товарищ капитан. Я бы сразу.

— А это не разобранное еще? — Гурьев показал взглядом на разнокалиберные конверты, которые Федосеич держал в руке.

— Это — обратно. Убитые которые... Вот ведь сколь за один раз. — Федосеич сокрушенно вздохнул, показав толстую пачку. Не развернут загрубевшие солдатские

пальцы бумажных треугольничков, надписанных родными руками, и пойдут по обратным адресам письма через три чужие страны. А за ними следом, нагоняя, в те же адреса пойдут похоронные...

— Второй роте еще не вручил, — Федосеич показал на другую пачку. — И куда она подевалась?

— Найдется. Недалеко она.

— От вас письма не будет, товарищ капитан? А то уезжать собираюсь.

— Нет! — Гурьев отошел от Федосеича.

Бересов вернулся неожиданно быстро, веселый, оживленный. Еще на пороге провозгласил:

— Задача! — протянул свою карту, — пункт сосредоточения здесь! — Показал: северо-западнее Вены крохотный городок, от которого на четыре стороны ведут шоссейные дороги. — Белых тоже должен туда прийти.

— Вы с ним связались?

— Нет. Но комдив сообщил: Белых снова в нашем подчинении и уже получил маршрут. И еще — знаешь что? — Бересов широко улыбнулся: — Наших за то, что мост удержали, представить велено!

— Значит, вспрыснем ордена-медали...

— Медали? Подымай выше! Комдив на Героев представления дать обещал!

— Неужели? Кому?

— Белых, Галочкину, бойцам, на которых материал оформим. Надо Понедельному сказать, пусть он этим займется, как с Белых встретимся. Из штаба фронта уже запрашивали.

— Здорово! — воскликнул Гурьев. — Первые в нашем полку будут с золотыми звездами.

— Да, под конец войны заработали... Но оно и раньше было кому... Так посылай бегунков в подразделения. Всем строиться. Бронебойщиков и сорокопятчиков в голову. Всю пехоту — на повозки. Сообщи комбатам маршрут и порядок движения. Неворожину тоже, пусть всю колонну полка ведет. А мы с тобой на моем транспортерчике вперед поедем. Собирайся, быстро.

Гурьев нашел Неворожина в конце улицы, возле известного всему полку помятого мотоцикла. Неворожин стоял и наблюдал, как выстраиваются в походную колонну обозные повозки. Гурьев передал распоряжение

Бересова, попросил карту — нанести маршрут. Неворожин спросил, как бы не веря:

— Мне командир полка и батальоны приказал вести?

— Да, и батальоны.

Гурьев догадался, чем Неворожин встревожен: вести и боевые подразделения — значит отвечать за всю полковую колонну, а в случае хотя и маловероятного, но возможного неожиданного столкновения с противником — руководить боем...

— А где будет командир полка?

— Мы с ним поедем вперед на транспортере. — Гурьев положил карту Неворожина на сиденье мотоцикла, провел карандашом линию маршрута до конца. — Вот здесь будем вас ожидать. С противником встреча для вас едва ли возможна. Наши передовые части ушли уже далеко...

— Ясно, — не дал договорить Неворожин. Настороженный взгляд его спрашивал: «Думаете — испугался?»

Гурьев ждал, что Неворожин скажет еще что-нибудь резкое, но тот вдруг спросил тем дружелюбным тоном, какого Гурьев не слышал от него уже давно:

— Кстати, что о Белых слышно?

Гурьев сообщил то, что узнал от Бересова.

— Да, заслужили... — Неворожин помедлил. — А потери у него каковы?

— Пока неизвестно.

— Будем надеяться... Ах, да! Чуть не забыл. Я так и не уплатил еще членские взносы. Сейчас сможете получить?

— Ведомость со мной.

Гурьев принял взносы, расписался в поданном Неворожиным партбилете.

«Что это он так переменился? — недоумевал, идя к транспортеру. — Батальоны вести готов, кажется, даже доволен такому поручению, и о Белых беспокоится, и взносы вдруг... А еще вчера на меня смотрел, как на выгнанного. В самом деле переменился или только так, чтоб до конца войны с нами хорошо дослужить?»

Полковая колонна, вытянувшись по узкой уличке во всю ее длину, двинулась в путь. Бересов уселся за руль маленького полугусеничного трофейного транспортера, которым разжился на днях, окончательно предоставив

свой старый мотоцикл Неворожину. Лихо надвинул на лоб новенькую, только что с иглы полкового портного, зеленую фуражку, на которую сегодня сменил отслужившую свое шапку. Рядом сел Гурьев. На задних сиденьях устроились адъютант и радист. Бересов дал газ.

Громыхая одной гусеницей по тротуару, другой по мостовой — уличка была узка, — транспортер быстро обогнал колонну и, петляя по улицам и переулкам, покатил в направлении моста. Придерживая шапку, чтоб не слетела на ходу, Гурьев, увлеченный быстрым движением, жадно смотрел по сторонам. Закопченные стены, выбитые окна, зияющие проломы. Убитая лошадь на тротуаре, сожженная машина на углу, тряпье и бумажки, разбросанные по мостовой. Битый кирпич и стекла на панелях. Узорчатые чугунные ограды, старинной постройки здания с вычурной лепкой по фасаду, скверики и скверы, в которых меж начинающими зеленеть каштановыми и буковыми деревьями то там, то тут белеют статуи, а возле иной из них можно увидеть и плоский серый колпак дота с черной щелью амбразуры... Шпили костелов, округло изогнутые медные крыши старинных дворцов, за долгие годы позеленевшие до изумрудного цвета, и где-то за ними — уже немощный дым догорающих пожаров, едва приметный на фоне апрельского солнечного неба. А над всем этим — видная почти отовсюду, где проезжает транспортер, взнесенная над городом стрела готического собора. Да ведь это же знаменитый собор святого Стефана — Стефан-кирхе, уже много веков высящийся над Веной. Почти сто лет назад на его шпиле подымали знамя свободы революционеры 1848 года. Сейчас на нем тоже какой-то флаг. Издали не разглядеть: наш красный или австрийский национальный? Скорее — австрийский. Мы же не завоевываем города — освобождаем.

...Так вот она какова, Вена. Даже в копоти пожаров, в шрамах разрушений прекрасен ее лик, чарует своей вечной бессмертной красотой.

Именно вот такой и представлял себе Гурьев издавна Вену — и удивлялся сейчас, что его давнишнее, еще мальчишеское представление о ней, которую он полюбил по книгам, по музыке, рожденной в этом городе, так совпало с действительностью. Это — как сбывшийся сон... Только ему раньше и не снилось, что он будет в числе тех, кто спасет от разрушения этот прекрасный город.

Проносились, мешаясь и тая, запахи гари и молодых почек. На быстром ходу овевал лицо нагретый солнцем воздух, упруго и ласково струился по лицу. Радость быстрого движения, радость красоты, которую видит сейчас вокруг — а вокруг все сейчас казалось красивым, несмотря на следы только что закончившихся боев, — вся эта общая для всех его однополчан радость наполняла его. И мелькнула издавна привычная мысль: «Лене рассказать бы...» Ведь всю войну он запоминал самое интересное, чтобы потом поделиться с ней, чтобы его глазами увидела все это и она. Подумал о Лене — и вновь всплыла из глубины души горечь, не дающая жить все эти дни...

А Бересов, довольный всем сегодняшним, гнал транспортер все быстрее, довольно искусно объезжая попадавшиеся навстречу препятствия — то сваленный снарядом фонарный столб, то растопырившую колеса среди дороги разбитую немецкую пушку, — временами что-то показывал Гурьеву, что-то говорил, а Гурьев словно и не слышал.

На одном из перекрестков транспортер остановился: путь пересекла длинная колонна мощных грузовиков с длинноствольными орудиями на прицепах: шла артиллерийская часть.

— Эти — ввалят! — показал Бересов на двигающуюся артиллерию. — Нашему бы полку придать столько! Дали бы Адольфу жизни напоследок... — Бересов был в хорошем настроении, ему хотелось поговорить с Гурьевым запросто, поделиться своими предположениями. — Вот только не пришлось бы с лета на мороз. Комдив говорил: Гитлер мечтает в Альпы забраться, в ледники, и там отсиживаться, ждать. Только чего? Пока для него виселицу построят, что ли?.. Неужели и в самом деле нам в снежные горы лезть придется? Как ты думаешь?

— А? — Гурьев не слышал ничего.

— Ты что это?— прищурился Бересов. — Замечтался? Или все давешнее переживаешь, что я тебя за Яковенко ругал?

Гурьев удивленно посмотрел на Бересова: еще никогда командир полка не говорил с ним таким задушевным тоном.

— Так учти, — продолжал Бересов, — я — тебя, а

меня, из-за тебя, — комдив. Может, еще покрепче, чем я тебя. Ничего, терплю. Служба...

— Я понимаю, — вернулся Гурьев мыслями от далекого. — Я не в обиде. — И ему снова, как позавчера, захотелось рассказать Бересову о своем горе. Бересов, может быть, и понять сумел бы лучше, чем Яковенко.

Нет. Свое горе надо одолевать самому.

Глава 13

БАУМБЕРГ СПЕШИТ НА ЗАПАД

Оберштурмфюрер Баумберг и несколько солдат, приставших к нему, шли напрямик через виноградники, где на коричневых узловатых лозах, похожих на иссохшие ревматические конечности, уже зеленели крохотные листочки.

Ни ясного дня, ни юной зелени вокруг не замечали сейчас они, торопясь уйти от русских.

Из-за ближнего холма донесся стремительный звук проносящихся автомашин. Баумберг дал знак остановиться. Не русские ли машины? Что делать? Сдаваться? Нет! Лучше пустить себе пулю в лоб!

Он послал двоих солдат на вершину холма посмотреть: чьи машины?

Посланные, вернувшись, доложили: машины свои, все идут от Вены.

Баумберг повел солдат к шоссе.

По серой ленте асфальта неслись грузовики. По обочинам на рысях катили обозные фуры, брели краем дороги солдаты — в одиночку и небольшими группами.

Баумберг и его люди влились в общий поток.

Так прошли они несколько километров. Лавина машин заметно редела. Ездовые фур все беспокойнее нахлестывали лошадей, оглядываясь назад.

«Пристроиться на попутную машину или повозку», — стал поглядывать Баумберг.

Будь он один, пожалуй, сумел бы сделать это легко. Но за ним увязалось десятка полтора солдат и унтеров, считавших теперь оберштурмфюрера своим командиром. Посадить такую ораву на какой-нибудь транспорт нечего и думать...

С машин и повозок, кативших впереди, посыпались на дорогу солдаты. Над головой Баумберга проревел мотор, по асфальту мелькнула широкая тень.

Баумберг бросился в кювет.

Ревущими молниями проносились над дорогой советские штурмовики, заходили снова и снова, строча из автоматических пушек. Лежа ничком в кювете, Баумберг слышал ржание раненых лошадей, крики, утробное рычание второпях не выключенных автомобильных моторов. Возле головы прогрохотали колеса — испуганные лошади протащили фуру через кювет в поле.

Наконец штурмовики улетели. Баумберг поднялся, счищая с себя налипшую грязь. На дороге горело несколько машин, раненая лошадь, упавшая на бок, запутавшаяся в упряжи, билась, пытаясь встать, тянула за собой другую, уже мертвую, запряженную с ней вместе. Пронзительным голосом кричал какой-то раненый.

На глаза Баумбергу попался мотоцикл, валяющийся близ кювета. Схватив мотоцикл, вывел его на дорогу — никто не окликнул. Вскочил в седло.

Выруливая меж стоящими машинами, объезжая только что убитых лошадей, он спешил выбраться из этого хаоса. Наконец выехал на свободную дорогу и дал полный газ.

Он мчался, обгоняя бесконечные обозы, грузовики, вереницы солдат, бредущих вдоль обочин. Проносились мимо, словно сдуваемые ветром, попутные деревни, городки, придорожные гостиницы. Баумберг все более проникался страхом. Сколько километров он проехал, а те, кого он нагоняет, все так же панически спешат на запад. Неужели это конец? Армии уже нет, есть только лавина охваченных страхом преследования, усталых, измотанных людей в одинаковых мундирах, людей, уже не представляющих собой единое целое, которое они составляли еще недавно. Куда делось все то, что связывало их так долго и так прочно, то, что было сильнее даже страха смерти?

Не все время удавалось Баумбергу ехать на большой скорости. Часто впереди, неизвестно почему, возникали заторы, приходилось объезжать полем или стоять подолгу. Иногда Баумберг не успевал выбраться на обочину и, теснимый со всех сторон повозками и грузовиками, ежесекундно рискуя быть раздавленным вместе с

мотоциклом, продвигался поистине черепашьим шагом, а то и попросту стоял вместе со всеми.

Одна из таких задержек продолжалась особенно долго.

— Что там впереди? — спросил Баумберг обер-лейтенанта, пробиравшегося меж машинами назад.

— Проверка! Задерживают всех! Что-то пытаются сформировать... — Обер-лейтенант посмотрел на Баумберга пустыми глазами и побрел дальше.

«Не повернуть ли и мне?» Но если бы Баумберг и захотел повернуть, то, пожалуй, уже не смог бы этого сделать: стиснутого со всех сторон, его в потоке машин, лошадей и людей медленно тащило к окраине видневшейся впереди деревни.

Неужто и в самом деле, как сказал тот обер-лейтенант, кто-то пытается направить в русло дисциплины весь этот поток?

Баумберг уже жалел, что расстался с теми солдатами, которые собрались вокруг него по пути. С ними он не выглядел бы беглецом-одиночкой.

У въезда в село распоряжался какой-то охрипший от крика оберштурмбаннфюрер. Ему помогали несколько офицеров и фельдфебелей. Плотная цепь автоматчиков в полевой форме войск СС перегораживала шоссе. По распоряжению оберштурмбаннфюрера за цепь пропускали только машины и повозки, предварительно ссаживая с них всех, кроме водителей и ездовых. Остальных строили в стороне и группами уводили куда-то. Баумберг, оставив мотоцикл, улучив момент, подошел к оберштурмбаннфюреру, четко вскинул руку в национал-социалистском приветствии.

— Хайль! — хрипло бросил в ответ оберштурмбаннфюрер. Скользнул по кольцу с черепом на пальце Баумберга, отрывисто спросил, прощупывая взглядом:

— Должность?

— Командир пехотной роты, — руки Баумберга привычно вытянулись по швам.

— Где ваши люди?

— Погибли, сдерживая натиск русских.

— Примете других.

— Слушаюсь. Где я их получу?

— Там! — оберштурмбаннфюрер показал в сторону, где на зеленой траве топтались, нехотя равняя ряды, сол-

даты в форме самых различных родов войск, кто с оружием, кто без оружия.

Оберштурмбаннфюрер подозвал к себе унтера, очевидно, своего помощника, приказал ему:

— Дайте оберштурмфюреру сотню из той публики.

В сопровождении унтера Баумберг подошел к стоявшим неровными рядами солдатам. «Бог мой! — на душе его стало тоскливо. — Это еще похуже, чем я имел. Кем мне придется командовать! Мальчишки и старики. Тыловики в чистеньких мундирах и заросшие грязью окопники. Равнодушные или боязливые лица, сразу видно: на все этим воякам наплевать. У одного оружия нет, но на спине — битком набитый ранец да еще какая-то котомка на боку. У другого к поясу рядом с патронташем прицеплена почему-то мясорубка. В передней шеренге только один, вот тот, в центре, похож на настоящего солдата: на поясе подсумки, винтовка у ноги, ранец, шлем — все как полагается. На Буша похож... Да это он и есть!»

— Как вы здесь оказались, Буш? — спросил Баумберг.

— Как и все, господин оберштурмфюрер. — Буш смотрел на Баумберга, похоже, обрадованно.

— Из нашей роты есть здесь кто-нибудь?

— Не встречал, господин оберштурмфюрер.

— Хорошо, что вы попались мне на глаза. Будете за фельдфебеля.

— Слушаюсь!

Баумберг спросил унтера:

— Каких людей я могу взять?

— Любых.

Баумберг пробежал взглядом по лицам солдат, выжидательно смотревших на него, нового властителя их судеб. Особенно выбирать было не из кого. Сказал унтеру:

— Отсчитайте сотню подряд!.. А вы, Буш, выйдите из строя и перепишите всех.

Через полчаса Баумберг вел сто солдат от шоссе к холму, на склоне которого ему приказали подготовить оборонительный рубеж.

Когда пришли к подножию холма, Баумберг, приказав Бушу построить всех в две шеренги, решил произнести небольшую речь: надо же чем-нибудь взбодрить этих

усталых и равнодушных людей, за которых он теперь отвечает.

— Забудьте и думать об отступлении, — начал он. — Сражаться придется до последнего. Наступили дни, когда решается судьба отечества. Фюрер сказал: поворот придет! Мы должны продержаться до поворота! — Баумберг не был искусным оратором, говорил недолго и закончил самым ясным, тем, с чего он, собственно, мог бы начать и чем мог бы ограничиться: — При попытке покинуть позицию без моего приказа — расстрел на месте.

Баумберг распустил строй, и те солдаты, у которых сохранились лопатки, начали копать жирную, сырую землю, выворачивая наружу нежные, сахарно-белые корешки молодых трав. Лопат не хватало, рыли по очереди. Свободные от работы солдаты, развалившись на траве, грелись на солнце.

Часа через два на повозке привезли лопаты, патроны, гранаты, а также винтовки для неимеющих оружия, пришла полевая кухня. На шоссе поток отступающих почти прекратился. Навстречу им, обратно на восток, прошло несколько грузовиков с пехотой, бронетранспортеры, самоходные пушки. Положение, судя по всему, восстанавливалось.

К вечеру работу почти закончили. Зеленый склон холма и аккуратные ряды еще не одетых листьями лоз на нем прорезала черная, извилистая, как змея, линия траншеи. Баумберг приказал Бушу поставить на посты людей понадежнее — прежде всего на тот случай, чтобы кто-нибудь, воспользовавшись темнотой, не удрал. Наказав Бушу почаще проверять посты, Баумберг забрался в сооруженную для него крохотную землянку, вернее нору, и, уставший от всего испытанного за день, быстро уснул.

Среди ночи его разбудил гул машин на шоссе. Он быстро усиливался, как шум воды, прорвавшей плотину.

Встревоженный Баумберг выбрался из землянки. За склоном холма мелькали летучие проблески автомобильных фар. Машины шли в одном направлении — на запад, ни один огонь не мелькнул навстречу.

«Все удирают, а нас тут оставили для заслона...» С возрастающим смятением следил Баумберг за посверкивающими во тьме автомобильными огнями. Эти тревожные огни уносили последнюю надежду на то, что ру-

беж, на котором поставлен он со своими случайными подчиненными, может явиться рубежом, с которого начнется обещанный фюрером поворот.

Пора выбираться из этой каши! Нет смысла класть голову на этом австрийском винограднике. Главное сейчас — сохранить себя для будущего. Империя не перестанет существовать, если даже и придется пожертвовать всеми завоеваниями! Наступят трудные дни. Но именно в эти трудные дни и понадобятся такие верные национал-социализму люди, как Карл Баумберг.

Баумберг и порученные ему солдаты не пробыли на подготовленной позиции и до утра.

...Все шло кувырком.

Вместе с солдатами других столь же разношерстных, наскоро сколоченных подразделений их то пешком, то на машинах непрерывно перемещали с позиции на позицию. Несколько раз принимались рыть окопы, бросали их неоконченными, вновь двигались то на запад, то на восток. В суматохе и неразберихе Баумберг растерял почти половину солдат. Некоторые, узнав, что поблизости их прежняя часть, уходили туда. Австрийцы, чьи дома неподалеку, — попросту убегали. В конце концов с Баумбергом остались только те, которым некуда было идти, да неизменный Буш, все с меньшим рвением выполнявший свои фельдфебельские обязанности.

Так прошло несколько суетных и безалаберных дней. Циркулировали упорные слухи: бои идут уже в Берлине, но с американцами и англичанами вот-вот будет заключено перемирие, все германские армии западного фронта повернут на помощь сражающимся против русских, вступит в действие секретное оружие и Советы будут отброшены назад.

...Баумберг занимал со своим подразделением оборону в стороне от шоссейной дороги, в холмистом сосновом лесу. Позади стояли пулеметы заградительного отряда войск СС. Русские были еще неизвестно где, но уже второй день все явственнее докатывался гром артиллерии.

В полдень гул орудий стал слышен угрожающе близко. Баумберг приказал приготовиться к бою. Вскоре впереди меж соснами замелькали фигуры бегущих прямо на окопы. В первые минуты по ним чуть не открыли стрельбу,

приняв за русских. Но оказалось, что это отступающие с передовых позиций. Они кричали:

— Русские!.. — и, не останавливаясь, пробегали через окопы дальше.

Баумберг хотел доложить о происходящем в штаб. Но оказалось, что связь уже снята. Когда Баумберг положил трубку ненужного теперь телефона, то увидел — его солдаты смешались с бегущими, в окопах почти никого нет. Эсэсовские пулеметчики, находившиеся позади, куда-то исчезли.

Приказав Бушу собрать оставшихся людей — пусть уж они лучше уходят по приказу, чем побегут сами, — Баумберг повел всех к шоссе...

К концу дня в бурлящем потоке отступающих, заполнившем шоссе, Баумберг окончательно растерял остатки своего подразделения. Только Буш продолжал следовать за своим командиром. Так вдвоем, в толпе усталых и обозленных солдат, они шли до поздней ночи. После полуночи добрались до придорожного селения. «Передохнем здесь», — решил Баумберг. Завернули к первому попавшему дому. Из него доносились звуки губной гармошки и нестройный хор нескольких пьяных голосов. Буш узнал эту грустную песню с бойким припевом: он слышал ее еще зимой сорок первого года под Москвой. Теперь эта песня звучала далеко за Веной:

Вы сча́стливы, нежитесь дома,
Вам тепло, чистота и уют,
А я ночью луплю насекомых
И веселую песню пою:
Мы от вошек-крошек бесимся,
Нас вовсю они едят.
За отечество почешемся!
Стоек фюрера солдат!

Баумберг и Буш вошли. Песня смолкла. Дом был полон солдат. Человек пять, судя по тому, что было на столе, — только что выпивавшая компания, сидели тесно сгрудившись вокруг него, другие лежали вповалку на забросанном соломой полу. Буш подошел к широкой деревянной кровати, развалившись поперек которой лежало четверо солдат.

— Эй, вы! Место господину оберштурмфюреру!

Солдаты неохотно, но все же освободили кровать.

Завернувшись в плащ-палатку, Буш пристроился на полу возле кровати и мгновенно заснул.

Он проснулся от света, бьющего в глаза. В разбитые окна светило яркое утреннее солнце. За стенами дома на шоссе гудели машины, торопливо стучали по асфальту кованые колеса повозок. Кроме Буша, в комнате не было ни души. «Куда же делся мой оберштурмфюрер?» Буш удивился, но не огорчился. Он поймал себя на мысли, что даже рад тому, что исчез оберштурмфюрер, о котором он обязан заботиться и которому должен подчиняться. Рад, хотя еще вчера радовался обратному, тому, что у него снова есть командир, который отвечает за него и ведет его. Но то было вчера. А сегодня лучше оставаться самому по себе. По крайней мере никто не заставит тебя понапрасну рисковать. К тому же сейчас такая неразбериха, что не спросят, почему ты бредешь один и не знаешь, где твое начальство.

Буш вышел к дороге, забитой движущимися машинами и повозками, и краем ее побрел дальше.

Осталось позади селение, потянулись вновь поля, перелески. Лес, подернутый нежной дымкой молодой зелени, подступал к шоссе с обеих сторон.

В ранце Буша уже давно не осталось ничего съестного — свои запасы он еще вчера скормил оберштурмфюреру. В селении, где они ночевали, достать еду было совершенно безнадежно — отступающие как саранча опустошили его. Не поискать ли в стороне?

Увидев уходящую от дороги в лес узенькую тропку, Буш свернул на нее: тропка должна привести к жилью.

С каждым шагом все слабее доносился гул движения по шоссе. Пахло уже не бензиновой гарью и нагретым асфальтом, а молодой листвой, травами. Все слышнее звучали голоса птиц, перекликающихся меж деревьями.

Самое хлопотливое время сейчас у птиц — гнезда вьют... Идти бы вот так по тихой тропе, солнечным весенним лесом и прийти домой. О, если бы это было осуществимо! Он согласился бы шагать день и ночь, без жратвы, босиком, с полной выкладкой...

Меж стволами впереди показалось что-то белое и красное. Буш сделал еще несколько шагов. Дом под черепичной крышей. Стоит внизу, на дне изумрудно-зеленой лощинки, тесно окруженной лесом. На фоне яркой весенней зелени особенно выделяются его белые стены и красная крыша — издали дом кажется игрушечным, такими же кажутся и дворовые службы, и колодец с боль-

шим колесом. С противоположной Бушу стороны, из леса, к домику тянется едва заметная среди свежей травы извилистая дорога — похоже, что ею и не пользовались последнее время.

«Вот не тронутый войной божий уголок». От всего, что видел сейчас Буш, веяло безмятежным покоем... Остаться бы в этом местечке, сбросить осточертевшую амуницию, пожить, помыться, выспаться, никуда не спеша, ничего не боясь. Выйти бы в поле — да если бы не чужое, а свое! — взяться за ручки плуга. Земля сейчас мягкая, податливая, лемех пойдет в ней, как нож в масле...

Буш бодро зашагал по тропке вниз.

Уже подойдя к ограде, остановился: «В таких дворах бывают злые собачищи...» На всякий случай скинул ремень винтовки с плеча. Через распахнутые настежь ворота вошел во двор. И увидел то, чего не мог увидеть раньше: близ стены дома стоит небольшой грузовичок военной окраски, около него на земле белеет просыпанная мука, из кузова доносится тревожное похрюкивание. Буш немного огорчился. Но все же подошел к двери. Еще не открыв, услышал за ней какую-то странную возню. Открыл — и лицом к лицу очутился с панцерн-гренадером в расстегнутой черной куртке, с багровым, потным, пьяным лицом.

— Куда лезешь! — заорал панцерн-гренадер, толкнув Буша ладонью в грудь. — Тут товар не про тебя!

Буш хотел сказать пару крепких слов, но увидел за его спиной, в комнате, еще двух таких же. Растрепанные, с пьяной ухмылкой на лицах, они тащили к кровати какую-то женщину, она вырывалась, но не кричала — наверное, боялась кричать.

— Эй, вы! — Буш попытался оттеснить стоявшего на его пути панцерн-гренадера. — Отпустите женщину!

— Что такое? — откликнулись двое из комнаты. — Пехота? Гони ее, Рихард!

Буш не отступил. Но тут один из тащивших женщину оставил ее, подскочил на помощь своему приятелю — и Буш опомниться не успел, как слетел с крыльца.

— Убирайся! — гаркнул ему из двери панцерн-гренадер. — А то с тобой поговорит мой шмайссер!

Дверь захлопнулась.

«Ах, сволочи! — разозлился Буш. — Привыкли в России — и со своими не церемонятся».

Заныло ушибленное при падении колено.

Прихрамывая выбрался со двора. В калитке остановился:

«Ну, погодите же!» Его разобрала злость. Закричал во все горло: — Русские, русские! — быстро спрятался в кусты близ усадьбы, присел на одно колено, сорвал с плеча винтовку и пальнул по крыше дома — раз, другой, третий. Кончилась обойма, он мигом вставил вторую. После каждого выстрела по крутой крыше с грохотом летела разбитая пулей черепица.

Из-за угла дома, хлопая незакрытыми дверцами кабины, вынырнул грузовичок, визжала в кузове растревоженная свинья. На подножке суетился один из панцерн-гренадеров, спеша втиснуться в кабину. Грузовичок вильнул в воротах и на полной скорости покатил по дороге из усадьбы.

Буш пальнул не целясь вслед машине и пошел в дом.

Женщина стояла в углу за посудным шкафом, побелевшая, прижав пальцы к горлу.

— Не бойтесь! — сказал Буш, останавливаясь в дверях. — Никаких русских нет. Это я напугал этих нахалов.

Женщина ничего не ответила — словно онемела. На Буша смотрели ее огромные, наполненные страхом глаза, полураскрытые губы дрожали. Он протянул к ней руку, желая успокоить ее. Женщина метнулась прочь, закрывая ладонями лицо.

«Тьфу ты, черт!» — Буш сплюнул с досады.

А женщина, проскользнув мимо, выбежала на улицу, по ступенькам крыльца дробно простучали ее каблуки.

«Страхом ум вышибло!» — посмотрел Буш ей вслед, при этом его взгляд задержался на двух больших фотографических портретах на стене, висящих над двенадцатью, одна другой меньше, фарфоровыми мадоннами, выстроенными по ранжиру на комоде — точь-в-точь, как у него в доме. На рамках обоих портретов — черные ленты. На одном изображен пожилой человек, на другом — молодой, оба в солдатской форме.

Бушу не захотелось оставаться здесь ни минуты.

Только уже войдя в лес, вспомнил: еды-то на хуторе так и не добыл. Но возвращаться не стал. В конце концов съестным можно разжиться и где-нибудь в другом месте.

Обратно шел напрямую, лесом. Чем дальше отдалялся от хутора, чем слышнее становился гул движения на шоссе, тем все большая тревога охватывала Буша: не придет ли война и к его дому, не придет ли она туда раньше, чем он сам? Домой, скорее домой! Прийти туда. Прийти без войны. Это единственное, чего он хочет сейчас. На все остальное наплевать. И очень хорошо, что куда-то исчез оберштурмфюрер. Что, Буш без него не найдет себе дороги?

А Баумберг тем временем был уже на несколько десятков километров впереди Буша. Охваченный беспокойством и страхом, он почти не спал всю предыдущую ночь. Не мог отделаться от мысли, что с каждым часом русские ближе и ближе. Ему казалось непонятным, как это солдаты, в том числе и его спутник Буш, могут спать таким прочным сном. Перед рассветом, одолеваемый тревогой, слез с кровати и, пробравшись меж спящими на полу солдатами, вышел во двор. Неподалеку от калитки, на краю шоссе, стоял большой гусеничный грузовик, водитель ковырялся в моторе. На машине сидели офицеры, по их виду можно было догадаться — штабники. «Штабные — люди благовоспитанные, не найдут ли местечко для меня?» Баумберг представился оберсту [1], сидевшему впереди, и попросил места для себя и для своего солдата. Оберст, помедлив, сказал наконец: «Так уж и быть, вас, оберштурмфюрер, возьму. Но никаких солдат, машина переполнена». Баумберг не стал настаивать. Что ему в конце концов Буш? Как-нибудь доберется и сам! Поблагодарив оберста, не теряя ни секунды, втиснулся в кузов. Вскоре машина покатила вперед, обгоняя остальные — там, где по дороге проехать было трудно, оберст приказывал водителю гнать стороной. Из разговора, который вели сидевшие близ Баумберга офицеры, он понял, что те озабочены сейчас только одним: как бы поскорее проехать несколько десятков километров, остающихся до тех мест, куда, по слухам, уже пришли английские войска, и сдаться в плен.

Сначала разговор о сдаче коробил Баумберга: как можно так откровенно рассуждать об этом, к тому же при нем, офицере войск СС! Известно, что полагается за

---

[1] Полковник *(нем.)*.

подобные речи! И он обязан бы донести. Но до того ли? Самое главное сейчас — сохранить место в машине.

Все же Баумберг сказал сидевшему рядом пожилому, профессорского вида, штабному майору в очках:

— Не рано ли думать о плене? Фюрер еще найдет средство стабилизировать фронт.

— Стабилизировать? Нет, мой дорогой оберштурмфюрер! — с горечью в голосе проговорил майор. — Еще в восемнадцатом году наш мудрый Людендорф предрек: в будущей европейской войне решающая битва произойдет в районе озера Балатон. Эта битва произошла, и с печальным для нас исходом. Война проиграна. И нам с вами следует избрать из двух возможных зол — меньшее...

Чем дальше, тем свободнее становилась дорога — видно, еще немногие успели оторваться от русских так далеко. Да и не все, наверное, спешили попасть в плен к англичанам, как спутники Баумберга. Слушая разговоры сидевших в транспортере о предстоящей сдаче в английский плен, Баумберг все еще никак не мог решить, пойдет ли он сам на это? Его спутникам, офицерам полевых войск, плен ничем не грозит. А ему, принадлежащему к черному корпусу? По прежней своей службе в имперской канцелярии Баумберг знал: по приказам Гиммлера было казнено несколько десятков английских летчиков, сбросившихся на парашютах со сбитых бомбардировщиков. Не устроят ли теперь англичане размен голову за голову?

Но сидевший рядом майор, с которым Баумберг поделился своими опасениями, ответил, снисходительно улыбаясь:

— Вы в окопах могли и не знать того, что уже известно нам. Поверьте, оберштурмфюрер, томми встретят всех нас по-джентльменски.

«Ну что ж, куда все, туда и я», — в конце концов решил, поразмыслив, Баумберг.

Однако доехать до англичан не удалось: кончилось горючее. Баумберг и майор побрели краем дороги вдвоем. Попутных машин почти не попадалось, да и устроиться на них было невозможно — они проносились, не останавливаясь. Вскоре по предложению предусмотрительного майора свернули с шоссе — оно стало совсем безлюдным;

если впереди англичане, то как бы они, не разобравшись, не обстреляли.

Шли кустарником вдоль шоссе.

На всякий случай Баумберг осмотрел свои карманы. Выбросил все, что может хотя бы в малейшей мере компрометировать его: несколько писем, фотографий. Поколебавшись, снял с пальца и потихоньку от майора бросил в куст перстень с черепом. Хотел выбросить и нарукавную ленту «Адольф Гитлер», которую хранил все это время. Но оставил: «Это знак принадлежности к фронтовой части. Может, и пригодится».

В кустах впереди протрещал автомат. Баумберг метнулся в сторону, пробежал немного, юркнул под густой, развесистый куст орешника, уже одетый довольно крупными листьями.

Стрельба вскоре замолкла, но Баумберг еще долго не подымался из-под куста. «Неужели англичане так встретили? Или, может быть, еще действуют какие-нибудь ретивые заградительные патрули?» Майора поблизости не было видно. Баумберг решил продолжать путь один.

Стараясь обойти как можно дальше место, где стреляли, Баумберг сделал большой крюк по кустарнику и очутился в кленовом леске, насквозь просвеченном солнцем: листья на деревьях были еще маленькие и почти не задерживали солнечных лучей. Присев под кленом, Баумберг прикинул по компасу, как идти на запад. Путь ложится через лес. Если верить попутчику майору, до англичан совсем недалеко.

Он долго шел кленовым леском, не встречая никого. Временами из-под ног выпархивали птицы, заставляя вздрагивать. На ходу репетировал разговор, который поведет с первым встретившимся томми. Он отлично знает английский и сумеет сразу же взять верный тон: «Добрый день! Я офицер германской армии и сдаюсь в плен. Проведите, дружище, меня к вашему командиру. Хотите закурить? Пожалуйста».

Кустарник кончился — перед Баумбергом открылась лощина, покрытая ярко-зеленой, поблескивающей под солнцем свежей травой. На противоположном краю виднелся плотный кустарник, за ним, на фоне невысокого леса, краснели черепичные крыши какой-то усадьбы.

«Пожалуй, мне здесь ничто не грозит... Доберусь до хутора, раздобуду штатскую одежду, оставлю себе только

документы. А пистолет?» — Баумберг дотронулся рукой до кобуры парабеллума, висевшего слева на поясе. Оружие остается с ним, он ощущает его привычную тяжесть. Это успокоило. Оружие останется с ним, пока он не сможет отдать его первому встретившемуся англичанину, если, конечно, увидит, что тот не собирается стрелять в него.

Набравшись решимости, вышел из кустов и зашагал через лощину. Когда уже почти пересек ее, резкий оклик чуть не заставил его ринуться назад. Схватился за пряжку кобуры, но тотчас же отвел руку: перед ним из-за куста выступил высокий солдат с автоматом, в короткой куртке цвета хаки, в плоской, тарелочкой, каске, обтянутой сеткой. «Англичанин!» — Баумберг остановился.

Держа на весу автомат, солдат что-то прокричал. Сначала от волнения Баумберг, хотя он и прекрасно знал английский, не разобрал, что кричит солдат. А, солдат кричит по-немецки: «Руки вверх! Ко мне!» — эти слова, наверное, заучил каждый томми.

— Иду, иду, приятель! — ободрившись, крикнул Баумберг по-английски.

Англичанин смотрел неприветливо, плотно сжав губы. «Как бы не выстрелил...» Баумберг замедлил шаг. Но овладев собой, торопливо заговорил, стараясь как можно правильнее произносить английские слова и придать голосу побольше доброжелательности:

— Эй, парень! Я очень рад, что добрался до вас! Войне конец, не правда ли?

Видя, что лицо солдата остается по-прежнему каменным, заговорил еще поспешнее:

— Я офицер, германский офицер! Сейчас же проводи меня в штаб!

Солдат молча поднял ствол автомата.

— Я сдаю оружие! — быстро проговорил Баумберг. Выдернул из кобуры парабеллум, рукояткой вперед протянул:

— Возьми! На память о войне!

Солдат, не шевелясь, смотрел неподвижным тяжелым взглядом.

— Что же ты? — Баумберг подошел вплотную к солдату. — Бери. Дома расскажешь, как взял в плен немецкого офицера и покажешь трофей! Ведь ты скоро возвратишься домой. — И продолжая подавать пистолет,

протянул свободную руку, чтобы похлопать солдата по плечу.

Глаза солдата блеснули. Он рывком отбросил от своего плеча руку Баумберга, вырвал у него парабеллум, швырнул высоко в воздух.

— Эй, парень, да ты что? — Баумберг в замешательстве попятился. — Не будем больше ссориться! — но в этот миг удар кулаком в подбородок сбил его. Баумберг упал навзничь. Вскочил, опрометью бросился назад. Он уже жалел, что так глупо отдал оружие. Может быть, надо было, не теряя времени, выстрелить в этого томми, а затем поискать более сговорчивых?

Он мчался изо всех сил, не оглядываясь: а вдруг этот странный англичанин влепит ему в спину несколько пуль?

Но выстрелов не раздалось. Баумберг вбежал в кустарник, из которого только что вышел.

Тем временем к солдату подошел товарищ:

— Крепко! Настоящий боксерский удар. Но почему ты угостил его так?

— Этот нацист сказал, что я смогу дома всем показывать его паршивый пистолет. Дома! Ты понимаешь, он сказал — дома!

— Понимаю. Ведь ты из Лондона.

— Да. Мой дом, моя жена, моя дочь... Их нет. А этот нацист...

— Что ж. Пожалуй, он заслужил и больше. Но смотри, если капрал видел, — тебе попадет. Ты знаешь приказ?

— Вежливо принимать всех пленных?

— Да.

— Знаю.

— И, кроме того, бережно собирать их оружие. А ты зашвырнул пистолет этого нациста в траву.

— Вот еще! Война кончается, на кой черт нам их оружие!

— Я и сам не понимаю, зачем. Возможно, его вернут нацистам после перемирия?

— Не может быть!

— Мы пока можем и не знать... По мне — я бы дал им не оружие, а лопаты и кирки да отправил бы их к нам на острова — пусть поднимут из развалин все, что уничтожили.

— Мертвых они не поднимут...

Подошел капрал:

— Кого это ты сейчас нокаутировал?

— Нациста.

— Где он сейчас?

— Побежал обратно.

— Побежал? В таком случае полагается стрелять.

— Стоит ли, капрал, из-за этого лишний раз чистить автомат? — пошутил приятель лондонца. — Все равно этот нацист вернется к нам. Не станет же дожидаться, пока русские сцапают его.

Капрал рассмеялся:

— Тем более что ему придется ждать немало. Говорят, у русских нет машин, и они едут на лошадях и верблюдах.

— Не знаю, капрал. Но знаю другое: нацист, который мог убить любого из нас, давно убит на восточном фронте.

— Ну, ладно, мальчики, по местам! — оборвал капрал разговор. — Не болтать, и каждому патрулировать на своем участке. Помните приказ: пленных принимать вежливо, их оружие собирать.

Солдат из Лондона снова остался один.

«Пожалуй, этому нахалу и в самом деле стоило влепить в зад десяток пуль,— размышлял он,— приятеля нашел... Ни одного такого не подпущу! Пусть их в плен русские забирают!»

Тем временем оберштурмфюрер Баумберг, словно угадывая эти мысли, спешил все дальше через густой кустарник обратно к шоссе. Сдаваться в плен в одиночку? Больше он не хотел рисковать. Он надеялся разыскать каких-нибудь компаньонов и вместе с ними пробираться все-таки к англичанам. Другого пути ему не оставалось.

Глава 14

ПУСТЬ ЖУРЧИТ РЕКА

Снова бересовский полк безостановочно шел на запад: артиллерия и обозы — по шоссе, пехота — напрямую, уже сплошь зазеленевшими полями, веселыми весенними рощами. Давно скрылись позади, за холмами,

красные черепичные крыши последнего пригорода Вены. Много ли еще идти этими аккуратными полями, через маленькие, словно игрушечные, городки?.. Много ли еще придется промерить ногами чужой земли? Много ли еще солдатского пота, солдатской крови придется пролить на эту землю, прежде чем на каком-то еще никому не известном километре военной дороги дойдут солдаты до конца войны?..

На привале к Ольге подошел Снегирев.

— Дочка, куда нашему лейтенанту письмо адресовать?

— Сама не знаю, — не без огорчения ответила она.— Из медсанбата, наверное, увезли.

— Мы вот написали ему...

— Да? От меня привет припишите. Куда посылать?.. — она задумалась. — Вернее — в армейский госпиталь. Едва ли в таком положении его отправили дальше.

Галочкин действительно находился в армейском госпитале, в одном из городков близ Вены. Ввиду тяжелого состояния его поместили в отдельную палату. Возле постоянно находились либо врач, либо медсестра.

В те самые минуты, когда Снегирев расспрашивал Ольгу, Галочкин лежал, еще не открыв глаз: сознание медленно возвращалось к нему, словно какой-то сильный, но неторопливый поток плавно нес его, подымая из темных глубин. Все легче дышалось, и ощущение тяжести, сковывающей тело, давящей даже на веки, исчезало... Лето, река, купанье; нырнешь с разбегу — быстро, гвоздем, идешь в глубину. Все холоднее, стужа нетерпима, ледяные струи донных ключей охватывают тело... Крепко жмуришь глаза — скорее, скорее вверх, к теплу, к свету. Работай изо всей силы руками, ногами, всем телом — вверх, вверх... С каждым движением теплее вокруг. Выныриваешь... Влечет быстрое течение, вокруг ласково и бойко журчит несущая тебя теплая вода.

Вода... Мерещится, что ли?

Ласковые струи нежно пели совсем рядом, и сквозь еще закрытые веки Галочкин ощущал сильный свет солнца. Вот так, когда подымаешься к поверхности воды после хорошего нырка, еще зажмуренные глаза уже видят пробивающийся сквозь воду свет, золотистый свет летнего дня.

Журчат, журчат ласковые струи... Нет, не бред это и не воображение — совсем близко журчит. Ручеек, что ли? Но почему он пахнет лекарствами?

Преодолевая слабость, сковывающую его, Галочкин медленно поднял непривычно тяжелые веки. Солнечный свет, щедрый, яркий, в ту же секунду заставил сомкнуть их.

Впервые за много часов, а может быть, и суток, часто проваливаясь в какую-то глухую тьму — он уже потерял нить времени, — Галочкин увидел день в таком слепящем сиянии.

А вода, бегущая вода, поет и поет свою негромкую приветливую песенку... Где он — на берегу? Нет, бой шел ведь уже далеко от моста... штурмовали серый дом, Лассальгоф.

Галочкин вновь открыл глаза.

Белый потолок. Огромное окно с полуоткрытой створкой, за которым видны тонкие ветки с молодыми, насквозь пронизанными солнцем листочками — кажется, они сами светятся теплыми зелеными огоньками...

А, он — в госпитале! Но и сейчас слышна певучая струя. С усилием повернул голову, увидел: спиной к нему — сестра в белом халате с завязочками на талии и у шеи, на которую из-под марлевой косынки выбиваются пряди коротко остриженных волос — в солнечном свете они кажутся золотыми. А на самом деле они, может быть, и темные. Как у Ольги. Что она делает? Моет над водопроводной раковиной, под открытым краном, какие-то склянки. А почему в комнате только его кровать? Почему он не с другими ранеными?

«Наверное, я далеко в тылу. Вот как меня стукнуло — ничего не помню... Фриц этот треклятый, который из амбразуры, по мне очередь... Дом-то взяли? Наверное... Дальше пошли. А я валяюсь. Как стянута бинтами грудь! Дышать трудно...»

Хотел дотронуться до повязки, но рука не послушалась, и он не повторил попытки. Спокойная слабость вновь охватывала тело.

...Как досадно: в такое время в госпиталь попал! Не увидеть своими глазами, как кончится война? Проваляться придется, пожалуй, с месяц. А может, больше? Но маме не буду писать, что в госпитале, пусть не тревожится. Надо как можно скорее в полк вернуться. А то

затурят по выздоровлении куда-нибудь в другую часть. Кадровикам — им что, куда ни сунуть...

А сестра, еще не видя, что Галочкин очнулся, продолжала мыть склянки и осторожно, с чуть слышным сквозь журчание воды звоном, ставила их на край фаянсовой раковины.

«Ой, как я ослаб, однако, — удивился Галочкин, обнаружив, что ему не только шевельнуться, но и произнести слово не хватает сил. — Крови, пожалуй, много потерял, пока довезли сюда... Навылет меня, что ли? И грудь болит, и спина, и внутри что-то... Хорошо, что Ольга перевязала. Хотел ей сказать, когда она бинтовала... Не успел. Кажется, тогда я потерял сознание. Что-то она говорила? Что?.. В ее глазах была такая тревога за меня. Почему только за меня? Она о каждом раненом так тревожится...»

Мысли об Ольге прогнали боль, и дышать стало легче, чем минуту назад. Оля... он никогда вслух, открыто не называл ее так.

А что если сейчас совершится такое чудо: обернется от умывальника сестра и окажется — Ольга! Нет, она никак не может очутиться здесь. Она в полку, а полк идет вперед...

Силился представить, а может быть, даже и всерьез уверить себя: где-то здесь — она, неожиданно может войти и сесть возле. «Сказать ей теперь? Зачем? Может быть, у нее со старшим лейтенантом и в самом деле по-настоящему? А ты не ревнуй! — упрекнул себя. С усилием глотнул воздух. — Нет, не скажу я этого тебе ни сейчас, ни потом, когда вернусь в полк, не скажу, пока не пойму, что можно сказать. Я долго ждать могу... Кончай полоскать склянки, отойди от умывальника, посиди со мной. Тебя перевели служить в госпиталь вчера? И меня сюда привезли тоже вчера. Да обернись же, мне плохо!..»

Густой серый туман наполнял палату, затмевая свет дня, непроницаемой душной пеленой затягивал все. Он позвал ее, как показалось ему, во весь голос. Звякнула оброненная склянка. Над ним склонилось встревоженное женское лицо. Кто это? Почему не она? Ведь она только что была здесь! Почему она не хочет подойти? Не услышала? А мама непременно бы услышала. Когда он был маленький и болел скарлатиной...

В душном тумане тонуло и глохло все: сверкание весеннего дня, журчание воды, лицо склонившейся над Галочкиным сестры — она подбежала к нему тотчас же, как услышала из его уст слабый звук, самому Галочкину показавшийся громким криком...

* * *

Всего час назад старший лейтенант Карбовский вернулся в редакцию, расположившуюся в маленьком городке недалеко от Вены. Карбовский успел сегодня побывать в передовых частях, продолжающих наступать. Явившись в редакцию, он сдал несколько еще по пути написанных заметок о завершившемся бое за австрийскую столицу, доложил Морокину о своем возвращении и, услышав милостивое «пока отдыхайте», поспешил в армейский госпиталь, который расположился в этом же городке.

Помня то, что в полку ему сообщила о Галочкине девушка-санинструктор, он торопился увидеть его: в любой час Галочкина могут отправить дальше в тыл, а Карбовский очень хотел передать ему газету.

Госпиталь помещался неподалеку от редакции, в большом белом здании, совершенно не задетом войной. На фронтоне, над входом, еще сохранилась под наспех замазанной свастикой надпись «Kriegslazarett» [1].

Разыскав регистратуру, Карбовский справился о Галочкине. Ему сказали: лейтенант в хирургическом — «тяжелый лежачий ранбольной». Дежуривший в вестибюле санитар не хотел пропустить, но слова «я из редакции» подействовали.

Карбовский шел по длинному безлюдному коридору, читая одну за другой таблички на дверях. «Рука», «Нога», «Голова», «Живот» — гласили эти таблицы, означавшие, что раненые рассортированы по палатам в соответствии с характером ранения.

— Сестра! — остановил Карбовский проходящую мимо девушку в белом халате, — тут у вас по разным конечностям расписано. А мне целый человек нужен.

— У нас целых нет, все раненные.

— Вот мне и нужен раненный. Лейтенант Галочкин.

— Давно поступил?

---

[1] Военный госпиталь *(нем.)*.

— Сегодня.
— Лежачий?
— Да.
— Сейчас узнаю. Обождите.

Сестра быстрыми шагами пошла в конец коридора, скрылась за одной из дверей.

Карбовский раскрыл полевую сумку, извлек оттуда газету. «Как войду — передам, сразу ему тонус поднимет...»

В конце коридора послышался дробный перестук женских каблуков. Подошла сестра, которую он ждал.

— Ваш лейтенант в отдельной палате. Пойдемте, я покажу. А там попроситесь.

— В отдельной? — Карбовский знал, для каких раненых, даже если госпиталь переполнен, отводят отдельную палату. Обычно недолго они занимают ее...

— Что, Галочкин очень слаб?

— Не знаю, этот ранбольной не мой. Вот здесь! — она показала на дверь, на которой не висело никакой таблички, стукнула в нее, вполголоса позвала:

— Клава! К вам! — и ушла.

«Пустят или нет? Надо бы сразу, пожалуй, халат раздобыть у той внимательной сестрички...»

Дверь приоткрылась, на Карбовского глянули сердитые женские глаза:

— Вам что?
— Мне лейтенанта Галочкина.
— Нельзя к нему!
— Мне очень нужно...
— Сказано — нельзя!
— Я из редакции.
— Из редакции?.. Обождите.

Дверь захлопнулась.

«Строгости какие», — Карбовский, держа наготове газету, стал прохаживаться взад-вперед мимо двери.

Но шли минута за минутой, а дверь не открывалась. Карбовский уже начинал злиться.

...Галочкин, усилиями воли стараясь не провалиться вновь в черную обморочную пучину, с трудом шевеля губами, говорил сестре, обеспокоенно наклонившейся к нему:

— Почему ее не пускаете ко мне? Почему?
— Успокойтесь. Никого нет.

— Она там, за дверями, я сам слышал, как назвала меня! Вы ей сказали: обождите! А зачем ждать? Я так долго ждал и жду... — Галочкин не докончил — усилия, затраченные на слова, ослабили его, и он вновь начал проваливаться в тьму.

Потолок, качаясь, уходил вверх, становился прозрачнее, голубее, становился небом. «Жду, — повторил он про себя и обрадовался, ощутив на лбу тонкую легкую руку,— ведь это рука мамы... Или рука Ольги? Не Ольга это... Нет, она!»

«Она!» — помогало ему не поддаваться той тупой, злой, холодной силе, которая все цепче охватывала его тело, а он, как ему казалось, яростно барахтаясь, желал поскорее всплыть к солнцу, к свету, к легкому, теплому, весеннему воздуху и все-таки проваливался в глубину. Где же мама? Ведь ее рука только что лежала на его лбу...

Все труднее дышать, все темнее вокруг, и вот уже струи бьющих на дне ключей леденят его ноги — стужа подымается все выше к коленям, к бедрам...

«Пора выныривать! Взмахни раз-другой руками — и ты будешь на поверхности, и теплая, прогретая солнцем вода понесет тебя. Но как трудно... Почему я не могу шевельнуться? Судорога. Это случается, когда долго купаешься... Но я не в реке. Или в реке? Звонко журчит вода. Значит, вынырнул! Я в госпитале! Ну да, белый потолок. Госпиталь — это ничего. Чистая постель. Лечат хорошо. Скоро выздоровлю. Скоро в полк. Увижу ее! Скажу ей все? Нет, ничего говорить не надо. Она и так знает...»

— Сестра, да пустите же ее, пустите!

— Успокойтесь, больной, вам вредно волноваться!

Мама, мама, где твоя рука? Темно... Журчит, журчит вода...

Карбовский прошелся мимо двери палаты раз сорок. Почему сестра не выходит, как обещала?

Но вот открылась дверь. Сестра, словно и не замечая Карбовского, быстро прошла мимо. Через минуту она уже возвращалась. Рядом с ней шагал приземистый с коротко подстриженными усами пожилой врач в наспех наброшенном, с болтающимися завязками, халате. Он и сестра вошли в палату и плотно закрыли дверь за собой. «Процедуры, — решил Карбовский. — Уйдет врач —

сестра меня пустит», — и снова стал терпеливо прохаживаться.

...Мягкий стук приоткрывшейся и вновь закрывшейся двери донесся до слуха Галочкина. Кто вошел? Ольга? Или, может быть, уже приехала мама? Нет, не успеть из Вырицы... Сейчас, наверное, еще плохо ходят поезда...

Кто это подошел вместе с сестрой? Мужской голос. Из полка кто-нибудь приехал? Вот хорошо! Расскажет, что и как.

Незнакомый мужской голос спросил:

— Давно?

— Только что, сейчас, — ответил голос сестры.

Чьи-то пальцы охватили запястье руки Галочкина. Это не тонкие пальцы сестры. Это врач. Почему он и сестра молчат? Журчит вода... Вот так воркует весной речка, Оредеж, дома, в Вырице. И Сульда рядом, такая же говорливая. Сейчас на них, наверное, уже давно прошел лед. А зелени, пожалуй, еще нет. Только на вербах почки... А соловьи уже поют?

Хочется открыть глаза, а трудно. Ага, вижу! Как светло. Врач выпустил руку. Это он пульс считал. Такое уж их дело. Пусть лечат скорее. Но впустите же, товарищ врач, маму и Ольгу. Они же в коридоре давно ждут! И кто из полка — тоже пустите. Старшего лейтенанта Белых, мне нужно его спросить... Солдат... Да и подполковник Бересов пришел. Все пришли. Значит, кончилась уже война? Как хорошо! Товарищ военврач, пустите всех ко мне!

— Пустите! — Галочкину показалось, что произнес он это громко, во весь голос. Но только слабый шепот слетел с его губ.

Журчит, журчит вода... А за окном громыхают грузовики. Неужели война еще не кончилась?

— Машины, идут машины! — внятно проговорил Галочкин, и, разгоняя серый туман, весенний день сверкнул ему в глаза.

— Закройте окно! — строго сказал сестре врач. — И кран. Полный покой.

«Не надо, товарищ военврач! — проговорил, не в силах уже шевелить губами, Галочкин, услышавший это. — Пусть бежит вода. Пусть идут машины...»

Но услышать его было уже невозможно.

— Шприц! — раздался над ним повелительный голос.

Опять колоть! Но надо терпеть. Пусть лечат. После укола так хорошо спится... Вот я уже и засыпаю. А машины за окном идут, идут... На передовую. Скоро и я туда... Может быть, только в Германии своих догоню. Но все равно догоню. Догоню...

Галочкин чувствовал, что сознание вновь — в который раз! — оставляет его, что еще несколько секунд — и он не будет властен не только над телом своим, но и над мыслями, они идут вразброд, мешаются, сминают одна другую. Но это не пугало его. Не поверил бы он, если бы сказал ему сейчас кто-нибудь: «Ты умираешь». Не мог бы поверить в это — ведь жизнь только началась, еще многое таилось где-то в далях ее, многого ждал он от нее.

Но жизнь уже не ждала Галочкина.

— Не надо! — тихо проговорил врач, отстраняя руку сестры с приготовленным шприцем. — Теперь ему уже ничего не надо.

— А там к нему пришли, — прошептала сестра едва слышно, словно боялась разбудить Галочкина.

— Кто?

— Какой-то офицер, из редакции.

— Скажите: раненый скончался. Да закройте же воду!

Сестра завернула забытый кран. Рокотнула последняя, убегающая из раковины, струя.

За окном, нетерпеливо ревя, проносились и проносились машины...

Глава 15

НАСТУПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Темп наступления нарастал.

В этот солнечный апрельский день по всем дорогам от Вены на запад, мимо бесчисленных холмов и рощ, принаряженных, словно к большому празднику, в свежую зелень, через нанизанные на шоссе поселки и городки мчались танки, самоходки, бронетранспортеры, грузовики с прицепленными пушками.

Брошенные вперед ударные соединения Третьего Украинского фронта стремились как можно быстрее на-

стичь врага, не дать ему опомниться и закрепиться, спешили навязать ему бой.

Не триумфальным маршем было это продвижение. Вена взята. Севернее, на других фронтах, бои идут уже под Берлином. Несколько дней назад пала твердыня Кенигсберга. Всюду — и там на западе, неумолимо, как петля-удавка, стягиваются линии фронтов к горлу гитлеровского рейха, и вот-вот насмерть захлестнется петля.

Из трех ключей «европейской крепости» нацизма ключ к западным воротам, Париж, еще прошлым летом вырвали из фашистских рук, не дожидаясь американских и английских избавителей, борцы французского Сопротивления. Второй ключ, к восточным воротам, Вену, с боя забрал советский солдат. Уже ухватился он крепкой рукой и за третий ключ, от центральных ворот, — Берлин. Продолжение войны может принести Германии только одно — новые бессмысленные жертвы и разрушения.

Но верховное главнокомандование вермахта еще отдает приказы войскам — обороняться. Гитлер велит делать все, чтобы остановить русских, остановить хотя бы на несколько дней, словно он надеется, что в эти несколько дней ему удастся перерешить то, что уже бесповоротно решено историей.

Подминая тяжкими гусеницами нежную весеннюю траву, обрывая угловатыми бортами и башнями молодую листву, заходят в придорожные рощи, наполняя их недобрым громыханьем и бензинной гарью, клейменные черным крестом стальные чудовища. Разлетаются, испуганные ими, лесные пичуги.

Смолкает урчание моторов. Зловещая тишина нависает над весенним лесом, просвеченным солнцем. Теперь здесь — засада...

На любом километре пути и в любую минуту жди: загремят, только покажись, пушки, застучат с разных сторон пулеметы...

Но сколько ни огрызайся враг — не устоять ему. Вслед за головными танковыми и механизированными частями по дорогам и без дорог подходят основные силы — стрелковые и артиллерийские полки и дивизии. Летят, эскадрилья за эскадрильей, истребители, бомбардировщики, штурмовики; не отставая от войск, а то и обгоняя их, спешат, наперекор стремительному течению Дуная,

боевые корабли. Воздух, вода, земля полны гулом тысяч моторов...

Старший лейтенант Белых ведет оставшихся в строю прямиком по полям, одетым шелковистой молоденькой травой, такой юной и свежей, что на нее даже жалко ступать. Тяжелые сапоги плотно приминают нежные стебельки — и там, где шагают вереницей бойцы, все явственнее обозначается на зеленом белесая полоса — словно легкий шрам прокладывается по земле. Но пройдет день-другой — поднимутся примятые травы, затянется шрам.

Белых, идущий впереди, оглядывается: где-то в конце цепочки, как и полагается санинструктору, — Ольга. Но где бы она ни шла, он все ощутимее чувствует ее рядом с собой... Сделать еще какой-то шаг, перешагнуть то, что еще разделяет их...

Но впереди еще бои. Еще не все открыла судьба из того, что должна открыть, прежде чем отгремят пушки. А после — не покажется ли многое совсем иным? Но разве сможет для него она перестать быть той, какой уже стала?

Невелика цепочка бойцов, идущих вслед за Белых: из восьмидесяти тридцать шесть осталось у моста и возле Лассальгофа. Но бодры их лица. Был удачен бой — и вполовину меньше тяжесть, вдвое больше сил.

Шагают бойцы мимо одетых в зелень холмов, щурятся от сильного и ласкового солнышка. В конце цепочки идут Снегирев, Опанасенко, вновь присоединившийся к своему отделению Федьков и за ним, как его верный оруженосец, Зубарь, навьюченный роскошным, сияющим перламутровыми накладками трофейным аккордеоном, раздобытым Федьковым после боя в Лассальгофе. А для Прохорова и для многих других возле венского моста, в сквере, меж иссеченными пулями деревьями роет сейчас похоронная команда братскую могилу, и скоро под троекратный залп примет их австрийская земля, за освобождение которой отдали они свои жизни. Пройдут месяцы, и сложенный рукой венского рабочего встанет над ними памятник. И каждый год в день освобождения та же рабочая рука будет возлагать к подножию памятника венок благодарности...

А товарищи павших идут на запад. Еще не кончена их очистительная боевая работа. Живы в сердцах их те, кто навсегда выбыл из строя. Грусть-тоска о погиб-

ших хотя и свежа, но не впервые она, издавна привычна и не гнетет их в пути. Посасывая цигарку, разглагольствует Федьков, глядя вслед Ольге, которая, покачивая в руке снятой шапкой — жарко, чуть заметный ветерок шевелит пряди ее легких волос, — только что прошла вдоль цепочки вперед.

— А хороша наша медицина, братцы! Имей я хоть единую звездочку на погонах — приударил бы.

— Не дери глаз на чужой квас, — советует Снегирев.

— А що, нехай попробует! — подзадоривает Опанасенко. — Мабудь, схлопочет по личности.

А Зубарь слушает и молчит. Непривычно ему еще: после тяжкого боя, стольких потерь — шутят как ни в чем не бывало.

И словно отвечая его мыслям, Снегирев сдвинул брови:

— Нам — хахи, а вот как лейтенант там в госпитале?

— Удивляюсь! — в голосе Федькова прозвучала укоризна. — Как это не уберегли вы его? Двое ж вас было, а не смогли того фрица упредить.

— Д-да... — прихмурился Снегирев. Упрек Федькова был и упреком Снегирева самому себе. — Еще чуточку — свалил бы фрица. Да наш лейтенант не дожидался. Ему в атаке положено позади, а он — все вровень с нами.

— Якого ж взводного дадут? — поинтересовался Опанасенко. — Чи лейтенант вернется?

— Не успеет. Без него кончим, — уверенно заявил Федьков. — Берлин возьмут наши — точка, по домам.

— По домам, да не все, — поправил Снегирев. — Кончится война — начнется военная служба. Ты — годок молодой, тебе вон да Зубарю — еще, как медным котелкам, служить.

— Нет, Григорь Михалыч, я к службе мирного времени не приспособленный.

— Ничего, приспособят.

— Эх! Паду ли я, стрелой пронзенный! — шутливо-томно пропел Федьков. — Довоюем — там видно будет. Может быть, мне на судоремонтный обратно — сразу направление дадут. К первому мая пошабашим, Григорий Михалыч, а?

— Быстро скачешь! Впереди, говорят, горы снеговые.

— Альпы, что ль?

— Они. Как бы тебе твою шикарную пилотку не пришлось обратно на шапку менять. Засядет фриц в тех горах — попробуй, выковырни.

— А что, не выковырнем? — Федьков молодцевато сбил свою велюровую пилотку на затылок. — Да мы со старшим лейтенантом Белых хоть куда!

Снегирев вспомнил:

— А как хотел наш лейтенант до самой Германии дойти...

— Знаете, что я вам скажу? — перебил Федьков, подмигнув. — Непременно он в роту вернется. Хотя бы из-за Олечки...

Снегирев укорил:

— Ох, Федьков, длинноязычный ты!

— Можешь меня, Григорь Михалыч, хошь какими эпитетами обзывать, — Федьков посмотрел на Снегирева с непреклонным видом, — но только я абсолютно категорически утверждаю: налицо любовь! Как в книжках пишут: с ее именем на устах он шел в атаку.

Снегирев рассмеялся.

— На устах, когда в атаке, такое, что ни в какую литературу не вставишь! Бумага не выдержит.

— Верно, — согласился Федьков. — Но заверяю: тут — любовь! Как писатели описывают. Вот, в нашей газете рассказик я читал...

— Рассказик! — Снегирев прищурился насмешливо: — И мне читать доводилось. По этим рассказикам все одинаково: где медсестра, тут и любовь непременно. А разве у всякого так? Любовь — она почти что у каждого за плечами, дома: у кого — жена, у кого — невеста, у кого — так, мечтание одно, насчет девушки какой-нибудь. Про это и писали бы, а то про всеобщую любовь к медицинской службе. И насчет лейтенанта ты, Федьков, брось!

* * *

Транспортер, ведомый Бересовым, с которым рядом сидел Гурьев, резво обгонял колонны машин и артиллерии, вереницы повозок. Остался позади дунайский мост, тот самый, который почти двое суток держали Белых и

его бойцы. Вот транспортер катит мимо стоящего на берегу напротив Вены городка — маленького, плотно сбитого, с лесом заводских труб. Вот и городок, и поблескивающий за ним Дунай, и едва уже различимая Вена, над которой в ясном небе еще курится дым пожаров — все скрылось за поворотом шоссе, а по обеим сторонам его, словно в стороны разбегаясь, замелькали рощи и зеленые поля.

Бересов вел транспортер краем шоссе, а иной раз, чтобы поскорее миновать заполнившую полотно дороги колонну, переезжал через кювет и гнал полем, не обращая внимания на отчаянную тряску.

Не первый раз приходилось Гурьеву видеть поток войск, хлынувший по дороге наступления. Он сам всегда был частицей этого потока. Но то, что он видел сейчас, поражало его: сколько силы! Пушки всех систем и калибров на буксире у автомашин и тягачей и просто в конных упряжках; тяжелые грузовики с ребристыми рамами реактивных установок; юркие «виллисы», скромные полуторки, важные трехтонки, высокобортные бронетранспортеры с настороженно поднятыми к небу стволами зенитных пулеметов — и на всем этом — бойцы в зеленых ватниках, выглядящих уже странно в такую теплую пору; люди и машины, люди и машины... Только на дороге большого наступления, когда все движется единым потоком, воочию можно убедиться, какая великая сила наваливается на врага — ведь во время боя почти ничего этого не увидишь: все рассредоточивается, затаивается, маскируется. А сейчас — все на виду!

Мелькали, оставаясь позади, на быстром ходу транспортера, казавшиеся почти неподвижными бесконечные вереницы облепленных солдатами обозных повозок. К ним особенно внимательно присматривались и Бересов и Гурьев: возможно, Белых раздобыл трофейные фуры и усадил на них оставшихся в строю солдат.

Но как ни вглядывались, так и не приметили на повозках ни одного знакомого лица.

Постепенно поток машин, обгоняемый транспортером, редел. Дорога становилась свободнее, и вскоре Бересов повел транспортер, уже не сбавляя скорости, серединой шоссе.

Впереди показался городок. Гурьев вытащил планшетку, сверился по карте. Тот самый, в котором на

скрещении двух шоссе Белых должен присоединиться к полку.

Транспортер въехал на широкую площадь, окруженную лавчонками и пивными.

Свернув транспортер с дороги, Бересов остановил его.

Сюда, к скрещению четырех дорог, где сосредоточивается полк, должны подойти и остальные части дивизии. Стоя возле транспортера, Бересов и Гурьев, щурясь от яркого солнца, поглядывали на дорогу, ждали. Изредка через перекресток пробегали армейские машины — все в одном направлении, на запад. Навстречу, в тыл, прошла только одна — открытый грузовик, над краем кузова которого белели бинтами головы.

Проводив грузовик взглядом, Бересов спросил Гурьева:

— Насчет Галочкина не узнавал?

— Узнавал. В медсанбат не поступал. Наверное, прямо в госпиталь провезли.

— Я примечал — старательный парнишка, этот Галочкин.

— Яковенко хвалил. И солдаты, я слышал, его любят.

— Вернется — роту ему можно будет дать. Таким молодым только и служить...

— Взгляни-ка! — показал Бересов, — что за процессия?

На площадь, теснясь, одновременно с двух улиц выезжали фуры немецкого армейского образца, деревенские брички, щегольские фаэтоны, ломовые телеги, запряженные разномастными лошадьми, нагруженные до отказа: холщовые мешки и пестрые узлы лежали вперемежку с роскошными чемоданами, сияющими никелем и золотистой кожей. На повозках сидели женщины, некоторые с грудными детьми, мужчины всех возрастов, одетые кто во что, — тут можно было увидеть затрепанные рабочие куртки, элегантного покроя пиджаки, тирольские куртки мышиного цвета с темно-зелеными отворотами, мундиры разных армий и всех расцветок платья.

Над повозками пестрели национальные флаги — французские, итальянские, польские и какие-то еще.

Посреди площади, возле еще сохранившегося от немцев столба со стрелками-указателями, собралось несколько мужчин, сошедших с повозок. О чем-то шумно

споря, они направились к транспортеру. Впереди шагали двое — высокий, в синем берете, в куртке неопределенного цвета, и пониже, светловолосый, с непокрытой головой, в черном смокинге с атласными отворотами и полосатых пижамных брюках, заправленных в немецкие солдатские сапоги.

Тот, что в берете, остановившись перед офицерами, лихо щелкнул каблуками, отдал честь — видимо, это доставило ему большое удовольствие — и, улыбаясь, быстро проговорил длинную фразу, в которой ни Гурьев, ни Бересов не поняли ни слова. В этот момент второй, в смокинге, бойко заговорил:

— Поздрав, друже советски! Я — хорват, мой комерад, — он показал на того, что в берете,— Францния, военный плен на Германия...

В это время подошел и встал рядом с французом и хорватом третий — в старом рабочем комбинезоне, молодой, но с побеленными сединой висками.

— Поляк! — отрекомендовался он, — с-пóд германа польске чловек, французске чловек...

— Югословенске! — вставил хорват.

— Да, да, — кивнул головой поляк. — Югословенске чловек, голландске чловек, влохе...[1]. — Он еще довольно долго перечислял, каких наций народ здесь на площади. Все эти люди, насильно угнанные из родных мест, работали в Австрии на военных заводах, батрачили у помещиков. Сейчас они двинулись по домам. В квартирах и усадьбах, оставленных сбежавшими хозяевами, и по пути, где попадалось в панике брошенное отступающими немцами военное имущество, они раздобывали фураж на дорогу, запасались одеждой, обувью и прочим добром. Поляк от имени всех объяснил это и спросил, каким путем ехать дальше, безопасен ли он.

— А куда вам надо? — спросил Бересов.

— На Польску!

Перебивая поляка, оживленно заговорил француз, прикладывая руку к груди. Поляк перевел: французы тоже хотят домой, они надеются: русские успеют прогнать фашистов, дорога во Францию освободится.

Не дав закончить французу, заговорил хорват: а как добраться домой им? Из Югославии убегают последние

---

[1] Итальянец (*польск.)*.

немцы, он слышал радио, на повозке есть приемник, взятый в помещичьем доме.

— Ну что ж, — сказал Бересов, — покажем дорогу Европе?

Гурьев вытащил планшет. Под целлулоидом, на обыкновенной армейской двухкилометровке, не значились ни Польша, ни Франция, ни Югославия — только небольшая, на несколько десятков километров по маршруту на запад, часть австрийской территории. Фронт еще совсем недалеко. Ехать вслед за наступающими войсками всему этому скопищу людей, жаждущих скорее добраться до родины, — небезопасно...

Прикинув, Бересов и Гурьев посоветовали поляку и французу:

— Поезжайте на северо-восток, вот досюда, — Гурьев показал на карте крохотный австрийский городок, близ границы с Чехословакией. — А там спросите, как дальше путь держать.

— Итальяно? Итальяно? — протиснулся вперед худой как жердь, смуглый, обросший черной бородой человек.

— На Италию? Вместе с ним держитесь,— Гурьев показал на хорвата.

— О, о! — радостно воскликнул итальянец, порывисто кладя руку хорвату на плечо, и выбросил целый каскад слов.

Сопровождаемый представителями европейских наций, Гурьев пошел на середину площади и там, используя все свои не очень-то обширные лингвистические познания, показал, кому в какую сторону следует направляться. В ответ — возгласы благодарности, множество протянутых для пожатия рук... Он едва выбрался из обступившей его разноплеменной толпы.

С шумом и гамом, с пиликаньем губных гармоник, с песнями на разных языках сгрудившиеся на площади повозки вереницами потянулись на дороги, ведущие на юг и восток.

Гурьев сунул планшетку с картой обратно в сумку, пальцы его при этом — в который раз! — натолкнулись на давно написанное, но так и не отправленное письмо Лене. Он отдернул их, словно обожженные.

Облокотившись на борт транспортера, смотрел: проезжают мимо, все быстрее, повозки, а с них машут платоч-

ками, флажками, шапками, кричат что-то — и во всем этом гомоне то и дело слышится родное:

— Давай!

— Давай!

Теплая волна плеснула по сердцу: «Давай, давай». С этим словом мы сюда дошли, а они подхватили его, понесли: «Давай, давай...» Мальчишкой красногалстучным играл со сверстниками в красных и белых, в войну с фашистами, в школе мопровские плакаты рисовал — рабочий, разрывающий цепи. И верил, детской верой верил, и мечтал: так оно и будет. А потом, с годами — взрослые заботы пришли, призабылись мальчишеские мечты, и не помышлял, что именно тебе, Николаю Ивановичу Гурьеву, школьному учителю, ограниченно годному к строевой службе, тебе и другим, таким же неприметным людям, суждено будет решать судьбы человечества. Да ведь даже когда война началась и ты, человек глубоко штатский, стал военным, только одним желанием жил: как-нибудь отбиться от врага, ну — и выжить, конечно. А сейчас — народам дорогу показываешь...

Но мысли снова, как по замкнутому кругу, вернулись к неотправленному письму, которого нечаянно только что коснулись пальцы. К письму с просьбой ничего не решать окончательно, пока он не вернется.

Прошло минут пять, и на площади снова стало просторно: последние повозки, украшенные флагами разных наций, прокатили мимо и скрылись. Но площадь пустовала недолго. Вскоре из бокового переулка показались бойцы, идущие нестройной толпой. На многих белели повязки.

— Наши! — поспешил навстречу им Бересов. А к нему быстрой, легкой походкой уже не шел — летел старший лейтенант Белых, не похожий в эту минуту на самого себя, обычно сдержанного, собранного, строговатого, — он весь сиял. Остановился, поднес руку к шапке, чтобы отдать рапорт, но Бересов уже обхватил его плечи:

— Ну, здорово, герой! Ехали мы по вашему мосту...

— Ничего мосток, — Белых улыбался. — Стоящий!

— А что с твоим Галочкиным? — Бересов все еще держал руку на плече Белых. — Какое ранение? Где он?

Белых прихмурил брови:

— Ранен, очень опасно. Я машину достал, его и других тяжелых сразу в госпиталь отправил.

Вересов глянул на Гурьева с укоризной:

— Что же не узнал толком? В Вене стояли — проводная связь с тылами была, можно бы и до госпиталя дозвониться.

— Виноват, — Гурьев сконфуженно опустил глаза.— Остановимся, — непременно справлюсь.

— Надо сообщить Галочкину: к награде представлен.

— К какой? — поинтересовался Белых.

Вересов хитровато-весело поглядел на него:

— Потерпи — узнаешь.

Не желая показаться «орденопросцем», Белых не стал допытываться. Он не гонялся за орденами, однако счел бы вполне резонным, если бы после дунайского моста к его четырем орденам прибавился пятый. Но то, что его, как и Галочкина, представляют к званию Героя, ему и в голову пока не приходило.

— Подготовь материал на отличившихся, — сказал Вересов старшему лейтенанту. — Много у тебя таких?

— Все.

— Да много ли всех-то уцелело? — Вересов окинул взглядом кучку солдат, приведенных Белых.

— Почти каждый второй там остался...

Послышался шум мотора. На площадь вкатил запыленный «виллис» с мотающимся над кузовом усом антенны и, поравнявшись с транспортером, резко затормозил. Из «виллиса», сбросив на сиденье с плеч плащ-палатку, вышел сухощавый человек в солдатском ватнике и простой офицерской фуражке с генеральской кокардой — командир дивизии.

— Товарищ генерал-майор! — начал докладывать Вересов. — Полк находится на марше, движется к месту сосредоточения...

— Знаю, знаю! — прервал рапорт генерал, — сейчас обогнал ваших... А это что за войско? — он показал на пришедших с Белых бойцов, рассаживающихся отдохнуть поодаль, на краю площади.

— Те, что дрались на мосту, товарищ генерал.

— А, знаю, знаю! В этой роте у меня еще старый сослуживец есть. Опанасенко. Цел он?

— Цел, — ответил стоявший рядом с Бересовым Белых.

Тем временем солдаты, не обращая особого внимания на начальство, расположились возле каменной ограды на молодой травке. Только Ольга ходила от раненого к раненому и спрашивала, в порядке ли повязки. Федьков приставал к Опанасенко:

— Не плошай! Иди к своему дружку, генералу, в ординарцы просись.

— Та ни! — отмахивался Опанасенко. — Мени и в отделении не худо.

Зубарь, поглядев в сторону транспортера и генеральского «виллиса», снял шапку, подал Федькову:

— Надень-ка вместо своего велюра. А то пострадаешь из-за меня.

— Не бойсь! — отказался тот. — Дай-ка лучше аккордеончик. Опробую.

Перекинув ремень инструмента за плечо, пробежал пальцами по ладам, заиграл, тихонько подпевая, любимую:

Где тебя я видел? В Курске? В Черновицах?
В Киеве? Припомнить не могу...
Голубые очи, черные ресницы,
О тебе я память берегу...

А Снегирев тем временем решил переобуться. Снял сапог, глянул, вспомнил: латку-то Плоскин ставил... И снова в памяти возник последний разговор тогда, когда отобрал рекомендацию.

Перемотал портянку, надернул сапог. Встал, потихоньку пошел вдоль ограды, к углу: за ним приметил он съехавший боком в кювет дочерна обгоревший танк «тридцатьчетверку». Не Семена ли машина? Под буровато-черной копотью на башне с трудом скорее угадал, чем прочел: «Челябинский колхозник». Из той же колонны танк! А номер, номер? Цифры, почти начисто слизанные огнем, невозможно разобрать, только первая определенно «три». А дальше — триста... Неужели номер машины Семена? Только бы не триста тринадцать!

Напрягал зрение, силясь прочесть номер, и боялся, что прочтет...

Вскарабкался на броню — на ладонях остались черные пятна сажи. Заглянул в распахнутый люк. Из темного нутра несло холодной гарью, ржавчиной.

Долго стоял, не в силах оторвать взгляда от круглой дыры люка. Может быть, там, под рваным железом, — пепел сына? Да мало ли танков, сходных по номерам? Но сердце не слушалось увещеваний разума. Неужто отцовское сердце чует беду?

Вернулся к товарищам, на ходу оттерев приставшую к ладоням гарь, сел возле. Федьков все еще наигрывал на аккордеоне, напевал:

...Как по имени, как по отчеству —
Я скажу откровенно — не знаю.
Но мне встретиться с тобой хочется,
Незнакомка моя доро...

— Наши едут! — оборвал песню на полуслове.

На площадь вытягивалась длинная вереница повозок, заполненных бойцами. Впереди торжественно двигался запряженный парой лошадей открытый фаэтон, к которому сзади был привязан оседланный белый конь с крутой шеей. Колонна остановилась. Из фаэтона легко выпрыгнул молодой офицер в лихо заломленной кубанке, с планшеткой на длинном, до колен, ремне.

— Наш комбат, капитан Яковенко!

— Точно. Наш батальон!

Подымались с травы солдаты. Вот и по всей площади пошла веселая перекличка:

— Здорово, хлопцы!

— Ну, как поплавали по Дунаю?

— А тут слух прошел — потопили фрицы вас всех.

— Мы не тонем, не горим!

— Федора не видал? Где он?

— На мосту остался. Под мину попал... А наши все живы?

— Живы, да не все. Под городом, сука, сильно бил. Не хотел пускать.

— Эй, вторая рота! По двое на каждую повозку добавляйтесь! — послышался зычный голос старшины.

Одни спрыгивали с повозок — поразмяться, другие забирались на повозки. Сходились, здоровались, прикуривали. Снова собралась полковая семья...

Вдоль остановившейся колонны протрещал мотоцикл. Из помятой коляски вылез Неворожин, на ходу прикладывая руку к козырьку, поспешил к330Бересову — доложить, что колонна полка прибыла в полном порядке. Отдав рапорт, вновь уселся в коляску мотоцикла: гене-

рал позвал Бересова к своему «виллису». Неворожину оставалось ждать дальнейших распоряжений.

На капоте генеральской машины зеленела развернутая карта: комдив давал Бересову дальнейший маршрут. А офицеры — и Гурьев, и как всегда смотрящий орлом Яковенко, и подошедший от солдатских повозок Понедельный, на лице которого в ярком свете солнца словно все до единой исчезли его рябинки, и штабные, и командиры взводов и рот в ожидании, пока им сообщат маршрут, — собрались вокруг Белых: он сразу же стал героем дня. Расспрашивали, кто убит, кто ранен, разговаривали о недавнем бое, перебрасывались шутками и незлобиво, развлечения ради, подтрунивали один над другим. Два молоденьких лейтенанта, как школьники в перемену, затеяли борьбу, пока на них не цыкнул Яковенко. Впрочем, он и сам был бы не прочь поразмять косточки. Несколько офицеров, собравшись в кучку, рассказывали друг другу, кто что успел повидать в Вене. Словом, все вели себя беззаботно и весело, как может быть весело в такой теплый день, пахнущий юной зеленью и нагретой землей, день, полный ощущением, что ты жив, здоров, силен, день, полный веры, что и через новые бои пройдешь невредимым.

Неворожин одиноко сидел в коляске. Быть запросто с теми, кто ему подчинен, он не только считал недопустимым панибратством, но попросту не умел. Да и занимало его сейчас не то, что остальных. Он с затаенной боязнью старался рассмотреть: нет ли среди солдат того сапера-ефрейтора? Вернулся ли он?

В кучке весело разговаривающих меж собой офицеров стоял и Гурьев. Он выглядел таким же оживленным, как и все. И кто мог — разве что Яковенко! — знать, что у него на душе. Впрочем, в общем оживлении он не привлек бы внимания. И немудрено, что никто не заметил, как Гурьев выключился из общего разговора, тихонько отошел в сторону. Медленно брел вдоль обочины по чуть припудренной дорожной пылью молодой травке. Под ногу попалась ржавая, пустая железная лента от немецкого пулемета. Отшвырнул ее носком сапога — мелькнула в воздухе, распласталась на траве, как рыжая дохлая змея.

От повозок слышалась грустная мелодия. Кто-то не очень искусно, но с чувством играл на аккордеоне и пел.

Слов Гурьев еще не разобрал, но мотив и без слов щемил сердце. Остановился, нагнулся. Сжал меж пальцев травинку, выдернул, глянул на белый, словно сахарный, корешок, чуть припорошенный землей, сунул травинку обратно корешком вниз, словно желая утвердить ее на старом месте. Травинка смялась, вернуть ее в прежнее состояние было невозможно. Отбросил измятый стебелек. Теплая капля покатилась по его лицу. Он почувствовал, как мгновенно покраснел от злости, от злости на себя: раскис! До слезы!

...Капли еще — на щеке, на лбу. Чепуха! Это не слезы, а дождь, первый, весенний... Откуда он взялся? Ведь небо совсем ясное!

Поднял лицо — и в этот миг словно кто-то шутя швырнул в глаза, в губы горсть веских прохладных капель. И тотчас — совсем еще непривычно для уха — рявкнул гром, не зло, а радостно, словно большая дворняга, которую наконец-то после долгого томления спустили с цепи побегать.

И опомниться не успел — дождь промчался стремительный, как налет штурмовиков: хлынул, просверкал, исчез. И снова яркое сияет солнце, словно и не было дождя, а воздух еще полон его прохладой, его нежным бодрящим ароматом, да, повиснув на придорожных проводах, медленно скатываются по ним крупные прозрачные жемчужины.

Вдохнув посвежевшего воздуха, Гурьев оглянулся, недоумевая: «Куда же это я ушел от всех?» Остановился. Все той же, полной безысходной печали мелодией звучал аккордеон. Гурьев присмотрелся: а, это Федьков сидит на повозке, наигрывает. Погоны на нем почему-то снова с сержантскими лычками. И когда только успел? Значит, Бересов восстановил ему звание? Наигрывает печальное, но чему улыбаются собравшиеся возле повозки солдаты? Вслушался в слова. Федьков на жалобный мотив пел:

В самом центре развалин Берлина
Был такой автотранспортный факт.
Обнаружена эта машина,
И составлен технический акт.
Мол, машина коричневой масти
После трудного рейса на фронт
Растеряла важнейшие части

И уже не годится в ремонт.
Бак с горючим пробили в Плоешти,
Где-то кузов с машины слетел,
Радиатор потек в Будапеште,
А под Веной мотор захрипел.
И, едва доползя до Берлина
Без горючего, смазки, воды,
Села прочно на дифер машина
И стоит — ни туды, ни сюды...

Не мог не улыбнуться Гурьев: «Вот так минор!» Повернул обратно к транспортеру, где тесной кучкой толпились, оживленно разговаривая, офицеры. И вдруг увидел Федосеича, неторопливо, шажком едущего на Пуле вдоль колонны. Быстро же старик обернулся. Никак новую почту везет?

Федосеич поравнялся с Гурьевым. «Нет ли мне?» — чуть не спросил Гурьев. Но удержался. Ясно, что нет. И не будет...

Рывком вытащил давно надписанный и заклеенный конверт, который так долго таскал в сумке.

— Федосеич!

— Тпру, Пуля! Что, товарищ капитан?

— Нет, нет, ничего... Поезжай! — Поспешно скомкал письмо в кулаке, отвернулся. За спиной все тише постукивали по асфальту копыта почтальонской коняшки.

Разжал кулак, на мелкие клочки порвал письмо. Нечего надеяться. Нечего ждать. Надеяться — слабость. Забыть — сила!

Бросил под ноги обрывки — они разлетелись, как мотыльки, опустились на припорошенную пылью молодую траву.

А уже звали:

— Капитан Гурьев! К командиру полка!

...И снова — путь. Остались позади площадь, тесный каменный городок. Кругом опять зеленеют поля и холмы. Впереди и позади, сколько хватает глаз, — машины, пушки, тяжелые минометы на колесах, повозки, переполненные бойцами, катят по ополоснутому первым весенним ливнем шоссе. Ускоряет ход колонна, и бойкий перестук колес звучит мажорной музыкой. Недалек, недалек рубеж — за ним откроется жизнь, которую вот уже четыре года со светлыми надеждами и тоской ждет Гурьев, как ждут все.

...Гудят по австрийской дороге моторы машин, стучат колеса армейских повозок. Подгоняют своих безотказных лошадок усачи-ездовые, как подгоняли от самого Сталинграда. Подгоняйте, подгоняйте, папаши!.. Надо поспевать. Вон и альпийские хребты синеют впереди за зелеными холмами. Еще с утра промчались по шоссе, вдогон врагу, танки. Не слышно ли, как громыхают там, впереди, пушки? Уху — еще нет. А сердцу твоему, воин, — да. И не только твоему. Гул боя, последнего боя этой войны, слышен по всей земле — и там, куда спешишь ты, и там, куда не дано тебе маршрута. В сражающейся Франции. В подымающей голову Африке. В придавленной, но не покоренной Испании. На необъятной земле Китая. В джунглях Вьетнама и Филиппин. На плантациях Гвинеи и Гватемалы. На тысяче островов Индонезии. Всюду, где есть еще порабощенные люди, — сердцами слышат они гул этого боя. В твоей скорой победе узнают они свою грядущую победу, и прежде всего — победу над неверием в силы свои. Чем дальше на запад идешь ты, тем все зримее людям земли: нет и не может быть никакого несокрушимого тиранства, сила борющихся против всего — в том, чтобы они поняли, как сильны.

...Катят, катят армейские повозки на запад по австрийской дороге. Солдаты поснимали ватники, остались только в гимнастерках да шапках-ушанках: быстрая нынче весна, весна не только последнего года великой войны — весна века. Как не спешить! Издалека идет она — первый шаг ею сделан много лет назад, в холодную октябрьскую ночь по камням Дворцовой площади, — а сейчас, в омытый первым дождем апрельский день, идет она уже по всей земле, переступая фронты и границы.

Эй, слышишь, товарищ: впереди, за холмом, глухо громыхнуло. Весенний гром или пушки? Ну что ж, если и пушки. К бою — не привыкать. Сколько еще впереди боев, боев и в войне и в мире? Кто ведает! Но знаешь ты: наступит и тот, о котором поется: «Это есть наш последний...»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Часть первая

БЛИЗ ОЗЕРА БАЛАТОН

Часть вторая

НА ПЕРЕЛОМЕ

Стр.

Часть третья

КОГДА РАСПУСКАЮТСЯ ЛИСТЬЯ

Юрий Федорович Стрехнин

ПУШКИ ЕЩЕ НЕ СМОЛКЛИ

Редактор *Ильинская Е. А.*

Оформление книги *Виноградова А. П.*

Фронтиспис *Корецкого П. С.*

Технический редактор *Аникина Р. Ф.* Корректор *Шестакова Н. Е.*

Сдано в набор 29.5.59 г. Подписано к печати 26.10.59 г.

Г-50943.

Формат бумаги $84 \times 108^{1}/_{32}$ — $15\,^{1}/_{4}$ печ. л. = 25,01 усл. печ. л. +
+ 1 вкл. $^{1}/_{16}$ печ. л. = 0,103 усл. печ. л. = 25,591 уч.-изд. л.

Военное издательство Министерства обороны Союза ССР

Москва, К-9, Тверской бульвар, 18.

Изд № 1/9080. Зак. 385.

Цеяа 9 р. 35 к.

1-я типография

Военного издательства Министерства обороны Союза ССР

Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

К ЧИТАТЕЛЯМ!

Военное издательство просит присылать отзывы об этой книге по адресу: Москва, Б-140, Нижняя Красносельская, 4. Управление Военного издательства.